

17  
Г41

А. И.  
ГЕРЦЕН

А. И. ГЕРЦЕН

Х

Х





АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА • 1956



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

А. И. ГЕРЦЕН



ТОМ ДЕСЯТЫЙ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1852-1868

ЧАСТЬ V

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА • 1956





А. И. ГЕРЦЕН  
С фотографии 1861 г.

*Государственная публичная библиотека М. Е. Салтыкова-Щедрина  
Ленинград*





# БЫЛОЕ И ДУМЫ



*Часть пятая*

**ПАРИЖ—ИТАЛИЯ—ПАРИЖ**

(1847—1852)







Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадет. «Былое и думы» — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.

Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма из Франции и Италии»; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился.

Многое, не взошедшее в «Полярную звезду», вошло в это издание — но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...

Женева, 29 июля 1866.



---

# ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

## ГЛАВА XXXIV

### ПУТЬ

Потерянный пасс.— Кенигсберг.— Собственноручный  
нос.— Приехали! — И уезжаем.

...В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал вслух читать все, что не нужно: «Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden denen daran gelegen etc, etc... Unterzeichner Peroffski, Minister des Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit»<sup>1</sup>...

Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Террачино и Неаполем неаполитанский карабинер четыре раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя наши визы. Я показал ему неаполитанскую визу, ему этого и полкарлина было мало, он понес пассы в канцелярию и воротился минут через двадцать с требованием, чтоб я и мой товарищ шли к бригадире. Бригадир, старый и пьяный унтер-офицер, довольно грубо спросил:

— Как ваша фамилия, откуда?

---

<sup>1</sup> «По указу е. и. в. Николая Первого... всем и каждому, кому ведать надлежит и т. д., и т. д. ... Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена св. Владимира... имеющий золотое оружие с надписью за храбрость» (нем.).—Ред.

— Да это все тут написано.

— Нельзя прочесть.

Мы догадались, что грамота не была сильною стороною бригадира.

— По какому закону,— сказал мой товарищ,— обязаны мы вам читать наши пассы? Мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать: мало ли что я сам продиктую\*.

— *Accidenti!*— пробормотал старик,— *va ben, va ben!*<sup>1</sup> — и отдал наши виды, не записывая.

Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора; прочитав три раза в трех пассах все ордена Перовского, до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня:

— Вы-то, *Euer Hochwohlgeboren*<sup>2</sup>, кто такое?

Я вытаращил глаза, не понимая, что он хочет от меня.

— *Fräulein Maria E<rn>*, *Fräulein Maria K<or<sch>*, *Frau H<aag>*<sup>3</sup>,— всё женщины, тут нет ни одного мужского вида.

Посмотрел я: действительно, тут были только пассы моей матери и двух наших знакомых, ехавших с нами,—у меня мороз пробежал по коже.

— Меня без вида не пропустили бы в Таурогене.

— *Bereits so*<sup>4</sup>, только дальше-то ехать нельзя.

— Что же мне делать?

— Вероятно, вы забыли в кордегардии, я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погрееются у нас.— *Neh! Kerl, laß er mal den Braunen anspannen*<sup>5</sup>.

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопотал\*, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, что я его положил в карман, стало, я его выронил,— где же искать? Его занесло снегом... надобно просить новый, писать в Ригу, может, ехать самому; а тут сделают доклад, до-

---

<sup>1</sup> Черт возьми! Ладно уж, ладно! (итал.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Ваше высокоблагородие (нем.).—*Ред.*

<sup>3</sup> Барышня Мария Э<rn>, барышня Мария К<орш>, госпожа Г<aag> (нем.).—*Ред.*

<sup>4</sup> Так-то так (нем.).—*Ред.*

<sup>5</sup> Эй, малый, заложика гнедого (нем.).—*Ред.*



гадаются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге, образы Кокошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры... опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городских с двумя блестящими пуговицами на спине, которыми они смотрят назад... и прежде всего увижу опять небольшого, сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь...<sup>\*</sup> Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила<sup>\*</sup>.

Между тем заложили большую печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели и ботфортах; почтальон классически хлопнул классическим бичом — как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал:

— Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Paß<sup>1</sup>,—и он его держал развернутым в руках.

Спазматический смех овладел мною.

— Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?

— Посмотрите,— сказал он,— ваш русский сержант положил лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть листа...

А ведь прочитал три паза: «Es ergethet deshalb an alle hohe Mächte, und an alle und jeden, welchen Standes und welcher Würde sie auch sein mögen»...<sup>2</sup>

... «В Кенигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город; на дворе был теплый зимний день»<sup>3\*</sup>; хозяин гостиницы предложил проехаться в санях, лошади были с бубенчиками и колокольчиками, с страусовыми перьями на голове... И мы были веселы, тяжелая плита была снята

---

<sup>1</sup> Стой! стой! Вот проклятый паспорт! (нем.).—*Ред.*

<sup>2</sup> «Того ради надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы...» (нем.).— *Ред.*

<sup>3</sup> «Письма из Франции и Италии».— Письмо I.

с груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения — отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая, я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная вещь, столько же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этот элемент более ясный и живой поражает русского при переезде за границу. Петербургское правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того — только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтоб перед ним все дрожало, словом, хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей — передняя и казармы.

...Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет; возле меня уселся какой-то закутанный господин; дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах — я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии, он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и, в заключение, сильно напал на познанских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило, я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнения, и потом замолчал.

Между тем рассвело; тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мере, не доставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива — но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу; «Majestät»<sup>1</sup> приезжал в больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрил.

---

<sup>1</sup> его величество (нем.).— *Ред.*

Le roi de Prusse, en le voyant,  
A dit: c'est vraiment étonnant<sup>1</sup>.

Повидимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.

Переезд наш из Кенигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, — это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды — все равно. Теперь, благодаря железным дорогам, вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны.

Дорога от Кенигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кенигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся; кондуктор ссылаясь на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги; тут он объявил нам очень просто, что «нам дадут *только пять мест*».

— Как пять? вот мой билет.

— Мест больше нет.

Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь

---

<sup>1</sup> Король прусский, заметив его, сказал: это в самом деле удивительно (франц.). — *Ред.*

мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:

— Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.

После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Негг Мајор»<sup>1</sup> и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.

Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлине записку.

— Вы почтовый чиновник? — спросил я.

— Нет, — отвечал он, еще больше в нос, — но это все равно... я ...видите... как это здесь называется — службу в центральной полиции.

Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.

Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.

...Берлин, Кельн, Бельгия, — все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и *доехали*, наконец.

...Я отворил старинное, тяжелое окно в *hôtel du Rhin*<sup>2</sup>; передо мной стояла колонна —

...с куклою чугуной,  
Под шляпой, с пасмурным челом,  
С руками, сжатыми крестом\*.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и *gue de la Paix*<sup>3</sup>.

В *Париже* — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства.

---

<sup>1</sup> «господин майор» (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> Рейнской гостинице (франц.). — *Ред.*

<sup>3</sup> улица Мира (франц.). — *Ред.*

# БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСКАНДЕРА



ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ



ЖЕНЕВА

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

40, PRIN. L'ÉVÊQUE

1867.



Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «à la Bastille!»<sup>1</sup>

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова... Вот rue St.-Honoré, Елисейские Поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин...

Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.

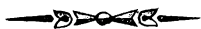
Я был вне себя от радости!

На ней я здесь и останавлиюсь.

Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка по Италии, вспрыгнувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 февраля — все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», — что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени?

---

<sup>1</sup> «к Бастилии!» (франц.).— *Ред.*



---

## ГЛАВА XXXV

### МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ РЕСПУБЛИКИ

Англичанин в меховой куртке.— Герцог де Ноаль.—  
Свобода и ее бюст в Марсели.— Аббат Сибур и Всемирная  
республика в Авиньоне.

...«Завтра мы едем в Париж, я оставляю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана сильна — но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе — и совершенно всего не сдует же реакция»\*.

Вот что я писал в конце апреля 1848 года\*, сидя у окна на *via del Corso* и глядя на «Народную» площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал.

Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей; а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «*République Française*»<sup>1</sup> — я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу!

---

<sup>1</sup> «Французская республика» (франц.). — *Ред.*



Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с неимоверной быстротою и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посередине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельверагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию \*. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалою и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что «сигары свои он сам привез из Гаваны». Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет *правильного* сообщения и прямого — между Лондоном и Петербургом <sup>1</sup>.

— Вы в Рим? — спросил я его, подъезжая к Чивите.

— Не знаю, — отвечал он.

Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:

— Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. — А вы остаетесь здесь?

— Да. Пароход пойдет завтра.

Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех — и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке, с портфелем, зрительной трубкой, маленьким несессерчиком, шествующего перед слугой, навьюченным чемоданом и всяким добром.

---

<sup>1</sup> Теперь оно есть.

— Я в Неаполь,— сказал он, поравнявшись.

— Что же климат, не понравился?

— Скверный.

Я забыл сказать, что, в первый проезд, он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей; в продолжение ночи он раза три чуть не убил меня — то страхом, то ногами: в каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись:

— Oh — beg pardon<sup>1</sup> — j'ai avais soif<sup>2</sup>.

— Pas de mal<sup>3</sup>.

С ним, стало, в этот путь мы встретились, как старые знакомые; он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике \*.

Француз принимал иное участие в этих делах... с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу, и необходимой оседлости.

— Вы не можете себе представить,— сказал я ему шутя,— какое оригинальное наслаждение вы доставляете мне вашими недомолвками. Я лет пятнадцать говорил так о монархии, как вы говорите о республике. Роли переменились: я, защищая республику,— консерватор, а вы, защищая легитимистскую монархию,— *perturbateur de l'ordre publique*<sup>4</sup>.

Старик и англичанин расхохотались. К нам подошел еще один тощий, высокий господин, которого нос обессмертил

---

<sup>1</sup> О, простите (англ.).— *Ред.*

<sup>2</sup> мне хотелось пить (искаж. франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> Ничего (франц.).— *Ред.*

<sup>4</sup> возмутитель общественного порядка (франц.).— *Ред.*

«Шаривари» и Филиппон, — граф д'Аргу («Шаривари» говорил, что его дочь потому не выходит замуж, чтоб не подписываться: «такая-то, née d'Argout»<sup>1</sup>). Он вступил в разговор, с уважением обращался со стариком, но на меня смотрел с некоторым удивлением, близким к отвращению; я заметил это и стал говорить на четыре градуса *краснее*.

— Это презамечательная вещь — сказал мне седой старик. — Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы, русские, или совершеннейшие рабы царские, или — *пassez-moi le mot*<sup>2</sup> — анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете свободными<sup>3</sup>.

В этом роде продолжался наш политический разговор.

Когда мы подъезжали к Марсели и все стали суетиться о пожитках, я подошел к старику и, подавая ему свою карточку, сказал, что мне приятно думать, что спор наш под морскую качку не оставил неприятных следов. Старик очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет республиканцев, которых я, наконец, увижу поближе, и подал мне свою карточку. Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V\*.

Случай этот, весьма неважный, я рассказал для пользы и поучения наших *герцогов* первых трех классов. Будь на месте Ноаля какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто принял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за капитаном корабля.

Один русский министр<sup>4</sup> в 1850 г. с своей семьей сидел на пароходе в карете, чтоб не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете... да еще на море, да еще имея двойной рост?

Надменность наших сановников происходит вовсе не из аристократизма, — барство выводится; это — чувство ливрейных, пудренных слуг в больших домах, чрезвычайно подлых в одну

---

<sup>1</sup> урожденная д'Аргу; игра слов: née — урожденная, nez — нос (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> простите за выражение (франц.). — *Ред.*

<sup>3</sup> Суждение это я слышал потом раз десять.

<sup>4</sup> Знаменитый Виктор Панин.

сторону, чрезвычайно дерзких в другую. Аристократ — лицо, а наши — верные слуги престола — вовсе не имеют личности; они похожи на павловские медали с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему»\*. К этому ведет целое воспитание: солдат думает, что его *только* потому нельзя бить палками, что у него аннинский крест, станционный смотритель ставит между ладонью путешественника и своей щекой офицерское звание, обиженный чиновник указывает на Станислава или Владимира — «не собой, не собой... а чином своим!»

Выходя из парохода в Марсели\*, я встретил большую процессию Национальной гвардии, которая несла в Hôtel de Ville бюст свободы, т. е. женщину с огромными кудрями в фригийской шапке. С криком «Vive la République!»<sup>1</sup> шли тысячи вооруженных граждан, и в том числе работники в блузах, взшедшие в состав Национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, что и я пошел за ними. Когда процессия подошла к Hôtel de Ville, генерал, мэр и комиссар Временного правительства, Демостен Оливье\*, вышли в сени. Демостен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг: толпа, разумеется, двигалась вперед, Национальная гвардия ее осаживала назад, толпа не слушалась; это оскорбило вооруженных блузников, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди; граждане «единой и нераздельной республики» попятились...\*

Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и в особенности римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и *телесной* неприкосновенности развито в каждом человеке, не только в факино<sup>2</sup>, в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В Романье\* на эту дерзость отвечали бы двадцатью «колтеллатами»<sup>3</sup>. Французы попятились — может, у них были мозоли?

Случай этот неприятно подействовал на меня: к тому же, пришедши в hôtel, я прочел в газетах руанскую историю\*. Что же это значит, неужели герцог Ноаль прав?

<sup>1</sup> «Да здравствует республика!» (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> носильщике (итал. facchino).—*Ред.*

<sup>3</sup> ударами ножа (итал. coltellata).—*Ред.*

Но когда человек хочет верить, его веру трудно искоренить, и, не доезжая до Авиньона, я забыл марсельские приклады и руанские штыки.

В дилижансе с нами сел дородный, осанистый аббат, средних лет и приятной наружности. Сначала он ради приличия принялся за молитвенник, но вскоре, чтоб не дремать, он положил его в карман и начал мило и умно разговаривать, с классической правильностью языка Порройяля и Сорбонны \*, с цитатами и целомудренными остроумиями.

Действительно, одни французы умеют разговаривать. Немцы признаются в любви, поверяют тайны, поучают или ругаются. В Англии оттого и любят рауты, что тут не до разговора... толпа, нет места, все толкуются и толкаются, никто никого не знает; если же соберется маленькое общество, сейчас скверная музыка, фальшивое пение, скучные маленькие игры, или гости и хозяева с необычайной тягостью волочат разговор, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчастных лошадей, которые, выбившись из сил, тянут против течения по бечевнику нагруженную барку.

Мне хотелось подразнить аббата республикой, и не удалось. Он был доволен свободой *без излишеств*, главное — без крови и войны, и считал Ламартина великим человеком, чем-то вроде Перикла.

— И Сафо,— добавил я, не вступая, впрочем, в спор и благодарный за то, что он не говорил ни слова о религии. Так, болтая, доехали мы до Авиньона, часов в одиннадцать вечера.

— Позвольте мне,— сказал я аббату, наливая ему за ужином вино,— предложить довольно редкий тост: За республику *et pour les hommes de l'Eglise qui sont républicains!*<sup>1</sup>

Аббат встал и заключил несколько ципероновских фраз словами: «*A la République future en Russie!*»<sup>2</sup>

«*A la République universelle!*»<sup>3</sup> — закричал кондуктор дилижанса и человека три, сидевших за столом. Мы чокнулись.

Католический поп, два-три сидельца, кондуктор и русские — как же не всеобщая республика?

<sup>1</sup> и за духовных лиц-республиканцев! (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> «За будущую республику в России!» (франц.). — *Ред.*

<sup>3</sup> «За всемирную республику!» (франц.). — *Ред.*

А ведь весело было!

— Куда вы? — спросил я аббата, усаживаясь снова в дилижанс и попросив его пастырского благословения на курение сигары.

— В Париж, — отвечал он, — я избран в Национальное собрание; я буду очень рад видеть вас у себя — вот мой адрес.

Это был аббат Сибур, doyen<sup>1</sup> чего-то, брат парижского архиепископа.

... Через две недели наступало 15 мая, этот грозный ритуальный\*, за которым шли страшные Июньские дни. Тут все принадлежит не моей биографии — а биографии рода человеческого...

Об этих днях я много писал\*.

Я мог бы тут кончить, как старый капитан в старой песне:

Te souviens-tu?... mais ici se m'arrête,  
Ici finit tout noble souvenir<sup>2</sup>.

Но с этих-то *проклятых* дней и начинается последняя часть моей жизни.

---

<sup>1</sup> настоятель (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Помнишь ли? Однако — умолкаю. На этом кончаются возвышенные воспоминания (франц.).—*Ред.*



---

## ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

*Тетрадь первая*

### I. СОН

Помните ли, друзья, как хорош был тот зимний день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи, когда мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались?

...Был уже вечер, возок заскрипел по снегу, вы смотрели печально вслед и не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного только не доставало — *ближайшего из близких*, он один был далек и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде\*.

Это было 21 января 1847 года\*.

С тех пор прошли семь лет<sup>1</sup>, и *какие семь лет!* В их числе 1848 и 1852.

Чего и чего не было в это время, и все рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.

Камня на камне не осталось от прежней жизни. *Тогда* я был во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне залоги. Я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила даль, ширь, открытая борьба

---

<sup>1</sup> Писано в конце 1853 года.

и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле...

*Теперь* я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира — да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и, вообще, такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть переехала дорогу...

...Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах.

Испуганный Парижем 1847 года, я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия «просыпалась» на моих глазах! Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви \*, — вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла одр свой и пошла — в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение. Когда я пришел в себя, все исчезло — *la sonnambula*<sup>1</sup>, испуганная полицией, упала с крыши, друзья рассеялись или с ожесточением добивали друг друга... И я очутился один-одинехонек, между гробов и колыбелей — сторожем, защитником, мстителем — и

---

<sup>1</sup> лунатичка (итал.). — *Ред.*



ничего не сумел сделать, потому что хотел сделать больше обыкновенного.

И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило, и остаюсь здесь, потому что не знаю, что из себя делать. Чужая порода людей кишит, мятется около меня, обьятая тяжелым дыханьем океана, — мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане, в котором очертания смутились, в котором огонь делает только тусклые пятна.

...А *та* страна, обмытая темносиним морем, накрытая темносиним небом... Она одна осталась светлой полосой — по ту сторону кладбища.

О Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за день время, в которое я был пьян тобою!

...Темная ночь. Корсо покрыто народом \*, кое-где факелы. В Париже уже с месяц провозглашена республика. Новости пришли из Милана — там дерутся, народ требует войны; носится слух, что Карл-Альберт идет с войском \*. Говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух.

Толпы строятся, они идут к пиэмонтскому послу узнать, объявлена ли война.

— В ряды, в ряды с нами! — кричат десятки голосов.

— Мы иностранцы.

— Тем лучше, *Santo dio*<sup>1</sup>, вы наши гости.

Пошли и мы.

— Вперед гостей, вперед дам, вперед *le donne forestiere*!<sup>2</sup>

И толпа с страстным криком одобрения расступилась. Чичероваккио и с ним молодой римлянин, поэт народных песен \*, продаются с знаменем, трибун жмет руки дамам и становится с ними во главе десяти, двенадцати тысяч человек — и все двинулось в том величавом и стройном порядке, который свойственен только одному римскому народу.

Передовые взопли в Палаццо, и, через несколько минут, двери залы растворились на балкон. Посол явился успокоить

---

<sup>1</sup> святы́й бо́же (итал.).— *Ред.*

<sup>2</sup> приезжих дам (итал.).— *Ред.*

народ и подтвердить весть о войне, слова его приняты с иступленной радостью. Чичероваккио был на балконе, сильно освещенный факелами и канделябрами, а возле него — осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все *четыре русские* \* — не странно ли? Я как теперь их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхающийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и проклятиями иезуитам громкое «Evviva le donne forestiere»<sup>1</sup>.

В Англии их и нас освистали бы, осыпали бы грубостями, а может, и камнями; во Франции приняли бы за подкупных агентов. А здесь аристократический пролетарий, потомок Мария и древних трибунов, горячо и искренно приветствовал нас. Мы им были приняты в европейскую борьбу... и с одной Италией не прервалась еще связь любви, по крайней мере сердечной памяти.

И будто все это было... опьянение, горячка? Может — но я не завидую тем, которые не увлеклись тогда изящным сновидением. Долго спать все же нельзя было; неумолимый Макбет действительной жизни заносил уже свою руку, чтоб убить «сон»... \* и

My dream was past—it has no further change!<sup>2</sup> \*

## II. В ГРОЗУ

...Вечером 24 июня, возвращаясь с Place Maubert, я взшел в кафе на набережной Orsay. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе; я подошел к окну: уродливая, комическая banlieue<sup>3</sup> шла из окрестностей на помощь порядку; неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах, шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком: «Да здравствует Людовик-Наполеон!»

Этот зловеющий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: «Да здравствует республика!» Ближние к окну показали мне

---

<sup>1</sup> «Да здравствуют иностранки» (итал.).— *Ред.*

<sup>2</sup> Мой сон исчез—и новым не сменился (англ.).— *Ред.*

<sup>3</sup> предместье (франц.).

кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя пшпайгой; и долго еще слышался их приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику, наказать собою Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат.

Двадцать пятого или шестого июня, в 8 часов утра, мы пошли с А<нненковым> на Елисейские Поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия. На Place de la Concorde был отряд мобили; около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближних домов; у всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет 17, опираясь на ружье, что-то рассказывал; подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспанных ночей и водки; многие дремали, упирая подбородок на ружейное дуло.

— Ну, уж тут что было, этого и описать нельзя. — Замолчав, он продолжал: — Да, и они-таки хорошо дрались, ну только и мы за наших товарищей заплатили! Сколько их попадало! Я сам до дула всадил штык пяти или шести человекам — припомнят! — добавил он, желая себя выдать за закоснелого злодея.

Женщины были бледны и молчали, какой-то дворник заметил: «По делам мерзавцам!» ... но дикое замечание не нашло ни малейшего отзыва. Это было слишком низкое общество, чтоб сочувствовать резне и несчастному мальчишке, из которого сделали убийцу.

Мы молча и печально пошли к Мадлене \*. Тут нас остановил кордон Национальной гвардии. Сначала пошарили в карманах, спросили, куда мы идем, и пропустили; но следующий кордон, за Мадленой, отказал в пропуске и отослал нас назад; когда мы возвратились к первому, нас снова остановили.

— Да ведь вы видели, что мы сейчас тут шли?

— Не пропускайте! — закричал офицер.

— Что вы, смеетесь над нами, что ли? — спросил я его.

— Тут нечего толковать! — грубо ответил лавочник в мундире. — Берите их — и в полицию: одного я знаю (он указал на меня), я его не раз видел на сходках, другой должен быть такой же, они оба не французы, я отвечаю за все — вперед!

Два солдата с ружьями впереди, два за нами, по солдату с каждой стороны, — повели нас. Первый встретившийся человек был представитель народа, с глупой воронкой в петлице \* — это был Токвиль, писавший об Америке \*. Я обратился к нему и рассказал, в чем дело; шутить было нечего: они без всякого суда держали людей в тюрьме, бросали в тюльерийские подвалы, расстреливали. Токвиль даже не спросил, кто мы; он весьма учтиво раскланялся и отпустил нижеследующую пошлость: «Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжения исполнительной». Как же ему было не быть министром при Бонапарте?

«Исполнительная власть» повела нас по бульвару, в улицу Шоссе д'Антен, к комиссару полиции. Кстати, не мешает заметить, что ни при аресте, ни при обыске, ни во время пути я не видал ни одного полицейского; все делали мещане-воины. Бульвар был совершенно пуст, все лавки заперты, жители бросались к окнам и дверям, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди. «Des émeutiers étrangers»<sup>1</sup> — отвечал наш конвой, и добрые мещане смотрели на нас со скрежетом зубов.

Из полиции нас отослали в Hôtel des Capucines; там помещалось министерство иностранных дел, но на это время — какая-то временная полицейская комиссия. Мы с конвоем вошли в обширный кабинет. Плешивый старик в очках и весь в черном сидел один за столом; он снова спросил нас все то, что спрашивал комиссар.

— Где ваши виды?

— Мы их никогда не носим, ходя гулять...

Он взял какую-то тетрадь, долго просматривал ее, повидимому, ничего не нашел и спросил провожатого:

— Почему вы захватили их?

— Офицер велел; он говорит, что это очень подозрительные люди.

---

<sup>1</sup> «Иностранные бунтовщики» (франц.). — *Ред.*

— Хорошо,— сказал старик,— я разберу дело, вы можете идти.

Когда наши провожатые ушли, старик просил нас объяснить причину нашего ареста. Я ему изложил дело, прибавил, что офицер, может, видел меня 15 мая у Собранья, и рассказал случай, бывший со мной вчера. Я сидел в кафе «Комартин», вдруг сделалась фальшивая тревога, эскадрон драгун пронесся во весь опор, Национальная гвардия стала строиться, я и человек пять, бывших в кафе, подошли к окну; национальный гвардеец, стоявший внизу, грубо закричал:

— Слышали, что ли, чтоб окна были затворены?

Тон его дал мне право думать, что он не со мной говорит, и я не обратил ни малейшего внимания на его слова; к тому же я был не один, а случайно стоял впереди. Тогда защитник порядка поднял ружье и, так как это происходило в *rez-de-chaussée*<sup>1</sup>, хотел пырнуть штыком, но я заметил его движение, отступил и сказал другим:

— Господа, вы свидетели, что я ему ничего не сделал,— или это такой обычай у Национальной гвардии колотить иностранцев?

— *Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom!*<sup>2</sup>— подхватили мои соседи.

Испуганный трактирщик бросился закрывать окна, сержант с подлой наружностью явился с приказом гнать всех из кофейной; мне казалось, что это был тот самый господин, который велел нас остановить; к тому же кафе «Комартин» в двух шагах от Мадлены.

— Вот то-то, господа, видите, что значит неосторожность, зачем в такое время выходить со двора? Умы раздражены, кровь течет...

В это время национальный гвардеец привел какую-то служанку, говоря, что офицер ее схватил в то самое время, как она хотела бросить в ящик письмо, адресованное в Берлин. Старик взял пакет и велел солдату идти.

— Вы можете отправляться домой,— сказал он нам,— только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кор-

<sup>1</sup> нижнем этаже (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Но это подло, этому нет названия! (франц.). — *Ред.*

дона, который вас схватил. Да, постоит, я вам дам провожатого, он вас выведет на Елисейские Поля, там можете пройти.

— Ну и вы,— заметил он служанке, отдавая письмо, до которого не дотронулся,— бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше.

Итак, полиция защищала от вооруженных мящан!

Ночью, с 26 на 27 июня, рассказывает Пьер Леру, он был у Сенара, прося его распорядиться насчет пленных, которые задыхались в подвалах Тюльери. Сенар, человек, известный своим отчаянным консерватизмом, сказал Пьеру Леру:

— А кто будет отвечать за их жизнь на дороге? Их перебьет Национальная гвардия. Если б вы пришли часом раньше, вы застали бы здесь двух полковников, я насилу их унял и кончил тем, что сказал им, что если эти ужасы будут продолжаться, то я, вместо президентского стула в Собрании, займу место за баррикадой.

Часа через два, по возвращении домой, явился дворник, незнакомый человек во фраке и человека четыре в блузах, дурно скрывавших муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомец расстегнул фрак и жилет и, с достоинством указывая на трехцветный шарф, сказал, что он комиссар полиции Барле (тот самый, который в Народном собрании второго декабря взял за шиворот человека, взявшего, в свою очередь, Рим — генерала Удино) и что ему велено сделать у меня обыск. Я подал ему ключи, и он принялся за дело совершенно так, как в 1834 году полицмейстер Миллер.

Вошла моя жена; комиссар, как некогда жандармский офицер, приезжавший от Дубельта, стал извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда он, в заключение речи, просил быть снисходительной:

— Это было бы жестокостью с моей стороны не взойти в ваше положение: вы уже довольно наказаны обязанностью делать то, что вы делаете.

Комиссар покраснел, но не сказал ни слова. Порывшись в бумагах и отложив целый ворох, он вдруг подошел к камину, понюхал, потрогал золу и, важно обращаясь ко мне, спросил:

— С какой целью жгли вы бумаги?

— Я не жег бумаг.

— Помилуйте, зола еще теплая.

— Нет, она не теплая.

— Monsieur, vous parlez à un magistrat!<sup>1</sup>

— А зола все же холодная,— сказал я, вспыхнув и подняв голос.

— Что же, я лгу?

— Почему же вы имеете право сомневаться в моих словах?.. Вот с вами какие-то *честные работники*, пусть попробуют. Ну, да если б я и жег бумагу? Во-первых, я вправе жечь, а во-вторых, что же вы сделаете?

— Больше у вас нет бумаг?

— Нет.

— У меня есть еще несколько писем, и презанимательных, пойдемте ко мне, — сказала моя жена.

— Помилуйте, ваши письма...

— Пожалуйста, не перемоньтесь... ведь вы исполняете ваш долг, пойдемте.

Комиссар пошел, слегка взглянул на письма, большей частью из Италии, и хотел выйти...

— А вот вы и не видали, что тут внизу письмо из Консьерж-ри, от арестанта — видите? Не хотите ли взять с собой?

— Помилуйте, сударыня,— отвечал квартальный республики,— вы так предубеждены, мне этого письма вовсе не нужно.

— Что вы намерены сделать с русскими бумагами? — спросил я.

— Их переведут.

— Вот в том-то и дело, откуда вы возьмете переводчика? Если из русского посольства, то это равняется доносу; вы погубите пять, шесть человек. Вы меня искренно обяжете, если упомянете в *procès-verbal*<sup>2</sup>, что я настоятельно прошу взять переводчика из польской эмиграции.

— Я думаю, что это можно.

— Благодарю вас; да вот еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

— Немного.

---

<sup>1</sup> Сударь, вы говорите с должностным лицом! (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> протоколе (франц.). — *Ред.*

— Я вам покажу два письма; в них слово «Франция» не упомянуто, писавший их в руках сардинской полиции; вы увидите по содержанию, что ему плохо будет, если письма дойдут до нее.

— Mais ah ça! <sup>1</sup>— заметил комиссар, начинавший входить в человеческое достоинство.— Вы, кажется, думаете, что мы в связи со всеми *деспотическими* полициями. Нам дела нет до чужих. Поневоле мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела.

— Очень хорошо, стало, вы письма можете оставить.

Комиссар не солгал: он действительно *не много* знал по-итальянски и потому, повертевши письма, положил их в карман, обещаясь возвратить.

Тем его визит и кончился. Письма итальянца он отдал на другой день, но мои бумаги канули в воду. Прошел месяц, я написал письмо к Каваньяку, спрашивая его, отчего полиция не возвращает моих бумаг и не говорит о том, что нашла в них,— вещь, может, очень неважная для нее, но чрезвычайно важная для моей чести.

Последнее было вот на чем основано. Несколько знакомых вступились за меня, находя безобразным визит комиссара и задержание бумаг.

— Мы желали удостовериться, — сказал Ламорисьер, — не *агент ли он русского правительства*.

Это гнусное подозрение я услышал тут в первый раз; для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла так публично, так открыто, как в хрустальном улье, и вдруг сальное обвинение и от кого?— от республиканского правительства!

Через неделю меня потребовали в префектуру; Барле был со мною; нас принял в кабинете Дюку молодой чиновник, очень похожий на петербургского начальника отделения, из развязных.

— Генерал Каваньяк, — сказал он мне, — поручил префекту возвратить ваши бумаги без малейшего разбора. Сведения, собранные о вас, делают его совершенно излишним, на вас не падает никакого подозрения; вот ваша портфель, не угодно ли вам подписать предварительно эту бумагу?

---

<sup>1</sup> Ну, что вы! (франц.).—Ред.



Это была расписка в том, что «бумаги все сполна мне возвращены».

Я приостановился и спросил, не будет ли правильнее, если я пересмотрю бумаги.

— До них не дотрогивались. Впрочем, вот печать.

— Печать цела,— заметил успокоительно Барле.

— Моей печати тут нет. Да ее и не прикладывали.

— Это моя печать, да ведь у вас был ключик.

Не желая отвечать грубостью, я улыбнулся. Это взбесило обоих; начальник отделения сделался начальником департамента, схватил ножик и, взрезывая печать, сказал довольно грубым тоном:

— Пожалуй, смотрите, коли не верите, только у меня нет столько свободного времени,— и он вышел, кланяясь с важностью.

То, что они рассердились, убедило меня, что бумаг действительно не смотрели, и потому, едва бросив взгляд, я дал расписку и отправился домой.



---

## ГЛАВА XXXVI

«La Tribune des Peuples». — Мицкевич и Рамон де-ла-Сагра. — Хористы революции 13 июня 1849. — Холера в Париже. — Отъезд.

Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких связей; литературные и политические кружки оставались мне совершенно чуждыми. Причин на это было много. Прямого случая не представлялось — искать я не хотел. Ходить, только чтобы смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими: они одобряют, поощряют нас, хвалят наше произношение и наше богатство; мы выносим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами — мы за ними не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него; нам совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невежество, — они пользуются всем этим с безнадежным довольством собой.

Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно *импонировать*; на это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой.

Не должно, сверх того, забывать, что нет людей, с которыми было бы легче завести шапочное знакомство, как с французами, — и нет людей, с которыми было бы труднее в самом деле сойтись. Француз любит жить на людях, чтобы себя показать, чтобы иметь слушателей, и в этом он так же противоположен англичанину, как и во всем остальном. Англичанин смотрит на людей от скуки, смотрит, как из партера, употребляет людей для раз-

влечения, для получения сведений; англичанин постоянно спрашивает, а француз постоянно отвечает. Англичанин все недоумевает, все обдумывает — француз все знает положительно; он кончен и готов, он дальше не пойдет; он любит проповедовать, рассказывать, поучать — чему? кого? — все равно. Потребности личного сближения у него нет, кафе его вполне удовлетворяет, он, как Репетилов, не замечает, что, вместо Чацкого, стоит Скалозуб, вместо Скалозуба — Загорецкий\*, и продолжает толковать о Камере, присяжных, о Байроне (которого называет «Бирон») и о материях важных.

Возвратившись из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая, потом прострадал: Июньские дни и осадное положение. Тогда я еще глубже вгляделся в вольтеровского *tigre-singe*<sup>1</sup>, — и у меня прошло даже желание знакомиться с сильными республики сей.

Раз представлялась было возможность общего труда, которая могла привести в сношение со многими лицами, — да и та не удалась. Граф Ксаверий Браницкий дал семьдесят тысяч франков на основание журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французские газеты занимают мало и плохо тем, что делается вне Франции; во время республики они думали, что достаточно подчас ободрить все языцы словом *solidarité des peuples*<sup>2</sup>, обещанием, как только дома обдусужатся, завести всемирную республику, основанную на всеобщем братстве. При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной», из него можно было сделать международный «Монитор» движения и прогресса\*. Его успех был тем вернее, что всеобщих газет вовсе нет — в «Теймсе» и «*Journal des Débats*» бывают превосходные статьи о специальных вопросах, но без связи, случайно, отрывочно. Редакция «Аугсбургской газеты» была бы действительно самая всеобщая, если б от ее *черно-желтого* направления не так грубо рябило в глазах.

---

<sup>1</sup> тигра-обезьяну (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> солидарность народов (франц.).— *Ред.*

Но, видно, всем добрым начинаниям 1848 года было на роду написано родиться на седьмом месяце и умереть прежде первого зуба. Журнал пошел плохо, вяло — и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849\*.

Когда все было готово и начеку: дом был нанят и устроен с большими столами, покрытыми сукном, и маленькими косыми конторками, тощий французский литератор был приставлен смотреть за международными орфографическими ошибками\*, при редакции учрежден совет из бывших польских нунциев и сенаторов, а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощники которому дан Хоецкий, — оставалось торжественно начать, и когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля\*, и чем же приличнее, как не ужином?

Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза, зато другие нации, от Сицилии до кроатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо — Адам Мицкевич; я его никогда прежде не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже\*, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную летам. Много дум и страданий сквозили в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало пережитое несчастье, знакомство с внутреннею болью, экзальтацию горести — это был пластический образ *судеб Польши*. Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля\*; впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, рассеивало; это *что-то* был его странный мистицизм, в который он заступал дальше и дальше.

Я подошел к нему, он меня стал расспрашивать о России; сведения его были отрывочны, литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию\*. Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов, — мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то

неприятное к России. Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами; притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора.

Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговей; иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим *laisser-aller*<sup>1</sup>. Быть признанным людьми одного образа мнения, иметь на них влияние, видеть их любовь — желает каждый, отдавшийся душою и телом своим убеждениям, живший ими; но наружных знаков симпатии и уважения я не желал бы принимать: они разрушают равенство и, следовательно, свободу; да, сверх того, в этом отношении нам никак не догнать ни архиереев, ни начальников департаментов, ни полковых командиров.

Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост «в память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтоб я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост «за Мицкевича» и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз, в Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году\*. Хомяков поднял бокал с словами «за великого отсутствующего славянского поэта!» Имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все поднимали бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкий был доволен; подтасовавши таким образом наше *extempore*<sup>2</sup>, мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост, Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить от нее. По мере того, как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал

---

<sup>1</sup> непринужденностью (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> экспромт (лат.).— *Ред.*

одного слова, одного имени, чтоб не осталось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться! \*

Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она снова ринется на освобождение всех притесненных народов, под теми же орлами, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая как бы самым провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед\*.

Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:

— Что же вы?

— Я не скажу ни слова, после этой речи.

— Пожалуйста, что-нибудь.

— Ни под каким видом.

Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменялся в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое «Je demande la parole»<sup>1</sup> положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик, лет семидесяти, весь седой, с славной, энергической наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Рамон де-ла-Сагра.

— За 24 февраля,— сказал он,— таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за 24 февраля и на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королевским или императорским, бурбонским или бонапартовским. Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он смотреть может на дела как поэт и по-своему прав, но я не хочу, чтоб его слова в таком собрании прошли без протестации...—

---

<sup>1</sup> «Прошу слова» (франц.).—Ред.

И пошел, и пошел со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.

Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяснение, они не удались. Де-ла-Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал.

Хуже предзнаменования для нового журнала не могло быть, — он просуществовал кое-как до 13 июня и исчез так незаметно, как существовал. Единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, *usé par la gloire*<sup>1</sup>, другие не смели разворачивать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию, я не послал ни разу ни одной строчки. Если б наполеоновская полиция была умнее, никогда «*Tribune des Peuples*» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июне. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела\*.

Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то, вместо освобождения, или выдумывают себе кумир, или попадают под влияние какого-нибудь визионера<sup>2</sup>. Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскрыл голову сотням поляков и самому Мицкевичу \*. Поклонение Наполеону принадлежит на первом плане к этому безумию; Наполеон ничего не сделал для них, он не любил Польши, а любил поляков, проливавших за него кровь с тем поэтически колоссальным мужеством, с которым они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра \*. В 1812 году

---

<sup>1</sup> истрепанного славою (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> духовидца (франц. *visionnaire*). — *Ред.*

Наполеон говорил Нарбону: «Я хочу в Польше лагерь, а не форум. Я равно не позволю ни в Варшаве, ни в Москве открыть клуб для демагогов», — и из него-то поляки сделали военное воплощение бога, поставили рядом с Вишну и Христом.

Раз вечером поздно, зимой 1848, шел я с одним поляком из Мицкевичевых приверженцев по Вандомской площади. Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял фуражку. — «Неужели?...» — подумал я, не смея верить в такую глупость, и смиренно спросил его, что за причина, что он снял фуражку. Поляк показал мне пальцем на бронзового императора. Как же после этого не теснить и не угнетать людей, когда это приобретает столько любви!

В домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посеченное богом». Жена его долгое время была поврежденной. Товянский заговаривал ее и будто помог, это особенно поразило Мицкевича, но следы болезни остались... Дела их шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великого поэта, пережившего себя. Он угас в Турции, замешавшись в нелепое дело устройства казачьего легиона, которому Турция запретила называться польским\*. Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона\*.

После этой неудачной попытки участвовать в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в трех-четырёх банкетах, т. е. ел холодную баранину и пил кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая «Марсельезу». Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России — ни дальней зарницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета; писать ко мне перестали; личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь<sup>1</sup>, наконец, вслед за гробом Николая.

---

<sup>1</sup> Писано в 1856 г.



Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение...

...Холера свирепствовала в Париже, тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки,— все это соответствовало событиям.

Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу\*; вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром, часов в семь, пришли мне сказать, что у нее холера; я пошел к ней и обомлел,— ни одной черты не осталось по-прежнему— она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съежились, темные тени легли под глазами. Насилу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне:

— Вы сами видите, что тут делать,— прописал что-то и уехал.

Больная подозвала меня и спросила:

— Что вам сказал доктор? Он вам что-то сказал?

— Послать за лекарством.

Она взяла меня за руку — и рука ее удивила меня больше лица: она исхудала и сделалась угловатой, как будто месяц тяжкой болезни прошел с тех пор, как она занемогла,—и, останавливая на мне взгляд, исполненный страдания и ужаса, проговорила:

— Скажите, бога ради, что он сказал... что, умираю я?.. Да вы меня не боитесь? — прибавила она.

Мне ее было ужасно жаль в эту минуту; это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивал ее жизнь, должно было быть безмерно мучительно. К утру она умерла.

И. Т<ургене>в собирался ехать из Парижа, срок его квартиры окончился; он пришел ко мне переночевать. После обеда он жаловался на духоту; я сказал ему, что купался утром,—вечером пошел и он купаться. Возвратившись, он чувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил меня.

— Я потерянный человек,— сказал он мне,— холера.

У него действительно были тошнота и спазмы; но счастью, он отделался десятью днями болезни.

Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала в Ville d'Avray. Когда занемог И. Т<ургене>в, я отправил туда Natalie и детей и остался один с ним, а когда ему стало гораздо легче, переехал и я туда\*.

Туда-то утром, 12 июня, явился ко мне Сазонов. Он был в величайшем одушевлении, говорил о готовящемся движении, о неминуемости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво лавр. Я говорил ему, что он знает мое мнение о настоящем положении дел, что мне кажется глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего.

На это восторженный агитатор заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статьи в то время, как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам и даже к преступлениям, заговорило во мне.

— Да с чего же ты вообразил, что я не пойду?

— Я так заключил из твоих слов.

— Нет, я сказал, что это глупо, но ведь не говорил, что я никогда не делаю глупостей.

— Вот этого-то я и хотел. Вот таким-то я тебя люблю! Ну, так нечего терять времени, едем в Париж. Сегодня вечером немцы и другие рефюжье собираются в девять часов, пойдем сначала к ним.

— Где же они собираются? — спросил я его в вагоне.

— В café Lamblin, в Palais-Royal'e.

Это было мое первое удивление.

— Как в café Lamblin?

— Там обыкновенно собираются «красные».

— Именно потому-то, мне кажется, и следовало бы сегодня собраться в другом месте.

— Да уже они все там привыкли.

— Пиво, верно, очень хорошо!

В кафе, за десятком маленьких столиков, важно заседали разные *habitués*<sup>1</sup> революции, значительно и мрачно посматривавшие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их *табло*<sup>2</sup>, их *фон*, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застращать англичан.

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле, так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции.

В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частью очень недалекие и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.

Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, т. е. те общие места, которые последовательно появляются одни и те же, *à tour de rôle*<sup>3</sup>, как уточки в известной детской игрушке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках.

Сверх людей наивных, революционных доктринеров, в эту среду естественно втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученье, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными

---

<sup>1</sup> завсегдатаи (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> картину (франц. *tableau*). — *Ред.*

<sup>3</sup> по очереди (франц.). — *Ред.*

притязаниями, но без выдержки и силы на труд. Внешнее руководство, которое гуртом пасет в обыкновенные времена стада человеческие, слабеет во времена переворотов, люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой, и то только по видимому, всплывают знаменитости в революционные времена, поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сделано сегодня, можно сделать завтра, можно и вовсе не делать.

Хористы революции, подобно хору греческих трагедий, делятся еще на полухоры; к ним идет ботаническая классификация: одни из них могут назваться *тайнобрачными*, другие — *явнобрачными*. Одни из них делаются вечными заговорщиками, меняют по несколько раз квартиру и форму бороды. Они тайно и приглашают на какие-то необыкновенно важные свидания, если можно, ночью или в каком-нибудь неудобном месте. Встречаясь публично с своими друзьями, они не любят кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрывают свой адрес, не сообщают день отъезда, не рассказывают, куда едут, пишут шифрами и химическими чернилами новости, напечатанные просто голландской сажой в газетах.

При Людовиге-Филиппе, рассказывал мне один француз, Э., замешанный в какое-то политическое дело, скрывался в Париже; при всех своих прелестях такая жизнь становится *à la longue*<sup>1</sup> утомительна и скучна. Делессер, *bon vivant*<sup>2</sup> и богатый человек, был тогда префектом; он служил по полиции не из нужды, а из страсти и любил иногда весело пообедать. У него и у Э. было много общих приятелей; раз, между «грушей и сыром»<sup>3</sup>, как говорят французы, один из них сказал ему:

— Какая досада, что вы так преследуете бедного Э.? Мы лишены славного собеседника, и он должен скрываться, как преступник.

---

<sup>1</sup> в конце концов (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> кутила (франц.). — *Ред.*

<sup>3</sup> к концу обеда (франц. *entre la poire et la fromage*). — *Ред.*

— Помилуйте, — сказал Делессер, — об его деле помину нет. Зачем он прячется? — Знакомые его иронически улыбаются. — Я его постараюсь уверить, что он делает вздор, и вас с тем вместе.

Приехавши домой, он позвал одного из главных шпионов и спросил его:

— Что Э., в Париже?

— В Париже, — отвечал шпион.

— Прячется? — спросил Делессер.

— Прячется, — отвечал шпион.

— Где? — спросил Делессер.

Шпион вынул книжку, порылся в ней и прочел его адрес.

— Хорошо, так ступайте к нему завтра утром рано и скажите, что он напрасно беспокоится, что мы его не ищем и что он может спокойно жить на своей квартире.

Шпион в точности исполнил приказание, а через два часа после его визита Э. таинственно извещал своих близких и друзей, что он уезжает из Парижа и будет скрываться в одном из дальних городов, потому-де, что префект открыл место, где он прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завесой таинственности и красноречивым молчанием свою тайну, столько явнobraчные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это бессменные трибуны кофейных и клубов; они постоянно недовольны всем и хлопочут обо всем, все сообщают, даже то, чего не было, а то, что было, является у них, как горы в рельефных картах, возведенное в квадрат и куб. Глаз до того к ним привыкает, что невольно ищет их при всяком уличном шуме, при всякой демонстрации, на всяком банкете.

...Для меня зрелище в *café Lamblin* было еще ново, я мало был знаком тогда с задним двором революции. Правда, я ходил в Риме и в *caffè delle Belle Arti*\* и на площадь, бывал в *Circolo Romano*\* и в *Circolo Popolare*\*, но тогдашнее римское движение не имело еще того характера политической махровости, который особенно развился после неудач 1848 года. Чичероваккио и его друзья имели свои наивности, свою южную мишуру, которая нам кажется фразой, и свои итальянские фразы,

которые мы принимаем за декламацию; но они были в периоде юного увлечения, они еще не пришли в себя после трехвекового сна; *il popolo*<sup>1</sup> Чичероваккио вовсе не был политическим агитатором по ремеслу, он ничего лучше не просил бы, как снова удалиться с миром в свой небольшой дом *Strada Ripetta*<sup>2</sup> и торговать лесом и дровами в кругу своей семьи, как *pater familias*<sup>3</sup> и свободный *civis romanus*<sup>4</sup>.

В людях, его окружавших, не могло быть той печати пошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера *taré*<sup>5</sup>, который так печально распространился во Франции.

Само собою разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех делателях и двигателях событий, кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той налипшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова \* или как шагистика — Николаю.

Реакции радоваться нечему — не такими репейниками и мухоморами поросла она и не на закраинах, а повсюду. В ней целые населения чиновников, дрожащих перед начальниками, шныряющих шпионов, вольнонаемных убийц, готовых драться с той и другой стороны, офицеров во всех отвратительных видах, от прусского юнкертума до хищных французских алжирцев, от гвардейцев до «камер-пажей». И тут мы еще только коснулись светской реакции, не трогая ни нищенствующую братию, ни интригующих иезуитов, ни полицействующих попов, ни прочих членов ангельского и архангельского чина.

---

<sup>1</sup> сын народа (итал.).— *Ред.*

<sup>2</sup> на улице Рипетта (итал.).— *Ред.*

<sup>3</sup> отец семейства (лат.).— *Ред.*

<sup>4</sup> римский гражданин (лат.).— *Ред.*

<sup>5</sup> с изъяном (франц.).— *Ред.*

Если в реакции есть что-нибудь похожее на наших дилетантов революции, то это придворные — люди, употребляемые для церемоний, люди выходов и входов, люди, бросающиеся в глаза на крестинах и бракосочетаниях, на коронациях и похоронах, люди для мундира, для шитья, представляющие лучи власти, ее аромат.

В café Lamblin, где отчаянные граждане сидели за пиверами<sup>1</sup> и большими стаканами, я узнал, что нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы. Вдохновение должно было сойти, как некогда святой дух на голову апостолов. Только в одном пункте все были согласны — *в том, чтоб явиться на место сбора без оружия*. После пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтоб завтра в восемь часов утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle, против Château d'Eau\*, мы отправились в редакцию «Истинной республики».

Издателя не было дома: он поехал «к горцам» за инструкциями\*. В большой, почернелой, слабо освещенной и еще слабее мебелированной зале, служившей редакции для сбора и совещаний, было человек двадцать, большей частью поляки и немцы. Сазонов взял лист бумаги и принялся что-то писать; написавши, он нам прочел: это была протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении\*. Тем, кто хотел обессмертить свое имя, связывая его с славным завтра, он предлагал подписаться. Почти все хотели обессмертить свое имя и подписались. Вошел издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что он много знает, но должен молчать: я был уверен, что он ничего не знает.

— Citoyens,—сказал Торе,—la Montagne est en permanence<sup>2</sup>.

Ну что же сомневаться в успехе — en permanence! Сазонов передал издателю протестацию европейской демократии. Издатель перечитал и сказал:

— Это прекрасно, это прекрасно! Франция вас благодарит, граждане; но зачем же подписи? Их так немного, что, в случае неудачи, на вас обрушится вся злоба наших врагов.

<sup>1</sup> рюмками (франц. petit verre). — *Ред.*

<sup>2</sup> Граждане, Гора заседает непрерывно (франц.). — *Ред.*

Сазонов настаивал, чтоб имена остались; многие были согласны с ним.

— Я не беру этого на мою ответственность,— возразил издатель,— простите меня, я лучше вас знаю, с кем мы имеем дело.

При этом он оторвал подписи и предал имена дюжины кандидатов на бессмертие всеожжению на свече, а текст послал набирать в типографию.

Когда мы вышли из редакции, рассветало; толпы оборванных мальчишек и несчастных, убого одетых женщин стояли, сидели, лежали по тротуарам, возле разных редакций, ожидая кипы журналов — одни, чтоб их складывать, другие, чтоб бежать с ними во все концы Парижа. Мы вышли на бульвар, тишина была совершенная, изредка попадались патрули Национальной гвардии, прогуливались и лукаво поглядывавшие городовые сержанты.

— Как беззаботно спит этот город, — сказал мой товарищ, — не предчувствуя, какая гроза его разбудит завтра!

— Вот кто не спит за нас за всех,— сказал я ему, указывая наверх, т. е. на освещенное окно в Maison d'Or \*. — Это очень кстати, зайдем выпить абсину; у меня что-то на желудке нехорошо.

— А у меня пусто, к тому же оно и недурно поужинать; как едят в Капитолии, я не знаю, ну, а в Консьержри \* кормят отвратительно.

По костям холодной индейки, оставшимся от трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирепствовала в Париже, ни того, что мы идем через два часа менять судьбы Европы. Мы ели в Maison d'Or так, как Наполеон спал под Аустерлицем.

Часу в девятом, когда мы пришли на бульвар Bonne Nouvelle, на нем уже стояли многочисленные кучки людей, с видимым нетерпением ожидавших, что делать; на лицах было написано недоумение, но с тем вместе по особенной физиономии групп видно было большое озлобление. Найди себе эти люди настоящих вожатаев, день не окончился бы фарсом \*.

Была минута, в которую мне показалось, что сейчас завяжется дело. Какой-то господин довольно тихо ехал верхом по



бульварам. В нем узнали одного из министров (Лакруа), который, вероятно, не для одного чистого воздуха прогуливался верхом так рано. Его окружили с криком, стащили с лошади, изодрали ему фрак и потом отпустили, т. е. другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часам к десяти могло быть до двадцати пяти тысяч человек. Кого мы ни спрашивали, к кому мы ни обращались, никто ничего не знал. Кер-сози, времен минувших карбонаро, уверял нас, что банльё<sup>1</sup> входит в Arc de Triomphe с криком: «Vive la République!»

— Пуще всего,— опять повторяли все старейшины демократии,— будьте без оружия, а то вы испортите характер дела. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить Собранию свою волю, чтоб не дать врагам никакого повода к клевете.

Наконец, колонны состроились. Из нас, иностранцев, составили почетную фалангу за самыми вожатыми, в числе которых были Э. Араго, в полковничьем мундире, бывший министр Бастид и другие знаменитости 1848 года. С разными криками и с «Марсельезой» двинулись мы по бульвару. Кто не слышал «Марсельезы», петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма.

В эту минуту демонстрация получила величавый характер. По мере того как мы тихо двигались по бульварам, все окна отворялись; дамы, дети толкались у них и выходили на балконы; мрачные и встревоженные лица их мужей, отцов-пропrietеров выглядывали из-за них, не замечая, что в четвертых этажах и мансардах высывались другие головки, бедных швей и работниц; они махали нам платками, кланялись и приветствовали руками. Время от времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домов известных лиц.

Так дошли мы до того места, где rue de la Paix входит в бульвары; она была заперта взводом венсенских стрелков, и, когда наша колонна поравнялась с ними, стрелки вдруг расступились, как декорация в театре,— и Шангарнье, верхом

---

<sup>1</sup> предместье (франц. banlieue).— *Ред.*

на небольшой лошади, скакал перед эскадроном драгунов. Без всяких соммаций<sup>1</sup>, без барабанного боя и прочих законом предписанных форм, он, смяв передовые ряды, отрезал их от прочих и, развернув драгунов на две стороны, велел им скорым шагом расчистить улицу. Драгуны с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малейшем сопротивлении. Я едва успел сообразить, что случилось, как очутился нос с носом с лошадьёю, которая фыркала мне в лицо, и с драгуном, который, ругаясь, также не за глаза, грозился вытянуть меня фухтелем, если я не пойду в сторону. Я подался направо и, в одно мгновение, был увлечен толпой и прижат к решетке rue Basse des Remparts. Из нашего ряда остался возле меня один М<юллер> Стрюбинг; между тем драгуны жали передовых людей лошадьми, а они нас людьми, которым некуда было деться. Э. Араго соскочил в улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнул себе ногу; вслед за ним соскочил и я с Стрюбингом; мы взглянули друг на друга с каким-то бешенством негодованья, Стрюбинг обернулся и громко закричал: «Aux armes! Aux armes!»<sup>2</sup> Человек в блузе схватил его за воротник и, голкая в другую сторону, сказал:

— Что вы, с ума сошли, что ли?.. смотрите сюда.

По улице — должно быть, Chaussée d'Antin — двигалась густая щетина штыков.

— Ступайте, пока вас не слышали да пока не отрезали дороги. Все пропало! все! — прибавил он, сжимая кулак, и, напевая песню, будто ничего не было, удалился скорыми шагами.

Мы пошли на площадь Согласия. На Елисейских Полях не было ни одного взвода из банлье, ведь и Керсози знал, что не было; это была дипломатическая ложь к спасению, а может, она была бы и к гибели тех, которые поверили бы.

Наглость нападения на безоружных людей возбудила большую злобу. Будь в самом деле что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, как начать настоящий бой. «Гора», вместо того, чтоб явиться в весь рост, услышав

---

<sup>1</sup> требований разойтись (франц. sommation). — *Ред.*

<sup>2</sup> «К оружию! К оружию!» (франц.). — *Ред.*

о том, как смешно разогнали лошадьми самодержавный народ, скрылась за облаком. Ледрю-Роллен вел переговоры с Гинаром. Гинар, начальник артиллерии Национальной гвардии, хотел сам пристать к движению, хотел дать людей, соглашался дать пушки, но ни под каким видом не хотел *давать зарядов*; он как-то хотел действовать *моральной стороной пушек*; то же делал со своим легионом Форестье. Много ли им помогло это — мы видели по версальскому процессу \*. Всем чего-то хотелось — но никто не дерзал; всего предусмотрительнее оказались несколько молодых людей: с надеждой на новый порядок — они заказали себе префектские мундиры, которых, после неудачи движения, не взяли, и портной принужден был вывесить их на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось в Arts et Métiers<sup>1</sup>, работники, походивши по улицам с вопрошающим взглядом и не находя ни совета, ни призыва, отыраивались домой, еще раз убедившись в несостоятельности горных отцов отечества, может быть, глотая слезы, как блузник, говоривший нам: «Все погибло! все!», а может, и смеясь исподтишка тому, что «Гора» опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализм Гинара — все это внешние причины неудачи и являются с тем же *кстати*, как резкие характеры и счастливые обстоятельства, когда их нужно. Внутренняя причина состояла в бедности той республиканской идеи, из которой шло движение. Идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой, могут даже, как Христос, еще раз, два показаться после смерти своим adeptам — но трудно для них снова завладеть жизнью и вести ее. Они не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей. Если б «Гора» одолела 13 июня, что бы она сделала? Нового у нее за душой ничего не было. Опять бесцветная фотография яркой и мрачной рембрандтовской, сальватор-розовской картины 1793 года, без якобинцев, без войны, даже без наивной гильотины...

Вслед за 13 июнем и опытом лионского восстания \* начались аресты; мэр с полицией приходил к нам в Ville d'Avray искать

---

<sup>1</sup> Училище искусств и ремесел (франц.). — *Ред.*

К. Блинда и А. Руге; часть знакомых была захвачена. Консьержи была набита битком: в небольшом зале было до шестидесяти человек; посреди него стоял ушат для нечистот, раз в сутки его выносили — и все это в образованном Париже, во время свирепейшей холеры. Не имея ни малейшей охоты прожить месяца два в этом комфорте, на гнилых бобах и тухлой говядине, я взял пасс у одного молдо-валаха и уехал в Женеву<sup>1\*</sup>.

Тогда еще возили Францию Lafitte и Caillard; дилижансы ставили на железную дорогу, потом снимали, помнится, в Шалоне и опять где-то ставили. Со мной в купе сел худощавый мужчина, загорелый, с подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавший на меня; с ним был небольшой сак и шпага, завернутая в клеенку. Очевидно, что это был переодетый городской сержант. Он тщательно осмотрел меня с ног до головы, потом уткнулся в угол и не произнес ни одного слова. На первой станции он подозвал кондуктора и сказал ему, что забыл превосходную карту, что он его обяжет, давши клочок бумаги и конверт. Кондуктор заметил, что до звонка остается всего минуты три; сержант выпрыгнул и, возвратившись, стал еще подозрительнее осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчание, даже позволение курить он спросил у меня молча; я отвечал также головой и глазами и вынул сам сигару. Когда стало смеркаться, он спросил меня:

— Вы в Женеву?

— Нет, в Лион, — отвечал я.

— А! — Тем разговор и кончился.

Через несколько времени отворилась дверь и кондуктор с трудом всунул плешистую фигуру в пространном гороховом пальто, в цветном жилете, с толстой тростью, мешком, зонтиком и огромным животом. Когда этот тип добродетельного дяди уселся между мной и сержантом, я его спросил, не давши ему прийти в себя от одышки:

---

<sup>1</sup> Как справедливы были мои опасения, доказал полицейский обыск, сделанный дня три после моего отъезда в доме моей матери, в Ville d'Avray\*. У нее захватили все бумаги, даже переписку ее горничной с моим поваром. Рассказ о 13 июне я не считал своевременным печатать тогда.

— Monsieur, vous n'avez pas d'objection? <sup>1</sup>

Кашляя, отирая пот и повязывая фуляром голову, он отвечал мне:

— Сделайте одолжение; помилуйте, мой сын, который теперь в Алжире, всегда курит, *il fume toujours* <sup>2</sup>,— и потом, с легкой руки, пошел рассказывать и болтать; через полчаса он уже допросил меня, откуда я и куда еду, и, услышав, что я из Валахии, с свойственной французам учтивостью прибавил: «Ah! c'est un beau pays» <sup>3</sup>, хотя он и не знал наверно, в Турции она или в Венгрии.

Сосед мой отвечал на его вопросы очень лаконически.

— Monsieur est militaire?

— Oui, monsieur.

— Monsieur a été en Algérie?

— Oui, monsieur <sup>4</sup>.

— Мой старший сын тоже, он и теперь там. Вы, верно, в Оран?

— Non, monsieur <sup>5</sup>.

— А в ваших странах есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестом,— отвечал я с неподражаемой самоуверенностью.— Только у нас дилижансы ходят на волах.

Это привело в крайнее удивление моего соседа, и он наверно присягнул бы, что я валах; после этой счастливой подробности даже сержант смягчился и стал разговорчивее.

В Лионе я взял свой чемодан и тотчас поехал в другую контору дилижансов, вскарабкался на империал и через пять минут скакал уже по женевской дороге. В последнем большом городе, на площадке перед полицейским домом, сидел комиссар полиции с писарем, около стояли жандармы: тут свидетельствовали предварительно пассы. Приметы не совсем шли ко мне, а потому, слезая с империала, я сказал жандарму:

---

<sup>1</sup> Сударь, вы не возражаете? (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> он вечно дымит (франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> «А! это прекрасная страна» (франц.).— *Ред.*

<sup>4</sup> Вы — военный?— Да.— Вы были в Алжире?— Да. (франц.).— *Ред.*

<sup>5</sup> Нет (франц.).— *Ред.*

— Mon brave<sup>1</sup>, пожалуйста, где бы на скорую руку выпить стакан вина с вами? Укажите, мочи нет, какой жар.

— Да вот тут, два шага, кафе моей родной сестры.

— А как же быть с пассом?

— Давайте сюда, я отдам моему товарищу, он принесет его нам.

Через минуту мы осушали с жандармом бутылку Бон в кафе его родной сестры, а через пять его приятель принес пасс, я ему поднес стакан, он приложил руку к шляпе, и мы отправились друзьями к дилижансу. Первый раз сошло хорошо с рук. Приезжаем на границу — река, на реке мост, за мостом пизмонтская таможня. Французские жандармы на берегу таскаются во всех направлениях, ищут Ледрю-Роллена, который давно проехал, или по крайней мере Феликса Пиа, который все-таки проедет, и так же, как я, с валахским пассом.

Кондуктор заметил нам, что здесь окончательно смотрят бумаги, что это продолжается довольно долго, с полчаса, в силу чего советовал поехать в почтовом трактире. Мы вошли и только что уселись, прикатил другой лионский дилижанс; входят пассажиры, и первый — мой сержант. Фу, пропасть какая, я ведь ему сказал, что еду в Лион. Мы с ним сухо поклонились, он также, кажется, удивился, однако не сказал ни слова.

Пришел жандарм, роздал пассы, дилижансы были уже на той стороне.

— Извольте, господа, отправляться пешком через мост.

Вот тут-то, думаю, и пойдет история. Вышли мы... Вот и на мосту — истории нет, вот и за мостом — истории нет.

— Ха, ха, ха! — сказал, нервно смеясь, сержант, — переехали-таки, фу, как будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

— Как, — сказал я, — и вы?

— Да ведь и вы, кажется?

— Помилуйте, — отвечал я, смеясь от души, — прямо из Бухареста, чуть не на волах.

— Ваше счастье, — сказал мне кондуктор, грозя пальцем, — а вперед будьте осторожнее. Зачем вы дали два франка на водку

---

<sup>1</sup> Почтеннейший (франц.). — *Ред.*

мальчику, который привел вас в контору? Хорошо, что он тоже *наш*, он мне тотчас сказал: «Должно быть, красный, ни минуты не остался в Лионе и так обрадовался месту, что дал мне два франка на водку». — «Ну, молчи, не твое дело, — сказал я ему, — а то услышит bestia какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановит».

На другой день мы приехали в Женеву \*, эту старинную гавань гонимых... «Во время смерти короля сто пятьдесят семейств, — говорит Мишле в своей истории XVI столетия, — бежали в Женеву; спустя некоторое время еще тысяча четыреста. Выходцы французские и выходцы из Италии основали истинную Женеву, это удивительное убежище между тремя нациями; без всякой опоры, боясь самих швейцарцев, оно держалось одной нравственной силой» \*.

Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие остатки европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев переходили Рейн, другие спускались с С.-Готарда или шли из-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смело открыто их гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убежища.

Точно на смотр, церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва, которых я любил заочно и к которым теперь торопился навстречу...



## ГЛАВА XXXVII

Вавилонское столпотворение.— Немецкие Umwälzungsmänner<sup>1</sup>.— Французские красные горцы.— Итальянские fuorusciti<sup>2</sup> в Женеве.— Маццини, Гарибальди, Орсини...— Романская и германская традиция.— Прогулка на «Князе Радецком».

Было время, когда, в порыве раздражения и горького смеха, я собирался, на манер гранвилевской иллюстрации\*, написать памфлет: «Les réfugiés peints par eux-mêmes»<sup>3</sup>. Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжело гнетет людей...

Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграции, предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслью завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерный тип.

---

<sup>1</sup> делатели переворотов (нем.).— *Ред.*

<sup>2</sup> изгнанники (итал.).— *Ред.*

<sup>3</sup> «Эмигранты в их собственном изображении» (франц.).— *Ред.*



Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от не-эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен.

Эмигранты 1849 не верили еще в продолжительность победы своих врагов, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение — минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов\*, в Бадене свирепствовал брат короля прусского\*, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцем революции 1848 г.\* Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия\*, от версальского процесса, баденские ополченцы\*, вступившие в Женеву правильным строем, с своими офицерами и с Густавом Струве, участники венского восстания\*, богемцы, познанские и галицийские поляки\* — все это толпилось между отель де Берг и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция не минутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и рождения республики: демократической и социальной — одни, другие — демократической, но отнюдь не социальной.

Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника, в низкой шляпе с большими полями, в *черном* белом сертуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием; возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Ф. Капп.

— Вы не знаете их? — спросил он меня.

— Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который, вместо фиговых листьев, надел не по мерке сшитое пальто.

— Это Струве и Гейнцен,— ответил он, смеясь.— Хотите познакомиться?

— Очень.

Он подвел меня.

Разговор был ничтожен; Струве возвращался домой и просил зайти; мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь их сидела высокая и издали очень красивая женщина, с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной,— это была известная Амалия Струве, его жена.

Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на спокойное выражение глаз, на нечесаную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска Густава-Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующий покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнца, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно *избить два миллиона* человек на земном шаре — и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибадской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет, добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев; он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано ни придешь в *café de la Poste*, а доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету, зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо:

— Я думаю, что сегодня в Париже горячий день.

— Отчего же?

— Я вам не могу сказать, от кого я слышал, но только от близкого человека Ледрю-Роллена, он был здесь проездом...

— Да ведь вы и вчера и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор?

— Ну так что ж, Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut <sup>1</sup>.

Вот к нему-то как к другу Гейнцена, в том же самом кафе, я и обратился, когда Гейнцен напечатал свою филантропическую программу.

— Зачем же,— сказал я ему,— ваш приятель пишет такой вредный вздор? Реакция кричит, да и имеет право—что за Мара, переложенный на немецкие нравы, да и как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

— Послушайте, — сказал он наконец,— вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческого, в этом числе, по крайней мере, *двести тысяч китайцев*.

— Ну, вот это другое дело, чего их жалеть,— ответил я, и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.

Дня через два после моей встречи в Паки гарсон *hôtel des Bergues*, где я стоял, прибежал ко мне в комнату и с важной миной возвестил:

— Генерал Струве с своими адъютантами.

Я подумал, или что мальчика кто-нибудь подослал шутя, или что он что-нибудь переврал; но дверь отворилась,

Mit bedächtigem Schritt

Густав Струве tritt...<sup>2\*</sup>

и с ним четыре господина; двое были в военном костюме, как их тогда носили фрейшерлеры <sup>3</sup>, и вдобавок с большими красными брасарами <sup>4</sup>, украшенными разными эмблемами. Струве представил мне свою свиту, демократически называя ее «братьями в ссылке». Я с удовольствием узнал, что один из них, молодой человек лет двадцати, с видом бурша, недавно вышедшего из

---

<sup>1</sup> не в один день был выстроен Рим (нем.).—*Ред.*

<sup>2</sup> осторожным шагом выступает Густав Струве (нем.).—*Ред.*

<sup>3</sup> добровольцы (нем. Freischärler).— *Ред.*

<sup>4</sup> нарукавными повязками (франц. brassard).—*Ред.*

фуксов<sup>1</sup>, успешно занимал уже должность министра внутренних дел *per interim*<sup>2</sup>.

Струве тотчас начал меня поучать своей теории о семи бичах, *der sieben Geißeln*: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д. — и о водворении какой-то новой демократической и революционной религии. Я заметил ему, что если уже это зависит от нашей воли, заводить или нет новую религию, то лучше не заводить никакой, а предоставить это воле божией, оно же и по сущности дела относится более до нее. Мы поспорили. Струве что-то отпустил о *Weltseele*<sup>3</sup>, я ему заметил, что, несмотря на то, что Шеллинг так ясно определил мировую душу, называя ее *das Schwebende*<sup>4</sup>, мне она порядком не дается. Он вскочил со стула и, подошедши ко мне как нельзя ближе со словами «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей голове, нажимая ими, как будто череп у меня был составлен из клавишей фицгармоники.

— Действительно,— прибавил он, обращаясь к четырем братьям в ссылке,— *Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration*<sup>5</sup>.

Все были довольны отсутствием у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этом он объявил мне, что он глубокий френолог и не только писал книгу о Галлевой системе, но даже выбрал по ней свою Амалию, потрогавши предварительно ее череп. Он уверял, что у нее бугра страстей совсем почти не существует и что задняя часть черепа, обиталище их, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причине он женился на ней.

Струве был большой чудак, ел одно постное с прибавкой молока, не пил вина, и на такой же диете держал свою Амалию. Ему казалось и этого мало, и он всякий день ходил купаться с нею в Арву, где вода середь лета едва достигает 8 градусов, не успевая нагреться,— так быстро стекает она с гор.

---

<sup>1</sup> студентов 1-го курса (нем. *Fuchs*).— *Ред.*

<sup>2</sup> временно (лат.). — *Ред.*

<sup>3</sup> мировой душе (нем.).— *Ред.*

<sup>4</sup> витающее (нем.).— *Ред.*

<sup>5</sup> гражданин Герцен не имеет никакого, решительно никакого бугра почтительности (нем.).— *Ред.*

Впоследствии мне случалось говорить с ним о растительной пище. Я возражал ему, как обыкновенно возражают: устройством зубов, большей потерей сил на претворение растительного фибрина, указывал на меньшее развитие мозга у травоядных животных. Он слушал кротко, не сердился, но стоял на своем. В заключение он, видимо, желая меня поразить, сказал мне:

— Знаете ли вы, что человек, всегда питающийся растительной пищей, до того очищает свое тело, что оно совсем не пахнет после смерти?

— Это очень приятно,— возразил я ему,— но мне-то от этого какая же польза? я не буду нюхать сам себя после смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказал мне с спокойным убеждением:

— Вы еще будете иначе говорить!

— Когда вырастет бугор почтительности, — прибавил я.

В конце 1849 Струве прислал мне свой, вновь изобретенный для вольной Германии, календарь. Дни, месяцы — все было переведено на какое-то древнегерманское и трудно понятное наречие: вместо святых, каждый день был посвящен воспоминанию двух знаменитостей, например, Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался в память врагов рода человеческого, например, Николая и Меттерниха. Праздниками были те дни, когда воспоминание падало на особенно великих людей, на Лютера, Колумба и проч. В этом календаре Струве галантно заменил 25 декабря, Рождество Христово, праздником *Амалии!*

Как-то, встретившись со мной на улице, он, между прочим, сказал, что надобно было бы издавать в Женеве журнал, общий всем эмиграциям, на трех языках, который мог бы бороться против «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народов, раздавленных теперь реакцией. Я ему отвечал, что, разумеется, это было бы хорошо.

Издание журналов было тогда повальной болезнью: каждые две-три недели возникали проекты, являлись спесимены<sup>1</sup> рассылались программы, потом нумера два-три — и все

---

<sup>1</sup> пробные номера (англ. specimen).—*Ред.*

исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, всё еще считали себя способными на издание журнала, сколачивали сто-двести франков и употребляли их на первый и последний лист. Поэтому намерение Струве меня несколько не удивило; но удивило, и очень, его появление ко мне на другое утро, часов в семь. Я думал, что случилось какое-нибудь несчастье, но Струве, спокойно усевшись, вынул из кармана какую-то бумагу и, приготовляясь читать, сказал:

— Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.

Прочитавши, он объявил, что пойдет к Маццини \* и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену. Он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую он протянул мне, густо пробормотавши: «Бюргер, плац!»<sup>1</sup>

Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писал что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценом. Гейнцен прочистил голос и начал читать *по-немецки*, несмотря на то, что общий всем язык был один французский.

Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не подрогнувшийся перед требованием двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.

Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем

---

<sup>1</sup> Садитесь, гражданин (нем. Bürger, Platz).—Ред.

не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпидифора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора<sup>1\*</sup>.

Маццини, хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. «Si omnes consentiunt, ego non dissentio»<sup>2</sup>, — подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках»\*, и тоже подписался.

Однакож акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал, подписанной суммы было недостаточно.

— Господа,— сказал Маццини,— я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода, я буду помещать все *замечательные* статьи в моей «Italia del Popolo»,—вот вам одной третью расходов и меньше.

— В самом деле! Чего же лучше!

Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:

— Вы славно отделались от журнала.

— Послушайте,— заметил он,— ведь итальянская часть в самом деле *лишняя*.

— Так, как и две остальные! — добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.

Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спини\*.

Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи\*. Задумавшись и не обращая никакого внимания на происходившее, сидел другой

---

<sup>1</sup> «Былое и думы». Том II.

<sup>2</sup> «Если все согласны, я не возражаю» (лат.).— *Ред.*

молодой человек, с печально рассеянным выражением—это был товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи\*.

Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими пронзительными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснялось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; в них и в морщинах на лбу — бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, неспанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей, или, лучше, *одной* сильной страсти, да еще что-то фанатическое — может, аскетическое.

Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва может скрыть досаду при противоречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту, Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом\*. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.

Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели\*. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных *pallazzi*<sup>1</sup> аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские *принчине*<sup>2</sup>, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты — всё шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.

---

<sup>1</sup> дворцах (итал.).—*Ред.*

<sup>2</sup> князя (итал. *principe*).—*Ред.*



Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандьера \*, ряд за рядом, выходят восторженные юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики... и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабёфа\*, — идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику «Viva l'Italia!» — «Evviva Mazzini!»<sup>1</sup>

Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии,— разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:

*Пианори, Орсини \*, Пизакане!*

Я не думаю, чтоб смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку; она мне казалась так же несвоевременна, как два предпоследние опыта в Милане\*; но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величию своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и Реформы!

Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый с знаменем в руке — а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона\*.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула — дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах\*.

---

<sup>1</sup> «Да здравствует Италия!» — «Да здравствует Маццини!» (итал.).— *Ред.*

Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась  
в народе.

.....

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra,  
Ma s'inchinaron per baciare la terra:  
Ad uno, ad uno li guardai nel viso,  
Tutti avean una lagrima e un sorriso,  
Li disser ladri, usciti dalle tane,  
Ma non portaron via nemmeno un pane;  
E li sentii mandare un solo grido:  
Siam venuti a morir per nostro lido —  
Eran trecento, eran giovani e forti:  
E sono morti!  
Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro  
Un giovin camminava innanzi a loro;  
Mi feci ardita, e présò'l per la mano,  
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?  
Guardommi e mi rispose — O mia sorella,  
Vado a morir per la mia patria bella!  
Io mi sentii tremare tutto il core;  
Né potei dirgli: V'aiuti il signore,  
Eran trecento, eran giovani e forti:  
E sono morti!

*L. Mercantini «La Spigolatrice di Sapri»<sup>1</sup>\**

.....

---

<sup>1</sup> Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:

«Они сошли с оружием в руках, но они не воевали с нами; они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого — у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание: «Мы пришли умереть за наш край!»

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!

Перед ними шел молодой золотовласый вожь с голубыми глазами... Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: «Куда идешь ты, прекрасный вожь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сестра моя, иду умирать за родину». И сильно заняло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: «Бог тебе в помощь!»

Их было триста, они были молоды и сильны... и все погибли!

И я знал bel capitano (прекрасного вожь) и не раз беседовал с ним, о судьбах его печальной родины...\*

В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его \*; звезда его тогда была в полном блеске — но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться.

Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном \*. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы \*, федеральный характер итальянцев поднял голову.

Сам Гарибальди, скрепя сердце, произнес строгий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его \*. . . . .

Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают: чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый, опять принимается за дело с судорожной горячностью.

В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обуславливает успех: она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же — защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.

Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели

ни битого, стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ — буржуа in spe<sup>1</sup>, немецкий революционер, так же, как немецкий бурш, — тот же флистер, но в другом периоде развития. Итальянцы — самобытнее, *индивидуальнее*.

Французы заготавливаются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей — оно, совершенно во французском духе, устроило общественное воспитание, т. е. воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час, по тем же книгам — одно и то же. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры; учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз — природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, — скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.

Образованный итальянец вырабатывался, как наш брат, сам собой, жизнью, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во мно-

---

<sup>1</sup> в будущем (лат.). — *Ред.*

гом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки. Итальянец имеет ту же склонность к лени, как и мы; он не находит, что работа — наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.

История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки *del popolo grasso*<sup>1</sup>, не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше, а ближе к плебею и *контадину*<sup>2</sup>, чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство в французском смысле, собственно, представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, *пиэмонтским* слоем\*. Он отличается в Италии, так же, как во всей материке Европы, тем, что во *многих* вопросах постоянно либерален и во *всех* — боится народа и слишком нескромных толков о труде и заплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда *своим* снизу.

Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори\*, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Борромеи, Дель-Верме, Бельжойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абрुцц\*, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори, — поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвизал свою сутану и все время осады и защиты Маргеры, с ружьем в руке, дрался под градом пуль, в передовых рядах\*; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как

---

<sup>1</sup> жирного народа (итал.).— *Ред.*

<sup>2</sup> крестьянину (итал. contadino).— *Ред.*

Пизакане, Козенц и братья Меппакапо; тут были и трастевринские плебеи\*, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота\*.

Но, назвав их, нельзя не приостановиться.

С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вест-индских доках\*; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне\* и с Орсини. Гарибальди, в толстом светлом пальто, с яркоцветным шарфом на шее и фуражкой на голове, казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. Добродушная простота его обращения, отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него: они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном, — вдруг он вскочил, говоря:

— Пойдите! С вами мы выпьем другого вина, — и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке... Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто *белет*\* из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.

Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест, народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников, снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии,

в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода\*.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Мадзини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пизмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь — освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике, как думал Мадзини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.

Когда он отплывал за углем в Ньюкестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть.

— А кто им не велит сделать то же, — возразил он с жаром. — Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают; я мог бы иметь под моим начальством три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара — все были бы эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже: это конец, это страна «забвения родины», это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану\*, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью! Пловучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недостижимая!

В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды»... о котором — живи он в иной век — сложилась бы своя легенда, свое «*Arma virumque cano!*»<sup>1\*</sup>

Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года, в rue Lepelletier<sup>2\*</sup>; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатилетнюю голову под нож гильотины.

<sup>1</sup> «Пою оружие и мужа!» (лат.). — *Ред.*

<sup>2</sup> улице Лепельтье (франц.). — *Ред.*

Я познакомился с Орсини в Ницце, в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались, наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не попрежнему смотрели друг на друга.

Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино\* и Риензи\*, все, что хотите — только не пошлые будничные мещане. Такие личности ярко вырезаются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им нужна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских «отцов отечества» и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнью, но не дорожат также и жизнью ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой — весь римский героизм лишений и смерти.

Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной — а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект *гранат*, потом, лицом к лицу с опасностью, бросают их под кареты\*. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стоящий осколками гранаты...



Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Тригория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с *bravi*<sup>1</sup>, с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.

Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад «вымощен» ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини — как Иоанн Прочида\*. Из них даже нельзя исключить ни великого «искателя морских приключений» Колумба, ни величайшего «бандита» новейших веков Наполеона Бонапарта.

Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа<sup>2</sup>. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно

---

<sup>1</sup> наемными убийцами (итал.). — *Ред.*

<sup>2</sup> Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде!\*

владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутри сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и пойдет далее без раскаяния и сомнения.

Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ — все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.

И что же сделал он с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьвером? Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона — толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта \*. *O divina Commedia!*<sup>1</sup> — или просто *Commedia*, в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло! \*

...С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.

Медичи — ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов \*, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину, после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские

---

<sup>1</sup> божественная комедия (итал.).—Ред.

орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв, по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.

Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами, Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, — в нем все было изящно и правилось.

Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вежи, знаки фэрватера были потеряны; не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках»\*, но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро», — там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.

В день моего отъезда \* пришли ко мне обедать несколько близких людей, Пизакане, Мордини, Козенц...

— Отчего, — сказал я шутя, — наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то фандиковских рыцарей, чем итальянца?

— Это натурально, — прибавил, продолжая шутить, Пизакане. — Джакомо — ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.

— Fratelli<sup>1</sup>, — сказал Медичи, — немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!

— Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, — продолжал тот.

— Извольте, — сказал Медичи. — Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!

Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не-русскими. Западные люди часто бывают недалекие и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан — простота от нерасторопности ума, оттого, что они всё как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью из-за актерства, и жертва их все-таки была *ложь*. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.

Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи. Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики \*. Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда — под ядрами и пулями.

Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины, эту

---

<sup>1</sup> Братья (итал.). — *Ред.*

жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться,—ему надобно было действовать, готовить движение, ожидая новостей из Милана \*. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно колебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: он рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта... Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге.

В Лондоне, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частью молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, *il ne savait pas se faire valoir*<sup>1</sup>... Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.

Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди \*.

Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлексией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.

Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie \*...

Людьми деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал;

---

<sup>1</sup> он не умел поставить себя (франц.).—Ред.

но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться... я не знаю... ну, на Моцарта, например, зачем он не годился в драбанты<sup>1</sup>. Это — возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие — барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.

Маццини сердился. Я, полусмущая и полусерьезно, сказал ему:

— Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы всё ее забываете!

— Какую?

— Да то, что он умер в 1836 году\*.

Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем *думает*.

Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, *им* не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних, — это своего рода бегство от сомнений; она жаждет только деятельности прикладной — это своего рода лень. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.

Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, — он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом — очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.

Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо — *Лавирона*; с ним я недолго был знаком, он промельк-

---

<sup>1</sup> телохранители (польск. drabant). — *Ред.*

нул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии); в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации\*.

Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Hôtel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, как *Deus ex machina*, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов\*. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден *par contumace*<sup>1</sup>. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы,—тут Июньские дни, потом проскрипции, ссылки, синий террор. В это самое время, однажды вечером, сидел я на бульваре перед Тортони\*, в толпе всякой всячины, и, как в Париже всегда бывает — в умеренную и неумеренную монархию, в республику и империю — все это общество впересыжку с шпионами. Вдруг подходит ко мне — не верю глазам — Лавирон.

— Здравствуйте! — говорит он.

— Что за сумасшествие? — отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. — Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?

— Если бы вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь... я думал, думал, да и пошел гулять.

— Зачем же на бульвар?

---

<sup>1</sup> заочно (франц.).—*Ред.*

— Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду...

— Куда?

— В Женеву, — так тяжело и так все надоело; мы идем на встречу страшным несчастьям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте — прощайте, и да будет наша встреча повеселее.

В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил. Вдруг объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму\*. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата?.. Я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками», — говорил он триумвирам и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед, — когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром.

Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд божий над преступным изменником отечества!

...Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.

Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь понемногу перебирается в положительную науку — он «во всех классах учится прилежно», и в этом вся его история; на страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, много страдал; он купил право на протестантизм Тридцатилетней войной, право на независимое существование, т. е. на бледное существование под надзором России, — борьбой с Наполеоном.



Его освобождение в 1814—1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Landesvater<sup>1</sup>, в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й *парад* (сорок четвертый был до революции), — тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни \*. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гёте — в Веймаре \*.

Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т. е. недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.

Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее: то, чему они покоряются, может быть, и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому *из видов*, — это кривление душой за взятки.

Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так, как верит в «почетный легион», в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными предрассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen<sup>2</sup>, к покою и, переходя из своего кабинета

---

<sup>1</sup> отец своих подданных (нем.).—Ред.

<sup>2</sup> благоденствию (нем.). — Ред.

в Prunkzimmer<sup>1</sup> или спальню, жертвует халату, покою и кухне свободную мысль свою. Немец большой сибарит; этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, — такой же эпикуреец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи жорней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.

Все немецкие революционеры — большие космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität<sup>2</sup> и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться под начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.

При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн — там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.

«Воинственный» конвент, собиравшийся в павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache<sup>3</sup> профессоров, врачей, теологов, фармацевтов и филологов, рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt!<sup>4</sup>) брал за живое только с точки зрения «Тейтчтума»<sup>5</sup>. Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было

---

<sup>1</sup> парадную комнату (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> они преодолели точку зрения национальности (нем.). — *Ред.*

<sup>3</sup> весьма видных в своей области (нем.). — *Ред.*

<sup>4</sup> одноплеменном (нем.). — *Ред.*

<sup>5</sup> германизма (старонем. Teutschtum). — *Ред.*

против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые попопозновения удержат неправое стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.

Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гётевской комедии «Der Bürgergeneral»<sup>1</sup>

Не было города, «пятна» в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка «Комитета общественного спасения», со всеми главными деятелями, с холодным юношей *Сен-Жюстом*, с мрачными террористами и военным гением, представившим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал; они надевали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Колло д'Эрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами<sup>2</sup>, — это был Дантон, eine schwelgende Natur!<sup>3</sup>

Французские слабости и недостатки долею улечиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris<sup>4</sup> в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, заветреничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.

После дрезденского дела \* я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам

---

<sup>1</sup> «Генерал-гражданин» (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> горничными (нем. Stubenmädchen). — *Ред.*

<sup>3</sup> широкая натура (нем.). — *Ред.*

<sup>4</sup> такого задорного парижского мальчишку (нем. и искаж. франц.). — *Ред.*

начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:

— Революция — гроза, — тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью... надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять «Гору» 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии; намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился *терроризовать* мою улицу. «Männer!<sup>1</sup> — говорю я моему отряду. — Под опасением военного суда, который при осадном положении может *сейчас лишить вас жизни* в случае послушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и под строгим прикрытием приведен ко мне». Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал, но если это было подозрительное лицо, то я давал знак страже...

— И, — сказал я с ужасом, — и она?

— И она их отводила домой, — прибавил гордо и самодовольно террорист.

К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.

Исправлявший должность министра внутренних дел — юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «Vom andern Ufer», писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр *per interim* приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво... и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так

---

<sup>1</sup> Ребята! (нем.). — Ред.

прошло с неделю. Капп и я — мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской *сто франков вперед* за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то что он не переписал еще и на десять.

Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.

Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, *бюргеру*<sup>1</sup> и *брудеру*<sup>2</sup> лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.

— Ну, так я отошлю ему деньги *mit Verachtung*<sup>3</sup>, — сказал министр.

— Что за вздор! — закричал один фрейшерлер. — Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель *der Besitzenden*<sup>4</sup>. Согласны?

— Да, да, согласны, браво!

— Выпьем, — кричал оратор, — и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера.

— Да, да, не надобно кланяться.

Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.

Все эти смешные недостатки, вместе с особенной *Pfumpheit*<sup>5</sup> немцев, оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, т. е. сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет

---

<sup>1</sup> гражданину (нем. Bürger). — *Ред.*

<sup>2</sup> брату (нем. Bruder). — *Ред.*

<sup>3</sup> с презрением (нем.). — *Ред.*

<sup>4</sup> имущих (нем.). — *Ред.*

<sup>5</sup> неуклюжестью (нем.). — *Ред.*

самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим, грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение жовиального<sup>1</sup> немца.

Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка; все, чего мы можем требовать от них, во имя животного братства,— это чтоб они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не лягаясь. В природе все достигает посильно чего может, складывается как случится, и потом принимает родовое *pli*<sup>2</sup>; воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое, но требовать от лошади бифтекса и от быков иноходи — все же нелепость.

Чтоб наглазно понять разницу двух противоположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек; я беру именно их потому, что они неподдельны в своей грубости.

Посмотрите, как парижские гамены смеются над каким-нибудь английским чудачком и как лондонские мальчишки издеваются над французом; в этом маленьком примере резко высказываются два противоположные типа двух европейских пород. Парижский гамен нагл и привязчив, он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит; во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает; есть слова, которых он никогда не употребляет,— грубостью его остановить трудно, если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. Еще надобно заметить, что французских мальчиков нужно чем-нибудь поразить: красным жилетом с синими полосками,

---

<sup>1</sup> резвящегося (франц. *joyal*).—*Ред.*

<sup>2</sup> склад (франц.).—*Ред.*

кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку,— вещами, делаемыми одними англичанами и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтоб обратить гонение или смех.

Острота лондонских мальчишек проще, она начинается с ржания при виде иностранца <sup>1</sup>, лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями; потом они кричат раз двадцать: *French pig! French dog!* <sup>2</sup> Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и блеяние удваивается; если он идет прочь, мальчишки бегут за ним,— тогда остается *ultima ratio* <sup>3</sup>: поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося. После этого мальчишки бегут сломя голову прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем.

Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с *gamins* <sup>4</sup> в их проделках против иностранца; в Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.

Во Франции есть щит, который тотчас останавливает самого задорного мальчика,— это бедность. Страна, которая не знает слова более оскорбительного, как слово *beggar* <sup>5</sup>, тем больше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее.

Один итальянский рефюжье <sup>6</sup>, бывший прежде офицером в австрийской кавалерии и, без всяких средств, оставивший отечество после войны, ходил, когда пришла зимняя пора, в военной офицерской шинели. Это производило такой фурор на рынке, по которому он должен был проходить всякий день, что крики «кто ваш портной?», хохот и, наконец, подергивание за воротник дошли до того, что итальянец бросил свою шинель и ходил, дрогнув до костей, в одном сертуке.

Эта грубость в уличной шутке, этот недостаток деликатности, такта в народе, с своей стороны, объясняет, отчего

---

<sup>1</sup> Все это очень переменялось после Крымской войны (1866).

<sup>2</sup> Французская свинья! Французская собака! (англ.). — *Ред.*

<sup>3</sup> последний довод (лат.). — *Ред.*

<sup>4</sup> мальчишками (франц.). — *Ред.*

<sup>5</sup> нищий (англ.). — *Ред.*

<sup>6</sup> эмигрант (франц. *réfugié*). — *Ред.*

женщин нигде не бьют так часто и так больно, как в Англии<sup>1</sup>, отчего отец готов бесчестить дочь, муж—жену, юридически преследовать их.

Уличные грубости сильно оскорбляют сначала французов и итальянцев. Немец, напротив, принимает их с хохотом, отвечает таким же ругательством, перебранка продолжается, и он остается очень доволен. Обоим это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!»<sup>2</sup>—кричит ему, хрюкая, гордый британец.— «Стерва Джон Буль!» — отвечает немец, и каждый идет своей дорогой.

Это обращение не ограничивается улицей — стоит только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, Ruge et consorts<sup>3</sup>, которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана\*. Глаз наш не привык видеть в печати такие выражения, такие обвинения: ничего не пощажено — ни личная честь, ни семейные дела, ни поверенные тайны.

У англичан грубость пропадает, поднимаясь на высоту таланта или аристократического воспитания, у немцев — никогда. Величайшие поэты Германии (за исключением Шиллера) впадают в самую неотесанную вульгарность.

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания в нашем смысле слова. Немцев учат, и учат много, но совсем не воспитывают, даже в аристократии, в которой преобладают казарменные, юнкерские нравы. У них в житейских делах отсутствует эстетический орган. Французы его утратили, точно так, как они утратили изящество своего языка; нынешний француз редко умеет написать письмо без конторских или адвокатских выражений — прилавок и казармы исказили их нравы.

В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, разделяющую итальянцев от tedesков<sup>4</sup> и в которую сколько хочешь

---

<sup>1</sup> «Теймс» как-то, года два тому назад, считал, что средним числом в каждой части Лондона (их десять) ежегодно бывает до двухсот процессов о побоях женщин и детей. А сколько побоев проходит без процессов?

<sup>2</sup> Кровавая собака! (англ.). — *Ред.*

<sup>3</sup> и компании (франц.). — *Ред.*

<sup>4</sup> немцев (итал. tedeschi). — *Ред.*



грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.

Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано \*, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того, чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.

Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развевался огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: «Fürst Radetzky»<sup>1</sup>. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит, австрийский или сардинский. Тесье, по версальскому суду, был осужден *in contumaciam*<sup>2</sup> на депортацию<sup>3</sup>. Хотя Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками, месяцев шесть продержать в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пизмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии,— но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.

— Что же,— сказал Тесье,— ведь идти назад смешно!

— Ну, так вперед!— и мы взошли на палубу.

Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями. Зачем? — не знаю. На пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат распустили. В каюте, на стене, висели правила: в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если кто-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (*kaiserlich-königlichen*)<sup>4</sup> полицейских уставов, тот имеет

---

<sup>1</sup> «Князь Радецкий» (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> заочно (лат.). — *Ред.*

<sup>3</sup> ссылку (франц. *déportation*). — *Ред.*

<sup>4</sup> императорско-королевских (нем.). — *Ред.*

быть судим по австрийским законам. Or donc<sup>1</sup> носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум<sup>2</sup>.

На палубе сидело несколько итальянцев; мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистью поглядывая на суетившихся во все стороны и без всякой нужды белобрых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати и, вообще, они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять повернувшись спиной возле самого носа, ломаться и показывать «мы, де, победители — наша взяла» следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.

Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привести к безобидному племенному различию надобно века времени.

После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением — ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной, натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки; одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью *плескали* с ложки суп в рот, другие ели *с ножа*, без хлеба и без соли, масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся — он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал

---

<sup>1</sup> Ну, а (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Здесь: опыт (нем. Studium). — *Ред.*

полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.

Для закуски молодой, долговязый, с светложелтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял как следует, навывтяжке, и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать; но лишь только он произнес:

— Ваше благородие...

— Молчать! — закричал раздавленным голосом светложелтый и — «марш!»

Потом, обращаясь к товарищам как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас?

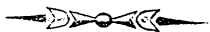
Когда мы вышли на землю у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: «Viva la Repubblica!»<sup>1</sup>, а один итальянец, качая головой, повторял: «O, brutissimi, brutissimi!»<sup>2</sup>

Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать: много веков.

---

<sup>1</sup> «Да здравствует республика!» (итал.).—*Ред.*

<sup>2</sup> «О, скоты, скоты!» (итал.).—*Ред.*



---

## ГЛАВА XXXVIII

Швейцария.— Джемс Фази и рефюжье.— Monte-Rosa.

Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить, живши в Женеве, внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом; он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление — подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застает его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и, прежде чем он спохватится, делается его взглядом.

В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд\*. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями\*.

Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге 53 и 54 годов я многому научился и на многое, из прошедшего и виденного прежде, иначе взглянул.

Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизаций, шедших ко дну, перетирая друг друга, середь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма две страны остались как были.

Одна за своим морем, другая за своими горами, обе — средневековые республики, обе — прочно выросшие в землю вековыми нравами.

Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией! Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее, с одной стороны, к трудному лавированию, с другой — к сложному поведению. В Англии собственно народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принадлежит известной среде; большинство народа вне движения; ее едва колеблет чартизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбирает за океан горючие вещества, по мере их накопления, и там они торжественно возрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо, переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык.

Совсем другое дело в Швейцарии: в ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы; она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, от пахаря и работника, к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры, является, после бурь революции и сатурналий реакций, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде\*.

Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные земли в Европе — те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, например, поддерживается рядом *coups d'Etat*<sup>1</sup> с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности —

---

<sup>1</sup> государственных переворотов (франц.).—Ред.

в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устаревшие формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью.

Поведение федерального совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство: вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами, остальное составляет или дальнейшее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редко дельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всем и всему, наименее знает географию и всего больше заражен нестерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самую природой не увлекается вдаль: он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и, пока его не трогают на ней, он молчит.

Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами, вовсе не *швейцарское*, по нем вопрос об эмигрантах — вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастью, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, — ею легко народы доходят до положения хорошо береженого стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим.

Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числом, нецентрализованная Швейцария — гидра, Бриарей \*, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова? где ее сердце? Сверх того, без столицы нельзя себе представить короля. Король в Швейцарии — такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж

людей, так же резко разграниченный, как их почва, горами и так же соединенный ими, как она.

Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в том городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.

В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного *étalage*<sup>1</sup> монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка, и все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти...

В Женеве, вскоре после моего приезда, давали обед ученикам всех школ перед наступающими каникулами. Джеймс Фази (президент кантона) пригласил меня на этот пир. На поле, в Каруже\*, был разбит большой шатер. Совет и все кантональные знаменитости были налицо и обедали вместе с детьми. Часть граждан, состоявших на очереди, была созвана в мундирах и с ружьями, для почетной стражи. Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил получивших награды и предложил тост «За будущих граждан!» при громаде музыки и пушечных выстрелах. После этого дети, по два в ряд, отправились за ним в поле, где были приготовлены разные забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшие братья учеников, составили шпалеры, и, по мере того как глава колонны проходила, они делали «на караул»... да! «на караул» перед сыновьями-мальчиками, перед сиротами, воспитывающимися на счет кантона... Дети были почетные гости города — его «будущие граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтских и иных торжественных актах.

Странно и то, что каждый работник, каждый взрослый крестьянин, полковые в трактирах и их хозяева, жители гор и жители болот знают хорошо дела кантона, принимают в них участие, принадлежат к партиям. Язык их, степень образования

---

<sup>1</sup> показательной стороны (франц.).—Ред.

очень меняются, и если женевский работник напоминает иногда лионского клубиста, в то время как простой житель гор похож еще до сих пор на лица, окружающие шиллеровского Телля, то это несколько не мешает тому и другому горячо заниматься общественными делами. Во Франции идут по городам отпрыски и разветвления политических и социальных обществ, члены их занимаются *революционным* вопросом и по дороге знают кое-что из настоящего управления. Но зато стоящие вне ассоциации, а в особенности крестьяне, ничего не знают и вовсе не интересуются ни делами Франции, ни делами департамента.

Наконец, и нам и французам бросается в глаза отсутствие всяких риз и облачений, всей оперной обстановки правительства. Президент кантона, президент федерального собрания, статс-секретари (т. е. министры), федеральные полковники ходят, как все простые смертные, в кафе, обедают за общим столом, рассуждают о делах, спорят с работниками, спорят при них между собой, и все это запивают вместе с другими иворнским вином да киршем.

С начала нашего знакомства с Джемсом Фази эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидел, что во всех законных случаях правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствие гардеробной важности, лампасов, плюмажей, швейцаров с булавой, вахмистров с усами и прочих шалостей и ненужностей монархической *mise en scène*<sup>1</sup>.

Осенью 1849 началось гонение выходцев, искавших убежища в Швейцарии; правительство было в слабых руках доктринеров, федеральные министры потеряли голову. Застрашенная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона\*, высылала теперь, по приказу последнего, людей, искавших убежища, и делала ту же любовь для Австрии и Пруссии. Конечно, федеральное правительство имело дело не с старым, толстым королем, не любившим крайних мер, а с людьми, у которых на руках еще не обсохла кровь и которые были в самом разгаре дикого пресле-

---

<sup>1</sup> постановки (франц.).—Ред.



дования. Но чего же боялось федеральное собрание? Если б оно умело смотреть дальше своих гор, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами соседние правительства. Ни одно из них в 1849 году не имело достаточной оседлости и нравственного сознания своей силы, чтоб начать войну. Стоило конфедерации показать зубы — и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гонение людей, которым некуда было деться.

Долго некоторые кантоны, и в том числе Женевский, противодействовали федеральному собранию, но наконец и Фази был увлечен, *volens-nolens*<sup>1</sup>, в преследование выходцев.

Положение его было очень неприятно. Переход человека из заговорщиков в правительство, как бы он естествен ни был, имеет свои комические и досадные стороны. В сущности, надобно сказать, что не Фази перешел в правительство, а правительство перешло к Фази, тем не менее прежний конспиратор не всегда ладил с президентом кантона. Ему приходилось бить по своим или иногда явно не слушаться федеральных приказов, принимать такие меры, против которых он лет десять кряду ораторствовал. Он делал то и другое по капризу и этим возбуждал против себя обе стороны.

Фази — человек большой энергии и больших государственных талантов, но слишком француз, чтобы не любить крутые меры, централизацию, власть. Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль, в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики. Перье и Лаффит нашли, что «лучшая республика» — герцог Орлеанский; он сделался королем, а Фази бросился в крайнюю республиканскую оппозицию. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом, с обществом *des droits de l'homme*<sup>2</sup> и с карбонарами, замешивается в савойскую экспедицию Маццини, издает журнал, который на французский манер задавили пенями... \*

---

<sup>1</sup> волей-неволей (лат.).— *Ред.*

<sup>2</sup> прав человека (франц.).— *Ред.*

Убедившись наконец, что во Франции нечего делать, он вспоминает свою родину и переносит всю свою энергию, всю приобретенную ловкость политического деятеля, публициста и конспиратора на развитие своих идей в Женевском кантоне.

Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство; прения, нападки и отпоры перешли из камер и журналов на площадь, и Фази явился главою возмущившейся части города\*. Пока он распоряжался и устанавливал своих вооруженных друзей, седой старик смотрел из окна и, военный по профессии, не мог вытерпеть, чтоб не дать совета, как следует поставить пушку или отряд. Фази послушался. Совет был дельный, — но кто же этот военный? Граф Остерман-Толстой, главнокомандующий союзными армиями под Кульмом, уехавший из России при воцарении Николая и живший потом почти всегда в Женеве.

Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен. Члены хотели арестовать его и с негодованием спрашивали: «Во имя кого он осмеливается так говорить?»

— Во имя женевского народа, которому надоело дурное управление ваше и который со мной, — при этом Фази отдернул сукно в дверях Совета. Толпа вооруженных людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрелить. Старые «патриции» и мирные кальвинисты смутились.

— Ступайте вон, пока есть время, — заметил Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сел за стол и написал декрет или плебисцит, объявлявший, что народ женевский, уничтожив прежнее правительство, собирается для новых выборов и для принятия нового демократического уложения, в ожидании чего народ вверяет исполнительную власть *Джемсу Фази*. Это 18 брюмера — в пользу демократии и народа. Хотя он и выбрал сам себя диктатором, но выбор бесспорно был очень удачен.

С тех пор, т. е. с 1846 года, он управляет Женевой. Так как по конституции президент избирается на два года и не мо-

жет быть избран два раза кряду, то через два года женевцы назначают кого-нибудь из бледных поклонников Фази, и таким образом *de facto*<sup>1</sup> он остается президентом, к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве.

Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы — все двинулось быстро вперед; твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ: Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотически-республиканские замашки; привыкнув к власти — деспотическое *plü* стало иной раз брать верх; к тому же события и идеи после 1848 застали Фази врасплох, он был смущен с одной стороны, обойден — с другой. Ну, вот она, эта республика, о которой он мечтал с Годфруа Каваньяком и Арман Каррелем... а что-то неладно. Бывший его товарищ Марраст, президент Национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме «за завтраком, в присутствии секретаря», и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить попов; когда экс-редактор «Националя» в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протезе Фази пошел еще дальше: сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знать с старым товарищем и идет в Наполеоны. «Республика в опасности!» — а работники и передовые люди не занимаются ею, они всё толкуют о социализме. Так вот виноватый — и Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своего *Kulminationspunkt*'а<sup>2</sup>, как говорят немцы, и пошел вниз.

---

<sup>1</sup> фактически (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> кульминационного пункта (нем.).—*Ред.*

Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу \*. Много поломал я копий с обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек *не хочет* убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться, зачем так хорошо играть свою роль, даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новое учение, сложившееся *вне* их круга; тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази называть социализм в наших разговорах «Клеопатрой», чтоб это слово не сердило его и не мешало своим звуком пониманию. Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий \*, — но об этом не здесь.

Раз пришедши домой, я нашел записку Струве,—он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнцена; Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось нового?

Фази не хотел, чтоб Струве издавал в Женеве свой «интернациональный» журнал; он боялся и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнценом напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зудов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится, я не знаю; довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы\*. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет «семь бичей рода человеческого», было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал к нему квартального с приказом, чтоб он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбыть Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно; мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная (то, что французы называют *mesure de salut public*<sup>1</sup>). Полицейский знал это, но, желая

---

<sup>1</sup> мерой по охране общественного порядка (франц.). — *Ред.*

услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве.

Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтоб не сходить к другу Гейнцену, который, с своей стороны, получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнцен жил недалеко, то Струве ganz gemütlich<sup>1</sup> отправился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях. Лишь только он поравнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ федерального совета, требовал, чтоб он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу «семи бичей», сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон.

Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в двенадцатом вечера; у Pont des Bergues я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что нового?— сказал он, увидав меня.

— Много,— отвечал я с изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, il n'y a plus de sécurité dans les rues<sup>2</sup>,— я боюсь ходить...

— А, это вы говорите насчет Струве...— отвечал Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал перерываться. — Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? Я, наконец, устал, я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений федерального совета...

---

<sup>1</sup> совершенно благодушно (нем.).—Ред.

<sup>2</sup> стало небезопасно ходить по улицам (франц.).—Ред.

— Право,— сказал я, улыбаясь,— которое вы предоставляете одному себе.

— Что же мне из-за всякого вырвавшегося из Бедлама подвергать опасности кантон, самого себя, и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо спасибо они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкал его — это из рук вон! Не понимают, что чиновник (*magistrat*), приходящий во имя закона, должен быть уважаем. Не правда ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласен,— сказал я ему,— и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный Фурером или Друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще как враг, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхивал таких вещей,— заметил Фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров.

— Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священнодействующими лицами — вещь совершенно монархическая...

— Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболопием, что у вас царь и закон — одно и то же, *c'est parfaitement russe!*<sup>1</sup>

— Да где же это понять, когда у вас уважение к закону значит уважение к квартальному или к городовому сержанту?

— А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов? Я его видел на деле...

— И прекрасный отец семейства,— продолжал я,— да только ни мне, ни Струведела нет до этого; мы с ним не знакомы, и явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти...

— Да помилуйте,— заметил все больше и больше сердившийся Фази,— что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали...

---

<sup>1</sup> это совершенно по-русски (франц.).—*Ред.*

— Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать.

— Знаете, что я думаю? — он приостановился. — Я полагаю, что он просто русский агент.

— Господи, какой вздор! — сказал я, расхохотавшись.

— Как *вздор*? — закричал Фази еще громче. — Я вам говорю это серьезно!

Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женеvского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, он, в сущности, был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я, может, пропустил бы ему это поднятие голоса; но тут были свидетели, к тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве, и потому я стенторовским голосом \* отвечал ему:

— Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтоб все поверили?

Крик мой подействовал, Фази сбавил голос, но зато, беспощадно разбивая свой кулак о перилы моста, он заметил:

— Да его дядя, Густав Струве, — русский поверенный в делах в Гамбурге.

— Это уж из «Волка и овцы» \*. Я лучше пойду домой. Прощайте!

— В самом деле, лучше идти спать, чем спорить, а то еще мы поссоримся, — заметил Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошел в *hôtel des Bergues*, Фази с итальянцами — через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле растворились и публика, состоявшая из гарсенов и туристов, слушала наше прение.

Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился, и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женеvская полиция поступила незаконно, и не только отказался послать его далее, но воротил назад.

Можно себе представить бешенство Фази, когда он, на закуску нашего разговора, узнал о благополучном возвращении Струве. Побранившись с «тираном» письменно и словесно, Струве

уехал с Гейнценом в Англию; там-то Гейнцен потребовал два миллиона голов и мирно уплыл с своим Пиладом в Америку, сначала с целью завести *училище для молодых девиц*, потом чтоб издавать в С.-Луисе «Пионера», журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать.

Дней пять после разговора у моста я встретился с Фази в *café de la Poste*.

— Что это вас не видать давно? — спросил он. — Неужели все сердитесь? Ну, уже эти мне дела о выходцах, признаюсь, такая обуза, что с ума можно сойти! Федеральный совет бомбардирует одной нотой за другой, а тут проклятый жекский супрефект нарочно живет, чтоб смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все за это свои же сердятся. Вот теперь новое дело, и прескверное; я уже знаю, что меня будут бранить, а что мне делать?

Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал:

— Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство.

Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия фрейшерлерами его городишка были ими похищены драгоценные вещи и между прочим редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бленкера, а так как до сведения его светлости дошло, что Бленкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей.

— Что скажете? — спросил торжествующим голосом Фази.

— Ничего. Мало ли что бывает в военное время.

— Что же, по-вашему, делать?

— Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве. Что вам за дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бленкер не повесил его, а тут он еще ищет пожитки.

( — Вы — преопасный софист, — сказал Фази, — да только вы не подумали, что такие проделки бросают тень на нашу партию... этого так оставить невозможно.

— Не знаю, зачем вы это принимаете к сердцу. Такие ли делаются ужасы на белом свете. Что касается партии и ее чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софист, — подумайте сами, неужели, давши ход этому делу, вы ей сделаете пользу?



Оставьте без внимания донос герцога — его примут за клевету; а вот как к слуху о нем прибавят, что вы посылали делать обыск, да еще, на беду, что-нибудь найдут, тогда трудно будет оправдываться Бленкеру и всей партии.

Фази откровенно удивлялся русскому беспорядку моих мнений.

Дело Бленкера кончилось как нельзя лучше. Его не было в Женеве; жена его, при появлении следственного судьи и полиции, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда они, и, услышав о сосуде, сама отыскала его, — это был весьма простой серебряный потир. Его взяли молодые люди, бывшие в ополчении, и поднесли в память победы своему полковнику.

Фази впоследствии извинялся перед Бленкером, *соглашаясь*, что поторопился в этом деле. Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сбивать их — все это *чисто французские* недостатки; судопроизводство для них — кровавая игра, вроде травли для испанцев. Прокурор, как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уделает. В Англии нет ничего подобного: судья смотрит хладнокровно на подсудимого, не усердствует и почти доволен, когда присяжные не дают обвинительного приговора.

С своей стороны, рефюжье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно, и к этому нельзя быть слишком строгим. Страсти, распахнувшиеся во время революционных движений, не уgomонились от неудачи и, не имея другого выхода, выражались в строптивом беспокойстве духа. Людям этим смертельно хотелось говорить именно в то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй план, стереться, сосредоточиться, а они, совсем напротив, старались не сходить со сцены и заявляли всеми средствами свое существование; они писали брошюры, писали в журналах, говорили на сходках, говорили в кафе, распространяли ложные новости и стращали глупые правительства близким восстанием. Большая часть из них принадлежала к числу самых безопасных хористов революций, но уstraшенные правительства с обратным безумием верили их силе и, непривычные к свободной и смелой речи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религии, трона, семьи и

требовали, чтоб федеральный совет изгнал этих страшных людей мятежа и разрушений.

Одна из первых мер, принятых швейцарским правительством, состояла в удалении от французской границы тех из рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту меру было очень противно для Фази: он почти со всеми был лично знаком. Объяснив им приказ оставить Женеву, он старался *не знать*, кто уехал, кто нет. Неуехавшим еще надобно было отказаться от главных кафе, от Pont des Bergues — этого-то они и не хотели уступить. Отсюда выходили смешные пансионские сцены, в которых участвовали бывшие народные представители, люди с седыми волосами, за сорок лет, известные писатели, с одной стороны, и с другой — президент свободного кантона да полицейские агенты рабских соседей Швейцарии.

Раз при мне жекский супрефект спросил ироническим тоном у Фази:

— M. le président, а что, такой-то в Женеве?

— Давным-давно нет, — отвечал отрывисто Фази.

— Я очень рад, — заметил супрефект и пошел своей дорогой. А Фази, неистово схватив меня за руку и судорожно указывая на человека, спокойно курившего сигару, сказал мне:

— Вот он! вот он! Пойдемте в другую сторону, чтоб не встретить этого разбойника. Это ад да и только!

Я не мог удержаться от смеха. Разумеется, это был высланный рефюжье, и он-то прогуливался по Pont des Bergues, который в Женеве — то, что у нас Тверской бульвар.

Я прожил в Женеве до половины декабря \*. Гонения, начавшиеся втихомолку против меня русским правительством, заставили меня покинуть ее для того, чтоб ехать в Цюрих спасти именье моей матери, в которое запустил царственные когти «незабвенный» император \*.

Страшное это время было в моей жизни. Штиль между двух ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый... Приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни; за них я обязан величественной швейцарской природе.

Даль от людей и изящная природа имеют удивительно целеб-

ное влияние. Я по опыту писал в «Поврежденном»: «Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужна даль и горы, море и теплый, кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтоб он не зачерствел»...\*

От многого хотелось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные в средоточии политических смут и распрей, в постоянном раздражении, в виду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, осадили много горечи, тоски и устали на дне души. Ирония принимала другой характер. Грановский писал мне, прочитав «С того берега», писанное именно в то время: «Книга твоя дошла до нас, я читал ее с радостью и с гордым чувством... но при всем том в ней есть что-то усталое, ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем; но то, что было в России живого и симпатического для всех в твоём таланте, как будто исчезло на чужой почве...»\* Сазонов, перечитав перед моим отъездом из Парижа, в 1849 году, начало моей повести «Долг прежде всего», писанной за два года\*, сказал мне:

— Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь. У тебя прошел светлый смех и добродушная шутка.

Но мог ли человек пройти искусом 1848 и 1849 года и остаться тем же? Я сам чувствовал эту перемену. Только дома, без посторонних, находили иногда прежние минуты не «светлого смеха», а *светлой грусти*; вспоминая былое, наших друзей, вспоминая недавние картины римской жизни, возле кровати спящих детей, или глядя на их игру, душа настроивалась, как прежде, как некогда,— на нее веяло свежестью, молодой поэзией, полной кроткой гармонии, на сердце становилось хорошо, тихо, и под влиянием такого вечера легче жилось день, другой!

Минуты эти были не часты; дурное, невеселое рассеяние мешало им — число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая гостиная наша на Елисейских Полях была полна чужими. Большею частью это были вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком... и зачем я был близок с ним!...\*

Я с радостью покидал Париж, но в Женеве мы очутились в том же обществе, только лица были другие и размеры теснее. В Швейцарии все тогда было ринуто в политику, все делилось на партии: *tables d'hôte*'ы и кофейные, часовщики и женщины. Исключительно политическое направление, особенно в том тяжелом затишье, которое всегда следует за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной сухостью и однообразным попреканием прошедшему. Оно похоже на летнее время в больших городах, где все запылено, жарко, без воздуха, где сквозь бледные деревья просвечивают стены, отражающие солнце и теплые камни мостовой. Живой человек рвется на воздух, которым еще не дышала тьма тем, в котс-ром не пахнет обглодками жизни и не слышно нестройного дребезжания, сального, гнилого запаха и непрерывного стука.

Иногда мы в самом деле вырывались из Женевы, ездили по берегам Лемана, уезжали к подножию Монблана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тенями всю суету суетствий, освежая душу и тело холодным веянием своих вечных ледников.

Не знаю, желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают: они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают, но иной раз хорошо пожить под их тенью. К тому же по горам живет чистое и доброе племя,— племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни само-бытной и независимой. Накипь цивилизации, ее ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят под ними, мало задевая их. Римский мир еще продолжается в Граубюндене, время крестьянских войн едва прошло где-нибудь в Аппенцеле. Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдется такой же здоровый кряж населения — но, вообще, его в Европе давно нет.

На нашем северо-востоке видел я, впрочем, что-то подобное. В Перми и Вятке мне удавалось встречать людей такого же закала, как на Альпах.

Утомленные непрерывным, долгим подниманием шаг за шаг по горе, чтоб дать отдохнуть клячам, я и товарищ, ехавший

со мной в Церматт\*, мы вошли в небольшой постоянный двор, помнится, повыше св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бедность своих запасов, пошарив там-сям, принесла бутылку кирша<sup>1</sup>, сухой, как камень, хлеб (хлеб в горах — вещь не простая, его привозят на ослах с долин), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока и потом пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я есть не мог; но баранина, сыр и кирш были хороши. Хозяйка угощала нас, как званых гостей, с добродушным видом подкладывала кусочки и все извинялась. Проводники наши тоже поели и допили кирш. Уезжая, я спросил, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась в другую комнату, чтобы сообразить, и потом, сделав предисловие о дороговизне, трудном подвозе, она рискнула сказать *пять франков*.

— Как, — заметил я, — и с лошадьми? — Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

— Ну, и четырех будет довольно.

Когда меня везли из Перми в Вятку, я попросил в одной деревне, где меняли лошадей, квасу у женщины, сидевшей на бревне возле избы.

— Больно кисел, — отвечала она, — а вот я тебе вынесу браги, от праздника, видишь, осталась.

Через минуту она принесла глиняный кувшин, заткнутый тряпкой, и ковш. Мы с жандармом напились вдоволь; отдавая ковш старухе, я подал ей гривенник или пятиалтынник, но она не взяла, приговаривая:

— Господь с тобой, что это с дорожного человека-то брать, да и едешь ты того, — она посмотрела на жандарма.

— Да за что же, тетушка, мы твою бражку-то даром пили? Возьми детушкам на пряники.

— Нет, кормилец, ты в этом не сомневайся, а есть лишние деньги, подай их нищему али богу поставь свечку.

Другой подобный случай был со мной на Великой-реке; близ Вятки. Я ездил смотреть туда оригинальную процессию —

---

<sup>1</sup> вишневым наливки (нем. Kirsch.). — *Ред.*

как икону Николая Хлыновского носят туда в гости. На обратном пути я зашел с ямщиком в избу, где он брал овес: хозяева и человека три богомольцев собирались обедать; сильно пахло щами, попросил и я себе. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлеба и огромную солонку с высокой спинкой. Поевши, я дал хозяину четвертак. Он посмотрел на меня, почесал затылок и сказал:

— Оно, видишь, неладно... Что же, ты наел гроша на два, а даешь четвертак... Оно мне взять-то и не приходится: и перед богом грешно, и перед людьми совестно.

Помнится, я где-то упоминал об обычае пермских мужиков выставлять на ночь за окно кусок хлеба, квас или молоко, на тот случай, что если *несчастный*, т. е. сосланный, проберется из Сибири да побоится постучать, так чтоб подкрепился, не делая шума. Подобное я нашел на горах Швейцарии; только тут это делается, за неимением возле Сибири, просто для путников. На довольно больших высотах, там, где уже жизнь редееет, где гранит уже выказывается, как череп у человека, начинающего плешиветь, и резкий, холодный ветер поддувает на сухую, аптекарскую растительность,— там попадались мне хижины пустые, но с незапертыми дверями, чтобы путник, сбившийся с дороги или загнанный непогодой, мог найти приют и без хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тут, а на столе — сыр, хлеб или козье молоко. Иные, поевши, кладут на стол какую-нибудь копейку, другие ничего, но, видно, никто не крадет. Конечно, посторонних прохожих бывает очень мало, но тем не менее эти отпертые двери удивляют городской глаз.

Разговорившись о горах и вершинах, доскажу мое путешествие на Монте-Розу. Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?

От старушки, которая совестилась взять пять франков за корм четырех человек и двух лошадей, со включением целой бутылки кирша, мы до самого вечера поднимались по узкой нарезке, местами не шире метра, до Церматта; привычные лошади шли шагом и осторожно, выбирая место, куда поставить копыто по скалистой, неровной тропинке. Проводники беспрестанно напоминали нам, чтоб не править, а пускать лошадь идти, как она знает. С одной стороны был крутой обрыв тысячи

в три фута и больше. Внизу, на его дне, шумел и неся Весп с какой-то безумной поспешностью, стараясь найти больше открытое русло и вырваться из сжатой каменной постели. Его пенящаяся, клубящаяся поверхность была местами видна; по гористым берегам росли целые сосновые леса, казавшиеся мохом с высоты, по которой мы двигались. С другой стороны — голая, скалистая высь, местами нависшая над головами. Часы целые едешь, едешь... стучат подковы о камень, срывается нога лошади, ревет Весп, и все такие же скалы с одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающийся обрыв — с другой; это наводит тоску, раздражительную усталость... Я не хотел бы часто повторять этого пути.

Церматт — последнее местечко, где живут несколько семей вместе; оно стоит, как в котле, — громады гор окружают его. Один из домохозяев принимает у себя редких путешественников; мы застали у него шотландца, геолога. Пока нам собирали ужин, сделалось совершенно темно; близость гор удвоивала мрак. Часу в одиннадцатом хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала нам:

— Ведь это копыта, да и крик проводников слышен... Охота же в ночную пору ехать по такой дороге.

Стук копыт медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла с ним в сени, я пошел за ней. Что-то стало отделяться из черной мглы, какие-то фигуры показались на полосе фонарного света, и, наконец, два всадника подъехали к сеням. На одной лошади сидела высокая, средних лет женщина, на другой — мальчик, лет четырнадцати. Дама покойно сошла с лошади, будто она воротилась с прогулки в Гайд-парке, и вошла в общую комнату. Шотландца она уже где-то встретила и потому тотчас стала с ним говорить. Спросив себе поесть, она послала сына узнать от проводников, сколько времени лошадям нужно отдыхать. Они сказали, что двух часов довольно.

— Неужели вы едете, не дождавшись дня? — спросил шотландец. — Эги не видать, и притом же вам теперь придется спускаться по новой дороге.

— Я уже так разочла время.

Через два часа англичанка с сыном стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На рассвете мы взяли третьего проводника, гербариста<sup>1</sup>, который знал все тропинки и удивительно насвистывал альпийские мотивы, и стали взбираться на одну из ближних высот, поднимаясь к ледяному морю и Мон-Сервину.

Сначала седой туман закрывал все и мочил нас мелким дождем; мы поднимались, он понижался; вскоре сделалось как-то резко светло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго где-то описывает, «что слышно на горе»\*; не высока, должно быть, была его гора; меня поразило, совсем напротив, совершенное отсутствие звука: решительно ничего не слышать, кроме легкого, перемежающегося грохота от перекатывающихся лавин, и то изредка... Вообще же тишина мертвая, *прозрачная*, — я нарочно употребляю это слово, — и необычайная разреженность воздуха делают *видимой, звучащей* эту совершенную немоту, этот беспробудный, минеральный, стилиный сон<sup>2</sup> допотопных времен.

Шумит жизнь — но все живое внизу и покрыто облаками; тут уж нет и растений, один мох седой, жесткий попадает кое-где на камнях: Еще вверх — еще свежее стало, начинается нетающий иней; тут рубеж, тут ничего не бывает, дальше ходит только любопытнейший из всех *зверей*, чтоб на минуту заглянуть в эти степи пустоты, посмотреть на эти пограничные, выдавшиеся пределы планеты, и скорее спуститься в свою среду, исполненную сует, но где он дома.

Мы остановились перед ледяным снежным морем, расстилавшимся между нами и Мон-Сервином; окаймленное грядами гор, облитых солнцем, оно само, белое до ослепительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантского Колизея. Местами изрытое ветрами, волнистое, оно будто застыло в самую минуту движения; изгибы валов замерзли, не успев выправиться.

Я сошел с лошади и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волнами к берегу... Немая, неподвижная белизна, без всякого предела... легкий ветер приподнимал небольшую

---

<sup>1</sup> торговца лекарственными травами (франц. herboriste). — *Ред.*

<sup>2</sup> Вот я и оправдал знаменитое «я слышу молчание!» московского полицмейстера.



белую пыль, уносил ее, вертел... она падала, и все снова приходило в покой, да раза два лавины, оторвавшись с глухим раскатом, скатывались вдали, цепляясь за утесы, разбиваясь о них и оставляя по себе облако снега...

Странно чувствует себя человек в этой раме—гостем, лишним, посторонним—и, с другой стороны, свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становится бел и чист внутри... серьезен и полон какого-то благочестия! . . . . .

Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси и считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..

Да, жизнь иногда имеет свои мелодраматические выходы, свои *coups de théâtre*<sup>1</sup>, очень натянутые.

---

<sup>1</sup> театральные эффекты (франц.).—*Ред.*



---

## ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

*Тетрадь вторая*

### I. II Pianto <sup>1</sup>

После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в *побежденных*, в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она *должна была быть* побежденной.

У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.

Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания\*; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разума, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была ли еще печальнее. Они, в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то что *невеста* обманула.

Несчастья, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздражение... Эмиграции разбивались на маленькие

---

<sup>1</sup> Плач (итал.). — *Ред.*

кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех — *цех выходцев* — складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он «утопает в посты и наслаждается лишениями», так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала... Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.

Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.

...Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена нехотя, дымясь и треща, горели в камине; все были заняты укладкой; я сидел один-одинехонек, женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие* — мой «Эпилог к 1849»\*.

«Разочарование, усталь, *Blasiertheit!*»<sup>1</sup>, — сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь!.. Разочарование — слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы — ни на что. Давно надоели нам все эти вышние, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия, — в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.

---

<sup>1</sup> равнодушие (нем.). — *Ред.*

Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтоб притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух разных возрастов, двух разных воспитаний, и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся. ●

Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. Заримским разрывом шло христианство, за христианством — вера в цивилизацию, в человечество. *Либерализм составляет последнюю религию*, но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея — политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготу; болезненное сознание этого выражается иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.

Иронией высказывается досада, что истина логическая — не одно и то же с истиной исторической, что, сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что, сверх своего разума, она имеет свой роман.

Разочарованья<sup>1</sup>, в нашем смысле слова, до революции не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. Я уже не говорю о великомученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жаке; но разве папа-Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя бога и свободы\*, не был пиетист своей человеческой религией?

Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года.

---

<sup>1</sup> Вообще «наш» скептицизм не был известен в прошлом веке, один Дидро и Англия делают исключение. В Англии скептицизм был с давних времен дома, и Байрон естественно идет за Шекспиром, Гоббсом и Юмом.

Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового пасти стада людские. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее*, но не *общее* сознание, не *мысль всех*.

У нового духовенства не было *понукающих* средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие — убеждение, но для убеждения недостаточно *правоты*, в этом вся ошибка, а необходимо еще одно — *мозговое равенство!*

Пока длилась отчаянная борьба, при звуках святой песни гугенотов и святой «Марсельезы», пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но, наконец, тяжелое здание феодальной монархии рухнулось; долго ломали стены, отбивали замки... еще удар — еще пролом сделан, храбрые вперед, ворота отперты — и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий *populus romanus*. *Davus sum, non Aedipus!*<sup>1\*</sup> Неотразимая волна грязи залила все. В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сийэс был больше прав, чем думал, говоря, что *мещане* — «всё»\*.

Мещане не были произведены революцией, они были готовы с своими преданиями и нравами, чуждыми *на другой лад* революционной идеи. Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось в мещанство.

Несколько человек каждого поколения оставались, вопреки событиям, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а может, астеки, несут несправедливую казнь за монополю исключитель-

---

<sup>1</sup> римский народ. Я — Дав, не Эдип! (лат.).—*Ред.*

ного развития, за мозговое превосходство сытых каст, — каст досужных, имевших время работать не одними мышцами.

Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость этого факта. Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития; пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль на конце — это заключение; все начинается тупостью новорожденного; возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внешних и внутренних влияний, отклонений, остановок. У одного вода размягчит мозг, другой, падая, сплюснет его, оба останутся идиотами, третий не упадет, не умрет скарлатиной и сделается поэтом, военачальником, бандитом, судьей. Мы вообще в природе, в истории и в жизни всего больше знаем удачи и успехи; мы теперь только начинаем чувствовать, что не все так хорошо подтасовано, как казалось, потому что мы сами — неудача, *проигранная карта*.

Сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами, мы готовы, *par dépit* <sup>1</sup>, верить в разумное (т. е. намеренное) зло, как верили в разумное добро, — это последняя дань, которую мы платим идеализму.

Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется; ее почти нет в *Новом* свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Там, сверх того, нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они поднимаются, опускаются с итогом *credit* и *debet* каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централи-

---

<sup>1</sup> с досады (франц.).—Ред.

зации, а может, не будет и голода. *Кто может* совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Ионатана\*, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском разложении.

Те, которые *не могут*, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американский возраст.

Большой беды в этом нет: нас немного, и мы скоро вырем!

Но как люди так развиваются вон из своей среды?..

Представьте себе оранжереяного юношу, хоть того, который описал себя в «The Dream»\*; представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных: одного дряхлого, другого по колена в топком болоте, раздавленного, как Кариатида, постоянно натянутые мышцы которой не дают ни капли крови мозгу. Если б он умел приладиться к той жизни, он, вместо того чтоб умереть за тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины»\*.

Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года; от них нельзя было спастись ни в Равенне, ни в Диодати\*. Байрон не мог удовлетвориться по-немецки теориями *sub specie aeternitatis*<sup>1</sup>, ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился, как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилюли.

Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда приклонить голову.

---

<sup>1</sup> с точки зрения вечности (лат.).—Ред.

Реалист Гёте, так же как романтик Шиллер, этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда «дух отрицанья» является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен; насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему — *sie ist gerettet*<sup>1\*</sup>. Не таков Люцифер в «Каине»; это печальный ангел тьмы, на его лбу тускло мерцает звезда горькой думы, полного внутреннего распада, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смешит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни брильянтов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступленью той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, ничего не обещающая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти.

Ни Каин, ни Манфред, ни Дон-Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого «нравоучения». Может, с точки зрения драматического искусства это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилог Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это — «The Darkness»; вот результат жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные... корабль догнивает — смоленный канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, т. е. если новый мир дойдет до того, что сумеет считать до четырех.

Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу; но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может, и оба,

---

<sup>1</sup> она спасена (нем.).—*Ред.*



и тогда— ну, тогда история с своим мормонизмом начнет новую беременность... *E sempre bene*<sup>1</sup>, господа!

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на горах трупов — ей все равно, она продолжает свое или так продолжает, что попало: десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль западная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие — что же с этим делать?

Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими, и, несмотря на то, что каждое событие, каждая встреча, каждое столкновение, лицо — наперерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал *выхода*.

Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что *выхода нет*, и гордо высказал это.

Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня; я всячески хотел бежать от них... я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери, останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату — к *смирению перед истиной*, к самоотверженному принятию ее.

...Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достоинство \*. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом.

Так уж с общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

---

<sup>1</sup> Ну, и ладно (итал.).—Ред.

## II. POST SCRIPTUM

Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, *хотим* другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим *à livre ouvert*<sup>1</sup>, по книжкам и картинкам, так, как дети судят по «*Orbis pictus*» о настоящем мире \*, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами и что где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами.

Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.

Во-первых, нам известен только один верхний, *образованный* слой Европы, который накрывает собой тяжелый фундамент народной жизни, сложившийся веками, выведенный инстинктом, по законам, мало известным в самой Европе. Западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией. Европейские государства спаяны из двух народов, особенности которых поддерживаются совершенно разными воспитаниями. Восточного единства, вследствие которого турок, подающий чубук, и турок великий визирь похожи друг на друга, здесь нет. Массы сельского населения, после религиозных войн и крестьянских восстаний, не принимали никакого действительного участия в событиях; они ими увлекались направо или налево, как нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его.

---

<sup>1</sup> Здесь: поверхностно (франц.).—Ред.

В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов — все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, *мещанских*. Они составляют целое, т. е. замкнутое, оконченное в себе, воззрение на жизнь, с своими преданиями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью *нижнего порядка*.

Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира: господа заменились *хозяевами*. Купец сам по себе — лицо стертое, промежуточное; посредник между одним, который производит, и другим, который потребляет, он представляет нечто вроде дороги, повозки, средства.

Рыцарь был больше *он сам*, больше *лицо* и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он, в сущности, и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное — товар, дело, вещь, главное — *собственность*.

Рыцарь был страшная невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиетист, но он был во всем открыт и откровенен; к тому же он всегда готов был лечь костью за то, что считал правым; у него было свое нравственное уложение, свой кодекс чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты собственного уважения или уважения равных.

Купец — человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним — *хитростью*. Его предки, средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить: они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку

зарывали деньги в землю. Все это естественно перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского, называемого *средним состоянием*.

Пока оно было в несчастном положении и соединялось с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого стало ненадолго, и Санчо-Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его натуры взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменялось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для *всех* (т. е. для всех, имеющих деньги).

Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были потрясены, но нового сознания *настоящих* отношений между людьми не было раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства, под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека, — чего тут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, *salus populi*<sup>1\*</sup> и *chacun pour soi*<sup>2</sup>, Брут и Фома Кемпийский, евангелие и Бентам, приходе-расходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди не трудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий — хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек *de facto* сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

---

<sup>1</sup> народное благо (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> каждый за себя (франц.).—*Ред.*

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки: редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую англиканскую церковь — Old Shop <sup>1</sup>.

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие *мещане*, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, т. е. с одной стороны *скупость*, с другой — *зависть*. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений, — она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Парламентское правление, не так, как оно истекает из народных основ англосаксонского Common law <sup>2</sup>\*, а так, как оно сложилось в государственный закон, — самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента? \*

Но в этом-то сохранении вида и главное дело.

Во всем современноевропейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны лицемерие и скрытность, с другой — выставка и *étalage*. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться

---

<sup>1</sup> старая лавка (англ.). — *Ред.*

<sup>2</sup> обычного права (англ.). — *Ред.*

буквальным смыслом, *казаться*, вместо того чтоб *быть*, вести себя *прилично*, вместо того чтоб вести себя *хорошо*, храпить внешний *Respectabilität*<sup>1</sup> вместо внутреннего достоинства.

В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования. Кто из нас не останавливался, краснея за неведение западного общества (я здесь не говорю об ученых, а о людях, составляющих то, что называется обществом)? Образования теоретического, серьезного быть не может: оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от *дела*. Так как все, лежащее вне торговых оборотов и «эксплуатации» своего общественного положения, не *существенно* в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограничено. Оттого происходит та нелепость и тяжесть ума, которую мы видим в мещанах всякий раз, как им приходится съезжать с битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемерие далеко не так умны и дальновидны, как воображают; их диаметр беден и плаванье мелко.

Англичане это знают и потому не оставляют битые колеи и выносят не только тяжелые, но, хуже того, смешные неудобства своего готизма<sup>2</sup>, боясь всякой перемены.

Французские мещане не были так осторожны и со всем своим лукавством и двоедушием оборвались в империю.

Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка *всеобщую подачу голосов*. Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прокидывать на счетах и метить булавками.

И что же они подвергнули суду *всех голосов* при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину, пойдет ли тот спрашивать мнение встречного, поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?

Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочлись.

---

<sup>1</sup> благопристойность (нем.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Здесь: косности, от Goth (англ.).—*Ред.*

Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линочым ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, забравший все в руки, т. е. и мещан, которые воображали по старой памяти, что он будет *царствовать*, а они — *править*.

То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонно на людях, как буржуазия.

Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал с своей стороны еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорей их идеалом.

Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, т. е. обязывает *per fas et nefas*<sup>1</sup>, иметь собственность. Его евангелие коротко: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».

Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, т. е. людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон-Гуттен, и дворяне, как

---

<sup>1</sup> правдою и неправдою (лат.).—Ред.

Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства.

Из протестантизма они сделали *свою* религию,— религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика,— религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, ее оставил. В Англии *чзрнь* всего менее ходит в церковь.

Из революции они хотели сделать *свою* республику, но она ускользнула из-под их пальца, так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, т. е. без места в настоящем, но с надеждой на *instaurationem magnam*<sup>1</sup>.

Реформация и революция были сами до того испуганы пустотою мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скучном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цивизме республиканского формализма. Квakerская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других — что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наиболее развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, *образованнее*, т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо душливо жить, как в Англии и во Франции... И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария — единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.

---

Эти отрывки, напечатанные в IV кн. «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением\*, писанным до *приезда Огарева в Лондон и до смерти Грановского*:

...Прими сей череп — он  
Принадлежит тебе по праву.  
А. П у ш к и н \*.

---

<sup>1</sup> великое восстановление (лат.).—Ред.



На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятным, усеченным, может, ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после...

Теперь расстанемся, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шум, долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них искать *своих* и отучился — не от людей, а от близости с ними.

Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглухнуть и пропасть в душе, как взгляд рассеивается и пропадает в пустой дали... но и это — скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.

К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год как бывало, ведаемся каждый день, и ничего не переменялось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер, и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой почвы, кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.

Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб — но вы, друзья, примите его радушно; этот труд помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу *не весело, но спокойно* (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму:

«Lieta no... ma sicura!»<sup>1</sup> — говорит Леопарди о смерти в своем «Ruysch e le sue mummie».

Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня — *примите же сей череп — он вам принадлежит по праву.*

Isle of Wight, Ventnor<sup>2</sup>, 1 октября 1855.

<sup>1</sup> Не радостная... но уверенная в безопасности (итал.). — *Ред.*

<sup>2</sup> Остров Уайт, Вентнор (англ.). — *Ред.*

---

## ГЛАВА XXXIX

Деньги и полиция.— Император Джеймс Ротшильд и банкир  
Николай Романов.— Полиция и деньги.

В декабре 1849 года я узнал, что доверенность на залог моего имени, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал моей матери наложено запрещение. Терять времени было нечего, я, как уже сказал в прошлой главе, бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери.

Глупо или притворно было бы в наше время денежного нестройства пренебрегать состоянием. Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства.

Я и то чуть не потерял всего. Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался очертя голову в политические движения и предоставил на волю божью будущность семьи, — может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое имя в то время, как вспрынувшая Италия кипела перед моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях,

а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть «вице-губернатором», за «обер-прокурорским столом» и говорил бы своему секретарю «ты», а своему министру «ваше высокопревосходительство!»

Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Беднее было бы сердце и память, если бы я пропустил те светлые мгновения веры и восторженности! Чем было бы выкуплено для меня лишение их? да и что для *меня* — чем было бы выкуплено для *той*, сломленная жизнь которой была потом одним страданием, окончившимся могилой? Как горько упрекала бы меня совесть, что я из предусмотрительности украл у нее чуть ли не последние минуты невозмутимого счастья! А потом, ведь главное я все же сделал — спас почти все достояние, за исключением костромского имения.

После Июньских дней мое положение становилось опаснее. Я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разменять мне два билета московской сохранный казны. Дела тогда, разумеется, не шли, курс был прескверный; условия его были невыгодны, но я тотчас согласился и имел удовольствие видеть легкую улыбку сожаления на губах Ротшильда — он меня принял за бесцетного *prince russe*<sup>1</sup>, задолжавшего в Париже, и потому стал называть «*monsieur le comte*»<sup>2</sup>.

По первым билетам деньги немедленно были уплачены; по следующим, на гораздо значительнейшую сумму, уплата хотя и была сделана, но корреспондент Ротшильда извещал его, что на мой капитал наложено запрещение, — по счастью, его не было больше.

Таким образом, я очутился в Париже с большой суммой денег, середь самого смутного времени, без опытности и знания, что с ними делать. И между тем все уладилось довольно хорошо. Вообще, чем меньше страстности в финансовых делах, беспокойства и тревоги, тем они легче удаются. Состояния рушатся так же часто у жадных стяжателей и финансовых трусов, как у мотов.

---

<sup>1</sup> русского князя (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> «графом» (франц.).—*Ред.*

По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг, несколько французских и небольшой дом на улице Амстердам, занимаемый Гаврской гостиницей.

Один из первых революционных шагов моих, развязавших меня с Россией, погрузил меня в почтенное сословие консервативных тунеядцев, познакомил с банкирами и нотариусами, приучил заглядывать в биржевой курс, словом, сделал меня западным *rentier*<sup>1</sup>. Разрыв современного человека со средой, в которой он живет, вносит страшный сумбур в частное поведение. Мы в самой середине двух, мешающих друг другу, потоков; нас бросает, и будет еще долго бросать, то в ту, то в другую сторону до тех пор, пока тот или другой окончательно не сломит, и поток, еще беспокойный и бурный, но уже текущий в одну сторону, не облегчит пловца, т. е. не унесет его с собой.

Счастлив тот, кто до этого умеет так лавировать, что, уступая волнам и качаясь, все же плывет в *свою* сторону!

При покупке дома я имел случай поближе взглянуть в деловой и буржуазный мир Франции. Бюрократический формализм при совершении купчей не уступит нашему. Старик нотариус прочел мне несколько тетрадей, акт о прочтении их, *mainlevée*, потом настоящий акт — из всего составила́сь целая книга *in folio*. В последний торг наш о цене и расходах хозяин дома сказал, что он сделает уступку и возьмет на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понял его, потому что с самого начала объявил, что покупаю на чистые деньги. Нотариус объяснил мне, что деньги должны остаться у него по крайней мере три месяца, в продолжение которых сделается публикация и вызовутся все кредиторы, имеющие какие-нибудь права на дом. Дом был заложен в семьдесят тысяч, но он мог быть еще заложен и в другие руки. Через три месяца, по собрании справок, выдается покупщику *purge hypothécaire*, а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяин уверял, что у него нет других долгов. Нотариус подтверждал это.

---

<sup>1</sup> рантье (франц.).—Ред.

— Честное слово,— сказал я ему,— и вашу руку — у вас других долгов нет, которые касались бы дома?

— Охотно даю его.

— В таком случае я согласен и явлюсь сюда завтра с чеком Ротшильда.

Когда я на другой день приехал к Ротшильду, его секретарь всплеснул руками:

— Они вас надуют! как это возможно! Мы остановим, если хотите, продажу. Это неслыханное дело — покупать у незнакомого на таких условиях.

— Хотите, я пошлю с вами кого-нибудь рассмотреть это дело? — спросил сам барон Джемс.

Такую роль недоросля мне не хотелось играть, я сказал, что дал слово, и взял чек на всю сумму. Когда я приехал к нотариусу, там, сверх свидетелей, был еще кредитор, приехавший получить свои семьдесят тысяч франков. Купчую перечитали, мы подписались, нотариус поздравил меня парижским домохозяином,— оставалось вручить чек.

— Какая досада,— сказал хозяин, взявши его из моих рук,— я забыл вас попросить привезти два чека, как я теперь отделю семьдесят тысяч?

— Нет ничего легче: съездите к Ротшильду, вам дадут два, или, еще проще, съездите в банк.

— Пожалуй, я съезжу,— сказал кредитор.

Хозяин поморщился и ответил, что это его дело, что он поедет.

Кредитор нахмурился. Нотариус добродушно предложил им ехать вместе.

Едва удерживаясь от смеха, я им сказал:

— Вот ваша записка, отдайте мне чек, я съезжу и разменяю его.

— Вы нас бесконечно обяжете,— сказали они, вздохнув от радости; и я поехал.

Через четыре месяца *purge hypothécaire* была мне прислана, и я выиграл тысяч десять франков за мое опрометчивое доверие.

После 13 июня 1849 года префект полиции Ребилю что-то донес на меня; вероятно, вследствие его доноса и были взяты

петербургским правительством странные меры против моего имени. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж.

Мы отправились через Невшатель и Безансон. Путешествие наше началось с того, что в Берне я забыл на почтовом дворе свою шинель; так как на мне был теплый пальто и теплые калоши, то я и не воротился за ней. До гор все шло хорошо, но в горах нас встретил снег по колено, градусов восемь мороза и проклятая швейцарская биза<sup>1</sup>. Дилижанс не мог идти, пассажиров рассажали по два, по три в небольшие пошевни. Я не помню, чтоб я когда-нибудь страдал столько от холода, как в эту ночь. Ногам было просто больно, я зарыл их в солому, потом почтальон дал мне какой-то воротник, но и это мало помогло. На третьей станции я купил у крестьянки ее шаль франков за 15 и завернулся в нее; но это было уже на съезде, и с каждой милей становилось теплее.

Дорога эта великолепно хороша с французской стороны; обширный амфитеатр громадных и совершенно не похожих друг на друга очертаниями гор провожает до самого Безансона; кое-где на скалах виднеются остатки укрепленных рыцарских замков. В этой природе есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, рос и складывался крестьянский мальчик, потомок старого сельского рода, Пьер-Жозеф Прудон. И действительно, о нем можно сказать, только в другом смысле, сказанное поэтом о флорентинцах:

*E tiene ancora del monte et del masigno!*<sup>2\*</sup>

Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спросить его, в чем дело. Нессельроде отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что

---

<sup>1</sup> северный ветер (франц. *bise*).—*Ред.*

<sup>2</sup> Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб (итал.).—*Ред.*

государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным.

Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингисхана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай.

— Для меня,— сказал я ему,— мало удивительного в том, что Николай, в наказание мне, хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку; но я не мог себе представить, чтоб ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери; подписываясь на них, она их передала предъявителю (*au porteur*), но с тех пор, как вы расписались на них, этот *porteur* — *еу*<sup>1</sup>, и вам-то нагло отвечают: «Деньги ваши, но барин платить не велел».

Речь моя удалась. Ротшильд стал сердиться и, ходя по комнате, говорил:

— Нет, я с собой шутить не позволю, я сделаю процесс ломбарду, я потребую категорического ответа у министра финансов!

«Ну,— подумал я,— этого уже Вронченко не поймет. Хорошо еще „конфиденциального“, а то „категорического“.

— Вот вам образчик, как самодержавие, на которое так надеется реакция, фамильярно и *sans gêne*<sup>2</sup> распоряжается собственностью. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луи-блановского.

— Я подумая,— сказал Ротшильд,— что делать. Так нельзя оставить этого.

Дни через три после этого разговора я встретил Ротшильда на бульваре.

— Кстати,— сказал он мне, останавливая меня,— я вчера говорил о вашем деле с Киселевым<sup>3</sup>. Я вам должен сказать,

---

<sup>1</sup> Подпись эта, *endossement* <передаточная подпись (франц.)>, делается для пересылки, чтоб не посылать анонимный билет, по которому всякий может получить деньги.

<sup>2</sup> бесцеремонно (франц.).—*Ред.*

<sup>3</sup> Это не П. Д. Киселев, бывший впоследствии в Париже, очень порядочный человек и известный министр государственных имуществ, а другой, переведенный в Рим\*.

вы меня извините, он очень невыгодного мнения о вас и вряд ли сделает что-нибудь в вашу пользу.

— Вы с ним часто видитесь?

— Иногда, на вечерах.

— Сделайте одолжение, скажите ему, что вы сегодня виделись со мной и что я самого дурного мнения о нем, но что с тем вместе никак не думаю, чтоб за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильд расхохотался; он, кажется, с этих пор стал догадываться, что я не *prince russe*, и уже называл меня *бароном*; но это, я думаю, он для того поднимал меня, чтоб сделать достойным разговаривать с ним.

На другой день он прислал за мной; я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру и прибавил:

— Вот наш проект письма; садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы им; если хотите что прибавить или изменить, мы сейчас сделаем. А мне позвольте продолжать мои занятия.

Сначала я осмотрелся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входил один биржевой агент за другим, громко говоря цифру; Ротшильд, продолжая читать, бормотал, не подымая глаз: «да,— нет,— хорошо,— пожалуй,— довольно», и цифра уходила. В комнате были разные господа, рядовые капиталисты, члены Народного собрания, два-три истощенных туриста с молодыми усами на старых щеках — эти вечные лица, пьющие на водах вино, представляющиеся ко дворам, слабые и лимфатические отпрыски, которыми иссякают аристократические роды и которые туда же, суются от карточной игры к биржевой. Все они говорили между собой вполголоса. Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, все миллионы или по крайней мере сотни тысяч.

— Ну, что,— сказал он, обращаясь ко мне,— довольны?

— Совершенно,— отвечал я.

Письмо было превосходно: резко настойчиво, как следует, когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтоб тот немедленно требовал аудиенции у Нессельроде и у министра финансов, чтоб он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому



принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения, почему уплата остановлена; что, в случае отказа, он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших проволочек, он должен будет дать гласность этому делу через журналы, для предупреждения других капиталистов. Письмо это он рекомендовал Гассеру показать Нессельроду.

— Очень рад... но,— сказал он, держа перо в руке и с каким-то простодушием глядя прямо мне в глаза,— но, любезный барон, неужели вы думаете, что я подпишу это письмо, которое *au bout du compte*<sup>1</sup> может меня поссорить с Россией,— за полпроцента комиссии?

Я молчал.

— Во-первых,— продолжал он,— у Гассера будут расходы, у вас даром ничего не делают,— это, разумеется, должно пасть на ваш счет; сверх того... сколько предлагаете вы?

— Мне кажется,— сказал я,— что вам бы следовало предложить, а мне согласиться.

— Ну, пять, что ли? Это не много.

— Позвольте подумать...

Мне хотелось просто рассчитать.

— Сколько хотите... Впрочем,— прибавил он с мефистофельской иронией в лице,— вы можете это дело обделать даром — права вашей матушки неоспоримы, она виртембергская подданная, адресуйтесь в Штутгарт— министр иностранных дел обязан заступиться за нее и выхлопотать уплату. Я, по правде сказать, буду очень рад свалить с своих плеч это неприятное дело.

Нас перервали. Я вышел в бюро, пораженный всею античной простотой его взгляда и его вопроса. Если б он спросил 10, 15 процентов, то я и тогда бы согласился. Его помощь была мне необходима, он это так хорошо знал, что даже подтрунил насчет обруселого Виртемберга. Но, снова руководствуясь

---

<sup>1</sup> в конечном счете (франц.).—Ред.

той отечественной политической экономией, что за какое бы пространство извозчик ни спросил двугривенный — все же попробовать предложить ему пятиалтынный, я, без всякого достаточного основания, сказал Шомбургу, что полагаю, что один процент можно сбавить. Шомбург обещал сказать и просил зайти через полчаса.

Когда через полчаса я входил на лестницу Зимнего дворца финансов в rue Lafitte, с нее сходил соперник Николая.

— Мне Шомбург говорил, — сказала его величество, мило-ство улыбаясь и высочайше протягивая собственную августей-шую руку свою, — письмо подписано и послано. Вы увидите, как они повернутся; я им покажу, как со мной шутить.

«Только не за полпроцента», — подумал я и хотел стать на колени и принести, сверх благодарности, верноподданниче-скую присягу, но ограничился тем, что сказал:

— Если вы совершенно уверены, велите мне открыть кре-дит хоть на половину всей суммы.

— С удовольствием, — отвечал государь император и про-следовал в улицу Лафит.

Я откланялся его величеству и, пользуясь близостию, по-шел в Maison d'Or.

Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов, уstraшенный конкурсом и опубликованием в ведомостях, уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с про-центами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему об-щественному положению.

С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отноше-ниях; он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая, я был для него нечто вроде Маренго или Аустер-лица, и он несколько раз рассказывал при мне подро-бности дела, слегка улыбаясь, но великодушно щадя побитого противника.

В продолжение моего процесса я жил в Отель Мирабо, rue de la Paix. Хлопоты по этому делу заняли около полугода. В апреле месяце, одним утром, говорят мне, что какой-то гос-подин дожидается меня в зале и хочет непременно видеть.

Я вышел; в зале стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

— Комиссар полиции Тюльерийского квартала, такой-то.

— Очень рад.

— Позвольте мне прочесть вам декрет министра внутренних дел, сообщенный мне префектом полиции и касающийся вас.

— Сделайте одолжение, вот стул.

«Мы, префект полиции<sup>1</sup>:

Взяв в соображение 7 пункт закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 г., дающий министру внутренних дел право выселять (*expulser*) из Франции всякого иностранца, присутствие которого во Франции может возмутить порядок и быть опасным общественному спокойствию, и основываясь на министерском циркуляре 3 января 1850 г.,

решаем, что следует:

Называемый (*le N-é*, т. е. *nommé*, но это не значит „вышеупомянутый“, потому что прежде обо мне не говорится, это только безграмотная попытка как можно грубее обозначить человека) Герцен, Александр, 40 лет (два года прибавили), русский подданный, живущий там-то, обязан оставить немедленно Париж, по объявлении сего, и в наискорейшем времени выехать из пределов Франции.

Воспрещается ему впредь возвращаться, под опасением наказаний, положенных 8 пунктом того же закона (тюремное заключение от одного месяца до шести и денежный штраф).

Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений.

Сделано (*Fait*) в Париже 16 апреля 1850.

Префект полиции П. Карлье.

Скрепил общий секретарь префектуры Клемен Рейр.

На боку: Читал и одобрил 19 апреля 1850 г.

Министр внутренних дел Ж. Барош.

Лета тысяча восемьсот пятидесятого, апреля двадцать четвертого.

---

<sup>1</sup> Перевожу слово в слово.

Мы, Емилий Буллей, комиссар полиции города Парижа и в особенности Тюльерийского отделения, во исполнение приказаний господина префекта полиции от 23 апреля:

Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, как сказано в оригинале.

Тут следует весь текст опять. В том роде, как дети говорят сказку о белом быке, повторяя всякий раз с прибавкой одной фразы: «Сказать ли вам сказку о белом быке?»

Далее: «Мы пригласили поименованного (le dit) Герцена явиться в продолжение двадцати четырех часов в префектуру для получения паспорта и для назначения границы, через которую он выедет из Франции.

А чтоб сказанный сударь Герцен не отозвался неведением (n'en prétende cause d'ignorance — каков язык!), мы ему оставили *эту* копию сказанного решения в начале сего настоящего нашего протокола объявления.— Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procès-verbal de notification».

Где мои вятские товарищи по канцелярии Тюфяева, где Ардашов, писавший за присест по десяти листов, Вепрёв, Штин и мой пьяненький столоначальник? Как сердце их должно возрадоваться, что в Париже, после Вольтера, после Бомарше, после Ж. Санд и Гюго, пишут так бумаги! Да и не один Вепрёв и Штин должны радоваться — а и земский моего отца Василий Епифанов, который, из глубоких соображений учтивости, писал своему помещику: «Повеление ваше по сей настоящей прошедшей почте получил и по оной же имею честь доложить...»

Можно ли оставить камень на камне этого глупого, пошлого здания des us et coutumes <sup>1</sup>, годного только для слепой и выжившей из ума старухи, как Фемида?

Чтение не произвело ожидаемого действия. Парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы — мне, напротив, было все равно и жизнь парижская уже начинала надоедать.

— Когда должен я явиться в префектуру?— спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

---

<sup>1</sup> обычаев (франц.).—Ред.

— Я советую завтра, часов в десять утра.

— С удовольствием.

— Как нынешний год весна рано начинается,— заметил комиссар города Парижа и в особенности Тюльерийский.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здесь обедал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?

— Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!

— Это действительно неприятно... хозяйка умная и прекрасная женщина — M<sup>lle</sup> Кузен — была большой приятельницей знаменитой Lenormand.

— Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал! Может, она унаследовала у нее искусство гадать и могла бы мне предсказать billet doux <sup>1</sup>. Карлье.

— Ха, ха... мое дело вы знаете, позвольте пожелать.

— Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.

На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jérusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место: он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва шляпу, когда можно видеть префекта.

— Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.

— Позвольте мне написать сейчас.

Он позвонил, вошел старик huissier <sup>2</sup>, с цепью на груди;

---

<sup>1</sup> любовную записочку (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> пристав (франц.).—Ред.

сказав ему с важным видом: «Бумаги и перо этому господину», юноша кивнул мне головой.

Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.

В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: «Г. префект готов принять такого-то завтра, в два часа».

Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день; у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если бог продлит его живот.

На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах, сидел толстый, высокий, румяный господин из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным<sup>1</sup> выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.

— Вы желали видеть префекта,— сказал он мне,— но он извиняется перед вами: очень нужное дело заставило его выехать,—если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?

Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. «Ну, этот давно служит»,— подумал я.

— Вы, верно, знаете, зачем я пришел.

Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего.

— Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать,

---

<sup>1</sup> Здесь: благодушным (франц. jovial).—*Ред.*



почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома...

— Где ваш дом?

— 14, rue Amsterdam... очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.

— Позвольте узнать, какие у вас дела: по дому или...?

— Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысячу четырехсот франков.

— Как-с?

— С небольшим сто тысяч roubles argent <sup>1</sup>.

— Это значительная сумма!

— C'est une somme ronde <sup>2</sup>.

— Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела?— спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окна фазаны с трюфлями.

— От месяца до шести недель.

— Это ужасно много.

— Процесс мой в России. Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.

— Как так?

— С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.

— D'abord <sup>3</sup>,— заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры,— Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову. Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?

Я решил его добивать деньгами. Это было так же верно,

---

<sup>1</sup> рублей серебром (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Это кругленькая сумма (франц.).—*Ред.*

<sup>3</sup> Прежде всего (франц.).—*Ред.*



как в споре с католиком употреблять тексты из евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:

— За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч франков и потому считал себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чем моя «*somme ronde*». Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы:

— Что нам делать? Мы в необходимости,— взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой:

— Видите ли, — приговаривал он, — ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные *subventions*<sup>1</sup>, которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям.

— Я уверен, — сказал я, — что сам император Николай не подозревает этой солидарности; не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление.

— *Un bon citoyen*<sup>2</sup> уважает законы страны, какие бы они ни были...<sup>3</sup>

— Вероятно, это по тому знаменитому правилу, что все же лучше, чтоб была дурная погода, чем чтоб совсем погоды не было.

— Но, чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на один месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда о вашем деле; тут не столько сомнение...

— Да сделайте одолжение, отчего же не справиться; мы в войне, и если б мне было полезно употребить военную хит-

---

<sup>1</sup> субсидии (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Хороший гражданин (франц.).—*Ред.*

<sup>3</sup> Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете.

рость, чтоб остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?..

Но светский и милый *alter ego* <sup>1</sup> префекта не остался в долгу: — Люди, которые так говорят, никогда не говорят неправды.

Через месяц дело еще не было окончено; к нам ездил старик доктор Пальме, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок. Давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здоровье, я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальме, разумеется, был знаком со всеми в префектуре; он обещал мне лично передать Х. историю моего недуга. К крайнему удивлению, Пальме приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. Х. не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился *лично* известить его о том, что я болен, в постеле и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущий здоровьем.

Х. с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбопытствовал прочитав, что написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастью, я вспомнил Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимом аппетите, жаловался на аневризм, — я сказал Х., что у меня болезнь в сердце и что дорога может мне быть очень вредна.

Х. пожалел, советовал беречься, потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря:

— Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтоб ваше здоровье поправилось в продолжение этого времени; ему было бы очень неприятно, если б это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может.

Я понял это и приготовился выехать из Парижа около 20 июня.

Имя Х. встретилось мне еще раз через год. Патриот этот и *bon citoyen* бесшумно удалился из Франции, забывши отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков

---

<sup>1</sup> другое я (лат.).—*Ред.*

в какую-то калифорнскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры! Когда добрый гражданин увидел, что, при всем уважении к законам своей родины, он может попасть на галеры за faux <sup>1</sup>, тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная, не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенную историей калифорнской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог; видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги.

Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально gardé à vue <sup>2</sup>, письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому.

Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирски-ламартиновского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона, и ему самому в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтоб, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу, из министерства внутренних дел и Ellysée <sup>3</sup>, все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. Второе декабря — возведение полиции на степень государственной власти\*.

Никогда нигде не было такой политической полиции, ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен Конвента. На это, сверх особенного *национального* влечения к полиции, есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным шпионством, полиция везде окружена враждебными элементами и, следственно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция — самое народное учреждение; какое бы правительство ни захватило власть в руки, полиция у него готова, часть народонаселения будет

---

<sup>1</sup> подлог (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> под явным надзором (франц.).—Ред.

<sup>3</sup> Елисейского дворца (франц.).—Ред.

ему помогать с фанатизмом и увлечением, который надобно умерять, а не усиливать, и помогать притом всеми страшными средствами частных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестрино мужа, братниной жены, особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях, с общей лестницей, с общим двором и дворником?

Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы; усталый и измученный, он входит в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, рассуждает так: «Он в пыли, стало, пришел *издалека*; он спросил курицы, стало, у него есть *деньги*; руки у него белые, стало, он *аристократ*». Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак; там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин — Муций Сцевола, ликворист<sup>1</sup> и гражданин — Брут, Тимoleon — портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции — в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!

Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Диона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства — через префектов, помимо префектов — через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось, и не только оружие, но и оруженосец: Фуше перешел к Бурбонам; сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами. При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства, половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, в Национальной гвардии.

Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно-

---

<sup>1</sup> ликерщик, от *liqueur* (франц.).—Ред.

тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы... Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой — с болезненной, необузданной жадой денег и наслаждений, растлила целое поколение.

Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.

Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, *сближавшимися* с целью предательства.

Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны,— так, слабодушный товарищ погубил Конарского\*. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей, образованных, говорящих *нашим* языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами...

К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжакелин-легитимист, и бездна людей, благодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тюльерийском дворце.



---

## ГЛАВА XL

Европейский комитет.— Русский генеральный консул в Ницце.— Письмо к А. Ф. Орлову.— Преследование ребенка.— Фогты.— Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне.— Прием в Шателе.

(1850—1851)

С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: «Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов — от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюлярной тюрьмы.

Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852— нового ничего, разве какое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется».

«Письма из Франции и Италии» (1 июня 1851)\*.

Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия\*. Полицейские кондольтеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства\*. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе

движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности\*, Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге *центральный европейский комитет*\*... а реакция свирепела больше и больше.

После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, я виделся с Маццини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты<sup>1</sup> в Лондоне\* и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней *как русский*; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением\*. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движения*, которую комитет представлял, т. е. восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь *явно* свою юнту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или *alien-биллем*<sup>2</sup>, или предложением приостановить *habeas corpus*\*.

Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают *что-нибудь*, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, *professions de foi*<sup>3</sup> и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова

---

<sup>1</sup> хунты, союза (испанск. *junta*).—*Ред.*

<sup>2</sup> законом об иностранцах (англ.).—*Ред.*

<sup>3</sup> исповедания веры (франц.).—*Ред.*

и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги и лорды, клержимены<sup>1</sup> и секретари. Казначей собирают деньги, литераторы пишут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частью филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с другой — примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат en permanence<sup>2</sup>. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, т. е. невозможный.

Заговор должен быть тайной. Время *тайных обществ* миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания,— будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал *никогда ни в каком тайном обществе*, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому, что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головою.

Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще: у них было бы единство ненависти к одному главному врагу — к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвизывая именно те струны

---

<sup>1</sup> священнослужители (англ. clergyman).—*Ред.*

<sup>2</sup> непрерывно заседающий (франц.).—*Ред.*



для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.

Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:

«Ницца, 13 сентября 1850.

Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.

Вы чуть ли не один из главных *политических* деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами в мнениях, в образе действия, но не уважать вас пельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут, предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело,— с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.

Какая тут может быть организация? — Это одно смешение.

Ни вам, ни истории эти люди не нужны; все, что для них можно сделать,— это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что *нового* в прокламациях, что в «Proscrit»? где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы — это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устраиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли. Но где же она?

Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея

провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломатия, политика, оружия наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации — чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм — религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.

Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторяют.

В «Nouveau Monde» тот же *vacuum horrendum* <sup>1</sup>, — печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем — войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну — настоящим казачком... *auf eigene Faust* <sup>2</sup>, как говорят немцы, при большой революционной армии, не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.

В ожидании этого — я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития; но говорить, обращаться, убеждать зависит от меня — и я это делаю от всей души и от всего помышления.

Простите мне, любезный Маццини, и откровенность и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, — но тоже преданным и своим убеждениям\*.

На это письмо Маццини отвечал несколькими дружескими

---

<sup>1</sup> ужасающая пустота (лат.). — *Ред.*

<sup>2</sup> на свой собственный риск (нем.). — *Ред.*

строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и пр. \*

В ту же осень, в которую меня вспомнил Маццини и европейский комитет, вспомнил меня, наконец, и противуевропейский комитет Николая Павловича\*.

Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал поконченными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура *второго* порядка.

— Я имею вам сделать сообщение.

— Несмотря на то,— отвечал я,— что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.

Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: «Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им...» — снова встал.

Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:

— Сделайте одолжение, я слушаю.

— «...ператорское величество,— продолжал он, снова садясь,— изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки».

Он замолчал. Я продолжал не говорить ни слова.

— Что же мне отвечать?— спросил он, складывая бумагу.

- Что я не поеду.
- Как не поедете?
- Так-таки, просто не поеду.
- Вы обдумали ли, что такой шаг...
- Обдумал.

— Да как же это.. Позвольте, что же я напишу? по какой причине?..

— Вам не велено принимать никаких причин.

— Как же я скажу, ведь это — ослушание воли его императорского величества?

— Так и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это, — и он еще больше покраснел. — Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще *желейно*. (Консул, верно, думал, что III отделение — монастырь.)

Как я ни человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула в Ницце не хотел ехать в петропавловские кельи отца Леонтия \* или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича\*.

— Неужели, — сказал я ему, — когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поеду? Забудьте, что вы консул, и рассудите сами. Именье мое секвестровано, капитал моей матери был задержан, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послеэтого ехать, не сойдя с ума?

Он мялся, постоянно краснел и, наконец, попал на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, — сказал он, — вступать... я понимаю затруднительное положение, с другой стороны — милосердие! — Я посмотрел на него, он опять покраснел. — Сверх того, зачем же вам отрезывать себе все пути? Вы напишите мне, что вы очень больны, я отошлю к графу.

— Это уж слишком старо, да и на что же без нужды говорить неправду.

— Ну, так уж потрудитесь написать мне письменный ответ.

— Пожалуй. Вы мне не оставите ли копии с бумаги, которую читали?

— У нас этого не делается.

— Жаль. Я собираю коллекцию.

Как ни был прост мой письменный ответ, консул все же перепугался: ему казалось, что его переведут за него, не знаю, куда-нибудь в Бейрут или в Триполи; он решительно объявил мне, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмелится. Как я его ни убеждал, что на него не может пасть никакой ответственности, он не соглашался и просил меня написать другое письмо.

— Это невозможно,— возразил я ему,— я не шучу этим шагом и вздорных причин писать не стану; вот вам письмо и делайте с ним что хотите.

— Позвольте,— говорил самый кроткий консул из всех, бывших после Юния Брута и Калпурния Бестии,— вы письмо это напишите не ко мне, а к графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дело не трудное: стоит поставить «M. le comte»<sup>1</sup> вместо «M. le consul»<sup>2</sup>; на это я согласен.

Переписывая мое письмо, мне пришло в голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. По-русски кантонист какой-нибудь в его канцелярии или в канцелярии III отделения может его прочесть, его могут послать в сенат, и молодой обер-секретарь покажет его писцам; зачем же их лишать этого удовольствия? А потому я перевел письмо. Вот оно:

«М. Г.

Граф Алексей Федорович!

Императорский консул в Ницце сообщил мне высочайшую волю о моем возвращении в Россию. При всем желании, я нахожусь в невозможности исполнить ее, не приведя в ясность моего положения.

Прежде всякого вызова, более года тому назад, положено было запрещение на мое имя, отобраны деловые бумаги, находившиеся в частных руках, наконец, захвачены деньги, 10 000 фр., высланные мне из Москвы. Такие строгие и чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что, прежде всякого вопроса, всякого

---

<sup>1</sup> «Граф» (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> «Господин консул» (франц.).—*Ред.*

суда, признан виновным и наказан — лишением части моих средств.

Я не могу надеяться, чтоб одно возвращение мое могло меня спасти от печальных последствий политического процесса. Мне легко объяснить каждое из моих действий, но в процессах этого рода судят мнения, теории, на них основывают приговоры. Могу ли я, должен ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

В. с. оцените простоту и откровенность моего ответа и повергните на высочайшее рассмотрение причины, заставляющие меня остаться в чужих краях, несмотря на мое искреннее и глубокое желание возвратиться на родину.

Ницца, 23 сентября 1850».

Я действительно не знаю, возможно ли было скромнее и проще отвечать; но у нас так велика привычка к рабскому молчанию, что и это письмо консул в Ницце счел чудовищно дерзким, да, вероятно, и сам Орлов также.

Молчать, не смеяться, да и не плакать, а отвечать по данной форме, без похвалы и осуждения, без веселья, да и без печали, — это идеал, до которого деспотизм хочет довести подданных и довел солдат; но какими средствами? А вот я вам расскажу.

Николай раз на смотру, увидав молодца флангового солдата с крестом, спросил его: «Где получил крест?» По несчастью, солдат этот был из каких-то испалившихся семинаристов и, желая воспользоваться таким случаем, чтоб блеснуть красноречием, отвечал: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай сурово взглянул на него, на генерала, надулся и прошел. А генерал, шедший за ним, когда поравнялся с солдатом, бледный от бешенства, поднял кулак к его лицу и сказал: «В гроб заколочу Демосфена!»

Мудрено ли, что красноречие не цветет при таких поощрениях!

Отделавшись от императора и консула, мне захотелось выйти из категории беспаспортных.

Будущее было темно, печально... Я мог умереть, и мысль, что тот же краснеющий консул явится распоряжаться в доме, захватит бумаги, заставляла меня думать о получении

где-нибудь прав гражданства. Само собою разумеется, что я выбрал Швейцарию, несмотря на то, что именно около этого времени в Швейцарии сделали мне полицейскую шалость.

С год после рождения моего второго сына мы с ужасом заметили, что он совершенно глух. Разные консультации и опыты скоро доказали, что возбудить слух было невозможно. Но тут явился вопрос: следовало ли его оставить, как это всегда делают, немым? Школы, которые я видел в Москве, далеко не удовлетворяли меня. Разговор пальцами и знаками не есть разговор, говорить надобно ртом и губами. По книгам я знал, что в Германии и в Швейцарии делали опыты учить глухонемых говорить, как мы говорим, и слушать, смотря на губы. В Берлине я видел в первый раз оральное <sup>1</sup> преподавание глухонемым и слышал, как они декламировали стихи. Это огромный шаг вперед от метода аббата Лепе \*. В Цюрихе это учение доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, решила поселиться с ним на несколько лет в Цюрихе, чтобы посылать его в школу.

Ребенок этот был одарен необыкновенными способностями: вечная тишина вокруг него, сосредоточивая его живой, порывистый характер, славно помогала его развитию и вместе с тем изоощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горели умом и вниманием; пяти лет он умел дразнить намеренно карикатурно всех приходивших к нам, с таким комическим тактом, что нельзя было не смеяться.

В полгода он сделал в школе большие успехи. Его голос был *voilé* <sup>2</sup>, он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше. Проезжая через Цюрих \*, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они — мне.

Но после моего отъезда старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще и с социалистами, которых они ненавидели, и,

---

<sup>1</sup> Здесь: по губам (франц. oral).—*Ред.*

<sup>2</sup> приглушенный (франц.).—*Ред.*

что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке «Vom andern Ufer», вышедшей как на смех у них под носом, из лучшей цюрихской типографии\*. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтоб сбыть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала *паспорт ребенка*; я отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля действительно — мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города. Я рассказал это в Париже, кто-то из моих знакомых напечатал об этом в «Национале»\*. Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение (caution), что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение — несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через «Националь»)? Это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере.

Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастью, не делил мнений полицейского синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые квартальные Цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери, с тем чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Мать моя с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим залогом; ей его не выдали, под предлогом, что Коля еще в Швейцарии. Я написал из Ниццы. Цюрихская полиция потребовала сведений, имеет ли Коля законное право жить в Пизэмонте.



Это было уже слишком, и я написал следующее письмо к президенту Цюрихского кантона:

«Г. Президент!

В 1849 году я поместил моего сына, пяти лет от роду, в цюрихский институт глухонемых. Через несколько месяцев цюрихская полиция потребовала у моей матери его паспорт. Так как у нас не спрашивают ни у новорожденных, ни у детей, ходящих в школу, паспортов, то сын мой и не имел отдельного вида, а был помещен на моем. Это объяснение не удовлетворило цюрихскую полицию. Она потребовала залог. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшего на себя столько опасливого подозрения со стороны цюрихской полиции, выплут, внесла его.

В августе 1850 года, желая оставить Швейцарию, моя мать потребовала залог, но цюрихская полиция его не отдала; она хотела прежде узнать о действительном отъезде ребенка из кантона. Приехав в Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, причем она приложила свидетельство о том, что мы, и, главное, шестилетний и подозрительный сын мой, находимся в Ницце, а не в Цюрихе. Цюрихская полиция, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидетельства, в котором здешняя полиция должна была засвидетельствовать, что сыну моему «официально позволено жить в Пиэмонте» (*que l'enfant est officiellement toléré*). Г-н Шултгес сообщил это г. Авигдору.

Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиции, я отказался от предложения г. Авигдора послать новое свидетельство, которое он очень любезно предложил мне сам взять. Я не хотел доставить этого удовольствия цюрихской полиции, потому что она, при всей важности своего положения, все же не имеет права ставить себя полицией международной, и потому еще, что требование ее не только обидно для меня, но и для Пиэмонта.

Сардинское правительство, господин Президент,— правительство образованное и свободное. Как же возможно, чтоб оно не дозволило жить (*ne tolérât pas*) в Пиэмонте больному ребенку шести лет? Я действительно не знаю, как мне считать

этот запрос цюрихской полиции — за странную шутку или за следствие пристрастия к залогам вообще.

Представляя на ваше рассмотрение, г. Президент, это дело, я буду вас просить, как особенного одолжения, в случае нового отказа, объяснить мне это происшествие, которое слишком любопытно и интересно, чтоб я считал себя вправе скрыть его от общего сведения.

Я снова писал к г. Шултгесу о получении денег и могу вас смело уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желания, после всех полицейских неприятностей, возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности.

Ницца, 9 сентября 1850».

Само собою разумеется, что после этого полиция города Цюриха, несмотря на вселенские притязания, выплатила залог...

...Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской: поступить добровольно в подданство чье бы то ни было было мне противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли две страны: Америка и Швейцария.

Америка — я ее очень уважаю; верю, что она призвана к великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе к Европе, чем была, но американская жизнь мне антипатична. Весьма вероятно, что из угловатых, грубых, сухих элементов ее сложится иной быт. Америка не приняла оседлости, она недостроена, в ней работники и мастеровые в будничном платье таскают бревна, таскают каменья, пилят, рубят, приколачивают... зачем же постороннему обживать ее сырое здание?

Сверх того, Америка, как сказал Гарибальди, — «страна забвения родины»; пусть же в нее едут те, которые не имеют веры в свое отечество: они должны ехать с своих кладбищ; совсем напротив, по мере того как я утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась — но думать о возвращении при Николае было бы безумием.

Итак, оставалось вступить в союз с свободными людьми Гельветической конфедерации.

Фази, еще в 1849 году, обещал меня натурализовать в Женеве, но все оттягивал дело; может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов в своем кантоне. Мне это надоело, приходилось переживать черное время, последние стены покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до беды... Карл Фогт предложил мне списаться о моей натурализации с Ю. Шаллером, который был тогда президентом Фрибургского кантона и главою тамошней радикальной партии.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о нем самом.

В однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встречаются иногда, как бы на выкуп ей, здоровые, коренастые семьи, исполненные силы, упорства, талантов. Одно поколение даровитых людей сменяется другим, многочисленнейшим, сохраняя из рода в род дюжесть ума и тела. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры дом в узком, темном переулке, трудно представить себе, сколько в продолжение ста лет сошло по стоптанным каменным ступенькам его лестницы молодых парней с котомкой за плечами, с всевозможными сувенирами из волос и сорванных цветов в котомке, благословляемые на путь слезами матери и сестер... и пошли в мир, оставленные наодни свои силы, и сделались известными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домик, крытый черепицей, в их отсутствие опять наполнялся новым поколением студентов, рвущихся грудью вперед в неизвестную будущность.

За неимением другого, тут есть наследство примера, наследство фибрина. Каждый начинает сам и знает, что придет время и его выпроводит старушка бабушка по стоптанной каменной лестнице,— бабушка, принявшая своими руками в жизнь три поколения, мывшая их в маленькой ванне и отпускавшая их с полною надеждой; он знает, что гордая старушка уверена и в нем, уверена, что и из него выйдет что-нибудь... и выйдет непременно!

Dann und wann <sup>1</sup>, через много лет, все это рассеянное население побывает в старом домике, все эти состарившиеся origi-

---

<sup>1</sup> От времени до времени (нем.).—Ред.

налы портретов, висящих в маленькой гостиной, где они представлены в студенческих беретах, завернутые в плащи, с рембрандтовским притязанием со стороны живописца,— в доме тогда становится суетливее, два поколения знакомятся, сближаются... и потом опять все идет на труд. Разумеется, что при этом кто-нибудь непременно в кого-нибудь хронически влюблен, разумеется, что дело не обходится без сентиментальности, слез, сюрпризов и сладких пирожков с вареньем, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзией с мышцами и силой, которую я редко встречал в выродившихся, рахитических детях аристократии и еще менее у мещанства, строго соразмеряющего число детей с прихода-расходной книгой.

Вот к этим-то благословенным семьям древнегерманским принадлежит родительский дом Фогта.

Отец Фогта — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне \*; мать — из рода Фолленов, из этой эксцентрической, некогда наделавшей большого шума швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германии в эпоху тугендбундов <sup>1\*</sup> и буршеншафтов <sup>2\*</sup>, Карла Занда и политического Schwärmerei <sup>3</sup> 17 и 18 годов. Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера \*: он произнес действительно зажигательную речь, вслед за которою сжег на костре иезуитские и реакционные книги, всякие символы самодержавия и папской власти. Студенты мечтали сделать его императором единой и нераздельной Германии. Его внук, Карл Фогт, в самом деле был одним из *викариев империи* в 1849 году \*.

Здоровая кровь должна была течь в жилах сына бернского профессора, внука Фолленов. А ведь, *au bout du compte*, все зависит от химического соединения да от качества элементов. Не Карл Фогт станет со мной спорить об этом.

В 1851 году я был проездом в Берне. Прямо из почтовой карёты я отправился к Фогтову отцу с письмом сына. Он был в университете. Меня встретила его жена, радушная, веселая,

---

<sup>1</sup> союзов добродетели (нем. Tugendbund).—*Ред.*

<sup>2</sup> студенческих союзов (нем. Burschenschaft).—*Ред.*

<sup>3</sup> мечтательства (нем.).—*Ред.*

чрезвычайно умная старушка; она меня приняла как друга своего сына и тотчас повела показывать его портрет. Мужа она не ждала ранее 6 часов; мне его очень хотелось видеть, я возвратился, но он уже уехал на какую-то консультацию к больному. Второй раз старушка встретила меня уже как старого знакомого и повела в столовую, желая, чтоб я выпил рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большим круглым столом, неподвижно прикрепленным к полу; об этом столе я уже давно слышал от Фогта и потому очень рад был лично познакомиться с ним. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для еды, тарелки, горчицу, соль, так что, не беспокоя никого и без прислуги, каждый привертывал к себе, что хотел,— ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вместо горчицы можно было попасть ложкой в сахар... если кто-нибудь повертывал диск. В этом населении братьев и сестер, коротких знакомых и родных, где все были заняты розно, срочно, общий обед вечером было трудно устроить. Кто приходил и кому хотелось есть, тот садился за стол, вертел его направо, вертел его налево и управлялся как нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у них я не мог: ко мне вечером хотели приехать Фази и Шаллер, бывшие тогда в Берне; я обещал, если пробуду еще полдня, зайти к Фогтам и, пригласивши меньшего брата, юриста, к себе ужинать, пошел домой. Звать старика так поздно и после такого дня я не считал возможным. Но около двенадцати часов гарсон, почтительно отворяя двери перед кем-то, возвестил нам: *Der Herr Professor Vogt*<sup>1</sup>,— я встал из-за стола и пошел к нему навстречу.

Вошел старик довольно высокого роста, с умным, выразительным лицом, превосходно сохранившийся.

— Ваше посещение,— сказал я ему,— мне вдвойне дорого, я не смел вас звать так поздно, после ваших трудов.

— А я не хотел вас пропустить через Берн, не увидавшись с вами. Услышав, что вы были у нас два раза и что вы при-

---

<sup>1</sup> господин профессор Фогт (нем.).—*Ред.*

гласили Густава, я пригласил сам себя. Очень, очень рад, что вижу вас, то, что Карл о вас пишет, да и без комплиментов, я хотел познакомиться с автором «С того берега».

— Душевно благодарю вас; вот место, садитесь с нами, у нас ужин во всем разгаре, что вам угодно?

— Я не буду есть, но рюмку вина выпью с удовольствием.

В его виде, словах, движениях было столько непринужденности, вместе — не с тем добродушием, которое имеют люди вялые, пресные и чувствительные, а именно с добродушием людей сильных и уверенных в себе. Его появление нисколько не стеснило нас, напротив, все пошло живее.

Разговор переходил от предмета к предмету, везде, во всем он был дома, умен, éveillé<sup>1</sup>, оригинален. Речь зашла как-то о федеральном концерте, который давался утром в бернском соборе и на котором были все, кроме Фогта. Концерт был гигантский, со всей Швейцарии съехались музыканты, певцы и певицы для участия в нем. Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и пониманием исполнили они знаменитое творение Гайдена\*. Публика была внимательна, но холодна, она шла из собора, как идут от обедни; не знаю, насколько было благочестия, но увлечения не было. Я то же испытал на самом себе. В припадке откровенности я сказал это знакомым, с которыми выходил; по несчастью, это были правоверные, ученые, горячие музыканты; они напали на меня, объявили меня профаном, не умеющим слушать музыку глубокую, серьезную. «Вам только нравятся мазурки Шопена», — говорили они. В этом еще нет беды, думал я, но, считая себя все же несостоятельным судьей, замолчал.

Надобно иметь много храбрости, чтоб признаваться в таких впечатлениях, которые противоречат общепринятому предрассудку или мнению. Я долго не решался при посторонних сказать, что «Освобожденный Иерусалим» скучен, что «Новую Элоизу» я не мог дочитать до конца, что «Герман и Доротей» — произведение мастерское, но утомляющее до противности. Я сказал что-то в этом роде Фогту, рассказывая ему мое замечание о концерте.

---

<sup>1</sup> смышлен (франц.).—Ред.

— А что,— спросил он,— Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, без всяких границ.

— Я знал это, потому что я вполне вам сочувствую. Как же это возможно, чтоб живой, современный человек мог себя так искусственно натянуть на религиозное настроение, чтоб наслаждение его было естественно и полно? Для нас так же нет пиетистической музыки, как нет духовной литературы,— она для нас имеет смысл исторический. У Моцарта, напротив, звучит нам знакомая жизнь, он поет от избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда «Don Giovanni», когда «Nozze di Figaro» были новостью, что это был за восторг, что за откровение нового источника наслаждений! Моцартова музыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гётев «Фауст», как 1789 год. Мы видели в его произведениях, как светская мысль XVIII столетия с своей секуляризацией жизни вторгалась в музыку; с Моцартом революция и новый век вошли в искусство. Ну, как же нам после «Фауста» читать Клопштока и без веры слушать эти литургии в музыке?..

Долго и необыкновенно занимательно говорил старик, он одушевился; я налил еще раза два вина в его бокал, он не отказывался и не торопился пить. Наконец, он посмотрел на часы.

— Ба! уж два часа, прощайте, мне в девять надобно быть у больного.

Я с истинной дружбой проводил его.

Два года спустя он доказал, как много энергии в его седой голове и как его теории — *правда*, т. е. как они близки к практике. Венский рефюжье, доктор Кудлих, посватался за одну из дочерей Фогта; отец был согласен, но вдруг протестантская консистория потребовала метрические свидетельства жениха. Разумеется, ему, как изгнаннику, ничего нельзя было достать из Австрии, и он представил приговор, по которому был осужден заочно; одного свидетельства Фогта и его дозволения было бы достаточно для консистории, но бернские пиетисты, по инстинкту ненавидевшие Фогта и всех изгнанников, уперлись. Тогда Фогт собрал всех своих друзей, профессоров и разные бернские знаменитости, рассказал им дело, потом позвал свою дочь и Кудлиха, взял их руки, соединил и сказал присутствовавшим:

— Вас, друзья, беру в свидетели, что я как отец благословляю этот брак и отдаю мою дочь, по ее желанию, за такого-то.

Поступок этот ошеломил пиетистическое общество в Швейцарии; оно с негодованием и ужасом взглянуло на этот антецедент, сделанный не горячим юношей, не бездомным изгнанником, а старцем безукоризненным и уважаемым всеми.

Теперь от отца перейдемте к его старшему сыну.

Я с ним познакомился в 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы в два года нашей жизни в Ницце. Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною. Я считал бы его за очень счастливого человека, если бы знал, что он недолго проживет; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сих пор, донимая только одними мигренями. Его натура — реальная, живая, всему раскрытая — имеет многое, чтоб наслаждаться, все, чтоб никогда не скучать, и почти ничего, чтоб мучиться внутренне, разъедать себя недовольной мыслью, страдать теоретически сомнением и практически тоской по несбывшимся мечтам. Страстный поклонник красот природы, неутомимый работник в науке, он все делал необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художник в своем деле, он им наслаждался: радикал по темпераменту, реалист по организации и гуманный человек по ясному и добродушно-ироническому взгляду, он жил именно в той жизненной среде, к которой единственно идут дантовские слова: «*Qui è l'uomo felice*»<sup>1</sup>.\*

Он прожил жизнь деятельно и беззаботно, нигде не отставая, везде в первом ряду; не боясь горьких истин, он так же пристально всматривался в людей, как в полипы и медузы, ничего не требуя ни от тех, ни от других, кроме того, что они могут дать. Он не поверхностно изучал, но не чувствовал потребности переходить известную глубину, за которой и оканчивается все светлое и которая, в сущности, представляет своего рода выход из действительности. Его не манило в те нервные омуты, в которых люди упиваются страданиями. Простое и ясное отношение к жизни исключало из его здорового взгляда ту поэзию печальных восторгов и болезненного юмора,

---

<sup>1</sup> «Здесь человек счастлив» (итал.).—Ред.



которую мы любим, как все потрясающее и едкое. Его ирония, как я заметил, была добродушна, его насмешка весела; он смеялся первый и от души своим шуткам, которыми отравлял чернила и пиво педантов-профессоров и своих товарищей по парламенту in der Paul's Kirche <sup>1\*</sup>.

В этом жизненном реализме было то общее, симпатическое, что нас связывало, хотя жизнь и развитие наше были так розны, что мы во многом расходились.

Во мне не было и не могло быть той спетости и того единства, как у Фогта. Воспитание его шло так же правильно, как мое — бессистемно; ни семейная связь, ни теоретический рост никогда не обрывались у него, он продолжал традицию семьи. Отец стоял возле примером и помощником; глядя на него, он стал заниматься естественными науками. У нас обыкновенно поколение с поколением расчленено; общей, нравственной связи у нас нет. Я с ранних лет должен был бороться с воззрением всего окружавшего меня, я делал оппозицию в детской, потому что старшие наши, наши деды были не Фоллены, а помещики и сенаторы. Выходя из нее, я с той же запальчивостью бросился в другой бой, и, только что кончил университетский курс, был уже в тюрьме, потом в ссылке. Наука на этом переломилась, тут представилось иное изучение — изучение мира несчастного с одной стороны, грязного — с другой.

Наскучив этой патологией, я бросился с жадностью на философию, от которой Фогт чувствовал непреодолимое отвращение. Окончив курс медицины и получив диплом доктора, он не решился лечить, говоря, что недостаточно верит в врачебную каббалистику, и снова весь отдался физиологии. Труд его очень скоро обратил на себя внимание не только немецких ученых, но и парижской академии наук. Он уже был профессором сравнительной анатомии в Гиссене, товарищем Либиха (с которым вел потом озлобленную химико-теологическую полемику), когда революционный шквал 1848 года оторвал его от микроскопа и бросил в франкфуртский парламент.

Разумеется, что он стал в самый радикальный ряд \*, говорил исполненные остроты и отваги речи, выводил из терпе-

---

<sup>1</sup> в церкви св. Павла (нем.).—Ред.

ния умеренных прогрессистов, а иногда и неумеренного короля прусского \*. Вовсе не будучи политическим человеком, он по удельному весу сделался одним из «лидеров» оппозиции, и когда эрцгерцог Иоанн, бывший каким-то викарием империи, окончательно сбросил с себя маску добродушия и популярности, заслуженной тем, что он женился когда-то на дочери станционного смотрителя и иногда ходил во фраке, Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место \*. Тут дела немецкой революции пошли быстро под гору: правительства достигли цели, выиграли нужное время (по совету Меттерниха) — щадить парламент им было бесполезно. Изгнанный из Франкфурта, парламент мелькнул какой-то тенью в Стутгарте, под печальным названием *Nachparlament* <sup>1</sup>; там его реакция и придушила. Оставалось викариям подобра да поздорову уехать от верной тюрьмы и каторжной работы... Переехав швейцарские горы, Фогт стряхнул с себя пыль франкфуртского собора и, расписавшись в книге путешественников «К. Фогт — викарий Германской империи в бегах», снова принялся с той же невозмутимой ясностью, веселым расположением духа и неутомимым трудолюбием за естественные науки. С целью изучения морских зоофитов он поехал в Ниццу в 1850.

Несмотря на то, что мы шли с разных сторон и разными путями, мы встретились на *трезвом совершеннолетию в науке*.

Был ли я так последователен, как Фогт, и *в жизни*? трезво ли я на нее смотрел? Теперь мне кажется, что нет. Да я не знаю, впрочем, хорошо ли начинать с трезвости; она не только *предупреждает* много бедствий, но и лучшие минуты жизни. Вопрос трудный, который, по счастью, для каждого разрешается не рассуждениями и волей, а организацией и событиями. Теоретически освобожденный, я не то что хранил разные непоследовательные верования, *а они сами остались*; романтизм революции я пережил; мистическое верование в прогресс, в человечество оставалось дольше других теологических догматов; а когда я и их пережил, у меня еще оставалась религия личностей, вера в двух, трех, уверенность в себя, в волю

---

<sup>1</sup> охвостье парламента (нем.).—Ред.

человеческую. Тут были, разумеется, противуречия; внутренние противуречия ведут к несчастиям, тем более прискорбным, обидным, что у них вперед отнято последнее человеческое утешение — оправдание себя в своих собственных глазах...

В Ницце Фогт принялся с необыкновенной ревностью за дело... Покойные, теплые заливы Средиземного моря представляют богатую колыбель всем *frutti di mare*<sup>1</sup>, вода просто полна ими. Ночью бразды их фосфорного огня тянутся, мерцают, за лодкой, тянутся за веслом, салпы можно брать рукой, всяким сосудом. Стало быть, в материале не было недостатка. С раннего утра сидел Фогт за микроскопом, наблюдал, рисовал, писал, читал и часов в пять бросался, иногда со мной, в море (плавал он, как рыба); потом он приходил к нам обедать и, вечно веселый, был готов на ученый спор и на всякие пустяки, пел за фортепьяно уморительные песни или рассказывал детям сказки с таким мастерством, что они, не вставая, слушали его целые часы.

Фогт обладает огромным талантом преподавания. Он, полушутя, читал у нас несколько лекций физиологии для дам. Все у него выходило так живо, так просто и так пластически выразительно, что дальний путь, которым он достиг этой ясности, не был замечен. В этом-то и состоит вся задача педагогики — сделать науку до того понятной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым, *обыкновенным* языком.

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, т. е. непереваримые. Ученый язык — язык условный, под титлами, язык стенографированный, временный, пригодный ученикам; содержание спрятано в его алгебраических формулах для того, чтоб, раскрывая закон, не повторять сто раз одного и того же. Переходя рядом схоластических приемов, содержание науки обрастает всей этой школьной дрянью, а доктринеры до того привыкают к уродливому языку, что другого не употребляют, им он кажется понятен,—в стары годы им этот язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного. По мере того как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропила и подмости

---

<sup>1</sup> морским съедобным моллюскам (итал.).—*Ред.*

становятся противны — мы ищем простоты. Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?

Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель, вместо истинного знания, — не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи. В недостатке откровенности, в робких уступках никто не обвинит Фогта. Скорее «нежные души» упрекнут его в том, что он слишком прямо и слишком просто высказывает свою правду, находящуюся в прямом противоречии с общепринятой ложью. Христианское воззрение приучило к дуализму и идеальным образам так сильно, что нас неприятно поражает все естественно здоровое; наш ум, свихнутый веками, гнушается голой красотой, дневным светом и требует сумерек и покрывала.

Читая Фогта, многим обидно, что ему ничего не стоит принимать самые резкие последствия, что ему жертвовать так легко, что он не делает усилий, не мучится, желая примирить теодицею с биологией — ему до первой как будто дела нет.

Действительно, натура Фогта такова, что он никогда иначе не думал и *не мог* иначе думать, в этом-то и состоит его непосредственный реализм. Теологические возражения могли ему представлять только исторический интерес; нелепость дуализма до того ясна его простому взгляду, что он не может вступать в серьезный спор с ним, так, как его противники — химические богословы и святые отцы физиологии — в свою очередь не могут серьезно опровергать магию или астрологию. Фогт отшучивается от их нападков — а этого, по несчастию, мало.

Вздор, которым ему возражают, — вздор всемирный и поэтому очень важный. Детство человеческого мозга таково, что он не берет простой истины; для сбитых с толку, рассеянных, смутных умов только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелепо.

Тут нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебные места, учебные заведения, правительства и революционеры поддерживают наперерыв родовое безумие человечества. И как семьдесят лет тому назад сухой деист

Робеспьер казнил Анахарсиса Клоца, так какие-нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта в руки палача.

Бой невозможен: сила с их стороны. Против горсти ученых, натуралистов, медиков, двух-трех мыслителей, поэтов — весь мир, от Пия IX «с незапятнанным зачатием» \* до Маццини с «республиканским iddio» <sup>1</sup>\*; от московских православных кликуш славянизма до генерал-лейтенанта Радовица, который, умирая, завещал профессору физиологии Вагнеру то, чего еще никому не приходило в голову завещать — *бессмертие души* и ее защиту; от американских заклинателей, вызывающих покойников, до английских полковников-миссионеров, проповедующих верхом перед фронтом слово божие индийцам. Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущие поколения...

...А если докажут, что это безумие, эта религиозная мания — единственное условие гражданского общества, что для того, чтоб человек спокойно жил возле человека, надобно обоих свести с ума и запугать, что эта мания — единственная уловка, в силу которой творится история?

Я помню французскую карикатуру, сделанную когда-то против фурьеристов, с их *attraction passionnée*<sup>2</sup>: на ней представлен осел, у которого на спине прикреплен шест, а на шесте повешено сено так, чтоб он мог его видеть. Осел, думая достать сено, должен идти вперед, — двигалось, разумеется, и сено — он шел за ним. Может, доброе животное и прошло бы далее так, но ведь все-таки *оно осталось бы в дураках!*

Перехожу теперь к тому, как одна страна радушно приняла меня в то самое время, как другая без всякого повода вытолкнула.

Шаллер обещал Фогту похлопотать о моей натурализации, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня, и потом поддержать дело в Большом совете. В Швейцарии для натурализации необходимо, чтоб предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятие нового согражданина, что совершенно согласно с самоза-

---

<sup>1</sup> богом (итал.).—*Ред.*

<sup>2</sup> страстным влечением (франц.).—*Ред.*

конностью каждого кантона и каждого местечка в свою очередь. Деревенька Шатель, близ Мора (Муртен), соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей. Деревенька эта недалеко от Муртенского озера, возле которого был разбит и убит Карл Смелый, несчастная смерть и имя которого так ловко послужили австрийской ценсуре (а потом и петербургской) для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере \*.

Когда дело поступило в Большой совет, два иезуитствующие депутата подняли голос против меня, но ничего не сделали. Один из них говорил, что надобно было бы знать, почему я был в ссылке и чем навлек гнев Николая.

— Да это само по себе рекомендация! — отвечал ему кто-то, и все засмеялись.

Другой, из видов предупредительной осторожности, требовал новых обеспечений, чтоб, в случае моей смерти, воспитание и содержание моих детей не пало на бедную коммуну. Удовлетворился и этот сын во Иисусе ответом Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромным большинством, и я сделался из русских надворных советников тягловым крестьянином сельца Шателя, что под Муртеном, «*originaire de Châtel près Morat*» <sup>1</sup>, как расписался фрибургский писарь на моем паспорте.

Натурализация нисколько не мешает, впрочем, карьере дома — я имею два блестящих примера перед глазами: Людовик Бонапарт — гражданин Турговии, и Александр Николаевич — бюргер дармштадтский\*, сделались, после их натурализации, императорами. Так далеко я и не иду.

Получив весть об утверждении моих прав, мне было почти необходимо съездить поблагодарить новых сограждан и познакомиться с ними. К тому же у меня именно в это время была сильная потребность побыть одному, всмотреться в себя, сверить прошлое, разглядеть что-нибудь в тумане будущего, и я был рад внешнему толчку.

Накануне моего отъезда из Ниццы я получил приглашение от начальника полиции *de la sicurezza pubblica* <sup>2</sup>. Он мне

---

<sup>1</sup> «уроженцем Шателя, близ Мора» (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> общественной безопасности (итал.).—*Ред.*

объявил приказ министра внутренних дел — выехать немедленно из сардинских владений. Эта странная мера со стороны ручного и уклончивого сардинского правительства удивила меня гораздо больше, чем высылка из Парижа в 1850. К тому же и не было никакого повода.

Говорят, будто я обязан этим усердию двух-трех верно-подданных русских, живших в Ницце, и в числе их мне приятно назвать министра юстиции Панина; он не мог вынести, что человек, навлекший на себя высочайший гнев Николая Павловича, не только покойно живет, и даже в одном городе с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь император этого не жалует. Приехав в Турин, юстиция, говорят, попросил, так, по доброму знакомству, министра Азелио выслать меня. Сердце Азелио чуяло, верно, что я в Крутицких казармах, учась по-итальянски, читал его «La Disfida di Barletta» \*, — роман «и не классический и не старинный» \*, хотя тоже скучный, — и ничего не сделал. А может, и потому он не решился меня *выслать*, что, прежде таких дружеских вниманий, надобно было *прислать* посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта \*.

Зато ниццкий интендант и министры в Турине воспользовались рекомендацией при первом же случае. Несколько дней до моей высылки в Ницце было «народное волнение», в котором лодочники и лавочники, увлекаемые красноречием банкира Авигдора, протестовали, и притом довольно дерзко, говоря о независимости ниццкого графства, о его неотъемлемых правах, — против уничтожения свободного порта. Общее легкое таможенное положение для всего королевства уменьшало их привилегии без уважения «к независимости ниццкого графства» и к его правам, «начертанным на скрижалях истории» \*.

Авигдора, этого О'Коннеля Пальоне (так называется сухая река, текущая в Ницце), посадили в тюрьму; ночью ходили патрули, и народ ходил; те и другие пели песни, и притом одни и те же, — вот и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой из иностранцев не участвовал в этом семейном деле тарифов и таможен? Тем не менее интендант указал на несколько человек из рефюжье как на зачинщиков, и в том числе

на меня. Министерство, желая показать пример целебной строгости, велело меня прогнать вместе с другими.

Я пошел к интенданту (из иезуитов) и, заметив ему, что это совершеннейшая роскошь — высылать человека, который сам едет и у которого визированный пасс в кармане, спросил его, в чем дело. Он уверял, что сам так же удивлен, как я, что мера взята министром внутренних дел, даже без предварительного сношения с ним. При этом он был до того учтив, что у меня не осталось никакого сомнения, что все это напакостил он. Я написал разговор мой с ним известному депутату оппозиции Лоренцо Валерио и уехал в Париж \*.

Валерио свирепо напал на министра в своей интерpellации и требовал отчета, почему меня выслали \*. Министр мялся, отклонял всякое влияние русской дипломатии, свалил все на доносы интенданта и смиренно заключил, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно с удовольствием изменит свое решение.

Оппозиция аплодировала. Следственно, *de facto* запрещение было снято, но, несмотря на мое письмо к министру, он мне не отвечал. Речь Валерио и ответ на нее я прочитал в газетах и решился ехать просто-напросто в Турин, на возвратном пути из Фрибурга. Чтоб не иметь отказа в визе, я поехал без визы; на пизмонтской границе со стороны Швейцарии пасты осматривают без свирепого ожесточения французских жандармов. В Турине я пошел к министру внутренних дел; вместо его меня принял его товарищ, заведовавший верховной полицией, граф Понс де ла Мартино \*, человек известный в тех краях, умный, хитрый и преданный католической партии.

Прием его меня удивил. Он мне сказал все то, что я ему хотел сказать; что-то подобное было со мной в одно из свиданий с Дубельтом, но граф Понс перешеголял.

Он был очень пожилых лет, болезненный, худой, с отталкивающей наружностью, с злыми и лукавыми чертами, с несколько клерикальным видом и жесткими седыми волосами на голове. Прежде чем я успел сказать десять слов о причине, почему я просил аудиенции у министра, он перебил меня словами:

— Да помируйте, где же тут может быть сомнение?.. Отправляйтесь в Ниццу, отправляйтесь в Геную, оставайтесь



здесь,— только без малейшей гансине <sup>1</sup>, мы очень рады... Это все наделал интендант... Видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку \*. Если бы вы сделали что-нибудь противное законам, на то есть суд, вам нечего тогда было бы пенять на несправедливость, не правда ли?

— Совершенно согласен с вами.

— А то *берут* меры, которые раздражают... заставляют кричать, и без всякой нужды!

После этой речи против *самого себя* он проворно схватил лист бумаги с министерским заголовком и написал: «Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino». 12 luglio 1851<sup>2</sup>.

— Вот вам на всякий случай; впрочем, будьте уверены, до этой бумаги дело не дойдет. Я очень, очень рад, что мы покончили с вами это дело.

Так как это значило *vulgariter* <sup>3</sup> «ступайте с богом», то я и оставил моего Понса, улыбаясь вперед лицу, которое сделает интендант в Ницце; но этого лица бог мне не привел видеть: его сменили.

Но возвращаюсь к Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проехавши по знаменитому мосту, как все смертные, бывшие в Фрибурге, мы отправились с добрым старичком, канцлером Фрибургского кантона, в Шатель. В Муртене префект полиции, человек энергический и радикальный, просил нас подождать у него, говоря, что староста поручил ему предупредить его о нашем приезде, потому что ему и прочим домохозяевам было бы очень неприятно, если б я приехал невзначай, когда все в поле на работе... Погулявши часа два по Мора или Муртону, мы отправились, и префект с нами.

Возле дома старосты ждали нас несколько пожилых крестьян и впереди их сам староста, почтенный, высокого роста, седой и хотя несколько сгорбившийся, но мускулистый старик. Он выступил вперед, снял шляпу, протянул мне широкую.

---

<sup>1</sup> злопамятства (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Сим разрешается г. А. Г. возвратиться в Ниццу и оставаться там сколько времени он найдет нужным. За министра С. Мартино. 12 июля 1851 (итал.).—*Ред.*

<sup>3</sup> попросту (лат.).—*Ред.*

сильную руку и, сказав «Lieber Mitbürger...<sup>1</sup>», произнес приветственную речь на таком германо-швейцарском наречии, что я ничего не понял. Приблизительно можно было догадаться, что он мог мне сказать, а потому, да еще взяв в соображение, что если я скрыл, что не понимаю его, то и он скроет, что не понимает меня, я смело отвечал на его речь:

— Любезный гражданин староста и любезные шательские сограждане! Я прихожу благодарить вас за то, что вы в вашей общине дали приют мне и моим детям и положили предел моему бездомному скитанию. Я, любезные граждане, не за тем оставил родину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ русский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения; я оставил ее после ссылки, преследуемый свирепым самовластием Николая. Рука его, достававшая меня везде, где есть король или господин, не так длинна, чтоб достать меня в общине вашей! Я спокойно прихожу под защиту и кров ваш, как в гавань, в которой я всегда могу найти покой. Вы, граждане Шателя, вы, эти несколько человек, вы могли, принимая меня в вашу среду, остановить занесенную руку русского императора, вооруженную миллионом штыков. *Вы сильнее его!* Но сильны вы только вашими свободными вековыми республиканскими учреждениями! С гордостью вступаю я в ваш союз! И да здравствует Гельветическая республика!

— Dem neuen Bürger hoch!.. Es lebe der neue Bürger! <sup>2</sup>— отвечали старики и крепко жали мою руку; я сам был несколько взволнован!

Староста пригласил нас к себе.

Мы вошли и сели за длинный стол, на скамьях; на столе был хлеб и сыр. Двое крестьян втащили страшной величины бутыль, больше тех классических бутылей, которые преют целые зимы в старинных наших домах, в углу на лежанке, наполненные наливками и настойками. Бутыль эта была в плетеной корзине и наполнена белым вином. Староста сказал нам, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль

---

<sup>1</sup> «дорогой согражданин...» (нем.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Новому гражданину ура! Да здравствует новый гражданин! (нем.).—*Ред.*

он помнит лет за тридцать и что вино это употребляется только при чрезвычайных случаях. Все крестьяне сели с нами за стол, кроме двух, хлопотавших около кафедральной бутылки. Они из нее наливали вино в большую кружку, а староста наливал из кружки в стаканы; перед каждым крестьянином был стакан, но мне он принес нарядный хрустальный кубок, причем он заметил канцлеру и префекту:

— Вы на этот раз извините, почетный-то кубок уж нынче мы подадим нашему новому согражданину; с вами мы свои люди.

Пока староста наливал вино в стаканы, я заметил, что один из присутствующих, одетый не совсем по-крестьянски, был очень беспокоен, обтирал пот, краснел — ему нездоровилось: когда же староста провозгласил мой тост, он с какой-то отчаянной отвагой вскочил и, обращаясь ко мне, начал речь.

— Это,— шепнул мне на ухо староста с значительным видом,— гражданин учитель в нашей школе.

Я встал.

Учитель говорил не по-швейцарски, а по-немецки, да и не просто, а по образцам из нарочито известных ораторов и писателей: он помянул и о Вильгельме Телле, и о Карле Смелом (как тут поступила бы австрийско-александринская театральная цензура—разве назвала бы Вильгельма Смелым, а Карла — Теллем?) и при этом не забыл не столько новое, сколько выразительное сравнение неволи с позлащенной клеткой, из которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось от него порядком: он его ставил рядом с очень облихованными людьми из римской истории. Я чуть не перервал его на этом, чтоб сказать: «Не обижайте покойников!», но, как будто предвидя, что и Николай скоро будет в их числе, промолчал.

Крестьяне слушали его, вытянув загорелую, сморщившуюся шею и прикладывая, в виде глазного зонтика, руку к ушам: канцлер немного вздремнул и, чтоб скрыть это, первый похвалил оратора.

Между тем староста сидел не сложа руки, а усердно наливал вино, провозглашая, как самый привычный к делу церемониймейстер, тосты:

— За конфедерацию! За Фрибург и его радикальное правительство! За президента Шаллера!

— За моих любезных сограждан в Шателе! — предложил я, наконец, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкус, далеко не слабо. Все встали... Староста говорил:

— Нет, нет, *lieber Mitbürger*, полный кубок, как мы пили за вас, полный! — Старички мои расходились, вино подогрело их...

— Привезите ваших детей, — говорил один.

— Да, да, — подхватили другие, — пусть они посмотрят, как мы живем; мы люди простые, дурному не научим, да и мы их посмотрим.

— Непременно, — отвечал я, — непременно.

Тут староста уж пошел извиняться в дурном приеме, говоря, что во всем виноват канцлер, что ему следовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное — что тогда встретили бы меня и проводили ружейным залпом. Я чуть не сказал ему *à la Louis-Philippe*<sup>1</sup>: «Помилуйте... да что же случилось? Одним крестьянином только больше в Шателе!»

Мы расстались большими друзьями. Меня несколько удивило, что я не видел ни одной женщины, ни старухи, ни девочки, да и ни одного молодого человека. Впрочем, это было в рабочую пору. Замечательно и то, что на таком редком для них празднике не был приглашен пастор.

Я им это поставил в большую заслугу. Пастор непременно испортил бы все, сказал бы глупую проповедь и с своим чинным благочестием похож был бы на муху в стакане с вином, которую непременно надобно вынуть, чтоб пить с удовольствием.

Наконец мы снова уселись в небольшую коляску, или, вернее, линейку канцлера, завезли префекта в Мора и покатились в Фрибург. Небо было покрыто тучами, меня клонил сон, и кружилось в голове. Я усиливался не спать. «Неужели это из вино?» — думал я с некоторым презрением к самому себе... Канцлер лукаво улыбался, а потом сам задремал; дождь стал накрапывать, я покрылся пальто, стал было засыпать... потом проснулся от прикосновения холодной воды... дождь лил как из ведра, черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, дальние раскаты грома пересыпались по горам.

---

<sup>1</sup> в духе Луи-Филиппа (франц.). — *Ред.*

Канцлер стоял в сенях и громко смеялся, говоря с хозяином Zöhringerhof'a.

— Что, — спрашивал меня хозяин, — видно, наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

Да неужели мы приехали? — спрашивал я, выходя весь мокрый из линейки.

— Это не так мудрено, — заметил канцлер, — а вот что мудрено — что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слыхали?

— Ничего.

Потом я узнал, что простые швейцарские вина, вовсе не крепкие на вкус, получают с годами большую силу и особенно действуют на непривычных. Канцлер нарочно мне не сказал этого. К тому же, если б он и сказал, я не стал бы отказываться от добродушного угощения крестьян, от их тостов и еще менее не стал бы перемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступил, доказывается тем, что через год, проездом из Берна в Женеву, я встретил на одной станции моратского префекта.

— Знаете ли вы, — сказал он мне, — чем вы заслужили особенную популярность наших шатальцев?

— Нет.

— Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивший их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мора до Фрибурга, под проливным дождем.

Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской конфедерации и напился пьян шательским вином!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Не могу не прибавить, что именно этот лист мне пришлось поправлять в Фрибурге, и в том же Zöhringerhof'e. И хозяин все тот же, с видом действительного хозяина, и столовая, где я сидел с Сазоновым в 1851 году, — та же, и комната, в которой через год я писал свое завешание, делая исполнителем его Карла Фогта, и этот лист, напомиавший столько подробностей.

Пятнадцать лет!

Невольно, безотчетно берет страх...

14 октября 1866.



---

## ГЛАВА ХLI

П. Ж. Прудон.— Издание «La Voix du Peuple». —  
Переписка.— Значение Прудона.— Прибавление.

Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу Июньских дней—Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб иметь право на слово!»\*

Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судейских уловок. Началась старая травля, *rag force*<sup>1</sup>, редакторов,— травля, в которой отличались министры Людвига-Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пенею. Пения берется из залога; пока залог не дополнен, нельзя издавать журнал, как он пополнится — новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством.

Ледрю-Роллен сначала, потом полковник Франполи как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу». Все резкие органы социализма в республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов «Le Représentant du Peuple», потом его же «Le Peuple». Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой.

---

<sup>1</sup> Здесь: травля с собаками (франц.).—Ред.

Одного из редакторов, помнится, Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в ассизы<sup>1</sup> по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «L'addition, s'il vous plait!»<sup>2</sup>—ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафа.

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня\*. Национальная гвардия ворвалась в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия.

Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: «La Voix du Peuple». Надобно было достать двадцать четыре тысячи франков для залога. Э. Жирарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог\*.

Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет.

Чтение Прудона, как чтение Гегеля, даёт особый прием, оттачивает оружие, даёт не результаты, а средства. Прудон по преимуществу диалектик, контрверсист социальных вопросов. Французы в нем ищут эксперименталиста и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарыйской управы благочиния\*, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.

Прудон, конечно, виноват, поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedificabo»<sup>3</sup>\*, сила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все ломавшие старое: человеку одно разрушение противно: когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену.

---

<sup>1</sup> суд присяжных (франц. assises).—*Ред.*

<sup>2</sup> «Счет, пожалуйста!» (франц.).—*Ред.*

<sup>3</sup> разрушу и воздвигну (лат.).—*Ред.*

В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недостигаемы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь одностороннее решение, а то, что, достигая до них, становится *вопросом*. Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мешанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.

В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель, с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнул в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.

Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода\*. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить что попадетсЯ, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм... Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой.

Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания,



ни характера — для него это орудия, которыми он пытается свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.

— Мне очень нравится ваша система,— сказал Прудону один английский турист.

— Да у меня нет никакой системы,— отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав.

Это-то именно и сбивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басни, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам.

Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорию о том, как он мог бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо.

Наружные признаки и явления финансового мира служат для него, так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни, — он по ним изучает силы, влекущие большое тело к разложению. Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать,— мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит: «Лекарства! лекарства! Или молчи о болезни!» Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых на войне. Лекарство, видно, не легко находится; мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793: ее лечили победами и усиленными моциями, заставляя ходить в Египет, в Россию, ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой\* и маленьким Наполеоном\* — что же, лучше, что ли, стало? Сам Прудон попробовал было раз свою патологию и срезался на *Народном банке\** несмотря на то, что, сама по себе взятая, идея его верна. По несчастию, он в заговаривание не верит,

«то и он причитывал бы ко всему: «Союз народов! Союз народов! Всеобщая республика! Всемирное братство! Grande armée de la démocratie!»<sup>1</sup> Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и за то французы его считают эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»<sup>\*</sup>; многое изменилось в его мыслях — еще бы, прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт а moll-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума»<sup>\*</sup>. В этих переменах именно и бросается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии<sup>\*</sup>, до недавно вышедшего *carmen horrendum*<sup>2</sup> биржевого распутства<sup>\*</sup>; тот же порядок мыслей, развиваясь, видоизменяясь, отражая события, идет и через «Противоречия» политической экономии. и через его «Исповедь», и через его «журнал»<sup>\*</sup>.

Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму; они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающем все, что жизнь вносит нового... или по крайней мере не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верною себе, иначе она не была бы *живой истиной*, а истиной вечной, успокоившейся от тревожений мира сего — в мертвой тишине святого застоя<sup>3</sup>.

Где и в каком случае, случалось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломатии. За политические ошибки он как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед собой; напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, чем партии,

---

<sup>1</sup> Великая армия демократии! (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> ужасающей песни (лат.).—*Ред.*

<sup>3</sup> В новом сочинении Стюарта Милля «On Liberty» он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: «the deep slumber of a decided opinion»<sup>\*</sup> <«глубокий сон бесспорного мнения» (англ.)>.

к которой он поневоле принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу

Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облакал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив, везде ясно видно, что политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу; я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп.

Без сомнения, не место было Прудона в Народном собрании, так, как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе \*. Прудон в своей «Исповеди революционера» говорит, что он не умел найтись в Собрании. Да что же мог там делать человек, который Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов\*, сказал: «Я подаю голос против вашей конституции не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституция».

Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: «Речь — в „Монитер“, оратора — в сумасшедший дом!»\* Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов, с тех пор как александрийский архиерей возил с собой на вселенские соборы каких-то послушников, вооруженных во имя богородицы дубинами, и до вашингтонских сенаторов. доказывающих друг другу палкой пользу рабства.

Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять середь перебранок яркий след.

Тьер, отвергая финансовый проэкт Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие учения. Прудон взмолился на трибуну и, с своим грозным

и сутуловатым видом коренастого жителя полей, сказал улыбающемуся старичишке:

— Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я — я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся). Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом; каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!

Глаза всех обратились на Тьера: он сидел нахмуренный. И улыбки совсем не было, да и ответа тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила — в этих словах резко слышится язык нового мира, идущего с своим судом и со своими казнями.

С февральской революции Прудон предсказывал то, к чему Франция пришла; на тысячу ладов повторял он: берегитесь, не шутите, «это не Катилина у ворот ваших, а смерть»\*. Французы пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры — всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затмение, послеобеденный сон великого народа!» Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел; тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду. Говорят, что китайский император таскает ежегодно за хохол придворного звездочета, когда тот ему докладывает, что дни начинают убывать.

Гений Прудона действительно антипатичен французским риторам, его язык оскорбляет их. Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергают написанное не по форме точно так, как русские судьи. Их критика останавливается перед их символическими книгами вроде «Contrat social», «Объявления прав человека»\*. Люди веры, они ненавидят анализ и сомнения; люди заговоров, они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник; они даже в прошедшем не любят самобытных

мыслей. Луи Блан почти досадует на эксцентрический гений Монтеня<sup>1</sup>. На этом галльском чувстве, стремящемся снять личность стадом, основано их пристрастие к *приравнению*, к единству военного строя, к централизации, т. е. к деспотизму.

Кошунство француза и резкость суждений — больше шалость, баловство, удовольствие подразнить, чем потребность разбора, чем сосущий душу скептицизм. У него бездна маленьких предрассудков, крошечных религий — за них он стоит с запальчивостью Дон-Кихота, с упрямством раскольника. Оттого-то они и не могут простить ни Монтеню, ни Прудону их *вольнодумство и непочтительность* к общепринятым кумирам. Они, как петербургская цензура, позволяют шутить над титулярным советником, но тайного — не тронь. В 1850 году Э. Жирарден напечатал в «Прессе» смелую и новую мысль, что основы права не вечны, а идут, изменяясь с историческим развитием. Что за шум возбудила эта статья! Брань, крик, обвинения в безнравственности продолжались, с легкой руки «Gazette de France», месяцы.

Участвовать в восстановлении такого органа, как «Peuple», стоило пожертвований, — я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог.

До того времени мои сношения с Прудоном были ничтожны: я встречал его раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes<sup>2</sup>; его удивил, несмотря на рав-

---

<sup>1</sup> «Histoire de la Révolution française».

<sup>2</sup> Ботаническому саду (франц.). — *Ред.*

ний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

Боясь сначала смиренной роли наших соотечественников и патронажа великих людей, я не старался сближаться даже с самим Прудоном и, кажется, был не совершенно неправ. Письмо Прудона ко мне, в ответ на мое, было учтиво, но холодно и с некоторой сдержанностью.

Мне хотелось с самого начала показать ему, что он не имеет дела ни с сумасшедшим *prince russe*, который из революционного дилетантизма, а вдвое того из хвастовства дает деньги, ни с правоверным поклонником французских публицистов, глубоко благодарным за то, что у него берут двадцать четыре тысячи франков, ни, наконец, с каким-нибудь тупоумным *bailleur de fonds*<sup>1</sup>, который соображает, что внести залог за такой журнал, как «*Voix du Peuple*», — *серьезное* помещение денег. Мне хотелось показать ему, что я очень знаю, *что делаю*, что имею свою положительную цель, а потому хочу иметь положительное влияние на журнал; принявши безусловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всею иностранною частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и пр., требовать для последних плату за помещенные статьи. Это может показаться странным, но я могу уверить, что «*National*» и «*Реформа*» открыли бы огромные глаза, если б кто-нибудь из иностранцев смел спросить денег за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помешательство, как будто иностранцу видеть себя в печати в *парижском* журнале не есть:

Lohn, der reichlich lohnet\*\*.

Прудон согласился на мои требования, но все же они поколебали его. Вот что он писал мне 29 августа 1849 года в Женеву\*: «Итак, дело решено: под моей общей дирекцией вы имеете участие в издании журнала, ваши статьи должны быть

<sup>1</sup> негласным пайщиком (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Плата, богато вознаграждающая (нем.).—*Ред.*

принимаемы *без всякого контроля*, кроме того, к которому редакцию обязывает уважение *к своим мнениям* и страх судебной ответственности. Согласные в идеях, мы можем только расходиться в выводах, что же касается до обсуждения заграничных событий, мы их совсем предоставляем вам. Вы и мы миссионеры одной мысли. Вы увидите наш путь по общей полемике, и вам надобно будет держаться его; я уверен, что мне никогда не придется *поправлять ваши мнения*; я это счел бы величайшим несчастьем; скажу откровенно — весь успех журнала зависит от нашего согласия. Надобно вопрос демократический и социальный поднять на высоту предприятия европейской лиги. *Предположить*, что мы не будем согласны друг с другом, значит предположить, что у нас недостает необходимых условий для издания журнала и *что нам было бы лучше молчать*».

На эту строгую депешу я отвечал высылкою 24 000 фр. и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым\*; я говорил, насколько я теоретически согласен с ним, прибавив, что я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание — возвещать ему его близкую кончину. *«Ваша соотечественники далеки от того, чтобы разделять эти идеи. Я знаю одного свободного француза — это вас. Ваши революционеры — консерваторы. Они христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации<sup>1</sup> и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франции, что нет спасения внутри разваливающегося здания, что и спасти из него нечего, что самые его понятия о свободе и революции проникнуты консерватизмом и реакцией. Действительно политические республиканцы составляют не больше как одну из вариаций на ту же конституционную тему, на которую играют свои вариации Гизо, Одилон Барро и другие. Вот этот взгляд следовало бы проводить в разборе последних европейских событий, преследовать реакцию, католицизм, монархизм не в ряду наших врагов — это чрезвычайно легко, — но в собственном нашем стане. Надобно обличить круговую поруку демократов и власти. Если мы не боимся затрогивать победителей, то не будем*

---

<sup>1</sup> отрицания (франц. *négation*). — *Ред.*

бояться из ложной сентиментальности затрогивать и побежденных.

Я глубоко убежден, что, если инквизиция республики не убьет наш журнал, это будет лучший журнал в Европе.

Я и теперь в этом убежден. Но как же мы с Прудонем могли думать, что вовсе не церемонное правительство Бонапарта допустит такой журнал? Это трудно объяснить.

Прудон был доволен моим письмом и 15 сентября писал мне из Консьержи\*:

«Я очень рад, что встретился с вами на одном или на одинаковом труде, я тоже написал нечто вроде философии революции<sup>1</sup> под заглавием «Исповедь революционера». Вы в ней, может, не найдете вашего варварского задора (*verve barbare*), к которому вас приучила немецкая философия. Не забывайте, что я пишу для французов, которые со всем своим революционным пылом, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов \* выше самых высоких вершин нашего журнального, академического и литературного мира; меня еще станет на десять лет, чтобы быть великаном между ними.

Я совершенно разделяю ваше мнение насчет так называемых республиканцев; разумеется, это один вид общей породы доктринеров. Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга. Во мне и в моих сотрудниках вы найдете людей, которые пойдут с вами рука в руку...

Я также думаю, что методический, мирный шаг незаметными переходами, как того хотят экономические науки и философия истории, невозможен больше для революции; нам надобно делать страшные скачки. Но, в качестве публицистов, возвещая грядущую катастрофу, нам не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то нас возненавидят и будут гнать, а нам надобно *жить*»...

Журнал пошел удивительно. Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром\*. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздражения, которое тюрьма раздувает.

---

<sup>1</sup> Я тогда печатал «Vom andern Ufer».



«Кто вы такой, г. президент? — пишет он в одной статье, говоря о Наполеоне, — скажите: мужчина, женщина, гермафродит, зверь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журнал может держаться!

Подписчиков было не много, но уличная продажа была велика: в день продавалось от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч экземпляров. Расход особенно замечательных номеров, например, тех, в которых помещались статьи Прудона, был еще больше; редакция печатала их от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч, и часто на другой день экземпляры продавались *по франку* вместо одного су <sup>1</sup>.

Но со всем этим к 1 марту, т. е. через полгосда, не только в кассе не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафов. Гибель была неминуема. Прудон значительно ускорил ее. Это случилось так. Раз я застал у него в С.-Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов\*. Д'Альтон-Ше — тот пэр Франции, который скандализировал Пакье и испугал всех пэров, отвечая с трибуны на вопрос:

— Да разве вы не католик?

— Нет, но еще больше: я вовсе не христианин, да и не знаю, действ ли.

Он говорил Прудону, что последние нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудон рассматривал их и становился все угрюмее, потом, совершенно рассерженный, обратился к редакторам:

— Что же это значит? Пользуясь тем, что я в тюрьме, вы спите там в редакции. Нет, господа, эдак я откажусь от всякого участия и напечатаю мой отказ; я не хочу, чтоб мое имя таскали в грязи; у вас надобно стоять за спиной, смотреть за каждой строкой. Публика принимает это за мой журнал. Нет, этому надобно положить конец. Завтра я пришлю статью, чтоб загладить дурное действие вашего маранья, и покажу, как я разумею дух, в котором должен быть наш орган.

Видя его раздражение, можно было ожидать, что статья будет не из самых умеренных, но он превзошел наши ожида-

---

<sup>1</sup> Мой ответ на речь Донозо Кортеса\*, отпечатанный тысяч в 50 экземпляров, вышел весь, и, когда я попросил через два-три дня себе несколько экземпляров, редакция принуждена была скупить их по книжным лавкам.

ния: его «Vive l'Empereur!» был дифирамб иронии,— иронии ядовитой, страшной\*.

Сверх нового процесса, правительство отомстило по-своему Прудону\*. Его перевели в скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, в ней забрали окно до половины досками, чтоб нельзя было ничего видеть, кроме неба, не велели к нему пускать никого, к дверям поставили особого часового. И эти средства, неприличные для исправления шестнадцатилетнего шалуна, употребляли семь лет тому назад с одним из величайших мыслителей нашего века! Не поумнели люди со времени Сократа, не поумнели со времени Галилея, только стали мельче. Это неуважение к гению, впрочем, явление новое, возобновленное в последнее десятилетие. Со времени Возрождения талант становится до некоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами; их посылают на эшафот, но не в рабочий дом.

Буржуазно-императорская Франция любит равенство.

Гонимый Прудон еще рванулся в своих цепях, еще сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен \*. Мой залог был схвачен до копейки. Пришлось замолчать единственному человеку во Франции, которому было еще что сказать.

Последний раз я виделся с Прудоном в С.-Пелажи; меня высылали из Франции, ему оставались еще два года тюрьмы\*. Печально простились мы с ним, не было ни тени близкой надежды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось.

Я много слышал о его жесткости, rudesse<sup>1</sup>, нетерпимости — на себе я ничего подобного не испытал. То, что *мягкие* люди называют его жесткостью, были упругие мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли; в гневе он напоминал сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Круппионом\*. Он знал, что я его понимаю, знал и то, как немногие его понимают, и ценил это. Он знал, что его считали за человека мало экспансивного, и, услышав

---

<sup>1</sup> крутом нраве (франц.).—Ред.

от Мишле о несчастии, постигшем мою мать и Колю\*, он написал мне из С.-Пелажи между прочим: «Неужели судьба еще и с этой стороны должна добивать нас? Я не могу прийти в себя от этого ужасного происшествия. Я вас люблю и *глубоко ношу вас здесь*, в этой груди, которую так *многие считают каменной*»\*.

С тех пор я не видал его <sup>1</sup>; в 1851 году, когда я, по милости Леона Фоше, приезжал в Париж на несколько дней, он был отослан в какую-то центральную тюрьму\*. Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне\*.

У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим, тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную жизнь и на значение женщины вообще.

— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего *pot-au-feu* <sup>2</sup>, и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья.

В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но и в них выражается не мещанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского *pater familias*'а <sup>3</sup>, гордо считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение *«О справедливости в церкви и в революции»*\*.

Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы\*, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое... тяжкое время!... Разлагающий воздух его одуряет сильнейших...

---

<sup>1</sup> После писанного я виделся с ним в Брюсселе\*.

<sup>2</sup> супа (франц.).—*Ред.*

<sup>3</sup> отца семейства (лат.).—*Ред.*

И этот «ярый боец» не выдержал, надломился; в его последнем труде я вижу ту же мощную диалектику, тот же размах, но она приводит уже его к прежде задуманным результатам; она уже не свободна в последнем слове. Я под конец книги следил за Прудонем, как Кент следил за королем Лиром, ожидая, когда он образумится, но он заговаривался больше и больше, — такие же припадки нетерпимости, необузданной речи, как у Лира, и так же «Every inch»<sup>1</sup> обличает талант, но... талант «тронутый». И он бежит с трупом — только не дочери, а матери, которую считает живой!..<sup>2</sup>

Романская мысль, религиозная в самом отрицании, суевренная в сомнении, отвергающая одни авторитеты во имя других, редко погружалась далее, глубже in medias res<sup>3</sup> действительности\*, редко так диалектически смело и верно снимала с себя все путы, как в этой книге. Она отрешилась в ней не только от грубого дуализма религии, но и от ухищренного дуализма философии; она освободилась не только от небесных привидений, но и от земных; она перешагнула через сентиментальную апотеозу человечества, через фатализм прогресса, у ней нет тех неизменяемых литий о братстве, демократии и прогрессе, которые так жалко утомляют среди раздора и насилия. Прудон пожертвовал пониманью революции ее идеями, ее языком и перенес нравственность на единственную реальную почву — грудь человеческую, признающую один разум и никаких кумиров, «разве его».

И после всего этого великий иконоборец испугался освобожденной личности человека, потому что, освободив ее отвлеченно, он впал снова в метафизику, придал ей *небывалую волю*, не сладил с нею и повел на заклятие богу бесчеловечному, холодному богу *справедливости*, богу равновесия, тишины, покоя, богу браминов, ищущих потерять все личное и распуститься, опочить в бесконечном мире ничтожества.

На пустом алтаре поставлены *весы*. Это будут новые каудинские фурукулы\* для человечества.

---

<sup>1</sup> Каждый дюйм (англ.).—Ред.

<sup>2</sup> Я долею изменил мое мнение об этом сочинении Прудона (1866).

<sup>3</sup> в самую сущность (лат.).—Ред.

«Справедливость», к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не *изящное* уравнивание страстей и жертв. Галльский трибун ничего не берет из «анархической и легкомысленной Греции», он стойчески попирает ногами личные чувства, а не ищет согласовать их с требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу, потому что *она* — не она, ее смысл, ее сущность вне ее; она — орган справедливости, она *предназначена*, как дева Мария, носить в мучениях идею и водворить ее на свет для спасения государства.

Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья в современной мастерской — идеал Прудона. Христианство слишком изнежило семейную жизнь, оно предпочло Марию — Марфе, мечтательницу — хозяйке, оно простило согрешившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а в Прудоновой семье именно надобно мало любить. И это не все: христианство гораздо выше ставит личность, чем семейные отношения ее. Оно сказала сыну: «Брось отца и мать и иди за мной», — сыну, которого следует, во имя *воплощения справедливости*, снова заковать в колодки безусловной отцовской власти, — сыну, который не может иметь воли при отце, пуще всего в выборе жены. Он должен закалиться в рабстве, чтоб в свою очередь сделаться тираном детей, рожденных без любви, по долгу, для продолжения семьи. В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше. И эти старые, изношенные пугала из гегелизма правой стороны пришлось-то мне еще раз увидеть под пером Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария, — труд, от которого по крайней мере была свободна аристократическая семья древнего Рима, основанная на рабстве;

нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упования рая, даже и стихов к тем порам «не будут больше писать», по уверению Прудона, зато работа будет «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным убаюкиванием, но пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости — что это за вздор!

Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука; сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:

— Да из чего же мы это выбиваемся из сил?

— Для торжества справедливости, — скажет ему Прудон.

А новый Каин ответит ему:

— Да кто же мне поручил торжество справедливости?

— Как кто? Разве все призвание твоё, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?

— Кто же поставил эту цель? — скажет на это Каин. — Это слишком старо, бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать — не долг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена, так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической традиции. Или вы думаете, что после взятия Бастилии, после террора, после войны и голода, после короля-мещанина и мещанской республики\*, я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вековую ссору, и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?

А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие о цели у Прудона совершенно непоследовательно. Телеология — это тоже теология, это Февральская республика, т. е. та же Июльская монархия, но без

Людовика-Филиппа. Какая же разница между предопределенной целесообразностью и промыслом? <sup>1</sup>

Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные, ticket of leave <sup>2</sup>, не наделали бед, он ловит их в кашкан римской семьи.

В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пенат, видится уже не *анархия*, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдсятеро больше крови, чем все пороки вместе.

Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть; «француз, живущий в России,— говорит Прудон,— русский, а не француз». Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя...

«Голландия не погибнет,— сказал Вильгельм Оранский в страшную годину,— она сядет на корабли и уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины» \*. Вот какие народы бывают свободны.

Так и англичане: как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны: Франция довольна собой и лепится все больше и больше

---

<sup>1</sup> Сам Прудон сказал: «Rien ne ressemble plus à la préméditation, que la logique des faits». <«Ничто так не похоже на преднамеренность, как логика фактов» (франц.)>.

<sup>2</sup> Здесь: досрочно освобожденные (англ.).—*Ред.*

к своему средоточию, а средоточие — к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?

А с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France? <sup>1</sup> «Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык — не лучший язык, ее литература — не лучшая литература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гексаметра?» К тому же ее всемирный гений усваивает себе и мысль и творение всех времен и стран: «Шекспир и Кант, Гёте и Гегель разве не сделались своими во Франции?» И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда их берут во двор.

Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва «византинских» <sup>2</sup> архиереев как раз пришлась архиерею социализма!

Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме *разума*, хотел остаться не только мужем вроде Синей Бороды, но и французским националистом с литературным повинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслью свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь.

Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на *освобождение* он иногда находит, на *свободе* — никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один — какую-то мандаринскую иерархию \*, другой — свою каторжную семью и апотеозу бесчеловечного «Pereat mundus — fiat justitia!» <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> прекрасную Францию (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> византийских (франц. byzantin).—*Ред.*

<sup>3</sup> «Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие!» (лат.).—*Ред.*





---

## РАЗДУМЬЕ ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ

### I

...С одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный брак, нераздельность отцовской власти,— семья, в которой для *общественной* цели лица гибнут, *кроме одного*, свирепый брак, в котором признана неизменяемость чувств, кабала обету, с другой —возникающие ученья, в которых брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц.

С одной стороны, женщина, чуть не побиваемая камнями за измену, с другой — самая ревность, поставленная hors la loi <sup>1</sup>, как болезненное, искаженное чувство эгоизма, проприетаризма и романтического ниспровержения здоровых и естественных понятий.

Где истина... где диагональ? Двадцать три года тому назад я уже искал выхода из этого леса противоречий <sup>2</sup>.

Мы смелы в отрицании и всегда готовы толкнуть всякого перуна в воду, но перуны домашней и семейной жизни как-то water-proof <sup>3</sup>, они все «выдыбаются». Может, в них и не осталось смысла — но жизнь осталась; видно, орудия, употребляемые против них, только скользнули по их змеиной чешуе, уронили их, оглушили... но не убили.

---

<sup>1</sup> вне закона (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> «Былое и думы», т. III. «По поводу одной драмы»\*.

<sup>3</sup> непромокаемы (англ.). — *Ред.*

Ревность... Верность... Измена... Чистота... Темные силы, грозные слова, под милости которых текли реки слез, реки крови, — слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме... и притом слова, под которыми, как под Дамокловым мечом, жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются за углом и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальное, губить нас самих...

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и совершенно естественная страсть, она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила *jus gladii*<sup>1</sup>, право суда и мести. Она сделалась *долгом чести*, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики, но затем все же на дне души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли, несчастья*, называемое ревностью, — чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию, — чувство «ирредуктибельное»<sup>2</sup>.

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуркулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон *правда*, с обеих — *ложь*. Бойким *entweder — oder*<sup>3</sup> и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания *одного* из терминов *он* возвращается, так, как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

---

<sup>1</sup> право меча (лат.).— *Ред.*

<sup>2</sup> «несократимое» (франц. irréductible).— *Ред.*

<sup>3</sup> или — или (нем.).— *Ред.*

Гегель снимал эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в *безусловный дух*; в нем они не исчезали, а *преображались, исполнялись*, как выражалась немецкая теологическая наука, — это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются *искуплениями*, т. е. священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположнее *личной воли и необходимости*, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

Сам Прудон поступил, в другом порядке вопросов, гораздо человечественнее немецкой науки. Он выходит из экономических противоречий тем, что признает обе стороны под обузданием высшего начала. Собственность-*право* и собственность-*кража* становятся рядом, в вечном колебании, в вечном восполнении, под постоянно растущим миродержавием *справедливости*. Ясно, что противоречия и спор переносятся в другую сферу и что к отчету требовать приходится понятие справедливости больше, чем право собственности.

Чем высшее начало проще, менее мистично и менее односторонно, чем оно реальнее и прилагаемое, тем полнее оно сводит термины противоречащие на их наименьшее выражение.

Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, в *развитии общих интересов*.

Радикально уничтожить ревность значит уничтожить *любовь к лицу*, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще — любовью к полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и дает колорит, *tonus*, страстность всей нашей жизни. Наш лиризм — *личный*, наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризм со

всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции <sup>1</sup> с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб *они лились человечески...* и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника <sup>2</sup>.

## II

Свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. И то и другое может встретиться на закраинах половых и брачных отношений как частный случай, как исключение, но не как общее правило. Половое отношение перервется или будет постоянно стремиться к более тесному и прочному соединению, так, как нерасторгаемый брак — к освобождению от внешней цепи.

Люди постоянно протестовали против обеих крайностей. Нерасторгаемый брак был принимаем ими лицемерно или сгоряча. Случайная близость никогда не имела полной инвентуры, ее всегда скрывали, так, как хвастались браком. Все

---

<sup>1</sup> утешительные речи (лат. *consolatio*).—*Ред.*

<sup>2</sup> Читая корректурный лист, мне попала французская газета, в которой рассказан чрезвычайно характеристический случай. Возле Парижа какой-то студент завел связь с девушкой, связь эта открылась. Отец ее отправился к студенту и умолял его со слезами, *на коленях, восстановить* честь дочери и жениться на ней; студент с дерзостью отказался. Коленопреклонный отец дал ему пощечину, студент его вызвал, они стрелялись; во время дуэли старика хватил паралич, изуродовавший его. Студент сконфузился и «решился жениться», а невеста огорчилась и решила выйти замуж. Газета прибавляет, что такая *счастливая* развязка, верно, будет много способствовать к выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший дом? Неужели Китай, Индия, над юродствами и уродствами которых мы столько издеваемся, представляют что-нибудь безобразнее, глупее этой истории? Я уже не говорю — безнравственнее. Парижский роман в сто раз преступнее всех поджариваемых вдов и зарываемых весталок. Там *vera*, снимающая всякую ответственность, а здесь одни условные, призрачные понятия о внешней чести, о внешней репутации... Не явно ли из дела, что за человек студент? За что же судьбу девушки сковали с ним à perpétuité <навек (франц.)>? За что же ее сгубили для спасения имени? О, Бедлам! (1866).

попытки официальной регламентации публичных домов, несмотря на то, что они имеют в виду их стеснение, оскорбляют общественный, нравственный смысл. Он в устройстве видит признание. Проект, сделанный одним господином в Париже, во время Директории, о заведении привилегированных публичных домов с своей иерархией и пр., был даже в те времена принят свистом и пал под громом смеха и пренебрежения.

Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполья инок, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей...

Брак для христианства — уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат.

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую победу свою над человеческой природой.

Вообще, христианский брак мрачен и несправедлив, он восстанавливает неравенство, против которого проповедует евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) жертвована; выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести, а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар католичества и рыцарства.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос.

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика... стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом, слагается в тиши *народная легенда*, раздается песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером, — она поет за несчастную женщину. Суд разит — песня отпускает. Церковь предаёт анафеме любовь вне брака — песня проклиняет брак без любви. Она защищает влюбленного пажу, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем. Песня для народа — его светская молитва, его *другой* выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

В праздничные дни литании богородице сменялись печальными звуками *des complaintes*<sup>1</sup>, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили перед всех скорбящей дево́й, прося ее заступы и прощенья.

Из песен и легенд протест растет в роман и драму. В драме он становится силой. Обиженная любовь, мрачные тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный суд. Процесс их потрясал тысячи сердец, вырывая слезы и крики негодования против кабального брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и лож произносили постоянно свое оправдание лицам и осуждение институтам.

Между тем в эпоху политических перестроек и светского направления умов одна из двух крепких ножек брака стала подламываться. Переставая все более и более быть таинством, т. е. теряя последнюю основу свою, он тем больше опирался на полицию. Только мистическим вмешательством высшей силы и может быть оправдан христианский брак. Тут есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надевающий на себя трехцветный шарф и венчающий с гражданским кодексом в руке, гораздо нелепее священника в ризе, окруженного дымом ладана, образами, чудесами. Сам первый консул Наполеон, самый буржуазно-прозаический человек в деле любви и семьи, догадался, что брак на съезжей больно плох, и уговаривал Камбасереса прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную,

---

<sup>1</sup> жалобных песен (франц.). — *Ред.*

что *она* обязана быть *верной* мужу (о нем ни слова) и *слушаться* его\*.

Как скоро брак выходит из сферы мистицизма, он делается *expédient* <sup>1</sup>, внешней мерой. Ее ввели испуганные «Синие Бороды», обрившиеся и сделавшиеся «синими подбородками», Раули в судейских париках, академических фраках, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданский брак — мера государственного хозяйства, освобождение государства от воспитания детей и вящее прикрепление людей к собственности. Брак без вмешательства церкви сделался кабальным контрактом на пожизненное отдание своего тела друг другу. До веры, до мистических бредней законодателю дела нет, лишь бы контракт был исполнен; а не будет исполнен, он найдет средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? В Англии, в классической стране юридического развития, подвергают же страшнейшим истязаниям шестнадцатилетнего мальчика, которого старый казарменный сводник, с лентами на шляпе, напоит элем и джином и завербует в полк. Отчего же не наказывать позором, разорением, выдачей головой девочку, которая, не давая себе отчета в том, что делает, контрактировалась на пожизненную любовь и допустила *extra* <sup>2</sup>, забывая, что *season ticket* <sup>3</sup> не передается.

Но и на «синий подбородок» нашлись свои труверы и романисты. Против контрактного брака водрузился догмат психиатрический, физиологический, догмат *абсолютной непреложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними*.

Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет.

Затем стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам — дело совершенно противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения.

<sup>1</sup> средством для достижения определенной цели (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> Здесь: лишнее (лат.).—Ред.

<sup>3</sup> сезонный билет (англ.).—Ред.

Мнимые силы, если люди их принимают за действительные, точно так же мощны, как и действительные, и это потому, что материал, даваемый человеком, *тот же*—какая бы сила ни была. Человек, который боится духов, и человек, который боится бешеных собак, боится одинаким образом и может умереть от страха. Разница в том, что в одном случае человеку можно доказать, что он боится вздора, а в другом нельзя.

Я отрицаю то царственное место, которое дают *любви* в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением.

Неужели мы освободились от всего на свете: от бога и дьявола, от римского и уголовного права — и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Гераклес, лечь у ног Омфалы \* или уснуть на коленях Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони \* вместо одного?

Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратнее точит и губит всепожирающий Мелок любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше *загнана в любовь*... Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Мне ее жаль.

### III

Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрассудки в женском воспитании? Их разбивает опыт, и оттого-то ломится не предрассудок, а жизнь.

Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбище или места, на которых совершилось злодеяние. Одни боятся нечистых духов, другие чистой правды и остаются при фантастическом нестройстве и неисследованной тьме. Серьезного единства во взгляде на половые отношения так же мало, как во всех практических сферах. Все еще мерещится возможность соединить христианскую нравственность,



идушую от попрапия плоти на *тот свет*, с земной, реальной нравственностью *этого* света. С досады, что не ладится, и чтоб не долго мучить себя над разрешением вопросов, люди оставляют по выбору и по вкусу то, что им нравится из церковного учения, и бросают то, что не нравится, на том самом основании, на котором, не соблюдая постов, усердно едят блины, и, не оставляя веселых религиозных обычаев, устраниются от скучных. А кажется, давно пора внести больше спетости и мужества в поведение. Пусть уважающий закон остается подзаконным и не нарушает его, а не принимающий — свободным от него открыто и сознательно.

Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее.

С детских лет девушка испугана половым отношением, какой-то *страшной, нечистой тайной*, от которой ее предостерегают, отстрачивают, как будто этот грех имеет какую-то чарующую силу. И потом то же чудовище, то же *magnum ignotum*<sup>1</sup>, пятнающее неизгладимым пятном, дальнейший намек на которое заставляет краснеть и позорит, ставится целью ее жизни. Мальчику, едва умеющему ходить, дают жестяную саблю, приучая его к убийству, ему пророчат гусарский мундир и эполеты; девочку убаюкивают надеждой богатого, красивого жениха, и она мечтает об эполетах, но не на своих плечах, а на плечах суженого.

Dors, dors, mon enfant,  
Jusqu'à l'âge de quinze ans,  
A quinze ans faut te réveiller,  
A quinze ans faut te marier<sup>2</sup>.

Надобно дивиться хорошей человеческой натуре, не поддающейся такому воспитанию; следовало бы ожидать, что все девочки, так убаюканные, с пятнадцати лет пустятся на ускорен-

---

<sup>1</sup> великое неизвестное (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> Спи, спи, дитя мое, до пятнадцати лет. В пятнадцать лет придется проснуться, в пятнадцать лет придется выйти замуж (франц.).—*Ред.*

ную замену убитых мальчиками, приученными с детства к смертоносным оружием.

Христианское учение вселяет ужас перед «плотью», прежде чем организм сознает свой пол; оно будит в ребенке опасный вопрос, бросает тревогу в отроческую душу, и, когда приходит время ответа, *другое* учение возводит, как мы сказали, для девушки половое назначение в искомый идеал; ученица становится *невестой*, и та же тайна, тот же грех, но *очищенный*, является венцом воспитания, желанием всех родных, стремлением всех усилий, чуть не общественным долгом. Искусства и науки, образование, ум, красота, богатство, грация — все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь к *официальному* падению... к тому же греху, мысль о котором считалась преступлением, но которое изменило свою сущность тем чудом, которым папа, взалкавши на дороге, благословил *скромное блюдо в постное*.

Словом, отрицательно и положительно все воспитание женщины остается воспитанием половых отношений, около них вертится вся ее последующая жизнь... *от них* она бежит, *к ним* она бежит, *ими* опозорена, *ими* гордится... Сегодня хранит отрицательную святость непорочности, сегодня, ближайшей подруге, краснея, шепотом говорит о любви; завтра, при блеске и шуме, при толпе, зажженных люстрах и громе музыки, бросается в объятия мужчины.

*Невеста, жена, мать*, женщина едва под старость, *бабушкой*, освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно если *дедушка* умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее... беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви; в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, не разрывается.

На это физиологически крепкое и глубокое отношение христианство дунуло своим лихорадочным, монашеским аскетизмом, своими романтическими бреднями и раздуло его в безумное и разрушительное пламя — ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщине из этого хаоса — геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные

женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день от случайности к случайности и от противоречия к противоречию.

Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!

Я видел одну борьбу и одну победу...



## ГЛАВА XLII

Coup d'Etat.— Прокурор покойной республики.— Глас коровий в пустыне.— Высылка прокурора.— Порядок и цивилизация торжествуют.

«Vive la mort<sup>1</sup>, друзья! И с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоянны за наши убеждения.

Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надо ее поднять,— мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением уstraшенных событиями в Париже».

(«Письма из Франции и Италии»,  
письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1851)\*

Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Pasquale Росса и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что «Бонапарт разогнал Собрание и назначил *красное* правительство». Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне Франции (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе — не знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов,

<sup>1</sup> Да здравствует смерть (франц.).— *Ред.*

политических кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило?

Через час явились Фогт, Орсини, Хоецкий, Матьё и другие — все были удивлены.. Матьё, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя.

Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, т. е. с черепом чисто галльским, непоместительным, но упрямым, с большой, темной и нечесаной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами, Матьё походил на пророка, на юродивого, на авгура и на его птицу. Он был юрист и в счастливые дни Февральской республики был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей—он отдался революции, так, как отдаются религии: с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю-Роллена—«Ледрррю» и Луи-Блана—Бланом просто, говорил, когда мог, «citoyen» и постоянно конспирировал.

Получивши весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через два дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась, que cela chauffe<sup>1</sup>, и особенно на юге, в Варском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтоб войти в сношения с представителями восстания... кой-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя Вар на известном месте, собрать на совещание людей важных и надежных... Но, чтоб жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы «коровьим мычанием». Если дело пойдет на лад, Орсини хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матьё, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, верный своей революционной и немного кондотьерской натуре, стал готовить своих товарищей и оружие. Матьё пропал.

Через сутки ночью меня будит Рокка, часа в четыре

— Два господина, прямо с дороги, им очень нужно, говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку: «Гражданин, бога ради, как можно скорее, вручите подателю триста или четырехста франков, крайне нужно. Матьё».

---

<sup>1</sup> недовольство разгорается (франц.).—Ред.

Я захватил деньги и сошел вниз: в полумраке сидели у окна две замечательные личности; привычный ко всем мундирам революции, я все-таки был поражен посетителями. Оба были покрыты грязью и глиной с колен до пяток; на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих — затасканные пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное как следует: всклокоченные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав «citoyen», произнес речь, в которой коснулся до моих гражданских добродетелей и до денег, которые ждет Матьё. Я отдал деньги.

— Он в безопасности?— спросил я.

— Да,— отвечал его посол,— мы сейчас идем к нему за Вар. Он покупает лодку.

— Лодку? зачем?

— Гражданин Матьё имеет целый план высадки,— гнусный трус лодочник не хотел дать внаем лодку...

— Как, высадку во Франции... с одной лодкой?..

— Пока, гражданин, это тайна.

— Comme de raison <sup>1</sup>.

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачем?

На другой день явился сам Матьё, точно так же по уши в грязи... и усталый до изнеможения; он всю ночь мычал коровой, несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальни, а Матьё носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать.

Началась история лодки. Долго ли до греха,— сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев. Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью; можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французов, но и нас

---

<sup>1</sup> Как и следует (франц.).— *Ред.*

всех в Ницце. Хоецкий взялся его уговорить и сделал это артистом.

Окно Хоецкого, с небольшим балконом, выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матьё, бродящего с таинственным видом по берегу моря... Хоецкий стал ему делать знаки; Матьё увидел и показал, что сейчас придет к нему, но Хоецкий выразил страшнейший ужас — телеграфировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтоб он подошел к балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочках, подкрался.

— Вы не знаете?— спросил его Хоецкий.

— Что?

— В Ницце взвод французских жандармов.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш... Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас домовый обыск — вас сейчас схватят, не выходите на улицу.

— *Violation du territoire...*<sup>1</sup> Я буду протестовать.

— Непременно, только теперь спасайтесь.

— Я в *St.-Hélène*, к Герцену.

— С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки, дача его на границе, с огромным садом: и не проведают, как возьмут,— да и Рокка видел уже вчера двух жандармов у ворот.

Матьё задумался.

— Идите морем к Фогту, спрячьтесь у него покамест, он, кстати, всего лучше вам даст совет.

Матьё берегом моря, т. е. вдвое дальше, пошел к Фогту и начал с того, что рассказал ему от доски до доски разговор с Хоецким. Фогт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему:

— Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вам через два часа надобно ехать в Турин; за горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой.

— Я сбегая домой за пожитками...— и прокурор республики несколько замялся.

— Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме? За вами следят жандармы, агенты, шпионы... а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, экой Селадон! Дворник! — закричал Фогт (дворник его дома был крошечный

---

<sup>1</sup> Нарушение территориальной целостности (франц.).— *Ред.*

немец, уморительный, похожий на давно не мытый кофейник и очень преданный Фогту).— Пишите скорес, что вам нужна рубашка, платок, платье, он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею, целуйтесь и плачьте сколько хотите.

Матьё от избытка чувств обнял Фогта.

Пришел Хоецкий.

— Торопитесь, торопитесь!— говорил он с зловещим видом.

Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея — осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.

— Вы, верно, опять режете гнилых собак или кроликов? — спросил Хоецкий у Фогта.— *Quel chien de métier!* <sup>1</sup>

— Нет.

— Помилуйте, у вас такой запах в комнате, как в катакомбах в Неаполе.

— Я и сам чувствую, но не могу понять, это из угла... верно, мертвая крыса под полом — страшная вонь...— И он снял шинель Матьё, лежавшую на стуле. Оказалось, что запах идет из шинели.

— Что за чума у вас в шинели?— спросил его Фогт.

— Ничего нет.

— Ах, это, верно, я,— заметила, краснея, Дульцинея,— я ему положила на дорогу фунт лимбургского сыра в карман, *un peu trop fait* <sup>2</sup>.

— Поздравляю ваших соседей в дилижансе,— кричал Фогт, хохоча, как он один в свете умеет хохотать.— Ну, однако пора. Марш!

И Хоецкий с Фогтом выпроводили агитатора в Турин.

В Турине Матьё явился к министру внутренних дел с протестом. Тот его принял с досадой и смехом.

— Как же вы могли думать, чтоб французские жандармы ловили людей в Сардинском королевстве? — Вы нездоровы.

Матьё сослался на Фогта и Хоецкого.

— Ваши друзья,— сказал министр,— над вами пошутили.

Матьё написал Фогту; тот нагородил ему не знаю какой

---

<sup>1</sup> Что за собачье ремесло! (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> немного передержанного (франц.).— *Ред.*



вздор в ответ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкого, и через несколько недель написал мне письмо, в котором между прочим писал: «Вы один, гражданин, из этих господ не участвовали в коварном поступке против меня»...

К характеристическим странностям этого дела принадлежит, без сомнения, то, что восстание в Варе было очень сильное\*, что народные массы действительно поднялись и были усмирены оружием, с обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и телохранители его, при всем усердии и мычании, не знали, где к ним примкнуть? Никто не подозревает ни его, ни его товарищей, что они намеренно ходили пачкаться в грязи и глине и не хотели идти туда, где была опасность, — совсем нет. Это вовсе не в духе французов, о которых Дельфина Ге говорила, что «они всего боятся, за исключением ружейных выстрелов», и еще больше не в духе *de la démocratie militante*<sup>1</sup> и красной республики... Отчего же Матьё шел направо, когда восставшие крестьяне были налево?

Несколько дней спустя, как желтый лист, гонимый вихрем, стали падать на Ниццу несчастные жертвы подавленного восстания. Их было так много, что пизмонтское правительство, до поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками или цыганским табором возле города. Сколько бедствий и несчастий видели мы на этих кочевьях, — это та страшная, закулисная часть внутренних войн, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декаблей.

Тут были простые земледельцы, мрачно тосковавшие о доме, о своей земле и наивно говорившие: «Мы вовсе не возмутители и не *partageux*<sup>2</sup>; мы хотели защищать порядок, как добрые граждане; *ce sont ces coquins*<sup>3</sup>, которые нас вызвали (т. е. чиновники, мэры, жандармы), они изменили присяге и долгу — а мы теперь должны умирать с голоду в чужом крае или идти под военный суд?.. Какая же тут справедливость?» — И действительно, *coup d'Etat* вроде второго декабря убивает больше, чем людей: он убивает всякую нравственность, всякое понятие о добре и зле у целого населения; это такой урок раз-

---

<sup>1</sup> воинствующей демократии (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> сторонники раздела земель (франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> а эти негодяи (франц.).— *Ред.*

врата, который не может пройти даром. В числе их были и солдаты, *troupiers*<sup>1</sup>, которые не могли сами надивиться, как они, вопреки дисциплины и приказаний капитана, очутились не с той стороны, с которой полк и знамя. Их число, впрочем, не было велико.

Тут были простые, небогатые буржуа, которые на меня не делают того омерзительного впечатления, как не простые: жалкие, ограниченные люди, они кой-как, с трудом, между обмериванием и обвешиванием усвоивая себе две-три мысли и полумысли об обязанностях, восстали за них, когда увидели, что их святыня попорана. «Это победа эгоизма,— говорили они,— да, да, эгоизма, а уж где эгоизм, тут порок; надобно, чтоб каждый исполнял долг свой без эгоизма».

Тут были, разумеется, и городские работники, этот искренний и настоящий элемент революции, стремящейся декретировать *la sociale*<sup>2</sup> и в ту же меру воздать буржуа и *aristo*<sup>3</sup>, в какую они им воздают.

Наконец, тут были раненые, и страшно раненые. Я помню двоих крестьян средних лет, доползших, оставляя кровавый след, от границы до предместья, в котором жители подняли их полумертвыми. За ними гнался жандарм; видя, что граница недалеко, он выстрелил в одного и раздробил ему плечо... Раненый продолжал бежать... жандарм выстрелил еще раз, раненый упал; тогда он поскакал за другим и нагнал его сначала пулей, а потом сам. Второй раненый сдался, жандарм второпях привязал его к лошади и вдруг хватился первого... Тот дополз до перелеска и пустился бежать... Догнать его верхом было трудно, особенно с другим раненым, оставить лошадь невозможно... *Жандарм выстрелил à bout portant*<sup>4</sup> пленному в голову, сверху вниз, тот упал замертво: пуля раздробила ему всю правую сторону лица, все кости. Когда он пришел в себя, никого не было... Он добрался по знакомым тропинкам, протоптанным контрабандистами до Вара, и перешел его, исходя кровью; тут он нашел совершенно истощенного товарища и с ним *дожил*

---

<sup>1</sup> рядовые (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> социальное устройство общества (франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> аристократам, иронич. сокращ. от *aristocrate* (франц.).— *Ред.*

<sup>4</sup> в упор (франц.).— *Ред.*

до первых домов St.-Hélène. Там, как я сказал, их спасли жители. Первый раненый говорил, что после выстрела он зарылся в какие-то кусты, что он потом слышал голоса, что охотник-жандарм, верно, настиг других и поэтому удалился.

Каково усердие французской полиции!

За ним следовало усердие мэров, их помощников, прокуроров *республики* и префектов; оно показалось при подаче и счете голосов. Все это истории чисто французские, известные всему миру. Скажу только, что в отдаленных местах меры для достижения огромного большинства при вотировании были взяты с сельской простотой. По ту сторону Вара в первом местечке мэр и жандармский *brigadier*<sup>1</sup> сидели возле урны и смотрели, какой бюлтьень кто кладет, тут же говоря, что они свернут потом в бараний рог всякого *бунтовщика*. Казенные бюлтьени были печатаны на особой бумаге,— ну, так и вышло, что во всем местечке нашлось, не знаю, пять или десять смельчаков беспардонных, вотировавших против плебисцита; остальные, и с ними вся Франция, вотировали империю *in spe*.

---

<sup>1</sup> унтер-офицер (франц.).— *Ред.*



---

## «РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ»

### I

1848

«Так много понимать (писала Natalie к Огареву в конце 1846 года) и не иметь силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться на *первом* — жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу выработать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне себя, отдаю ему справедливость, а в душе отражается одно мрачное и мучит меня. Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя ничто не удовлетворяет, что ты многим недоволен, а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться,— у меня все есть для этого, лишь развей эту способность»\*.

Эти строки и остатки журнала, относящегося к тому же времени и приложенного в другом месте<sup>1</sup>\*, писаны под влиянием московских размолвок.

Темная сторона снова брала верх — отдаление Грановских испугало Natalie, ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым. Женщина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила, как меньшую сестру, ушла далее других\*. Вырваться во что бы ни стало из этого круга сделалось тогда страстной *idée fixe*<sup>2</sup> Natalie.

Мы уехали.

Сначала новость — Париж, — потом просыпавшаяся Италия и революционная Франция захватили всю душу. Личное

---

<sup>1</sup> В «Арабесках».

<sup>2</sup> навязчивой идеей (франц.).— *Ред.*

раздумье было побеждено историей. Так дожили мы Июньских дней.

...Еще прежде этих страшных, кровавых дней пятнадцатое мая привело кривой по вторым всходам надежды... «Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февраля, башмаков не успели износить, в которых строили баррикады, а уже усталая Франция запрашивалась на усмирение<sup>1</sup>». Капли крови не пролилось в этот день — это был тот сухой удар грома при чистом небе, вслед за которым чувствуется страшная гроза. В этот день я с каким-то ясновидением заглянул в душу буржуа, в душу работника и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон — сосредоточенную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга, толкаясь ежедневно в совершенной чересполосице — в доме, на улице, в мастерской, на рынке. Страшный, кровавый бой, не предсказывавший ничего доброго, был за плечами. Этого никто не видел, кроме консерваторов, накликавших его; ближайшие знакомые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им легче было схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям; им вообще хотелось не понимать дела, а торжество над противниками, им хотелось поставить на своем.

Я становился дальше и дальше от всех. Пустота грозила и тут, — но вдруг барабанный бой — утром рано дребезжавший по улицам *сбор* возвестил начало катастрофы.

Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны, они положили черту в моей жизни. Повторю несколько строк, писанных мною через месяц\*.

«Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить о них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдель-

---

<sup>1</sup> «Письма из Франции и Италии», IX.

ные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на *place de la Bastille*, лагерь у *Porte St. Denis*, на Елисейских Полях и мрачное ночное „*Sentinelle, prenez garde à vous!*..”<sup>1</sup> Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился; я оправляюсь после Июньских дней, как после тяжелой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре, перед обедом, шел я берегом Сены к *Hôtel de Ville*, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с злобными лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на *Pont-Neuf*, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братьев к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходявшими из-под тучи, барабан раздавался со всех сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после Июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и зашел тихим, печальным голосом „Марсельезу”;

---

<sup>1</sup> «Часовой, берегись!» (франц.).— *Ред.*

все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... Набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы „Насионаля“ дали им исполнителей.

Вечером 26 июня мы слышали, после победы „Насионаля“ над Парижем, правильные залпы, с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... „Ведь это расстреливают“, — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горько тем, кто прощают такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили ходили по бульварам, распевая „Mourir pour la patrie“<sup>1</sup>; мальчишки 16, 17 лет хвастали кровью своих братьев, запекшейся на их руках, в них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А дома предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? — об них никто и не думал... местами посыпали песком, кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елпсей-

---

<sup>1</sup> «Умереть за отечество» (франц.). — *Ред*

ских Полей, на place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла, в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и <в> 1814 году.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы: кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки: клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого».

Natalie писала около того же времени в Москву: «Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, *чтоб они были живы*, может, и их ждет такая же ужасная доля».

В этих словах отголосок всего пережитого — в них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательствами, и бедный, глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот — за то, что не слышал «Passez au large!»<sup>1</sup>

И как же иначе могло это отразиться на душе женщины, так несчастно, глубоко понимавшей все печальное... Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены желчи — какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд — делал неловким жизнь.

Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз надо всем в душе Natalie — а скорбь истинная, тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел,

---

<sup>1</sup> «Проходи!» (франц.).—Ред.



напротив, он сделался *живою болью*. Это было сокрушение сестры, материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы. Она была *в самом деле* то, что Рашель лгала своей «Марсельезой».

Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды; ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающее через край,— это был выход.

У нее не было его. Утром дети, вечером наши раздраженные, злые споры,— споры прозекторов с плохими врачами. Она страдала — а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б за ее больной душой я вполовину так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом... я не допустил бы побегам от разьедающего корня проникнуть во все стороны. Я сам их укрепил и вырастил, не изведая, может ли она вынести их, сладить с ними.

Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной беседы, мирного покоя. Мы не умели еще запереть дверей от посторонних. К концу года начали отовсюду являться гонимые из всех стран — бездомные скитальцы; они искали от скуки, от одиночества какого-нибудь дружеского крова и теплого привета.

Вот как она писала об этом: «Мне надоели китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, *иногда*, мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь так похожа на капель весною — кап, кап, кап — все утро забота о Саше, о Наташе, и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так, что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются,— ну, кажется, отдохну — нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого душе тяжело, что хорошие люди; иначе я была бы совсем одна, а тут я не одна, и присутствие их *не чувствую*, будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело, а уйдут — ничего не остается... Настает завтра — все то же, настает другое завтра — все то же. Никому другому я бы

не сказала этого, — примут за жалобу, подумают, что недовольна жизнью. Ты понимаешь меня, ты *знаешь*, что я ни с кем в свете не променялась бы; это минутное негодование, усталость... Струя свежего воздуха — и я воскресаю во всей силе...» (21 ноября 1848).

«Если б все говорить, что проходит по голове, мне иногда так страшно становится, глядя на детей... Что за смелость, что за дерзость *заставить* жить новое существо и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою — это страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать: „Вот, если б мой ребенок был такой“, т. е. если б его жизнь была такая... Мой взгляд упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был великий человек, позже — чтоб он был тем, другим... наконец, я хочу, чтоб...»

Тут письмо прервано тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 дек<sup>а</sup>бря добавлено: «Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо — а остальное все пустяки...»\*

24 янв<sup>а</sup>ря 1849. «Как бы я хотела иногда тоже бегать помышину и чтоб эта беготня меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты, среди этих необходимостей — а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучительно чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающими — я не говорю о самом тесном круге — да, если б можно было в нем заключиться, — нельзя. Хочется далее, вон — но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь — что же это? Тридцать лет — и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность, — да, я это говорю громко. А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня расцеловала... Неудовлетворенность? — я слишком счастлива, la vie débordé<sup>1</sup>... Но

Отчего ж на свет  
Глядеть хочется,  
Облететь его  
Душа просится?\*

---

<sup>1</sup> жизнь бьет через край (франц.). — *Ред.*

Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь, оттого, что ты так же слаба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела *так* говорить, не хотела, чтоб они *слышали*, как я говорю. Для них я найду другое. Потом меня пугает мое равнодушие; так небольшое, так немногие меня интересуют... Природа,— только не в кухне, история,— только не в Камере, — потом семья, потом еще двое-трое — вот и всё. А ведь какие все добрые — занимаются моим здоровьем, глухотой Коли...»

27 января. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги, они слишком продолжительны, а жизнь так коротка; мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не можешь, разве только доказать пословицу „На людях и смерть красна“. Но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Америку... Чему мы поверили, что приняли за осуществление, то было пророчество, и пророчество очень раннее. Как тяжело, как безотрадно,— мне хочется плакать, как ребенку. Что личное счастье?.. Общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух наполнен только предсмертным заразительным дыханием».

1 февраля. «N... N., если б ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть все, кроме этого тесного круга...

Невыносимо брожение, которого результат будет через несколько веков; существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого брожения и смотреть так вдаль,— оно сжимается, уничтожается».

Это письмо заключается словами: «Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувствовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию всего существующего».

## ПРИМЕТЫ

Реакция торжествовала; сквозь бледносинюю республику виднелись черты претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции делал облавы по роцам

и катакомбам, отыскивая скрывавшихся. Люди менее воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Т<учковы> жили в том же доме, М<ария> Ф<едоровна\*> у нас, А<нненко>в и Т<ургенев> приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тяжести, от Июньских дней, взошедших в кровь и которые они везли с собой.

Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принести столько человеческих жертв и столько самого себя на заклатие богу жестокому и беспощадному.

День нашей разлуки с Т<учковы>ми и с М<арией> Федоровной как-то особо каркнул вороном в моей жизни; я и этот сто рожевой крик пропустил без внимания, как сотни других.

Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические *приметы*, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнью.

Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знакомых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7 часов утра; ложиться спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое всегда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех... разговор не клеился, всем сделалось не по себе, налитое вино выдыхалось, натянутые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавесь, и лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра\*.

Все были печальны; я задыхался от грусти.

Жена моя сидела на небольшом диване, перед ней на коленях и скрывая лицо на ее груди стояла младшая дочь Т<учкова> «Consuelo di sua alma»<sup>1</sup>, как она ее звала. Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жизни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух шагах молча и мрачно сидела М. Ф.; она давно свыклась с покорностью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто «Прощайте», в то время как сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало «До свиданья».

Потом мы поехали их провожать. В высоком, пустом каменном амбаркадере было пронзительно холодно, двери хлопнули неистово и сквозной ветер дул со всех сторон. Мы уселись в углу на лавке; Т<учков> пошел хлопотать с чемоданами. Вдруг дверь отворилась, и два пьяных старика шумно вошли в залу. Платья их были замараны, лица искажены, от них несло диким развратом. Они вошли ругаясь, один хотел ударить другого, тот посторонился и, размахнувшись что есть силы, ударил его самого в лицо; пьяный старик полетел со всех ног. Голова его с каким-то дребезжащим, пронзительным звуком щелкнулась о каменный пол; он вскрикнул, приподнял голову, кровь лилась ручьями по седым волосам и камням. Полиция и пассажиры с неистовством бросились на другого старика.

С вечера раздраженные, взволнованные, в натянутом состоянии, мы крепились, но страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося черепа, произвело во всех что-то истерическое. Наш дом и весь наш круг был во все времена чист и свободен от «трагинервических явлений», но это было сверх сил; я чувствовал дрожь во всем теле, жена моя была близка к обмороку, а тут звонок — пора, пора! — и мы остались вдруг за решеткой — одни.

Ничего нет грубее и оскорбительнее для расстающегося, как полицейские меры во Франции на железных дорогах; они крадут у остающегося последние две-три минуты... *Они* еще тут, машина не свистнула еще, поезд не отошел, но между вами загородка, стена и рука полицейского, — а вам хочется видеть,

---

<sup>1</sup> «Утешение моей души» (итал.).—Ред.

как сядут, как тронутся с места, потом следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уж ничего не видеть...

... Молча приехали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэло; по временам, завертываясь в шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этот звук? он у меня в ушах».

Дома я уговорил ее прилечь, а сам сел читать газеты; читал, читал и premiers-Paris<sup>1</sup>, и фельетоны, и смесь, взглянул на часы — еще не было двенадцати... Вот день! Я пошел к А<нненкову>, он тоже ехал на днях; с ним отправились мы гулять, улицы были скучнее чтения, такая тоска... точно угрызения совести томили меня. «Пойдемте ко мне обедать», — сказал я, и мы пошли. Жена моя была решительно больна.

Вечер был бессвязен, глуп.

— Итак, решено, — спросил я А<нненкова> прощаясь, — вы едете в конце недели?

— Решено.

— Жутко будет вам в России.

— Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

Я тогда еще мог возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не писали еще своих доносов, но внутри дело было решено. Слова А<нненкова> между тем все-таки неприятно коснулись моих обнаженных нерв, я подумал и отвечал:

— Нет, для меня выбора нет, я должен остаться и если раскаяюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой, на place Maubert.

Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь перешла меру, когда вся моя жизнь казалась мне одной продолжительной ошибкой, когда я сомневался в самом себе, в *последнем*, в *остальном*, приходили мне в голову эти слова: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой?» Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования. . . . .

---

<sup>1</sup> передовые статьи парижских газет (франц.).—Ред.

И опять потянулось время... день за день... серое, скучное... Мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнанники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений; полные самоуверенности, надежд, они принимали реакцию, подымавшуюся во всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу, они ждали завтра, через неделю свой черед...

Я чувствовал, что они ошибаются, но мне нравилась их ошибка, я старался быть непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении. Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день... Я метался от тоски туда, сюда, искал рассеяний... в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на людях, но все чего-то недоставало, смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка резала по сердцу, и веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы; факты сурово подымались со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достоинства; оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена... из общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отрицанием и сомнением, переходящим в поведение; мысль смела, язык дерзок, он легко произносит слова, которых сердце боится; в груди еще тлеют верования и надежды, тогда когда забравший ум качает головой. Сердце отстаёт, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается.

Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда потеря одних верований расчищает место другим; может, в старости, когда все становится безразлично от усталости, — эти переломы делаются легче; но nel mezzo del cammino di nostra vita<sup>1</sup>\* они достаются не даром.

Что ж, наконец, все это — шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула,

---

<sup>1</sup> в середине жизненного пути (итал.).—Ред.

история обманула, обманула в свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшие и дела нет, что с ними будет, когда они придут в себя; она их употребила, — пусть доживают свой век в инвалидном доме. Стыд, досада! А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему малодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня и, вечно озабоченные, вечно занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем, вечно идут — и всё ни с места... Они вас судят, утешают, журят, — какая скука, какое наказание!

«Люди веры, люди любви», как они называют себя в противоположность нам, людям «сомнения и отрицания», не знают, что такое полоть с корнем упования, взлелеянные целой жизнью, они не знают *болезни истины*, они не отдавали никакого сокровища с тем «громким воплем», о котором говорит поэт:

Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen,  
Und weinte laut und gab sie hin<sup>1</sup>.\*

Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие, — им незнакома внутренняя борьба, они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей; внутри все цело, совесть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащий других, им кажется капризом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый смеется над своей деревяшкой, и заключают, что ему операция ничего не стоила; им в голову не приходит, отчего он состарился не по летам и как ноет отнятая нога при перемене погоды, при дуновении ветра.

Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших «С того берега». Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя.

---

<sup>1</sup> Я вырвал ее, истекая кровью, из израненного сердца и громко заплакал и отдал ее (нем.). — *Ред.*



Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться ... от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: «*Opinia mea tecum porto*»<sup>1</sup>.

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядающая в омуте событий, в круговороте общих интересов, обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма без юности, без веры. С этим *faro da me*<sup>2</sup> моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, *но без всего...*

### ТИФОИДНАЯ ГОРЯЧКА

Зимой 1848 была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потом сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла; Райе, известный доктор, советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть и, не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване; прошло несколько часов, сон продолжался. Фогт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. «Посмотрите,— сказал он,— на ребенка, ведь это вовсе не естественный сон». Мертвая, слегка синеватая бледность лица испугала меня, я положил руку на лоб — лоб был совершенно холодный. Я бросился сам к Райе, но счастливо застал его дома и привез с собой. Малютка не просыпалась, Райе приподнял ее, сильно потряс и заставил меня громко звать ее по имени... она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тем же сном, тяжелым, мертвым, дыхание едва-едва было заметно; она в этом состоянии, с небольшими переменами, оставалась несколько дней без пищи и почти без питья; губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятна,— это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не слишком обнадеживал.

Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая, сидела моя жена день и ночь у кровати;

---

<sup>1</sup> Все свое несу с собой (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> С этой ставкой на самого себя (итал.).—*Ред.*

глаза ее покрылись тем жемчужным отливом, которым высказывается усталость, страдание, истощение сил и неестественное напряжение нервов. Раз, часу во втором ночи, мне показалось, что Тата не дышит; я смотрел на нее, скрывая ужас; жена моя догадалась.

— У меня кружится в голове, — сказала она мне, — дай воды.

Когда я подал стакан, она была без чувств. И. Тургенев, приходивший делить мрачные часы наши, побежал в аптеку за аммонияком<sup>1</sup>, я стоял неподвижно между двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки, мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя.

— Что? — спросила она.

— Кажется, Тата открывала глаза, — сказала наша добрая, милая Луиза.

Я посмотрел — будто просыпается; я назвал ее шепотом по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. С этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злее, мучительнее разлагают человека, нежели детские болезни, я их знаю, но *тупого* яда, берущего истомой, обессиливающего в тиши, оскорбляющего страшной ролей праздного свидетеля, хуже нет.

Тот, кто раз на своих руках держал младенца и чувствовал, как он холодел, тяжелел, становился каменным; кто слышал последний стон, которым щедушный организм умоляет о пощаде, о спасении, просится остаться на свете; кто видел на своем столе красивый гробик, обитый розовым атласом, и беленькое платьице с кружевами, так отличающееся от желтого личика, — тот при каждой детской болезни будет думать: «Отчего же не быть и другому гробику — вот на этом столе?»

Несчастье — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равно-

---

<sup>1</sup> нашатырным спиртом (франц. ammoniac). — Ред.

душнее, потому что свыкается с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий, т. е. боится снова почувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых память не разносится с тучами.

Стон больного ребенка наводит на меня такой внутренний ужас, обдает таким холодом, что я должен делать большие усилия, чтоб победить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи я в первый раз пошел пройтись; на дворе было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеем, но, несмотря ни на холод, ни на ранний час, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюллетени: с лишком пять миллионов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона\*.

Осиротевшая передняя, наконец, нашла своего барина!

---

... В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою иной ряд несчастий, сглубивший в *частном* быте еще больше, чем черные Июньские дни — в *общем*. Личность эта быстро подошла к нам, втесняет себя, не давая образумиться... В обыкновенное время я скоро знакомлюсь и туго сближаюсь с людьми, но время-то тогда, скажу еще раз, не было обыкновенное.

Все первы были открыты и болели, ничтожные встречи, неважные напоминовенья потрясали весь организм. Помню я, например, как дня три после канонады я бродил по предместью св. Антония; все еще носило свежие следы свирепого боя: развалившиеся стены, неснятые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие женщины, дети, рывшиеся в мусоре... Я сел на стул перед небольшим кафе и смотрел с щемящимся сердцем на страшную картину. Прошло с четверть часа. Кто-то тихо положил мне руку на плечо, — это был Довиат, молодой энтузиаст, проповедовавший в Германии à la Ruge какой-то своего рода неокатолицизм и уехавший в 1847 в Америку.

Он был бледен, черты его расстроены, длинные волосы в беспорядке; на нем было дорожное платье.

— Боже мой! — сказал он, — *как* мы с вами встречаемся!

— Когда вы приехали?

— Сегодня. Узнав в New-York'e о февральской революции, о всем, что делается в Европе, я на скорую руку продал все, что мог, собрал деньги и бросился на пароход, полный надежд и свеселым сердцем. Вчера в Гавре я узнал о последних событиях, но моего воображения не доставало, чтоб представить себе *это*.

Мы оба еще раз посмотрели, и у обоих глаза были полны слез.

— Ни дня, ни одного дня в проклятом городе! — сказал взволнованный Довиат и был в самом деле похож на юного пророчествующего левита. — Вон отсюда! Вон! Прощайте — еду в Германию!

Он уехал — и попался в прусскую тюрьму, где просидел лет шесть.

Помню еще представление «Катилины», которого ставил тогда на своем историческом театре крепконервный Дюма\*. Форты были набиты колодниками, излишек отправляли стадами в Шато д'Иф, в депортацию, родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтоб им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил Июньские дни в римской латиклаве на сцену\*. Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен — Катилина и Марк Туллий — Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью. Восстание побеждено, Ламартин прошел по сцене с своим «*Vixerunt*»<sup>1</sup>, — декорации меняются. Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти лежат между мертвыми, умершие покрыты окровавленными рубищами... У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых жил?... Я бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан...

В такие судорожные дни, когда человек из кабака и театра, из своего дома и из кабинета чтения выходит в лихорадке, с воспаленным мозгом, задавленный внутри, глубоко оскорбленный и готовый оскорбить первого встречного, — в эти времена

---

<sup>1</sup> «Отжили» (лат.). — *Ред.*

каждое слово симпатии, каждая слеза того же горя, каждая брань той же ненависти имеют страшную силу.

Одинакими ранами быстро сродняются больные места.

---

... В первые времена моей юности\* меня поразили один французский роман, которого я впоследствии не встречал, — роман этот назывался «Arminius». Может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал и долго бродил в голове моей. Я помню главные черты его до сих пор.

Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного — старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого — дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, т. е. знаем *официальную*, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города — разрушенными семьями, поля сражений — забытыми могилами. Автор «Арминия» (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб.

Всемирная история, распускаясь в сказании, становится ближе к нам, соизмеримее, живее. Я был так увлечен «Арминием», что сам принялся писать около 1833 ряд исторических сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полицеймейстер Цынский\*. Но, конечно, писавши их, мне не приходило в мысль, что и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колес истории.

Что там ни толкуют, а есть сходные стороны в наших отношениях к европейцам. Наша цивилизация накожна, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных, уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги — но мы

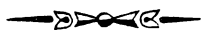
далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растрепанья. У нас умственное развитие <sup>1</sup> служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не переходило.

На Западе это не так. И вот почему мы легко отдаемся человеку, касающемуся наших святынь, *понимающему* наши заветные мысли, смело говорящему то, о чем мы привыкли молчать или говорить шепотом на ухо другу. Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недсягаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которыми падает всякое отношение, всякое чувство,— ему нужна роля, позы на сцене, ему нужно во что бы ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям. Наш брат, степняк, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им, долго не приходит в себя, а потом бросается, как раненый медведь, и ломает кругом деревья, и ревет и взмывает землю,— но поздно, — и его противник его же указывает пальцем... Много еще разовьется ненависти и прольется крови из-за этих двух разных возрастов и воспитаний.

... Было время, я строго и страстно судил человека, разбившего мою жизнь, было время, когда я искренно желал *убить* этого человека... С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим, непрерывным разбором. В эти *семь лет* я узнал и свой собственный предел, и предел многих — и вместо ножа — у меня в руках скальпель и вместо брани и проклятий — принимаюсь за рассказ из психической патологии.

---

<sup>1</sup> Писано в 1857 году.



## II

За несколько дней до 23 июня 1848 \*, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.

— Да это вы? — сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки. — Можно ли это?.. Узнать вас нельзя...

Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды.

Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дормезе из Парижа в баденский поход \*, на провозглашение германской республики. Теперь он возвращался с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими. Разом изменилось все, рухнулось все, и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разорение.

Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Г<ервегу>\*. Он его знал во время его пущей славы. Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными, особенно художники. Я застал Г<ервега> в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым и скоро познакомился больше фамильярно, чем близко. Осенью 1847 я уехал в Италию \*. Возвратившись в Париж, я не застал его, — о его несчастиях я читал в газетах. Почти накануне Июньских дней приехал он в Париж и, встретив у меня первый дружеский прием после баденской ошибки, стал чаще и чаще ходить к нам.

Многое мешало мне сначала сблизиться с этим человеком. В нем не было той простой, откровенной натуры, того полного

abandon<sup>1</sup>, который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был скрытен, лукав, боялся других, он любил наслаждаться украдкой, у него была какая-то не мужская изнеженность, жалкая зависимость от мелочей, от удобств жизни и эгоизм без всяких границ, rücksichtslos<sup>2</sup>, доходивший до наивности цинизма. Во всем этом я вполовину винил не его самого.

Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддерживала его слабости, охорашивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был беден, — она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью пизшего порядка. Поверженная в прахе, в каком-то вечном поклонении, Huldigung<sup>3</sup> перед поэтом, «шедшим на замену Гёте и Гейне», она в то же время задушила его талант в пуховиках мещанского сибаритизма.

Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа *на содержании*, и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они неминуемо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходилось сдать свою квартиру «с золотым обрезаем», как мы ее называли, и распродать поодиночке и за полцены своих «Амуров и Купидонов», по счастью, не крепостных, а бронзовых\*.

Я приостановлюсь здесь, чтоб сказать несколько слов об их прежней жизни и о самом браке их, носящем удивительно резкую печать — современного германизма.

У немцев, а еще больше у немок, бездна мозговых страстей, т. е. страстей выдуманных, призрачных, натянутых, литературных, — это какая-то Überspanntheit<sup>4</sup>, книжная восторженность, мнимая, холодная экзальтация, всегда готовая без меры удивляться или умиляться без достаточной причины — не притворство, а ложная правда, психическая невоздержанность, эстетическая истерика, ничего не стоящая, но приносящая

<sup>1</sup> непосредственности (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> ни с чем не считающийся (нем.).—Ред.

<sup>3</sup> почитании (нем.).—Ред.

<sup>4</sup> мания преувеличения (нем.).—Ред.



много слез, радости и печали, много развлечений, ощущений, Wonne!<sup>1</sup> Умная женщина, как Беттина Арним, не могла отделаться во всю свою жизнь от этой немецкой болезни. Жанры могут изменяться, содержание — быть иным, но, так сказать, психическое обрабатывание материала — одно и то же. Все сводится на разные вариации, разные нюансы сладострастного пантеизма, т. е. религиозно-полового и теоретически влюбленного отношения к природе и людям, что вовсе не исключает романтического целомудрия и теоретического сладострастия ни у светских жриц Космоса, ни у монашествующих невест Христа, богоблудствующих в молитве. Те и другие порываются быть нареченными сестрами грешниц в самом деле. Делают они это из любопытства и сочувствия к *падениям*, на которые сами никогда не решатся, и всякий раз отпускают им грехи, даже тогда, когда те не просят об этом. Самые восторженные из них проходят весь курс страстей без приложения и искушаются всеми грехами как-то заочно, per contumaciam, по книжкам других и собственным тетрадкам.

Одна из самых общих черт всех восторженных немок — это идолопоклонство гениям и великим людям; религия эта идет из Веймара со времен Виланда, Шиллера и Гёте. Но так как гении редки и Гейне жил в Париже, а Гумбольдт был слишком стар и слишком реалист, они бросились с каким-то голодным отчаянием на хороших музыкантов, на недурных живописцев. Образ Ф. Листа, как электрическая искра, прошел через сердца всех немок, выжигая в них высокий лоб и длинные, назад отчесанные волосы.

За неимением, наконец, общегерманских великих людей, они брали, так сказать, удельных гениев, чем бы то ни было отличившихся; все женщины влюблялись в него, все девушки schwärmten für ihn<sup>2</sup>, все шили ему на канве подтяжки и туфли и посылали разные сувениры — секретно, без имени.

В сороковых годах умы в Германии были сильно возбуждены. Можно было ожидать, что народ этот, поседевший за книгой, как Фауст, захочет, наконец, как он, выйти на площадь посмот-

---

<sup>1</sup> наслаждения (нем.).—*Ред.*

<sup>2</sup> мечтали о нем (нем.).—*Ред.*

реть на белый свет. Мы знаем теперь, что это были *ложные потуги*, что новый Фауст из Ауэрбахова погребка возвратился вспять в штудирциммер<sup>1</sup>. Тогда казалось иначе, особенно немцам, а потому всякое проявление революционного духа находило горячее признание. В самый разгар этого времени показались политические песни Г<ервега>\*. Большого таланта в них никогда не видал, сравнивать Г<ервега> с Гейне могла только его жена. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а Беранжеровы песни и «Марсельеза», переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Г<ервега> окончивались иной раз *in crudo*<sup>2</sup> французским криком: «Vive la République!»\*, и это приводило в восторг в 42 году — в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно.

Г<ервег>, поэт-лавреат демократии, проехал с банкета на банкет всю Германию и, наконец, явился в Берлин. Всё бросилось приглашать его, для него давали обеды и вечера, все хотело его видеть, даже у самого короля явилось такое желание поговорить с ним, что его доктор Шенлейн счел нужным представить Г<ервега> королю.

В нескольких шагах от дворца в Берлине жил банкир\*. Дочь этого банкира была уже давно влюблена в Г<ервега>. Она его никогда не видала и не имела об нем никакого понятия, но она, читая его стихи, почувствовала в себе *призвание* сделать его счастливым и в его лавровый венок вплести розу семейного блаженства. Когда же она увидела его в первый раз, на вечере, который давал ее отец, она окончательно убедилась, что *это он*, и он в самом деле сделался ее *он*.

Предприимчивая и решительная девушка повела стремительно свою атаку. Сначала двадцатичетырехлетний поэт отпрянул назад от мысли о браке, и притом о браке с особой очень некрасивой, с несколько юнкерскими манерами и громким голосом: будущность открывала перед ним обе половины парадных дверей, — какой же тут семейный покой, какая жена!.. Но дочь банкира открывала, с своей стороны, в *настоящем* мешки червонцев, путешествие по Италии, Париж, страсбург-

<sup>1</sup> кабинет (нем. Studierzimmer).—*Ред.*

<sup>2</sup> в «сыром виде» (лат.).—*Ред.*

ские пироги и Clos de Vougeot\*... Поэт был беден, как Ир. Жить у Фолена нельзя было вечно, — поколебался он, поколебался и... принял предложение, забыв старику Фолену (деду Фогта) сказать спасибо\*.

Эмма сама мне рассказывала, как подробно и отчетливо поэт вел переговоры о приданом. Он даже прислал из Цюриха рисунки мебели, гардин и т. п. и требовал, чтоб все это было выслано *прежде* свадьбы, — так он требовал. О любви нечего было и думать; ее надобно было чем-нибудь заменить. Эмма поняла это и решилась упрочить свою власть иными средствами. Проведя несколько времени в Цюрихе, она повезла мужа в Италию и потом поселилась с ним в Париже. Там она отделала своему «шацу»<sup>1</sup> кабинет с мягкими диванами, тяжелыми бархатными занавесками, дорогими коврами, бронзовыми статуэтками и устроила целую жизнь пустой праздности; ему это было ново и нравилось, а между тем талант его туск, производительность исчезала; она сердилась за это, подстрекала его и в то же время утягивала его все больше и больше в буржуазный эпикуреизм<sup>2</sup>.

Она была по-своему не глупа и имела гораздо больше силы и энергии, чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала — но не то, что нужно, училась всякой всячине — не доходя ни в чем до зенита. Отсутствие женственной грации неприятно поражало в ней. От резкого голоса до угловатых движений и угловатых черт лица, от холодных глаз до охотного низведения разговора на двусмысленные предметы — у ней все было мужское. Она открыто при всех волочилась за своим мужем, так, как пожилые мужчины волочатся за молоденькими девочками; она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом, поправляла ему шейный платок, волосы и как-то возмутительно нескромно хвалила его. При посторонних он конфу-

---

<sup>1</sup> сокровищу (нем. Schatz). — *Ред.*

<sup>2</sup> Вот до чего шла ее предусмотрительность. Раз в Италии Герверг был недоволен одеколоном. Сейчас жена пишет к Jean Marie Farina, чтоб прислать ящик чистейшей одеколонии в Рим. Между тем они из Рима уехали, оставляя приказ переслать письма и посылки в Неаполь, — так точно они уехали из Неаполя. Несколько месяцев спустя ящик с одеколоном явился к ним в Париж с невероятным счетом своих путевых издержек.

зился, но в своем круге не обращал на это никакого внимания, так, как занятый делом хозяин не замечает усердия, с которым собака лижет ему сапоги и ласкается к нему. У них бывали и сцены иногда из-за этого, после ухода гостей; но на другой день влюбленная Эмма снова начищала ту же травлю любовью, и он снова выносил ее из-за удобств жизни и из-за ее обо всем пекущейся опеки.

До чего она избаловала своего миньона<sup>1</sup>, всего лучше покажет следующий анекдот.

Раз после обеда заходит к ним Ив. Тургенев. Он застаёт Г<ервега> лежащего на диване. Эмма терла ему ногу и остановилась.

— Что ж ты перестала — продолжай, — сказал устало поэт.

— Вы больны? — спросил Тургенев.

— Нет, нисколько, но это очень приятно... Ну, что нового?

Они продолжали разговаривать — Эмма потирать ноги.

Уверенная в том, что все удивляются мужу, она беспрестанно болтала о нем, не замечая ни того, что это очень было скучно, ни того, что она ему вредила анекдотами об его слабонервности и капризной требовательности. Для нее все это казалось бесконечно милым и достойным запечатлеться на веки веков в людской памяти — других это возмущало.

— Георг у меня страшный эгоист и баловень (*zu verwöhnt*), — говаривала она, — но кто ж и имеет больше прав на баловство? Все великие поэты были вечно капризными детьми, и их всех баловали... На днях он купил мне превосходную камелию; дома ему так стало жаль ее отдать, что он даже не показал мне ее и спрятал в свой шкаф и держал там, пока она совсем завяла, — *so kindisch!*<sup>2</sup>

Это слово в слово ее разговор.

Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны, он и упал в нее и если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором.

Шум февральской революции разбудил Германию. Говор, ропот, биение сердца слышались с разных концов единого и раз-

---

<sup>1</sup> любимчика (франц. *mignon*). — *Ред.*

<sup>2</sup> так по-детски (нем.). — *Ред.*

деленного на тридцать девять частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб и обдумывали, что сделать. Временное правительство ободряло их — не на восстание, а на удаление из Франции: им что-то и от французских работников не спалось. После напутственного благословения Флокона и крепкого словца о тиранах и деспотах Косидьера, — конечно, могло случиться — этих бедняков и расстреляют, и повесят, их бросят лет на двадцать в казематы, — это было не их дело.

Баденская экспедиция была решена — но кому же быть освободителем, кому вести эту новую *armée du Rhin*<sup>1</sup>\*, состоящую из несколько сот мирных работников и подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому поэту: лиру за спину и меч в руки, на «боевом коне», о котором он мечтал в своих стихах...\* Он будет петь после битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей и им продиктует волю *своей* Германии; в Берлине, *Unter den Linden*\*, поставят его статую, и ее будет видно из дому старого банкира; века будут воспевать его и — в этих песнопениях... быть может, не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажом, денщиком провожала его, берегла его *in der Schwertfahrt*!..<sup>2</sup> И она заказала себе у Юмана, *rue neuve des Petits Champs*, военную амазонку из трех национальных цветов: черного, красного и золотого — и купила себе черный бархатный берет с кокардой тех же цветов.

Через приятелей Эмма указала работникам на поэта; не имея никого в виду и вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание.

На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом? Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв

<sup>1</sup> рейнскую армию (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> в походе (нем.).—*Ред.*

поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость и самообладание,—тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся перед всякой опасностью. Зачем же она вела его на страшный искуc, в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны, лавровый венок веял могилой, а с другой — бегство и позорный столб?

У нее был совсем иной расчет,— его она, не думая, сама рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя, революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены — ясно говорили, что и эти троны покачнулись; трудно себе было представить, чтоб баденский герцог или виртембергский король \* могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростертыми объятиями: *поэт* провозгласил бы республику, республика провозгласила бы *поэта* диктатором — разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться военной и гражданской славой...

На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по врожденному холопству, любит их и слепо слушается своих штаб-и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьезного плана, ничего не приготовив. Тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли сделать,— они тоже были побиты, но не побежали с поля сражения \*, и, по счастью... возле них не было влюбленной немки.

При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться,— и окончательно погубила его. Она стала передним, *под выстрелами*, и звала товарищей на спасенье поэта. Солдаты одолевали... Эмма, прикрывая

бегство своего мужа, подвергалась быть раненой, убитой или схваченной в плен, т. е. посаженной лет на двадцать в Шпандау или Раштадт \*, да еще предварительно высеченной.

Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения \*. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат; наконец позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой, подвергая свой дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу.

— Как же имя вашего спасителя? — спросили его мы.

— Я забыл его спросить, — отвечал покойно Г<ервег>.

Раздраженные товарищи его бросились теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была «с золотым обрезом», и аристократическую изнеженность, и пр. Его жена до такой степени не понимала *portée*<sup>1</sup> того, что делала, что месяца через четыре напечатала в защиту мужу брошюру \*, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был отбросить на него.

Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверен и в том, что они беспорядочно бросались, и долею на ненужные прихоти *воинственной четы*. П. А<нненков> был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями индейки, пастеты у Шеве и укладывались вины и пр. в путевую карету *генерала*. Деньги были даны Флоконом, по распоряжению Временного правительства, в самой сумме их престранные варьяции: французы говорили о 30 000 фран<ков> — Гер<вег> уверял, что он не получал и половины, но что правительство заплатило за проезд по железной дороге. К этому обвинению возвратившиеся инсургенты прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались оборванные, голодные и без гроша денег, после поражения, они обратились к Гер-

---

<sup>1</sup> значенья (франц.).—Ред.

«вегу» за помощью — и получили отказ, Эмма даже не допустила их до него — в то время как он жил в богатом отеле... «и носил *желтые* сафьянные туфли». Почему они именно это считали признаком роскоши — не знаю. Но о желтых туфлях я слышал десять раз.

Все это случилось, как во сне. В начале марта освободители *in spe* еще пировали в Париже; в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Г«ервег», образовавшись в Париже, увидел, что прежняя садовая дорожка к славе засыпана... действительность сурово напомнила ему о его границе; он понял, что его положение поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора было неловко... Ему приходилось переродиться или идти ко дну. Мне казалось (и вот где худшая ошибка моя), что мелкая сторона его характера перерабатывается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом — больше, чем кто-нибудь.

И мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии писал): «...Я знаю жалкую слабость моего характера, — твой характер яснее моего и сильнее, — поддержи меня, будь мне *старшим братом, отцом*... У меня нет близких людей — я на тебе сосредоточиваю все симпатии; любовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр инисходителен, не отнимай руки твоей... да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя... В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя: в безграничной любви к близким моему сердцу»\*.

Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало. Ведь и в баденское восстание он шел не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, — но, видя опасность, бежал.

Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилий, ни жертвы — все может идти превосходно — целые годы, целая жизнь — но не попадайся ничего на дороге — иначе быть беде — преступлению или стыду.

Зачем я не знал этого тогда!

---

К концу 1848 года Г«ервег» стал у нас бывать почти всякий вечер — дома ему было скучно. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она воротилась из баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся



у нее не было; она была попрежнему влюблена, довольна, болтлива — как будто они возвратились после победы — по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно — недостаток денег и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта — но разорила вконец старика банкира, ее отца.

Она постоянно старалась рассеять мрачные мысли мужа, ей и в голову не приходило, что он только этими грустными мыслями и может спастись.

Внешней, подвижной Эмме не было потребности на эту внутреннюю, глубокую и, повидимому, приносящую одну боль работу. Она принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим *entweder—oder* всякий гордиев узел — с правой или с левой стороны, все равно, — лишь бы как-нибудь отделаться и снова торопиться — куда? этого-то они и сами не знают. Она врывалась середь речи или с анекдотом или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная, что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того, чтоб из кокетства скрывать свою деловую смышленность, она кокетничала ею. При этом надобно сказать, что она серьезного практического смысла нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и материях — очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании; она постоянно жила *sur le qui vive*<sup>1</sup>, смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные потребности жизни и даже здоровья и воспитания детей его капризам.

Г<ервег>, естественно, рвался из дома и искал у нас гармоничного покоя. Он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся, детям столько же, сколько нам. Он мечтал о том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль — и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии.

И при всем этом, кроме одинакового или очень близкого понимания общих дел, в нас мало было сходного.

---

<sup>1</sup> настороже (франц.). — *Ред.*

Г<ервер> как-то сводил все на свете на себя, он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своем превосходстве. Все это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью что прикажут.

И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в *dépit*<sup>1</sup> и объяснения, этой вечной жажды вниманья, холенья никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, *laisser-aller*<sup>2</sup> — происходило тоже от самолюбия, может быть, я им накликнул беды на свою голову, но оно так. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе. С крепкими мышцами и нервами я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку — но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.

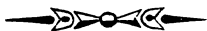
При такой противоположности нельзя себе представить, чтоб между мной и Гер<вергом> не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими; во-вторых, он меня совершенно обезоруживал грустным сознанием, что он виноват. Он не оправдывался, но во имя дружбы просил снисхождения к слабой натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме. — она ревниво подтрунивала над этим.

Наступил 1849 год.

---

<sup>1</sup> досаду (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> непринужденность (франц.).—*Ред.*



---

### III КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА

Мало-помалу в 1849 я стал замечать в Г<ервеге> разные перемены. Его неровный нрав сделался еще больше неровным. На него находили припадки невыносимой грусти и бессилия. Отец его жены окончательно потерял состояние; спасенные остатки были нужны другим членам семейства — бедность грубее стучалась в двери поэта... он не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества. Эмма выбивалась из сил — занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи... и все это для того, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых — но не шила детям белья — для того чтоб он обедал у «Провансальских братьев»\* и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги, не зная, откуда они, и не желая знать. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему — он упорно не понимал, а она сердилась, и все шло по-старому.

Хоть он и боялся бедности до смешного, тем не меньше причина его тоски была не тут.

В его плаче о себе постоянно возвращалась одна нота, которая наконец стала мне надоедать; я с досадой слушал вечное повторение жалоб Г<ервега> на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть; что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и «даже от ее громкого голоса». Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне... В этом

лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня — за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер... Мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется... Разбилось все.

Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него — и плач, плач — все это сильно действовало на женщину, едва вышедшую из трудно приобретенной гармонии и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили.

— У тебя есть отшибленный уголок, — говорила мне Natalie, — и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Г<ервега>. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он большой ребенок — а ты совершеннолетний, его можно бездельем разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить... зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие...

Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с нею... и я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мной не говорит...

Можно беречь тайну, не веряя ее никому, но только *никому*. Если он говорил о своей любви, он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости, и тайну, так близко касающуюся до него — стало, он не говорил. Я забыл на это время старый роман под заглавием «Арминий»!

... В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж, хлопотать о деньгах моей матери, остановленных русским правительством\*. С Г<ервегом> мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне.

Я его застал читающего по корректурным листкам отрывки из «*Vom andern Ufer*» Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день — он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы.

Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечески.

Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы... Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека... Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходявшего из головы: «Несчастье, несчастье!.. Что-то выйдет из этого?»

Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался у Эммы, но, в сущности, был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо, мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем сочувствии к Г<ервегу>, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое\* было печально, но спокойно; я ее просил тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и со мной; я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнью, чтобы что-нибудь не договаривать.

«От тебя письмо от 9,— писала Natalie (это письмо осталось, почти все остальные сожжены во время *coup d'Etat*),— и я тоже сижу и думаю только: „Зачем это?“ И плачу, и плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить — но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней — так и нигде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира — куда же? — надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна, из нее и опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый, я не знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности,— в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу, а потом опять все становилось светло».

«Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся незанятым, заброшенным, — пишет Natalie в другом письме, — искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Г<ервегу>».

Мне было этого мало, и я писал ей: «Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота — он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне — не струна грусти, а другая... Теперь всё еще в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, *Г<ервег> взойдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я. Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим*, что и как... Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; *здесь* мне будет еще тяжелее — и я не вынесу».

На это письмо она отвечала криком ужаса, мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась. «Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с тобой — как будто это возможно. Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас — я буду укладываться и через несколько дней я с детьми в Париже!»

В день выезда из Цюриха она еще писала: «Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнью сведены, — я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! — я благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеются, как тучи».

Встреча наша в Париже\* была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознания, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить не легко.

В длинных разговорах того времени одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Г<ервегу> Natalie словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту.

Ничего не зная о моей переписке с Natalie, Г<ервег> понял что-то недоброе в моих письмах. Я действительно, помимо

другого, был очень недоволен им. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги, — он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег. Письма его ко мне, сохранившиеся у меня\*, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без прежнего, полного, безоблачного сочувствия, он прокликает недоразумения и вмешательство «безумной женщины» (т. е. Эммы). Он жаждет начать новую жизнь, — жизнь вдали, жизнь с нами, — и снова называет меня отцом, братом, близнецом.

На все это я писал ему на разные лады: «Подумай, можешь ли ты начать новую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя... порчу, растленную цивилизацию», — и раза два напомнил Алеко, которому старый цыган говорит: «Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы!»\*

Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным, обличительным документом... чего? Обмана, коварства, лжи?.. Нет; да это было бы и не ново, — а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением — как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?

С той минуты, с которой он угадал мое сомнение и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе — и в то же время своим отчаянием еще сильнее действовал на женщину, которой сердце было потрясено, — с той минуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь молчанием и умолял ее (как я после узнал) не отнимать у него моей дружбы неосторожным словом, — с той минуты начинается преступление.

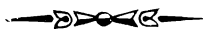
Преступление!.. Да... и все последующие бедствия идут как простые неминуемые последствия его,— идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они — не *наказание*, а *последствие*... идут за поколение — по страшной несокрушимости совершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими, раскаяние искупает его, но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них религия выдумала рай и его сени — монастырь.

...Меня выслали из Парижа\*, и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце,— тогда это была Италия,— и Эмма ехала туда же. Через некоторое время, т. е. к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Г<ервег>.

Зачем же я-то с N<atalie> именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что, куда бы я ни поехал, Г<ервег> мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?

Недели через две-три после своего приезда Г<ервег> принял вид Вертера в последней степени отчаяния, и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце\*, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась с заплаканными глазами,— он с нею обращался возмущительно. Она приходила часы целые плакать в комнату N<atalie>, и обе были уверены, что он не нынче—завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид N<atalie> и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри.

Еще не было сказано ни слова, но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять являющиеся две сверкающие точки на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро несло к развязке. Ее задержало рождение Ольги\*.





---

## IV ЕЩЕ ГОД

(1851)

Перед Новым годом Natalie принёсла мне показать акварель, который она заказывала живописцу Guyot\*. Картина представляла нашу террасу, часть дома и двор, на дворе играли дети, лежала Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie. Я думал, что акварель назначена мне, но N<atalie> сказала, что она ее хочет подарить в Новый год Г<ервегу>.

Мне было досадно.

— Нравится тебе? — спросила N<atalie>.

— Акварель мне так нравится, — сказал я, — что, если Г<ервег> позволит, я велю сделать для себя копию...

По моей бледности и по голосу Natalie поняла, что эти слова были и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня, слезы были у нее на глазах.

— Возьми ее себе! — сказала она.

— Ни под каким видом, что за шалости.

Больше мы не говорили.

Новый, 1851, год мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном состоянии, сел возле Фогта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал остротами и колкостями; Фогт катался со смеху, Г<ервег> печально смотрел исподлобья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой бокал и сказал, что он одного желает: *чтоб наступающий год был не хуже прошедшего*, что он желает этого всем сердцем, но не надеется, напротив, чувствует, что *все, все* распадается и гибнет.

Я промолчал.

На другое утро я взял свою старую повесть «Кто виноват?» и перечитал журнал Любеньки и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы — так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?.. Но внутренний голос говорил мне: «Какой ты Круциферский — да и он что за Бельтов — где в нем благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение?» И середь уверенности в минутном увлечении Natalie я был еще больше уверен, что мы померимся с ним, что он меня не вытеснит из ее сердца.

...Случилось то, чего я ожидал: Natalie сама вызвала объяснение. После истории с акварелью и праздника у моей матери откладывать его было невозможно.

Разговор был тяжел. *Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад.* Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда, хотела сама ехать на год в Россию и боялась ехать. Я видел колебанье и видел, что он своим эгоизмом сгубит ее — а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть за молчание.

— Еще раз,— повторял я,— я отдаю судьбу свою в твои руки. Еще раз умоляю все взвесить, все оценить... Я еще готов принять всякое решение, готов ждать день, неделю, но только *чтоб решение было окончательное.* Я чувствую,— говорил я,— что стою на пределе моих сил: я еще могу хорошо поступить, но чувствую также, что надолго меня не станет.

— Ты не уедешь, ты не уедешь!— говорила она, заливаясь,— этого я не переживу.— На ее языке такие слова были не шуткой.— Он должен ехать.

— Natalie, не торопись, не торопись брать последнего решения, потому что оно последнее... думай сколько хочешь, но скажи мне окончательный ответ. Эти приливы и отливы сверх моих сил... я от них глупею, становлюсь мелок, схожу с ума... требуй от меня все, что хочешь, но только сразу...

Тут заехала моя мать с Колей, звать нас в Ментоне. Когда мы вышли садиться, оказалось, что одного места не доставало. Я указал рукою место Г<ервегу>. Г<ервег>, вовсе не отличавшийся такой деликатностью, не хотел садиться. Я посмотрел на него, затворил дверцы коляски и сказал кучеру: «Ступайте!»

Мы остались вдвоем перед домом — на берегу моря. У меня на душе была плита, он молчал, был бледен, как полотно, и избегал моего взгляда. Зачем я не начал прямо разговора или не столкнул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня. Он сказал мне что-то о страданиях поэта и что жизнь так скверно устроена, что поэт вносит всюду несчастье. Сам страдает и заставляет страдать все ему близкое... Я спросил его, читал ли он «Ораса» Ж. Санд \*. Он не помнил, я советовал ему перечитать.

Он пошел за книгой к Висконти. *Больше мы с ним не виделись!*

Когда часу в седьмом все собрались к обеду, его не было. Взошла его жена с глазами, опухнувшими от слез. Она объявила, что муж болен, — все переглянулись; я чувствовал, что был в состоянии воткнуть в нее нож, который был в руках.

Он заперся в своих комнатах наверху. Этим *étalage*<sup>1</sup> он покончил себя, с ним я был свободен. Наконец, посторонние ушли, дети улеглись спать, — *мы остались вдвоем*. Natalie сидела у окна и плакала, я ходил по комнате, кровь стучала в виски, я не мог дышать.

— Он едет! — сказала она, наконец.

— Кажется, это совсем не нужно — ехать надобно мне.

— Бога ради...

— Я уеду...

— Александр, Александр, как бы ты не раскаялся. Послушай меня — спаси всех. Ты один можешь это сделать. Он убит, он совершенно пал духом, — ты знаешь сам, что ты был для него; его безумная любовь, его безумная дружба и сознание, что он нанес тебе огорчение... и хуже... Он хочет ехать, исчезнуть... но для этого ничего не надобно усложнять, иначе он на один шаг от самоубийства.

— Ты веришь?

— Я уверена.

— И он сам это говорил?

— Сам и Эмма. Он вычистил пистолет.

Я расхохотался и спросил:

— Не баденский ли? Его надобно почистить: он, верно, ва-

---

<sup>1</sup> Здесь: кокетничанием (франц.).—Ред.

лялся в грязи. Впрочем, скажи Эмме, — я отвечаю за его жизнь, я ее страхую в какую угодно сумму.

— Смотри, как бы тебе не пожалеть, что смеешься, — сказала N<sup>atalie</sup>, мрачно качая головой.

— Хочешь, я пойду его уговаривать.

— Что еще выйдет из всего этого?

— Следствия, — сказал я, — трудно предвидеть и еще труднее отстранить.

— Боже мой! Боже мой! Дети — бедные дети — что с ними будет?

— Об них, — сказал я, — надобно было прежде думать!

И это, конечно, самые жестокие слова из всех сказанных мною. Я был слишком раздражен, чтобы человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове и был, может, способен не только к жестоким словам, но к кровавым действиям.

Она была уничтожена — наступило молчание.

Прошло с полчаса<sup>1</sup>; я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов — она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли утратить — жизнь свою я уже не ставил ни в грош, — это одно из первых условий для дел страшных и безумных. Я ни слова не говорил — я стоял перед большим столом в гостиной сложа руки на груди — лицо мое было, вероятно, совсем искажено.

Молчание продолжалось — вдруг я взглянул и испугался: лицо ее покрывала смертная бледность, — бледность с синим отливом, губы были белые, рот судорожно полураскрыт, не говоря ни слова, она смотрела на меня мутным, помешанным взглядом. Этот вид бесконечного страдания, немой боли вдруг осадил бродившие страсти; мне ее стало жаль, слезы текли по щекам моим, я готов был броситься к ее ногам — просить прощенья. Я сел возле нее на диван, взял ее руку, положил голову на плечо и стал ее утешать тихим, кротким голосом.

Меня угрызала совесть — я чувствовал себя инквизитором, палачом... То ли надобно было — это ли помощь друга — это

---

<sup>1</sup> Частью из письма Гаугу, писанного в марте 1852\*.

ли участие; и так, со всем развитием, со всей гуманностью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду.

Несколько минут прошли прежде, чем она сказала что-нибудь, могла что-нибудь сказать, и потом вдруг, рыдая, бросилась мне на шею; я ее опустил на диван, совершенно изнуренную; она только могла сказать: «Не бойся, друг мой, это хорошие слезы, слезы умиления — нет, нет, я никогда не расстаюсь с тобой!»

От волнения, от спазматического рыдания она закрыла глаза — она была в обмороке. Я лил ей на голову одеколонь, мочил виски, — она успокоилась, открыла глаза, пожала мою руку и впала в какое-то забытие, продолжавшееся больше часу; я простоял возле на коленях. Когда она раскрыла глаза, она встретилась с моим печальным и покойным взглядом, — слезы еще катились по щекам, она улыбнулась мне...

Это был кризис. С этой минуты тяжелые чары ослабли — я действовал меньше.

— Александр, — говорила она, несколько оправившись, — доверши свое дело; поклянись мне, — мне это нужно, я без этого жить не могу, — поклянись, что все кончится без крови, подумай о детях — о том, что будет с ними без тебя и без меня...

— Даю тебе слово, что я сделаю все, что возможно, отстраню всякую коллизию, пожертвую многим, но для этого мне необходимо одно — чтоб он завтра уехал, ну хоть в Геную.

— Это как ты хочешь. А мы начнем новую жизнь, и пусть все прошедшее будет прошедшее.

Я крепко обнял ее.

---

На другой день утром явилась ко мне Эмма. Она была растрепана, с заплаканными глазами, очень безобразна, в блузе, подпоясанной шнурком. Она трагически медленно подошла ко мне. В другое время я бы расхохотался над этой немецкой декламацией. Теперь было не до смеха. Я принял ее стоя и вовсе не скрывая, что мне ее посещение неприятно.

— Что вам надобно? — спросил я.

— Я пришла от *него* к вам.

— Ваш муж,— сказал я,— мог бы сам прийти, если ему нужно, или он уже застрелился?

Она скрестила руки на груди.

— И это *вы* говорите, вы его друг———я вас не узнаю. Неужели вы не понимаете трагедию, совершающуюся перед вашими глазами?.. Его нежная организация не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами. Да, да, с вами!.. Он плачет о горе, которое он нанес вам,— он велел вам сказать, что жизнь его в ваших руках, он просит, чтоб вы убили его.

— Что это за комедия,— сказал я, перерывая ее речь,— ну кто же приглашает людей таким образом, да еще через свою жену, на убийство? Это продолжение пошлых мелодраматических выходов, отвратительных для меня,— я не немец...

— Herr H(erzen)...

— Madame H(erwegh), зачем вы беретесь за такие трудные комиссии? Вы могли ожидать, что вы не услышите от меня ничего приятного.

— Это роковое несчастье,— сказала она, помолчав,— оно равно поразило вас и меня... но посмотрите, какая разница в вашем раздражении и в моей преданности.

— Сударыня,— сказал я,— наши роли были не одинакие. Прошу не сравнивать их, а то как бы вам не пришлось покраснеть.

— Никогда! — сказала она запальчиво.— Вы не знаете, что говорите,— и потом прибавила: — Я увезу его, в этом положении он не может остаться, ваша воля исполнится. Но вы больше не тот в моих глазах, которого я так много уважала и которого считала лучшим другом Георга. Нет, если б вы были тот человек, вы расстались бы с Natalie,— пусть она едет, пусть он едет, — я осталась бы с вами и с детьми здесь.

Я громко захохотал.

Она вспыхнула в лице и голосом, дрожащим от досады и негодования, спросила меня:

— Что это значит?

— Зачем же,— сказал я ей,— вы шутите в серьезных материях? Однако довольно, вот вам мой ultimatum: идите сейчас к Natalie сами, одни, переговорите с ней,— если она хочет ехать — пусть едет, я ничему и никому не буду препятствовать

*кроме того* (извините меня), кроме того, чтоб вы здесь остались, уж я как-нибудь с хозяйством сам справлюсь. Но слушайте: если она не хочет ехать, то это последняя ночь, которую я провожу под одной кровлей с вашим мужем, — *живыми* здесь еще раз ночевать мы не будем!

Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне — таким тоном, как будто хотела сказать — «вот плоды твоих злодеяний!»:

— Natalie не едет; она погубила великое существование, из самолюбия, — я спасу его.

— Итак?

— Итак, мы на днях едем.

— Как на днях? Что вы это... Завтра утром — вы забыли, что ли, альтернативу?

(Повторяя это, я нисколько не изменял этим слову, данному Natalie: я был совершенно уверен, что она его увезет.)

— Я вас не узнаю — как горько я ошиблась в вас, — заметила сумасбродная женщина и снова вышла.

Дипломатическое поручение на этот раз было легко, — она возвратилась минут через двадцать, говоря, что он на все согласен: и на отъезд, и на дуэль, но с тем вместе он велел мне сказать, *что он дал клятву не поднимать пистолета на мою грудь* — а готов принять смерть из моих рук.

— Вы видите, он все у нас шутит... Ведь и короля французского казнил просто палач, а не близкий приятель. Итак, вы завтра отправляетесь?

— Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово.

— За ночь все можно приготовить.

— Надобно паспорт визировать.

Я позвонил, вошел Рокка, я сказал ему, что М-ме Емма просит его сейчас визировать их пасс в Геную.

— Да у нас денег нет на дорогу.

— Много ли вам надобно до Генуи?

— Франков *шестьсот*.

— Позвольте мне вам их вручить.

— Мы здесь должны по лавочкам.

— Примерно?

— Франков 500.

— Не беспокойтесь — и счастливый путь.

Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной страстью.

— За что, — говорила она, — за что это обращение *со мной* — *меня* вы не имеете права ни ненавидеть, ни презирать.

— Стало, *не вас* имею?

— Нет, — сказала она, захлебываясь слезами, — нет, я только хотела сказать, что я вас любила искренно, как сестра, я не хочу вас оставить, не пожав вам руки, я уважаю вас, вы, может, правы — но вы жестокий человек. Если б вы знали, что я вынесла...

— А зачем вы были всю вашу жизнь рабой? — сказал я ей, подавая руку; на ту минуту я не был способен к состраданию. — Вы заслужили вашу судьбу.

Она вышла вон, закрывая лицо.

На другой день утром, в десять часов, в извозничьей карете, на которую нагроулили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт mit Weib und Kind<sup>1</sup> в Геную. Я стоял у открытого окна, — он как-то юркнул в карету, так быстро, что я и не заметил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижения больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить.

Natalie была расстроена — мы поехали вдвоем за город, прогулка была печальна, из живых, свежих ран струилась кровь. Воротившись домой, первое лицо, встретившее нас, был сын Гер<вега>, Горас, мальчик лет девяти, шалун и воришка.

— Откуда ты?

— Из Ментоне.

— Что случилось?

— Вот от татапа записка к вам.

«Lieber<sup>2</sup> Н<erzen>, — писала она, как будто между нами ничего не было, — мы остановились дня на два в Ментоне, комната в гостинице небольшая, — Горас мешает Георгу, — позвольте оставить его у вас на несколько дней»\*.

---

<sup>1</sup> с женой и детьми (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> Дорогой (нем.). — *Ред.*



Это отсутствие такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала К. Фогту, чтоб он приехал *на совещание* — и так чужие люди будут замешаны! Я просил Фогта взять Гораса и сказать, что места нет.

«Однако, — велела она мне сказать через Фогта, — квартира еще за нами целых три месяца, и я могу ею располагать».

Это было совершенно справедливо — только деньги за квартиру *заплатил я*.

Да, в этой трагедии, как у Шекспира, рядом с звуками, раздирающими сердце, с стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя искра, тухнет мысль, — площадная брань, грубый смех и рыночное мошенничество.

У Эммы была горничная Жаннета, француженка из Прованса, красивая собой и очень благородная; она оставалась дня на два и должна была с их вещами ехать на пароходе в Геную. На другой день утром Жаннета тихо отворила дверь и спросила меня, может ли она взойти и поговорить со мной наедине. Этого никогда не бывало; я думал, что она хочет попросить денег, и готов был дать.

Краснея до ушей и со слезами на глазах, добрая провансалка подала мне разные счета Эммы, не заплоченные по лавочкам, и прибавила:

— Madame приказывала мне, да я никак не могу этого сделать, не спросившись вас, — она, видите, приказывала, чтоб я забрала в лавках разных разностей и приписала бы их в эти счета — я не могла этого сделать, не сказавши вам.

— Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить?

— Вот записка.

На записке было написано *несколько кусков полотна, несколько дюжин носовых платков и целый запас детского белья*.

Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время, а тут какое обилие сил — вздумать об экономическом приобретении полотна и о детских чулках, когда рушится семейство и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы\*. Немцы — славный народ!





## V

Мы опять были одни, но это было не прежнее время,— все носило следы бури. Вера и сомнение, усталость и раздражение, чувство досады и негодования мучили. А пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни, не было больше той святой беспечности, с которой жилось так легко, не оставалось ничего заветного. Если все то было, что было,— нет ничего невозможного. Воспоминания пугали в будущем. Сколько раз мы сходили вечером обедать одни и, никто не притрогиваясь ни к чему и не произнося слова, вставали, отирая слезы, из-за стола и видя, как добрый Рокка с сердитым видом качал головой, унося блюда. Праздные дни — ночи без сна — тоска, тоска. Я пил что попало — скидам, коньяк, старый белет, пил ночью один и днем с Энгельсоном,— и это в ницком климате. Русская слабость пить с горя — совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы, и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натошак.

Г<ервег> прислал мне письмо — я его, не читая, бросил. Он стал писать к N<atalie> письмо за письмом. Он писал раз ко мне — я отослал назад письмо. Печально смотрел я на это. Это время должно было быть временем глубокого искуса покоя и свободы от внешних влияний. Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством, но и страшнейшими преступлениями? Так, например, он писал, что на него находят такие минуты иступления, что *он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно и явиться к нам в их крови*. В другом письме — что он придет зарезаться при

мне и сказать: «Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил. Рядом с этим он умолял Natalie *помирить* его со мною, *принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше*».

Десять раз писал он о заряженном пистолете, и Natalie все еще верила. Он требовал только ее благословения на смерть; я уговорил ее написать ему, что она, наконец, согласна, что она убедилась, что выхода нет, кроме смерти. Он отвечал, что ее строки пришли *слишком поздно, что он теперь не в том расположении* и не чувствует достаточно сил, чтобы исполнить, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Natalie.

Вслед за тем приехал из Генуи Орсини — он рассказывал, смеясь, о попытке самоубийства мужа и жены. Узнав, что Г<ерве>ги в Генуе, Орсини пошел к ним и встретил Г<ервега> гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, что *они решились уморить себя голодом*, что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить его судьбу, — она просила его не оставить Гораса и Адду.

Орсини обомлел от удивления.

— Мы не ели тридцать часов, — продолжала Эмма, — уговорите его съесть что-нибудь, спасите человечеству великого поэта! — и она рыдала.

Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Г<ервег> стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила и велела подать миску супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами, — но обличительная миска стояла тут.

— Георг, — сказала Эмма, — я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что и сама решилась спросить супу.

— Я взял от тошноты кусочек салами, — впрочем, это вздор: голодная смерть самая мучительная, — я отравлюсь! — и он принялся есть суп.

Жена подняла глаза к небу и взглянула на Орсини, как бы говоря: «Вы видите — его спасти нельзя».

Орсини умер, но есть несколько свидетелей его рассказа в живых, например, К. Фогт, Мордини, Charles Edmond.

Не легко было Natalie от этих проделок. Она была *унижена в нем*, я был унижен в нем — и она это мучительно чувствовала.

Весной Г<ервег> уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу (новая дерзкая неделикатность). Мне хотелось после всего бывшего отдохнуть. Я придрался к моей швейцарской натурализации и поехал в Париж\* и Швейцарию с Энгельсоном. Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче.

На обратном пути я встретил в Женеве Сазонова\*. Он за бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела.

— Как всегда.

— Ведь я знаю всю историю и спрашиваю тебя из дружеского участия.

Я с испугом и дрожью смотрел на него — он не заметил ничего. Что же это такое? Я считал, что все это тайна, и вдруг человек за стаканом вина говорит со мной — как будто это самое обыкновенное, обыденное дело.

— Что ты слышал и от кого?

— Я слышал всю историю от самого Г<ервега>. И скажу тебе откровенно: я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты *не пускаешь* жену твою ехать или зачем не оставишь ее сам — помилуй, что за слабость — ты начал бы новую, свежую жизнь.

— Да с чего же ты вообразил, что она хочет ехать — неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать?

— Ты принуждаешь, — разумеется не физически, а *морально*. Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо спокойнее, чем ожидал, и не хочу быть с тобой вполнину откровенным. Г<ервег> уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он трус и боится тебя, как огня, а во-вторых — потому, что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься, приехать в Швейцарию.

— Это гнуснейшая клевета! — вскрикнул я.

— *Это его слова*, и в этом я даю тебе честнейшее слово.

Пришедши домой в отель, я бросился, больной и уничтоженный, на постель, не раздеваясь, в положении, близком к помешательству или смерти. Верил я или нет? Не знаю, но не могу сказать, чтоб я *вовсе не верил* словам Сазонова.

«Итак,— повторял я сам себе,— вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь,— обманом и, по дороге, европейской сплетней. Ха, ха, ха!.. Меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату, которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется,— и усердно лечат — для того чтоб добавить, когда оправится, вторую половину». Я был обижен, оскорблен, унижен.

В этом расположении я написал ночью письмо; письмо мое должно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглазном оскорблении, в этом дурном письме\*.

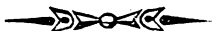
Natalie отвечала строками черной печали.

«Лучше мне умереть,— говорила она,— вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу!»

Г<ервег> солгал.

Следующие письма были кротко печальны: ей было жаль меня, ей хотелось утешать мои раны, а что сама-то она должна была вынести. . .

Зачем нашелся человек, повторивший мне эту клевету, и зачем не было другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной горячки?



---

VI  
OCEANO NOX<sup>1\*</sup>  
(1851)

I<sup>2</sup>

...Ночью, с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского дворца в Турине; площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий, часовой тихо ходил взад и вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побрякивая ружьем... Ночь была горячая, темная, пропитанная *запахом* широкко.

Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно; я опять почувствовал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть друзья и верования, что я полон любовью — как тринадцать лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838, когда я, завернувшись в плащ, ждал Кетчера у фонарного столба, на Поварской.

Я и теперь ждал свиданья, — свиданья с *той же* женщиной, и ждал, может, еще с большей любовью, хотя к ней и прилепливались грустные, черные ноты; но в эту ночь их было мало

---

<sup>1</sup> Ночь на океане (лат.). — *Ред.*

<sup>2</sup> Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части «Былого и думы», которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные. Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 — в «Записках» Орсини \*, принимавшего самое горячее участие в несчастии, поразившем меня, были поводом, что я напечатал второй отрывок в «Полярной звезде» 1859.

слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежавшего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма Natalie, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть несколько дней в Турине. Она была права: нам надобно было еще раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, узнать окончательно, *есть ли* для нас общее счастье — и все это наедине, даже без детей, и притом *в другом* месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не во-время что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово...

Почтовая карета должна была во втором часу прийти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждал у сумрачного Кариньянского дворца: недалеко от него она должна была заворачивать.

Я приехал в этот же день утром из Парижа \*, через Mont-Cenis; в hôtel Feder мне дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мне нравился этот праздничный вид, он был кстати. Я велел приготовить небольшой ужин и пошел бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъезжала к почтовому дому, Natalie узнала меня.

— Ты тут! — сказала она, кланяясь в окно. Я отворил дверцы, и она бросилась ко мне на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благодарности, что у меня в памяти мелькнули, как молния, слова из ее письма: «Я возвращаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий — сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двух-трех слов было за глаза довольно... все было понято и объяснено; я взял ее небольшой дорожный мешок, перебросил его на трости за спину, подал ей руку, и мы весело пошли по пустым улицам в отель. Там все спали, кроме швейцара. На накрытом столе стояли две незажженные свечи, хлеб, фрукты и графин вина; я никого не хотел будить, мы зажгли свечи и, севши за пустой стол, взглянули друг на друга и разом вспомнили владимирское житье.

На ней было белое кисейное платье, или блуза, надетая на

дорогу от палящего жара; и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того времени.

И мы сами были те же, только теперь мы подавали друг другу руку не как заносчивые юноши, самонадеянные и гордые верой в себя, верой друг в друга и в какую-то исключительность нашей судьбы, а как ветераны, закаленные в бою жизни, испытывавшие не только свою силу, но и свою слабость... едва уцелевшие от тяжелых ударов и неисправимых ошибок. Вновь отправляясь в путь, мы, не считаясь, разделили печальную ношу былого. С этой ношей приходилось идти более скромным шагом, но внутри наболевших душ сохранилось все для возмужалого, отстоявшегося счастья. По ужасу и тупой боли еще яснее разглядели мы, как мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, детьми.

В эту встречу все было кончено, оборванные концы срослись, не без рубца, по крепче прежнего, — так срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшие на глазах, соединяли нас еще новой связью — чувством глубокого сострадания друг к другу. Я видел ее борьбу, ее мученье, я видел, как она изнемогала. Она видела меня слабым, несчастным, оскорбленным, оскорбляющим, готовым на жертву и на преступление.

Мы слишком большой платой заплатили друг за друга, чтоб не понимать, чего мы стоим и как дорого мы обошлись друг другу. «В Турине, — писал я в начале 1852, — было наше второе венчание; его смысл, может быть, глубже и знаменательнее первого; он совершился, с полным сознанием всей ответственности, которую мы вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий...» \*

Любовь каким-то чудом пережила удар, который должен был ее разрушить.

Последние темные облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно после разлуки в несколько лет; день давно сквозил яркими полосами в опущенные жалюзи, когда мы встали из-за пустого стола...



Дня через три мы поехали вместе домой, в Ниццу, по Ривье ре. Мелькнула Генуя, мелькнул Ментоне, где мы так часто бывали и в таком розном настроении духа, мелькнуло Монако, врезающееся в море бархатной травой и бархатным песком; все встречало нас весело, как старые друзья после размолвки, а тут виноградники, рощи роз, померанцевых деревьев и море, стелющееся перед домом, и дети, играющие на берегу... вот они узнали, бросились навстречу. *Мы дома.*

Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними,— ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вечная язычница, увенчала обреченных на жертву пышным венком осенних цветов... и усыпала хоть на время своим маком и благоуханием!

Пропасти, делившие нас, исчезли, берега сдвинулись. Разве это не та же рука, которая через всю жизнь была в моей руке, и разве это не тот же взгляд?— только иногда он мутится от слез. «Успокойся же, сестра, друг, товарищ, ведь все прошло — и мы те же, как в юные, святые, светлые годы!»

«...После страданий, которых, может, ты знаешь меру, иные минуты полны блаженства; все верования детства, юности не только совершились, но прошли сквозь страшные испытания, не утратив ни свежести, ни аромата, и расцвели с новым блеском и новой силой. Я никогда не была так счастлива, как теперь», — писала она своему другу в Россию\*.

Разумеется, от прошедшего остался осадок, до которого нельзя было касаться безнаказанно,— что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющий испуг и боль.

Прошедшее — не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза. Люди вообще забывают только то, чего не стоит помнить или чего они не понимают. Дайте иному забыть два-три случая, такие-то черты, такой-то день, такое-то слово,— и он будет юн, смел, силен,— а с ними он идет, как ключ, ко дну. Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью Банко\*; тени — не уголовные судьи, не угрозыния совести, а *несокрушимые события памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имеет свои права, оно факт, с ним надобно *сладить*, а не забыть его — и мы шли к этому дружными шагами.

...Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я в то же мгновение встречал испуганный взгляд, смотревший на меня с бесконечной мукой и говоривший: «Да, ты прав, иначе и быть не может, но...», и я старался разгонять набежавшие тучи.

Святое время примиренья — я вспоминаю о нем сквозь слезы...

...Нет, не *примиренья*, это слово не идет. Слова, как гуртовые платья, впору до «известной степени» *всем* людям одинакого роста и плохо одевают каждого *отдельно*.

Нам нельзя было мириться: мы никогда не ссорились — мы страдали друг о друге, но не расходились. В самые мрачные минуты какое-то неразрывное единство, бесспорное для обоих, и глубокое уважение друг к другу были присущи. Мы походили скорее на людей, оправляющихся после тяжелой горячки, чем на помирившихся: бред прошел, мы узнали друг друга взглядом, несколько слабым и мутным. Боль вынесенная была памятна, утомление ощутительно, но ведь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

...Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцелели \*. По ним можно судить о том, что пропало... Читая их, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль — в мысль. Если б этот труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент в замену уклончивого молчания женщины и надменного покровительства ее мужчиной; но самый бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил.

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,  
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...<sup>1</sup>

V. Hugo \*

Так оканчивалось лето 1851. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и с Шпильманом уехали погостить в Париже к М. К. \* Тихо проводили мы время с детьми. Казалось, все бури были назади.

В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потом другое из Марселя \*, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароход и едут к нам. Во время ее отсутствия мы переехали в другой дом, также на берегу моря, в предместье С.-Елен. В доме этом с большим садом было помещение для моей матери; мы убрали ее комнату цветами, наш повар достал с Сашей китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово — дети часов с трех не сходили с террасы; наконец, в шестом часу на горизонте отделилась от моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас, Франсуа пустился на пристань, я сел в коляску и поехал туда же.

Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разрешения *sanita*<sup>2</sup> сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней стоял Франсуа.

— Как, — спросил я, — вы уже назад едете?

Он мне не отвечал; я взглянул на него и обмер: он был зеленого цвета и дрожал всем телом.

— Что это? — спросил я, — вы больны?

— Нет, — отвечал он, минуя мой взгляд, — только наши не приехали.

— Как же приехали?

— Там что-то с пароходом случилось, так не все пассажиры приехали.

Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать.

На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом

<sup>1</sup> В бездонном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> санитарного надзора (итал.).—*Ред.*

и с совершенным молчанием. Сам капитан дожидался меня; все это совсем не в обычаях, и я ждал чего-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что большая часть пассажиров взяты им и другим пароходом, шедшим мимо.

— У меня, — сказал он, — только две молодые девушки из ваших, — и повел меня на переднюю палубу — все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери \*, гостившая у нее, высокая, стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волосами; возле нее — горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась в другую сторону.

— Что же это, наконец? Где они? — спросил я, болезненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаем, — отвечала она, — пароход потонул, нас замертво вытащили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтоб переодеться.

Капитан грустно посмотрел на меня, потрес мою руку и сказал:

— Отчаиваться не надо; съездите в Иер, быть может, и найдете кого-нибудь из них.

Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломлении; все в голове было смутно и дрожало внутри; я желал, чтоб дом наш был за тысячу верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще; это были фонарики, зажженные детьми. У ворот стояли наши люди, Тата и Natalie с Олею на руках.

— Как, ты один? — спросила меня спокойно Natalie. — Да ты хоть бы Колю привез.

— Их нет, — сказал я, — с их пароходом что-то случилось, надобно было перейти на другой, тот не всех взял. Луиза здесь.

— *Их нет!* — вскрикнула Natalie. — Я теперь только разглядела твое лицо: у тебя глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я еду их искать в Иер.

Она покачала головой и прибавила:

— Их нет! их нет! — потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова; я привел ее в столовую; проходя, я шепнул Рокке:

— Бога ради, фонари.

Он понял меня и бросился их тушить.

В столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, перед местом моей матери — букет цветов, перед местом Коли — новые игрушки.

Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близкими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже совсем посторонними: одни хотели узнать, что случилось, другие — показать участие, третьи — советовать всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен: участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь.

Я решил в ту же ночь ехать в Иер. Natalie хотела ехать со мной, я уговорил ее остаться; к тому же погода круто переменялась: подул мистраль, холодный, как лед, и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию, через Варский мост; я поехал к Леону Пиле, французскому консулу; он был в опере; я отправился к нему в ложу с Хоецким; Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, сказал мне:

— Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых отказ был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска через границу, приходите за ним через полчаса в консулат.

У входа в театр меня ждали человек десять из тех, которые были у нас. Я им сказал, что Леон Пиле дает билет.

— Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем, — говорили мне со всех сторон, — остальное будет сделано — мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем почтовых лошадей.

Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету; содержатель гостиницы предложил безденежно свою.

В одиннадцать часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались; море, в котором так не-

давно были похороны, едва видное в темноте, билось и ревело. Мы поднимались на Эстрель, дождь заменился снегом, лошади спотыкались и чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, принимался греться; я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны, упрашивал торопиться.

Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного, но поискать, взглянуть на самое место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец... была потребность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома, прийти в себя.

Пока на Эстреле меняли лошадей, я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я чуть не зарыдал, осмотревшись: это было возле той самой таверны, в которой мы провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее; тот же вид стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь скрывался за серыми не итальянскими тучами и местами белел от снега.

Живо представилось мне то время, со всеми мельчайшими подробностями: я вспомнил, как хозяйка нас потчевала зайцем, тухлость которого была заморена страшным количеством чеснока, как в спальней летали летучие мыши, как я их гонял с нашей Луизой полотенцем и как на нас веяло в первый раз теплым южным воздухом...

Тогда я писал\*: «С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости — юнесь, хочется петь, плясать, плакать, все так ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце восходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепительные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительностью; воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок; наши слова, пенье птиц раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом

изгибе дороги блеснуло каймой около гор и задрожало серебряным огнем Средиземное море»<sup>1</sup>.

И вот через четыре года я снова на том же месте!..

Прежде ночи мы не могли приехать в Иер; я тотчас отправился к комиссару полиции; с ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комиссару. У него были разные спасенные вещи; я ничего в них не нашел. Потом мы пошли в больницу. Один из утопавших отходил, другие сообщили мне, что они видели пожилую женщину, ребенка лет пяти и с ним молодого человека, с белокурой, окладистой бородой... что они видели их в самую последнюю минуту, и что, стало быть, они так же пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова и являлся вопрос: ведь рассказывавшие были же живы, хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спаслись.

Найденные тела лежали в крипте монастыря; мы пошли туда из больницы; сестры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков, в каждом ящике было одно тело. Комиссар велел их раскрыть; оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жандарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой.

Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и каким-то официальным тоном спрашивал при вскрытии каждого ящика: «Вы свидетельствуете, в присутствии нашем, что тело это вам незнакомо?» Я кивал головой, комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть. Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышу, я с каким-то ужасом бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые черты, а в сущности еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно, так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы страшнее всяких похорон, а тут не было и самих покойников.

Я никого не нашел. Одно тело поразило меня: женщина лет двадцати, красавица, в нарядном провансальском костюме; ее грудь была обнажена (с нею был ребенок, разумеется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь

---

<sup>1</sup> «Письма из Франции и Италии».

*Dans une mer sans fond, par une nuit sans  
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis*  
V. Hugo.

В Ноябрь мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потому другое из Марселя, в котором она писала что на другой день, 15 Ноября, она садится на пароход и идти к нам. Во время ее отсутствия, мы переехали в другой дом также на берегу моря, в предместьях С. Еленз. В домъ этомъ съ большим садомъ было помещение для моей матери; мы убрали ее комнату цибунами; наш повар достал съ Сашей китайских фонарей и развесил ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово—дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ въ шестомъ часу на горизонтѣ отделилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показались и пароходъ, стоявшій на подвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я сѣлъ въ коляску и поехалъ туда же.

Когда я прѣхалъ на пристань пароходъ уже взомелъ, лодки ждали кругомъ когда капитанъ разрѣшитъ сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа.—Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ идите?

Отъ мнѣ не отбѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленого цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.—Что это? спросилъ я, вы больны?—Нѣтъ, отбѣчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не прѣехали.—Какъ не прѣехали?—Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры прѣехали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходъ меня встрѣтили съ какимъ-то злобнымъ почетомъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совсѣмъ не въ обычаѣ, я ждалъ чего нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Иеръ и материкомъ, пароходъ на которомъ была моя мать столкнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая часть пассажировъ взяты имъ и другимъ пароходомъ шедшимъ мимо. У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодые дѣвушки изъ вашихъ, и повелъ меня на переднюю палубу—всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ бессмысленно, даже не спрашивалъ ничего. Племянница моей матери гостившая у насъ, рыдая, стройная дѣвушка лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что то сказать, не могла; она рыдая, отвернулась въ другую сторону.

—Что же это наконецъ? Гдѣ они?—спросилъ я, беззвучно схвативши руку горничной.

—Мы ничего не знаемъ, отбѣчала она, пароходъ потонулъ—всѣ замертво вытащили изъ воды. Кака-то Англичанка дала намъ свои платья чтобы переодѣться.

*Николай* 1) — — — Мамъ оказывалась отъ  
18512. Мы были вѣрны своимъ обязательствамъ.  
Моя мать и Коля и племянница  
погибли поводомъ въ М. К. Ренделъ по





по груди. Лицо ее нисколько не изменилось, смуглый загар придавал ей совершенно живой вид.

Бригадир не вытерпел и заметил: «Экая прелесть какая!» Комиссар ничего не прибавил, жандарм, накрывши ее, заметил бригадиру: «Я знал ее, она из здешних подгородных крестьянок, ехала к мужу в Грас. Пусть подождет!»

Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежащего, — сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения какую-то сказку.

В Иере мне рассказывали еще о пожилom человеке, потерявшем всю семью, который не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком без денег, в состоянии, близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английскому консулу: они лишились матери, отца и брата!

Дело шло к рассвету, я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури; вдали, на одном месте, качалось какое-то особенное пятно, словно более густая, прозрачная влага.

— Пароход вез груз масла; видите, оно отстоялось, — вот тут и было несчастье.

Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тут?

— Метров сто восемьдесят будет.

Я постоял; утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесят метров глубины и носящееся пятно масла!..

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues;  
Vous roulerez à travers les sombres étendues,  
Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...<sup>1\*</sup>

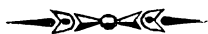
---

<sup>1</sup> Никто не знает вашей участи, бедные, погибшие головы; вы будете катиться в мрачных пространствах, касаясь лбами неведомых скал (франц.). — *Ред.*

С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва справившаяся Natalie не вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью, она говорила мне, как бы прося моей помощи:

— Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омары!

Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной, и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее... В мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования людей между приговором и казнью, когда человек разом надеется и наверно знает, что он от топора не уйдет!



---

## VII

1852

Снова наступал Новый год. Мы его встретили около постели Natalie: наконец организм не вынес, она слегла.

Энгельсоны, Фогт, человека два близких знакомых были у нас. Все были печальны. Парижское *второе декабря* \* лежало плитой на груди. Общее, частное — все несло куда-то в пропасть и уж так далеко ушло под гору, что ни остановить, ни изменить ничего нельзя было — приходилось ждать тупо, страдательно, когда все сорвавшееся с рельсов полетит в тьму.

Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри была смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться.

Болезнь определилась — сделалась плебези<sup>1</sup> в левой стороне.

Пятнадцать страшных дней провела она между жизнью и смертью, но на этот раз жизнь победила. В одну из самых тяжких минут я спросил доктора Бонфиса: переживет ли больная ночь?

— Наверное, — сказал Бонфис.

— Вы правду говорите? Пожалуйста, не обманывайте!

— Даю вам честное слово — я ручаюсь... — Он приостановился. — Я ручаюсь *за три дня*, спросите Фогта, если мне не верите.

Хорошо было это обратное *on en plantera*<sup>2</sup> Гудсон Лова.

---

<sup>1</sup> плеврит (франц. pleurésie). — *Ред.*

<sup>2</sup> Здесь: выздоровление (франц.). — *Ред.*

Наступило медленное выздоровление, и с ним последний луч надежды бледно осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде... Были минуты удивительные — последние аккорды навеки умолкающей музыки...

Несколько дней после перелома болезни я как-то утром \* рано пришел к себе в кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слышал, как входил человек. Проснувшись, я нашел на столе письмо. Почерк Гервега. С какой стати он пишет, и как после всего, что было, осмеливается он писать ко мне? Повода я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтоб его отправить назад, но, увидавши на обороте надпись: «Дело честного вызова», я открыл письмо.

Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими *клеветами* на него сбил Natalie с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее, что она *изменила* ему. В заключение он *доносил на нее* и говорил, что судьба решает между мной и им, что «она топит в море ваше исчадие (*votre progéniture*) и вашу семью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения»<sup>1</sup>.

Письмо это была *первая обида, нанесенная мне со дня рождения*. Я вскочил, как уязвленный зверь, с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в Ницце? Зачем через коридор лежала умирающая женщина!

Обливши два-три раза голову холодной водой... я сошел к Энгельсону (он занимал после кончины моей матери ее комнаты) и, выждав, когда его жена ушла, сказал ему, что получил письмо от Г<ервега>.

— Так вы в самом деле получили его? — спросил Энгельсон.

— Да разве вы знали, ожидали его?

— Да, — сказал он, — вчера я слышал об этом.

— От кого?

— От К. Фогта.

Я щупал себе голову, мне казалось, что я сошел с ума.

---

<sup>1</sup> Я никогда не перечитывал этого письма и раз только разворачивал его потом. В 1853, в годовщину рождения Natalie, 23 октября с. ст.\*, я, не читая, его сжег.

Молчание наше было до того безусловно, что ни моя мать, ни М<ария> К<аспаровца> ни разу не заговаривали со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими, но и с ним я говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Парижа, о причине моего разрыва с Г<ервегом>. Я был поражен в Женеве, услышав от Сазонова о болтовне этого негодяя, но мог ли я думать, что около нас, возле, за дверью все знают, все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между несколькими лицами... что знают даже о письмах, которых я еще не получал?

Мы пошли к Фогту. Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне *страшное письмо*, что он сбросит меня с высоты, на которую меня поставила Natalie, что он покроет нас *«позором»*, хоть бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде».

Наконец, он писал своей жене (и она все это показывала Фогту, Шарлю Эдмонду и Орсини!): «Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим», т. е. стало быть, перерезать нас.

Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия,— это вздор. Человек этот не сделал ни одного *поступка* опасного или неосторожного, сумасшествие было только *на словах*, он выходил из себя *литературно*. Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягостнее всякого скандала, возвратившаяся тишина нашей жизни не давала ему покоя. Мещанин, как Орас Ж. Санда, он болтал в отомщенье женщине, которую любил, и человеку, которого называл братом и отцом, и — мещанин-немец, он грозился мелодраматическими фразами, сочиненными на псевдошиллеровский лад.

В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к своей жене, в то самое время он *жил на содержании* у старой, покинутой любовницы Людовика-Наполеона, разгульной женщины\*, известной всему Цюриху, с ней проводил дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже, кутил в больших отелях... нет, это не сумасшествие.

— Что вы намерены делать? — спросил меня наконец Энгельсон.

— Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете и все знают... шансы все с моей стороны.

— Да как же вам ехать?..

— В этом-то все и дело. Напишите ему покамест, что не ему у меня требовать удовлетворения, а мне его *наказывать*, что я сам выберу средства и время его наказать, что для этого не оставлю больной женщины, а на его грубости плюю.

В том же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне помочь\*. Энгельсон, Сазонов и Фогт приняли с горячностью мое предложение. Письмо мое было большой ошибкой и дало ему повод сказать впоследствии, что я принял дуэль, что только потом отказался от нее.

Отказаться от дуэли — дело трудное и требует или много твердости духа или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо\* в новом обществе, обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворянской честью и военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол и принять на себя нареканье в трусости.

Доказывать нелепость дуэли не стоит — в теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчиняется ему для того, чтоб доказать, чорт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его *почетной* смертью, или тем, что делает из него *почетного* убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, — он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство шулера и его обвинителя!

Дуэль иногда можно принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину, но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презренья не бояться шпаги противника, а может бояться топора гильотины.

Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти, но не может отнять права.

обличить мертвого или живого врага... В дуэли остается все шито и крыто — это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать — служебной обязанностью.

Пока миром будут управлять военные, дуэли не переведутся; но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с богом и с властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе.

...Сколько людей прошли с гордым и торжествующим лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом, инквизициями и не знаю чем — и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя.

Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме; у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих. Я не принимал и не отказывался от дуэля. Казнь Г<ервега> была для меня нравственной необходимостью, физиологической необходимостью, — я искал в голове верного средства мести и притом такого, которое не могло бы его поднять. А уже дуэлем или просто ножом достигну я ее — мне было все равно.

Он сам недоумил. Он писал своей жене, а та, по обычаю, показывала знакомым, что, несмотря на все, я «головой выше окружающей меня сволочи», что меня «сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин», что если б он «мог увидаться на одну минуту со мной, то все бы объяснилось», «он (т. е. я) один может понять меня», — и это было *писано после письма ко мне!* «А посему, — заключал поэт, — я всего больше желал бы, чтоб Г<ерцен> принял дуэль *без свидетелей*. Я уверен, что с первого слова мы пали бы друг другу на грудь и все было бы забыто». Итак, дуэль предлагалась как средство драматического примирения.

Если б я мог тогда отлучиться на пять дней, на неделю, я непременно отправился бы в Цюрих и явился бы к нему, исполняя его желание, один — и жив бы он не остался.

Через несколько дней после письма, часов в девять, утром



взошел ко мне Орсини. Орсини, по какой-то физиологической нелепости, имел страстную привязанность к Эмме; что было общего между этим огненным, чисто южным молодым красавцем и безобразной, лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний приход его удивил меня. Он очень просто, без фраз, сказал мне, что весть о письме Г<ервега> возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить jury d'honneur<sup>1</sup>. При этом он стал защищать Эмму, говоря, что она ни в чем не виновата, кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении, что он был свидетелем, чего ей все это стоило. «Вам,— говорил он,— следует ей протянуть руку, вы должны наказать виновного, но должны также *восстановить* невинную женщину».

Я решительно, безусловно отказался. Орсини был слишком проникателен, чтоб не понять, что я мнения не перемену, а потому не настаивал.

Между прочим, говоря о jury d'honneur<sup>2</sup>, он мне сказал, что уже писал обо всей истории к Маццини и спрашивал его мнения. Не странно ли опять: делают партии, составляют приговоры, пишут к Маццини — и все это помимо меня, и все это по поводу событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться?

Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал письмо к Маццини\*. Мне тут открывался своего рода *вемический* суд\*— и суд, который сам напрашивался. Я написал ему, что Орсини мне говорил о своем письме и что, боясь, что он не совершенно верно передавал дело, о котором он от меня никогда не слышал ни слова, хочу и рассказать ему дело и посоветоваться с ним.

Маццини тотчас отвечал\*. «Лучше было бы,— писал он,— покрыть все молчанием, но вряд ли теперь возможно это для вас, а потому явитесь смело обвинителем и предоставьте нам суд».

---

<sup>1</sup> суд чести (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> Jury никакого не было, но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г<ервегу>, подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизаццоне, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццаканпо, Розенц\*.

Что я верил в возможность этого суда — в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался и дорого заплатил за ошибку.

Вместе с письмом Мадзини получил я письмо от Гауга, которому Мадзини (зная, что он со мной хорошо знаком) сообщил письмо Орсини и мое. Гауг после нашей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом\*. В этом человеке было много хорошего и бездна неспетого и не-леплого. Он спал непробудным казарменным сном австрийского лейтенанта, как вдруг его разбудила тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие, но не с тем, чтоб бить народ, а с тем, чтоб стать в его ряды. Переход был слишком крут и оставил кой-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурш, кадет, студент и лейтенант, он искренно любил меня.

Гауг писал, что он едет в Ниццу, и умолял ничего не предпринимать без него. «Вы покинули родину и пришли к нам как брат; не думайте, чтоб мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнаказанно ряд измен клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы иначе понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули западного искателя приключений,— русский революционер не падет!»\*

В ответ я написал Гаугу длинное письмо\*. Это была моя первая исповедь — я ему рассказал все, что было, и принялся его ждать.

...А между тем в спальню догорала, слабо мерцая, великая жизнь, в отчаянной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь возле кровати больной — она любила, чтоб именно я давал ей лекарства, чтоб я приготавлиал оранжад<sup>1</sup>. Ночью я топил камин, и, когда она засыпала спокойно, у меня опять являлась надежда ее спасти.

Но бывали минуты тяжести невыносимой... Я чувствую ее худую, лихорадочную руку, я вижу мрачный, тоскливый взгляд, остановленный на мне с мольбой, с упованием... и страшные слова: «Дети останутся одни — осиротеют, все погибнет, ты

---

<sup>1</sup> апельсиновый напиток (франц. orangeade).—Ред.

только и ждешь... Во имя детей оставь все, не защищайся от грязи, дай же мне, мне защитить тебя,— ты выйдешь чистым, лишь бы мне немного окрепнуть физически... Но нет, нет, силы не приходят. Не оставь же детей!»— и я сотни раз повторял мое обещанье.

В один из подобных разговоров Natalie вдруг мне сказала:

— Он писал к тебе?<sup>1</sup>

— Писал.

— Покажи мне письмо.

— Зачем?

— Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать.

Я почти был рад, что она заговорила о письме, мне страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов. Я никогда не решился бы спросить, но тут она сама заговорила о письме, я не мог переломить себя, меня ужасала мысль, что сомнение все же останется, а может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты.

— Письма я тебе не покажу, а скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..

— Как ты можешь думать?

— Он пишет это.

— Это почти невероятно... он пишет это своей рукой?

Я отогнул в письме то место и показал ей\* — она взглянула, помолчала и печально сказала потом: — Подлец!

С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом, ни одним намеком *она не простила его* и не пожалела об нем.

Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо.

«Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить, и притом при свидетеле, то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, но ваш характер, вероломный, низко еврейский, ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей во время вашего отъезда и после, в то самое время, как достоин-

---

<sup>1</sup> Слухи о всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было *случайно*. Насчет его письма был намек в письме М(арии) К(аспаровны)\*, слышавшей все это в *Париже* от Н. А. Мельгунова.

ство и преданность А<лександра> росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталом, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедестал вы хотели забросать грязью. Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непоколебимого теперь больше, чем когда-нибудь. Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют А<лександру> одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью. Куда делись вечные протестации в вашем религиозном уважении моей воли, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Алекс<андру>? Разве я не всегда говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что, если б он меня оставил, даже умер бы, — я останусь одна до конца жизни?.. Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами, — действительно, я его сделала — я вас жалела тогда, я хотела человечески проститься с вами, — вы сделали невозможным исполнение этого обещания.

С самого отъезда вашего вы начали пытаться меня, требуя то такого обещания, то другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет, лишь бы взять с собою самую слабую надежду. Когда вы увидели, что это вам не удалось, вы предлагали ряд нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили тем, что стали грозить *публичностью*, хотели меня посорить окончательно с Алекс<андром>, хотели его заставить убить вас, драться с вами, наконец, грозили наделать страшнейших преступлений! Угрозы эти не действовали больше на меня — вы их слишком часто повторяли.

Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: „Я остаюсь в моей семье, моя семья — Алекс<андр> и мои дети“, и, если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. „Между мной и вами нет моста“. Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее.

Н. Г.

18 февраля 1852.

Ницца».

Через несколько дней возвратилось письмо из Цюриха, Г<ерверг> возвратил его назад нераспечатанным, письмо было

послано страховое, с тремя печатями и возвратилось назад с надписью на том же пакете.

«Если так, — заметила Natalie, — *ему прочтут его*».

Она позвала к себе Гауга, Тесье, Энгельсона, Орсини и Фогта и сказала им:

— Вы знаете, как мне хотелось оправдать Алек<сандра>, но что я могу сделать прикованная к постели? Я, может, не переживу этой болезни — дайте мне спокойно умереть, веря, что вы исполните мое завещанье. Человек этот отослал мне назад письмо — пусть кто-нибудь из вас прочтет его ему при свидетелях.

Гауг взял ее руку и сказал:

— Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено.

Это простое, энергическое действие потрясло всех, и скептик Фогт вышел взволнованным, как фанатик Орсини. Орсини сохранил горячее уважение к ней до конца своих дней. Последний раз, когда я его видел перед его отъездом в Париж, в конце 1857, он с умилением вспоминал о Natalie, а может, и с затаенным упреком. Из нас двоих, конечно, не на Орсини падет обвинение в нравственной несостоятельности, в дуализме дела и слова...

...Раз поздно вечером или, лучше, ночью мы долго и печально рассуждали с Энгельсоном. Наконец он пошел к себе — а я наверх. Natalie спала покойно; я посидел несколько минут в спальне и вышел в сад. Окно Э<нгельсона> было открыто; он, пригорюнившись, курил у окна сигару.

— Видно, такая судьба! — сказал он и сошел ко мне.

— Зачем вы не спите, зачем вы пришли? — спрашивал он, и голос его нервно дрожал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: — Верите вы в мою беспредельную любовь к вам, верите, что у меня нет в мире человека ближе вас, — отдайте мне Г<ервега> — не нужно ни суда, ни Гауга — Гауг немец. Подарите мне право отомстить за вас, я *русский*... Я обдумал целый план, мне надобно ваше доверие — ваше рукоположение.

Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный занимавшейся зарей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему на шею.

— Верите вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компрометирую дело, в котором замешано для меня столько святого — без вашего доверия я связан. Скажите откровенно: да или нет. Если *нет* — прощайте, и к чорту всё, к чорту и вас и меня! Я завтра уеду, и вы обо мне больше не услышите.

— В вашу дружбу, в вашу искренность я верю, но боюсь вашего воображенья, ваших нерв и не очень верю в ваш практический смысл. Вы мне ближе всех здесь, но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя.

— Так, по-вашему, у генерала Гауга практический гений?..

— Я этого не говорил, но думаю, что Гауг — больше практический человек, так, как думаю, что Орсини практичнее Гауга.

Энгельсон больше ничего не слушал — он плясал на одной ноге, пел и, наконец успокоившись немного, сказал мне:

— Попались, попались, как кур во щи!

Он положил мне руку на плечо и прибавил вполслуха:

— С Орсини-то я и обдумал весь план, с самым практическим человеком в мире. Ну, благословляйте, отче!

— А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?

— Даю.

— Рассказывайте ваш план.

— Этого я не могу, по крайней мере теперь не могу...

Сделалось молчание. Что он хотел, понять было не трудно...

— Прощайте, — сказал я, — дайте мне подумать, — и невольно прибавил: — Зачем же вы мне об этом говорили?

Энгельсон понял меня.

— Проклятая слабость! Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил.

— *Да я-то знаю*, — сказал я ему в ответ, и мы разошлись.

Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна была гибельно потрясти больной организм, заставили меня *остановить* исполнение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини... И так, вместо казни, я *спас Г<ервег>а*, но уж, конечно, *не для него и не для себя!* Тут не было ни сентиментальности, ни великодушия...

Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем в *обратную сторону*. Эмма, чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фогтом за то, что он дерзко отзывался об ее Георге, и упростила Шар<ля> Эд<монда> написать к нему письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить всякого рода провокации, а то худо будет. Не знаю, что писал Шар<ль> Эд<монд>, — задача была нелегкая, — но ответ Г<ервега> был *замечателен*. Сначала он говорил, что не Фогтам и не Шар<лям> Эд<мондам> его судить, потом — что связь между им и мной порвал я, а потому да падет все на мою голову. Перебравши все и защищаясь даже в своей двуличной роли, он заключал так: «Я даже не знаю, есть ли тут измена? Толкуют еще эти шалопаи о деньгах, — чтоб окончить навсегда с этим дрянным обвинением, я скажу откровенно, что Гер<цен> не слишком дорого купил своими несколькими тысячами франков те минуты рассеяния и наслаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время!» — «C'est grand, c'est sublime! — говорил Ch. Ed<mond>, — mais c'est niederträchtig»<sup>1</sup>.

На это Хоецк<ий> отвечал, что на подобные письма отвечают палкой, что он и сделает при первом свидании.

Г<ервег> умолк.

---

<sup>1</sup> Это — величественно, это — возвышенно, но это подло (франц. и нем.). — *Ред.*



---

## VIII

С наступлением весны больной сделалось лучше. Она уже большую часть дня сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, не чесанные в продолжение болезни, наконец, без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались, как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или Кадикс. Ей хотелось выздороветь, хотелось жить, хотелось в Испанию.

После возвращения письма все замолкло, точно будто совесть жены и мужа почувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, перешли ее и устали.

Вниз Natalie еще не сходила и не торопилась, она собиралась сойти в первый раз 25 марта, в мое рождение. Для этого дня она приготовила себе белую мериносовую блузу, а я выписал из Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мне, кого она хочет звать — сверх Энгельсонов — Орсини, Фогта, Мордини и Пачелли с женой.

За два дня до дня моего рождения у Ольги сделался насморк с кашлем. В городе была influenza. Ночью Natalie два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь была теплая, но бурная. Утром она проснулась сама с сильнейшей influenza, — сделался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка.

О том, чтоб встать на другой день, нечего было и думать: после лихорадочной ночи ужасная прострация, болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие надежды были прибиты. Неестественный звук кашля грозил чем-то зловещим.

Natalie слышать не хотела, чтоб гостям отказали. Печально и тревожно сели мы часа в два за стол без нее.



Пачелли привезла с собой какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. М-те Пачелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Словно горе какое-нибудь лежало на ней; проклятье ли бедности тяготило ее или, быть может, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чем вечные уроки музыки и преданность человека слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей.

В нашем доме она встречала больше простоты и теплого приветствия, чем у других *практик*<sup>1</sup>, и полюбила Natalie с южной экзальтацией.

После завтрака она посидела у больной и вышла от нее бледная, как полотно. Гости просили ее спеть привезенную арию. Она села за фортепьяно, взяла несколько аккордов, запела и вдруг, испуганно взглянув на меня, залилась слезами — склонила голову на инструмент и спазматически зарыдала. Это кончило праздник — гости разошлись, почти не говоря ни слова, — подавленный какой-то каменной плитой, пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался.

Это было начало похорон!

И притом двух!

Через два месяца после моего рождения схоронили и М-те Пачелли. Она поехала в Ментоне или Роккабрун на осле. Ослы в Италии привыкли ночью взбираться на горы не оступаясь. Тут белым днем осел спотыкнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях...

Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой. *Nur zu*<sup>2</sup> — какая-то следующая нелепость?

...Далее все заволакивается — настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь, — тут и описывать нечего или нельзя — время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственного ничтожества и страшной телесной силы.

Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суэта, сбитые с ног слуги, и рядом с наступающей

---

<sup>1</sup> людей, с которыми занималась (франц. *pratique*).— *Ред.*

<sup>2</sup> Да ну же, смелей! (нем.).— *Ред.*

3 мая 1857.

Воскресенье 3 мая — третий день моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.

Воскресенье 3 мая — третий день моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.

Воскресенье 3 мая — третий день моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.

--- Программа моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.

Воскресенье 3 мая — третий день моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.

Воскресенье 3 мая — третий день моего пребывания в этом городе. Я был у меня похороны.



смертью — новые сплетни, новые гадости. Судьба не золотила мне больше пилули, не пожалели меня и люди: благо, мол, крепки плечи, пускай себе!

Дни за три до кончины ее Орсини мне принес записочку от Эммы к Natalie. Она умоляла ее «простить за все сделанное против нее, простить *всех*». Я сказал Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство, заставившее написать ее эти строки, и принимаю их.

Я сделал больше, и в одну из последних спокойных минут я тихо сказал Natalie:

— Эмма просит у тебя прощения.

Она улыбнулась иронически и не отвечала ни слова. Она лучше меня знала эту женщину.

Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной, — туда обыкновенно приходили близкие знакомые. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фогт кричал, Орсини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился.

— Что у вас? — спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость.

— Да вот что, — подхватил Энгельсон. — Какие тут секреты, это такая прелесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если б это случилось в другое время... Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так как вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтоб вы возвратили ей *вексель в десять тысяч франков*, который она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов... *Stupendisch teuer, stupendisch teuer!*<sup>1</sup>

Сконфуженный Орсини добавил:

— Я думаю, она сошла с ума.

Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему:

— Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает; что если я и оценил ее чувство раскаяния, то не в десять тысяч франков!

Записки Орсини не взял.

Вот по какой грязи мне пришлось идти на похороны. Что это: безумие или порок, разврат или тупость?..

---

<sup>1</sup> Безумно дорого, безумно дорого! (нем.).—Ред.

Это так же трудно решить, как вопрос: откуда вырвалась эта семья — из сумасшедшего дома или из смиренного?

Вечером 29 апреля приехала Мар<ия> Каспаровна. Natalie ожидала ее с дня на день, она звала ее несколько раз, боясь, чтоб M-me Engels<он> не захватила в руки воспитание детей. Она ждала ее с часу на час, и, когда мы получили письмо, она послала Гауга и Сапу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свиданье с Мар<ией> Касп<аровной> нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: «Маша!» и не могла ничего больше прибавить.

Болезнь застала Natalie в половине беременности. Бонфис и Фогт думали, что это исключительное положение помогло к выздоровлению от плерези. Приезд Мар<ии> Касп<аровны> ускорил роды. Роды были лучше, чем ожидали, младенец родился живой — но силы истощились — наступила страшная слабость.

Младенец родился к утру\* — к вечеру она велела подать себе новорожденного и позвать детей. Доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не делать этого.

— И ты, Ал<ександр>, слушаешься их? — сказала она. — Смотри, как бы тебе не было потом очень жаль, что ты у меня отнимаешь эту минуту — мне теперь полегче, я хочу сама представить малютку детям.

Я позвал детей. Не имея силы держать новорожденного, она его положила возле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате:

— Вот вам еще маленький брат — любите его.

Дети весело бросились целовать ее и малютку. Мне вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на детей:

И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть...\*

Оглушенный горем, смотрел я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дети ушли, я умолял ее не говорить и отдохнуть; она хотела отдохнуть — но не могла — слезы катились из глаз.

— Помни твое обещание... Ах, как страшно думать, что они останутся одни, совсем одни... и в чужой стороне. Да неужели нет спасенья?..

И она останавливала на мне какой-то взгляд просьбы и отчаяния...

Эти переходы от страшной безнадежности к упованию невыразимо раздирали сердце в последнее время... В те минуты, когда я всего меньше верил, она брала мою руку и говорила мне:

— Нет, Александр, это не может быть, это слишком глупо — мы проживем еще, лишь бы слабость прошла.

Скользнув лучи надежды они меркли сами собой — и заменялись невыразимо печальным, тихим отчаянием<sup>1</sup>.

— Когда меня не будет, — говорила она, — и все устроится; теперь я не могу себе вообразить, как вы будете жить без меня: кажется, я так нужна детям, подумаешь — а и без меня они так же будут расти, и все пойдет своим путем. Как будто и всегда так было.

Еще несколько слов прибавила она о детях, о здоровье Саши, она радовалась, что он стал крепче в Ницце, что в этом согласен и Фогт.

— Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожно, это натура глубокая и несообщительная. Ах, — добавила она, — если б мне дожить до приезда моей Natalie...\* А что дети — спят? — спросила она, несколько погодя.

— Спят, — сказал я.

Издали слышался детский голос.

— Это Оленька, — сказала она и улыбнулась (в последний раз). — Посмотри, что она.

К ночи ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушки не хорошо лежат, но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и даже с неудовольствием меняла положение головы. Потом наступил тяжелый сон.

Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить; я ей подал с ложечки апельсиновый сок с сахаром и водой, но зубы были совершенно стиснуты, она была без сознания —

---

<sup>1</sup> Тетрадь эта писана года три тому назад.

я оцепенел от ужаса; рассветало, я отдернул занавесь и с каким-то безумным чувством отчаяния разглядел, что не только губы, но и зубы почернели в несколько часов.

За что же еще это? Зачем это ужасное беспмятство, зачем этот черный цвет!

Доктор Бонфис и К. Фогт сидели всю ночь в гостиной. Я сошел и сказал Фогту, что я заметил, он миновал мой взгляд и, не отвечая, пошел наверх. Ответа было не нужно: пульс больной едва бился.

Около полудня она пришла в себя — опять позвала детей, но не говорила ни слова. Она находила, что в комнате было темно. Это случилось во второй раз за день, она спросила меня, зачем нет свечей (две свечи горели на столе), я зажег еще свечу — но она, не замечая ее, говорила, что темно.

— Ах, друг мой, как тяжело голове, — сказала она, и еще два-три слова.

Она взяла мою руку — рука ее уже не была похожа на живую — и прикрыла ею свое лицо. Я что-то сказал ей, она отвечала невнятно, — сознание было снова потеряно и не возвращалось...

Еще одно слово — одно слово — или уж конец бы всему. В этом положении она осталась до следующего утра. С полдня или с часа 1 мая до 7 часов утра 2 мая. Какие нечеловечески страшные 19 часов!

Минутами она приходила в полусознание, явственно говорила, что хочет снять фланель, кофту, спрашивала платье — но ничего больше.

Я несколько раз начинал говорить; мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало по лицу ее. Раза два она пожала мне руку, не судорожно, а намеренно — в этом я совершенно уверен. Часов в шесть утра я спросил доктора, сколько остается времени — «Не больше часа».

Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. Входя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несчастье нас ожидает, — он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий к обмороку, взошел он со мной в комнату.

— Станем рядом здесь на коленях,— сказал я, указывая на ковер у изголовья.

Предсмертный пот покрывал ее лицо, рука спазматически касалась до кофты, как будто желая ее снять. Несколько стенаний, несколько звуков, напомнивших мне агонию Вадима, — и те замолкли. Доктор взял руку и опустил ее, она упала, как вещь\*.

Мальчик рыдал — я хорошенько не помню, что было в первые минуты. Я бросился вон — в зал — встретил Ch. Edmond, хотел ему сказать что-то, но, вместо слов, из моей груди вырвался какой-то чужой мне звук... Я стоял перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного понимания, на бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море.

Потом мне вспомнились слова «береги Тату!» Мне сделалось страшно, что ребенка испугают. Говорить ей я запретил прежде, но как же можно было положиться? Я велел ее позвать и, запершись с нею в кабинете, посадил к себе на колени и, мало-помалу приготовив ее, сказал наконец, что «мама» умерла. Она дрожала всем телом, пятна вышли на лице, слезы навернулись...

Я ее повел наверх. Там уж все изменилось. Покойница, как живая, лежала на убранной цветами постели возле малютки, скончавшейся в ту же ночь. Комната была обита белым, усыпана цветами; изящный во всем вкус итальянцев умеет внести что-то кроткое в раздирающую печаль смерти.

Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— Мамаша вот! — сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами холодного лица, она истерически заплакала; дольше я не мог вынести и вышел.

Часа через полтора я сидел один опять у того же окна и опять бессмысленно смотрел на море, на небо. Дверь отворилась, и вошла Тата, одна. Она подошла ко мне и, ласкаясь, как-то испуганно шептала мне:

— Папа, я умно себя вела, я не много плакала.

С глубокой горестью посмотрел я на сироту.— «Да тебе и надо быть *умной*. Не знать тебе материнской ласки, материнской любви. Их ничто не заменит; у тебя будет пробел в сердце. Ты не испытаеть лучшей, чистейшей, единой бескорыстной



привязанности в свете. Ты ее, может, будешь иметь, но к тебе ее никто не будет иметь; что же любовь отца в сравнении с материнской *болью* любви!»

Она лежала вся в цветах — сторы были опущены — я сидел на стуле, на том же обычном стуле возле кровати — кругом было тихо — только море шипело под окном — флер, казалось, приподнимался от слабого, очень слабого дыхания... Кротко застыли скорби и тревога — словно страдание окончилось бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел—смотрел всю ночь — ну, а как в самом деле она проснется? Она не проснулась. Это не сон — это смерть.

Итак, это правда!..

...На полу, по лестнице было брошено множество красно-желтого гераниума. Запах этот и теперь потрясает меня, как гальванический удар... и я вспоминаю все подробности, каждую минуту — и вижу комнату, обтянутую белым, с завешенными зеркалами; возле *нее*, также в цветах, желтое тело младенца, уснувшего не просыпаясь, и ее холодный, страшно холодный лоб... Я иду — скорыми шагами без мысли и намерения — в сад — наш Франсуа лежит на траве и рыдает, как дитя, я хочу ему что-то сказать и совсем нет голоса — я бегу назад, *туда*. Незнакомая дама, вся в черном, и с нею двое детей, потихоньку отворяет дверь, — она просит позволение прочесть католическую молитву, — я сам готов молиться с нею. Она становится на колени перед кроватью, и дети становятся на колени — она шепчет латинскую молитву, дети тихо повторяют за ней. Потом она говорит мне:

— И они не имеют матери, а отец их далеко... Вы хоронили их бабушку...

Это были дети Гарибальди.

...Толпы изгнанников собрались через сутки на дворе, в саду, они пришли проводить ее. Фогт и я — мы положили ее в гроб — гроб вынесли — я твердо шел за ним, держа Сашу за руку, и думал: «Вот так-то люди глядят на толпу, когда их ведут на виселицу».

Какие-то два француза — одного из них помню — граф Воге — на улице с ненавистью и смехом указали, что нет свя-

щенника. Тесье было прикрикнул на них. Я испугался и сделал ему знак рукой — тишина была необходима.

Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе; мы все сорвали по розе — точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве. На пригорке, выступающем в него, в виду *Эстрели*, с одной стороны, и *Корниче* — с другой, схоронили мы ее. Кругом сад — эта обстановка продолжала роль цветов на постеле.

---

Недели через две Гауг напомнил о последней воле ее, о данном слове; он и Тесье собирались ехать в Цюрих. Марии Каспаровне было пора в Париж. Все настаивали, чтоб я отправил Тату и Ольгу с ней, а сам с Сашей ехал бы в Геную. Больно мне было расставаться, но я не доверял себе; может, думалось мне, и в самом деле так лучше, ну, а лучше — пусть так и будет. Я только просил не увозить детей до 9/21 мая: я хотел провести с ними четырнадцатую годовщину нашей свадьбы.

На другой день после нее я проводил их на Варский мост. Гауг поехал с ними до Парижа. Мы посмотрели, как таможенные пристава, жандармы и всякая полиция тормозила пассажиров; Гауг потерял свою трость, подаренную мною, искал ее и сердился, Тата плакала. Кондуктор, в мундирной куртке, сел возле кучера, дилижанс поехал по драгиньянской дороге, — а мы, Тесье, Саша и я, пошли назад через мост, сели в коляску и поехали *туда, где я жил*.

*Дома* у меня больше не было. С отъездом детей последняя печать *семейной* жизни отлетела — все приняло холостой вид. Энгель<сон> с женой уехал дня через два — половина комнат были заперты. Тесье и Ed<mond> переехали ко мне. Женский элемент был исключен. Один Саша напоминал возрастом, чертами, что тут было что-то другое... напоминал кого-то отсутствующего!

#### POST SCRIPTUM

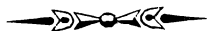
... Дней через пять после похорон Гервег писал своей жене: «Весть эта глубоко огорчила меня; я полон мрачных мыслей — пришли мне по первой почте «I Sepolcri» — Уго Фосколо».

И в следующем письме<sup>1</sup>: «Теперь настало время примирения с Г<sup>е</sup>рценом», *причина нашего раздора не существует больше... Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаз — он один в состоянии понять меня!*»

И понял!

---

<sup>1</sup> Оба письма ходили по рукам в Ницце.



---

## П Р И Б А В Л Е Н И Е

### ГАУГ

Гауг и Тесье явились одним утром\* в Цюрих, в отель, где жил Г<ервег>. Они спросили, дома ли он, и на ответ кельнера, что дома, они велели себя прямо вести к нему, без доклада.

При их виде Г<ервег>, бледный, как полотно, дрожащий, встал и молча оперся на стул.

«Он был страшен,— до того выражение ужаса исказило его черты»,— говорил мне Тесье.

— Мы пришли к вам,— сказал ему Гауг,— исполнить волю покойницы: она на ложе предсмертной болезни писала вам, вы отослали письмо нераспечатанным под предлогом, что оно подложное — вынужденное. Покойница сама поручила мне и Тесье дю Моте засвидетельствовать, что она письмо это писала сама по доброй воле, и потом вам его прочесть.

— Я не хочу... не хочу...

— Садитесь и слушайте! — сказал Гауг, поднимая голос. Он сел.

Гауг распечатал письмо и вынул из него *записку, написанную рукою Г<ервега>*.

Когда письмо, нарочно страхованное, было отослано назад, я отдал его на хранение Энгельсона. Энгельсон заметил мне, что две печати были подпечатаны.

— Будьте уверены,— говорил он,— что этот негодяй читал письмо и именно потому его отослал назад.

Он поднял письмо к свечке и показал мне, что в нем лежала не одна, а две бумаги.

— Кто печатал письмо?

— Я.

— Кроме письма, ничего не было?

— Ничего.

Тогда Энгельсон взял такую же бумагу, такой же пакет, положил три печати и побежал в аптеку; там он взвесил оба письма, присланное имело *полтора* веса. Он возвратился домой с пляской и пением и кричал мне: «Отгадал! отгадал!»

Гауг, вынув записку, прочитал письмо, потом, взглянув на записку, которая начиналась бранью и упреками, передал ее Тесье и спросил Гервега:

— Это ваша рука?

— Да, это я писал.

— Стало, вы письмо подпечатали.

— Я не обязан вам давать отчета.

Гауг изорвал его записку и, бросив ему в лицо, прибавил:

— Какой же вы мерзавец!

Испуганный Г<ервег> схватился за шнурок и стал звонить из всей силы.

— Что вы, с ума сошли? — спросил Гауг и схватил его за руку.

Г<ервег>, рванувшись от него, бросился к двери, растворил ее и закричал:

— Режут! Режут! (Mord! Mord!)

На неистовый звон, на этот крик всё бросилось по лестнице к его комнате: гарсоны, путешественники, жившие в том же коридоре.

— Жандармов! Жандармов! Режут! — кричал уже в коридоре Г<ервег>.

Гауг подошел к нему и, сильно ударив его рукой в щеку, сказал ему:

— Вот тебе, негодяй (Schuft), за жандармов!

Тесье в это время вошел опять в комнату и написал имена и адрес и молча подал их ему. На лестнице собралась толпа зрителей. Гауг извинился перед хозяином и ушел с Тесье.

Г<ервег> бросился к комиссару полиции, прося его взять его под *защиту законов* против подосланных убийц и спрашивал, не начать ли ему процесс за пощечину.

Комиссар—при содержателе отеля—расспросив о разных по-

дробностях, изъявил сомнение в том, чтоб люди, таким образом приходившие белым днем в отель, не скрывая <имен> и места жительства, были подосланные убийцы. Что касается до процесса, он полагал, что его начать очень легко, и наверное думал, что Гауг будет приговорен к небольшой пене и к непродолжительной тюрьме. «Но в вашем деле вот в чем неудобство,— прибавил он,— для того, чтоб осудили этого господина, вам надобно публично *доказать, что он вам действительно дал пощечину*... Мне кажется, что для вашей пользы лучше дело оставить, оно же бог знает к каким ревелияциям<sup>1</sup> поведет».

Логика комиссара победила.

Я тогда был в Лугано\*. Обдумав дело, на меня нашел страх: я был уверен, что Гер<вег> не вызовет Гауга или Тесье, но чтоб Гауг умел *наэтом остановиться* и покойно уехать из Цюриха— в этом я не был уверен. Вызов со стороны Гауга<sup>2</sup> был бы явным образом против характера, который я хотел дать делу. Сам Тесье, на благородный ум которого я мог совершенно надеяться, во всем был слишком француз.

Гауг был упрям до капризности и раздражителен до детства. У него постоянно были контры и пики то с Хоецким, то с Энгельсоном, то с Орсини и итальянцами, которых он наконец действительно восстановил против себя,— и Орсини, улыбаясь по-своему и слегка покачивая головой, говаривал пресмешно:

— Oh, il generale, il generale Aug!<sup>3</sup>

На Гауга имел влияние один Карл Фогт с своим светлым практическим взглядом; он поступал агрессивно: осыпал его насмешками, кричал — и Гауг его слушался.

— Какой секрет открыли вы,— спросил я раз Фогта,— усмирять нашего бенгальского *генерала*?

— Vous l'avez dit<sup>4</sup>, — отвечал Фогт, — вы пальцем дотронулись до секрета. Я его усмиряю потому, что *он генерал и верит в это*. Генерал знает дисциплину, он против начальства идти не может — вы забываете, что я *викарий империи*\*.

<sup>1</sup> разоблачениям (франц. *révélation*).—Ред.

<sup>2</sup> Гауг действительно его сделал,— разумеется, Г<ервег> не пошел.

<sup>3</sup> Ох, генерал, генерал Гауг! (итал.).—Ред.

<sup>4</sup> Здесь: Вы его сами открыли (франц.).—Ред.

Фогт был совершенно прав. Несколько дней спустя Энгельсон, нисколько не думая о том, что он говорит и при ком, сказал:

— На такую мерзость способен только немец.

Гауг обиделся. Эн〈гельсон〉 уверял его, что он не спохватился, что у него сорвалась эта глупость нечаянно с языка. Гауг заметил, что важность не в том, что он сказал при нем, а в том, что он имеет такое мнение о немцах,— и вышел вон.

На другой день рано утром он отправился к Фогту, застал его в постеле, разбудил и рассказал ему нанесенную обиду Германии, прося его быть свидетелем и снести Энгельсону картель.

— Что же, вы считаете, что я так же сошел с ума, как вы? — спросил его Фогт.

— Я не привык сносить обиды.

— Он вас не обижал. Мало ли что сорвется с языка,— он же извинялся.

— Он обидел Германию... и увидит, что при мне нельзя безнаказанно оскорблять великую нацию.

— Да вы что же за исключительный представитель Германии? — закричал на него Фогт.— Разве я не немец? Разве я не имею права вступаться так же, как вы, больше, чем вы?

— Без сомнения, и, если вы берете это дело на себя, я вам уступаю.

— Хорошо, но, вверивши мне, надеюсь, что вы не станете мешать. Сидите же здесь спокойно, а я схожу и узнаю, точно ли такое мнение у Энгельсона или это так, случайно сказанная фраза,— ну, а картель ваш покамест мы изорвем.

Через полчаса явился Фогт ко мне, я ничего не знал о вчерашнем событии. Фогт взошел, по обычаю, громко смеясь, и сказал мне:

— Что у вас Энгельсон — на воле ходит или нет? Я запер нашего генерала у себя. Представьте, что он за поганных немцев, о которых Э〈нгельсон〉 дурно отзывался, хотел с ним драться, я его убедил, что расправа принадлежит мне. Половина дела сделана. Усмирите вы теперь Энгельсона, если он не в белой горячке.

Энгельсон и не подозревал, что Гауг до такой степени рассердился; сначала хотел лично с ним объясниться, готов был принять картель, потом сдался, и мы послали за Гаугом. Викарий на это утро бросил медуз и салпов, до тех пор сидел, пока Гауг и Энгельсон совершенно дружески рассуждали за бутылкой вина и котлетами à la milanaise<sup>1</sup>.

В Люцерне, куда я отправился из Лугано, мне предстояла новая задача. В самый день моего приезда \* Тесье рассказал мне, что Гауг написал *мемуар* по поводу пощечины, в котором изложил все дело, что эту записку он хочет напечатать, и что Тесье его только остановил тем, что все же без моего согласия такой вещи печатать невозможно. Гауг, несколько не сомневаясь в моем согласии, решился ждать меня.

— Употребите все усилия, чтоб этот несчастный *factum*<sup>2</sup>, — говорил мне Тесье, — не был напечатан, он испортит все дело — он сделает вас, память, вам дорогую, и нас всех — посмешищем на веки веков.

Вечером Гауг отдал мне тетрадь. Тесье был прав. От такого удара воскреснуть нельзя бы было. Все было изложено с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к покойной — и все было смешно, *смешно для меня* — в это время слез и отчаяния. Вся статья была писана слогом Дон-Карлоса — в прозе. Человек, который мог написать такую вещь, должен был свое сочинение высоко поставить и, конечно, не мог его уступить без боя. Не легка была моя роль. Писано все это было для меня, из дружбы, добросовестно, честно, искренно, — и я-то должен был, вместо благодарности, отравить ему мысль, которая сильно засела в его голове и нравилась ему.

Уступки я сделать не мог. Долго думая, я решился к нему написать длинное послание \*, благодарил его за дружбу, но умолял его мемуара не печатать. «Если надобно в самом деле что-нибудь напечатать из этой страшной истории, то это печальное право принадлежит мне одному».

Письмо это, запечатавши, я послал Гаугу часов в 7 утра. Гауг отвечал мне: «Я с вами не согласен, я вам и ей ставил

---

<sup>1</sup> по-милански (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> записка с изложением обстоятельств дела (лат.).—*Ред.*



памятник, я вас поднимал на недостижимую высоту, и, если б кто осмелился бы заикнуться, того я заставил бы замолчать. Но в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой разумеется, если вы хотите писать, уступлю».

Он был день целый мрачен и отрывист. К вечеру мне пришла страшная мысль: *умри я — ведь он памятник-то поставит,—* и потому, прощаясь, я ему сказал, обнявши его:

— Гауг, не сердитесь на меня, в таком деле действительно нет лучшего судьи, как я.

— Да я и не сержусь, мне только больно.

— Ну, а если не сердитесь, оставьте у меня вашу тетрадь, подарите ее мне.

— С величайшим удовольствием.

Замечательно, что у Гауга с тех пор остался литературный зуб против меня, и впоследствии, в Лондоне, на мое замечание, что он к Гумбольдту и Мурчисону пишет слишком вычурно и фигурно, Гауг, улыбаясь, говорил:

— Я знаю, вы диалектик, у вас слог резкого разума, но чувство и поэзия имеют другой язык.

И я еще раз благословил судьбу, что не только взял у него его тетрадь, но, уезжая в Англию, ее сжег.

Новость о пощечине разнеслась, и вдруг в «Цюрихской газете» появилась статья Герв<ега> с его подписью \*. «*Знаменитая пощечина*», — говорил он, — никогда не была дана, а что, напротив, он «оттолкнул от себя Гауга так, что Гауг замарал себе спину об стену», что, сверх всего остального, особенно было вероятно для тех, которые знали мускульного и расторопного Гауга и неловкого, тщедушного баденского военачальника. Далее он говорил, что все это — далеко ветвящаяся интрига, затеянная *бароном Герценом на русское золото*, и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованье.

Гауг и Тесье тотчас поместили в той же газете серьезный, сжатый, сдержанный и благородный рассказ дела \*.

К их объяснению я прибавил, что у меня на жалованье никогда никого не было, кроме слуг и Г<ервега>, который жил последние два года на мой счет и один из всех моих знакомых в Европе должен мне значительную сумму \*. Это *чуждое мне оружие* я употребил в защиту оклеветанных друзей.

На это Г<ервег> возразил в том же журнале, что он никогда не находился в необходимости занимать у меня деньги и не должен мне ни копейки\* (занимала для него его жена). С тем вместе какой-то доктор из Цюриха\* писал мне, что Г<ервег> поручил ему вызвать меня.

Я отвечал через Гауга\*, что как прежде, так и теперь я Г<ервега> не считаю человеком, заслуживающим удовлетворения; что казнь его началась, и я пойду своим путем. При этом нельзя не заметить, что два человека (кроме Эммы), принявшие сторону Гер<вега> — этот доктор и Рихард Вагнер, музыкант *будущего*, — оба не имели никакого уважения к характеру Гер<вега>. Доктор, посылая вызов, прибавлял: «Что же касается до сущности самого дела, я его не знаю и желаю быть совершенно в стороне». А в Цюрихе он говорил своим друзьям: «Я боюсь, что он не будет стреляться и хочет разыграть какую-нибудь сцену, — только я не позволю над собой смеяться и делать из меня шута. Я ему сказал, что у меня будет другой заряженный пистолет в кармане — и этот для него!»

Что касается до Р. Вагнера\*, то он письменно жаловался мне, что Гауг слишком бесцеремонен, и говорил, что он не может произнести строгого приговора над человеком, «которого он любит и жалеет». «К нему надобно снисхождение — может, он еще и воскреснет из ничтожной, женоподобной жизни своей, соберет свои силы из <эксцентричной> распушенности и иначе проявит себя»<sup>1</sup>.

Как ни гадко было поднимать — рядом со всеми ужасами — денежную историю, но я понял, что ею я ему нанесу удар, который поймет и примет к сердцу весь буржуазный мир, т. е. все общественное мнение в Швейцарии и Германии.

Вексель в 10 000 фран<ков>, который мне дала m-me Нер<вег> и хотела потом выменять на несколько слов позднего раскаянья, был со мной. Я его отдал нотариусу.

С газетой в руке и с векселем в другой явился нотариус к Г<ервегу>, прося объяснения.

— Вы видите, — сказал он, — что это не моя подпись.

---

<sup>1</sup> Письмо Вагнера в приложении\*.

Тогда нотариус подал ему письмо его жены, в котором она писала, что берет деньги для него и с его ведома.

— Я совсем этого дела не знаю и никогда ей не поручал; впрочем, адресуйтесь к моей жене в Ниццу — мне до этого дела нет.

— Итак, вы решительно не помните, чтоб сами уполномочили вашу супругу?

— Не помню.

— Очень жаль; простой денежный иск этот получает через это совсем иной характер, и ваш противник может преследовать вашу супругу за мошеннический поступок, *escroquerie*<sup>1</sup>.

На этот раз поэт не испугался и храбро отвечал, что это не его дело. Ответ его нотариус предъявил Эмме. Я не продолжал дела. Денег, разумеется, они не платили...

— Теперь,— говорил Гауг,— теперь в Лондон!.. Этого негодяя так нельзя оставить...

И мы через несколько дней смотрели на лондонский туман \* из четвертого этажа Morley's House.

Переездом в Лондон осенью 1852 замыкается самая ужасная часть моей жизни,— на нем я перерываю рассказ.

(Окончено в 1858).

...Сегодня второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба? Никого нет возле... иных вовсе нет, другие очень далеко — и не только *географически!*

Голова Орсини, окровавленная, скатилась с эшафота...\*

Тело Энгельсона, умершего врагом мне, покоится на острове Ламанша.

Тесье дю Моте, химик, натуралист, остался тот же кроткий и добродушный, но сзывает духов... и вертит столы.

Charles Edmond — друг принца Наполеона — библиотекарем в Люксембургском дворце\*.

Ровнее всех, вернее всех себе остался К. Фогт.

Гауга я видел год тому назад. Из-за пустяков он поссорился со мной в 1854 году, уехал из Лондона не простившись и перервал все сношения. Случайно узнал я, что он в Лондоне —

---

<sup>1</sup> мошенничество (франц.).—*Ред.*

я велел ему передать, что «настает десятилетие после похорон, что стыдно сердиться без серьезного повода, что нас связывают святые воспоминания и что если он забыл, то я помню, с какой готовностью он протянул мне дружескую руку».

Зная его характер, я сделал первый шаг и пошел к нему. Он был рад, тронут, и при всем эта встреча была печальнее всех разлук.

Сначала мы говорили о лицах, событиях, вспоминали подробности—потом сделалась пауза. Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали совершенно чужие. Я делал усилия поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; разные инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они,—опять стало тяжело.

— Ах, боже мой!—сказал я вдруг, вынимая часы,— пять часов, а у меня назначен rendez-vous<sup>1</sup>— я должен оставить вас.

Я солгал—никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже точно камень с плеч свалился.

— Неужели пять часов?— Я сам еду обедать сегодня в Clapham.

— Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.

И, выйдя на улицу, я был готов... «захохотать»? — нет, заплакать.

Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел он ехать, как говорил, остался дольше, но нам было довольно, и мы не старались увидеться еще раз.

## ТЕДДИНГТОН. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Август 1863.

Бывало, Огарев, в новгородские времена, певал: «Carì luoghi, io vi ritrovaì»<sup>2</sup>; найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.

Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847, спускаясь оттуда в первый раз в Италию. Там ехал

---

<sup>1</sup> свидание (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> Дорогие места, я опять вас увидел (итал.).—Ред.

в 1851 в Иер отыскивать следы моей матери, сына — и ничего не нашел.

Туго стареющая природа осталась та же, а человек изменился, и было от чего. Жизни, наслаждения искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы... Были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем... и ни одного облака впереди. Тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то беззаботном сознании силы.

Во второй раз я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный, я искал тела, потонувший корабль — и не только сзади гнались страшные тени, но и впереди все было мрачно.

В третий раз... еду к детям, еду к могиле, — желанья стали скромны: ищу немного досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя, этого *noli me tangere*<sup>1</sup> устали и старости.

#### ПОСЛЕ ПРИЕЗДА.

21 сентября был я на могиле. Все тихо: то же море, только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов мне были страшны, чужды. *Она не тут*; здесь ее нет — она жива во мне.

Я пошел с кладбища в оба дома, — дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей *charge*?<sup>2</sup> Вот терраса, по которой я между роз и виноградушков ходил задавленный болью и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желаньем облегчения, помощи и, не находя их в людях, искал в вине.

Диван, покрытый теперь пылью и какими-то рамками, — диван, на котором *она* изнемогла и лишилась чувств в страшную ночь объяснений.

Я отворил ставень в спальней дома Дуйса — вот он, старознакомый вид... я обернулся — кровать, тюфяки сняты и лежат на полу, словно на днях был вынос... Сколько потухло, исчезло в этой комнате!.. Бедная страдальца — и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!

<sup>1</sup> Здесь: оставь меня в покое (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> обвинения (франц.).—*Ред.*



# РУССКИЕ ТЕНИ

## I

Н. И. САЗОНОВ

*Сазонов, Бакунин, Париж.* — Имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад... назад — в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства<sup>1</sup>.

Мне слишком дороги наши *две юности*, чтоб опять не приостановиться на них... С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риензи; с Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля.

О Бакунине я говорил, и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде — в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина\*, — делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.

В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, пересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в *крайний край*, — анабаптистом, якобинцем, товарищем

<sup>1</sup> Этот очерк принадлежит к XXXIV главе, стр. 12\*.

Анахарсиса Клоца, другом Гракха Бабёфа,— и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов,—

Но здесь, под гнетом власти царской\*,

Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии да года два в московском гегелизме\*, торопился оставить край, в котором мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово — как оскорбление общественной нравственности.

Вывавшись в 1840 году из России, он в нее не возвращался до тех пор, пока пикет австрийских драгунов не сдал его русскому жандармскому офицеру в 1849 году.

Поклонники целесообразности, милые фаталисты рационализма все еще дивятся премудрому à propos<sup>1</sup>, с которым являются таланты и деятели, как только на них есть потребность, забывая, сколько зародышей мрет, гложет, не выдавши света, сколько способностей, готовностей вянут, потому что их не нужно.

Пример Сазонова еще резче. Сазонов прошел бесследно, и смерть его так же никто не заметил, как всю его жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, которые клали на него его друзья. Легко сказать, что он виноват в своей судьбе; но как оценить и взвесить долю, падающую на человека, и ту, которая падает на среду?

Николаевское время было временем нравственного душегубства, оно убивало не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, так сказать, отрицательными ударами.

Хоронить затянувшиеся существования того времени, выбившиеся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врезавшуюся в песок барку нашу,— моя специальность. Я — их Домажиров, теперь всеми забытый, а некогда всем в Москве известный старик, отставной ординарец Прозоровского. Пудренный, в светлозеленом павловском мундире, являлся он на все выносы, на которых бывал архиерей, становился вперед процессии и вел ее, воображая, что делает дело.

---

<sup>1</sup> кстати (франц.).—Ред.

...На второй год университетского курса, т. е. осенью 1831, мы встретили, в числе новых товарищей, в физико-математической аудитории, двоих, с которыми особенно сблизились.

Наши сближения, симпатии и антипатии шли из одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии: наука, искусство, связи, родительский дом, общественное положение. Там, где открывалась возможность обращаться, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента\*.

Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие. Ему было лет восемнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили. Друг его, красивый собой и нежный, как девушка, совсем напротив, искал, к кому бы приютиться; полный любви и преданности, едва вышедший из-под материнского крыла, с благородными стремлениями и полудетскими мечтами, ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам и отдавался весь и нам и нашей идее,— это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова.

...День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей веры в святость дела — и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству, был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и *à la lettre*<sup>1</sup> пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой

---

<sup>1</sup> буквально (франц.).—*Ред.*



«вселенной»<sup>1</sup>, как четыре диакона, идущие в светлый праздник с четырьмя евангелиями в руках.

Проповедовали мы везде, всегда... Что мы собственно проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилию, к всякому правительственному произволу.

Общества, в сущности, никогда не составлялось; но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены.

С тех пор наша пропаганда не перемежалась через всю жизнь нашу, от университетской аудитории до лондонской типографии. Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутым вопросам, по возбужденным интересам, в журналах, на лекциях, в литературных кругах... Видоизменяясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась верной себе и вносила свой *индивидуальный* характер во все окружающее. Казна подняла нас и сделала нам на свой счет пьедестал *тюрьмой и ссылкой*. Мы возвратились в Москву «авторитетами» в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин, а статьями в «Отечественных записках» мы сами примкнули к петербургскому движению лицейстов и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими.

Умалчивать о значении нашего круга оттого, что я принадлежал к нему, было бы лицемерно или глупо. Совсем напротив, встречаясь в моих рассказах с теми временами, с старыми друзьями тридцатых и сороковых годов, я нарочно останавливаюсь и говорю, не боясь повторений, лишь бы ближе познакомить с ними молодое поколение. Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом от-

---

<sup>1</sup> Universitas.

брасывает их как отсталых, как лишних и праздных людей, фантастов и мечтателей, забывая, что оценка прошлых *лиц*, их значение и «проба» меньше зависят от сравнения *суммы* знания и образа постановления задач прежнего времени и нового, чем от энергии и силы, которую вносили они в свои решения. Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам-Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков.

Смело и с полным сознанием скажу еще раз про наше товарищество того времени, что «это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал», а скитался довольно по белому и по *красному* свету. Я не только говорю о нашем, близком круге, но то же и в той же силе должен сказать о круге Станкевича и о славянофилах. Молодые люди, испуганные ужасной действительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья, — из-за своих убеждений и остались верными им. Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть.

Их преследуют, отдают под суд, отдают под надзор, ссылают, таскают, обижают, унижают, — они остаются те же; проходит десять лет — они те же, проходит двадцать, тридцать — они те же.

Я требую признания им и справедливости.

Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз:

— Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все *жертвовали* общественным положением, имели средства; для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть...

— Я полагаю, — отвечал я раз, — что для казненных *да...*

— По крайней мере не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам правилось быть революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком — не выбор, это — *наше* общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком, упавшим в воду, и купающимся; обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия.

Не признавать людей, потому что они делали из внутреннего влечения то, что другие *будут* делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно.

Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен.

Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только с *истины*; не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями... это — *halte*<sup>1</sup> меры, истины, красоты, это — вечно уравниваемое колебание организма.

Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополию общественного страдания так же несправедливо, как все исключительности и монополии. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью дальше милостыни и насильственной спoliaции<sup>2</sup>, дальше раздачи имения и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании, в ультрадемократизме, как заметил

---

<sup>1</sup> предел, граница (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> грабежа (франц. *spoliation*). — *Ред.*

Прудон, чувством зависти и ненависти — не переходя ни там, ни тут ни к какой строящей мысли, ни к какой практике.

Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла Великого — Сен-Симон \*, так же как фабрикант Роберт Оуэн, не от голодной смерти сделались апостолами социализма.

Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы, вместе с нами, не вошли и те ранние сеятели всего, что возшло и всходит, — декабристы, которых мы так глубоко уважаем.

Отступление это здесь почти некстати.

Сазонов был действительно праздный человек и сгубил в себе бездну сил; затертый разными разностями на чужбине, он пропал, как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой.

Когда нас арестовали в 1834 году и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию\*. Участь его, разрозненная с нами, положила, может, начало последующей жизни его, — жизни какой-то блуждающей и бесследно падающей звезды.

Через год он возвратился в Москву; это был один из самых удушливых и тяжелых периодов прошлого царствования. В Москве его встретил мертвый *salme plat* <sup>1</sup>, нигде ни тени сочувствия, ни живого слова. Мы в *резервах* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились с грубой реальностью провинциального быта.

В Москве все Сазонову напоминало наше отсутствие. Из старых друзей один Кетчер был налицо — человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог идти рука в руку. Кетчер, как мы говорили, был созна-

---

<sup>1</sup> штиль (франц.).—Ред.

тельный дикарь — из образованных, куперовский пионер, с премедитацией<sup>1</sup> возвращавшийся в первобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по теории, студент лет тридцати пяти в роли шиллеровского юноши.

Сазонов побился, побился в Москве,— скука одолела его, ничто не звало на труд, на деятельность. Он попробовал переехать в Петербург — еще хуже; не выдержал он *à la longue* и уехал в Париж без определенного плана\*. Это было еще то время, когда Париж и Франция имели на нас всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны, и были в восторге от всего: от либеральных речей, от песней Беранже и карикатур Филипона. Так было и с Сазоновым. Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут — чужой всем и всему. Другой длинный ряд годов беспечно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд — но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул.

...А горели и его глаза и наполнялись слезой при памяти о наших университетских мечтах... Внутри его глубоко уязвленного самолюбия все еще хранилась вера в *близкий* переворот России и в то, что он призван играть в нем большую роль. Казалось, он и кутил только *покаместь*, в скучном ожидании предстоящего огромного дела, и был уверен, что одним добрым вечером его вызовут из-за стола *café Anglais* \* и повезут управлять Россией... Он пристально присматривался к тому, что делается, и с нетерпением ждал минуты, когда нужно будет принять серьезное участие и сказать последнее, завершающее слово...

---

<sup>1</sup> заранее обдуманное намерение (франц. *préméditation*). — *Ред.*

...После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазонов и Бакунин были недовольны (так, как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации\*), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельд-маршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали.

Разница наших взглядов чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так. Накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские Поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на исстрадавшемся лице его. Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся *sur le tapis*<sup>1</sup>.

— Жаль,— заметил Сазонов,— что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал,— отвечал я.

— Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы...

---

<sup>1</sup> предметом обсуждения (франц.).—*Ред.*

Мне было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну, вы, живущие без цензуры, вы, полные веры в себя, полные сил и талантов, что же вы сделали? Или что вы делаете? Неужели вы воображаете, что ходить с утра из одной части Парижа в другую, чтоб еще раз переговорить с Служальским или Хоткевичем о границах Польши и России\*,—дело? Или что ваши беседы в кафе и дома, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, а другие пять ничего не понимают и говорят,— дело?

— Постой, постой,— говорил Сазонов, уже очень неравнодушно,— ты забываешь наше положение.

— Какое положение? Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Полноте, господа, одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людях. Вы живете в каком-то бреде и лунатизме, в вечном оптическом обмане, которым сами себе отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда две меры, которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские к оценке людей. Строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как наши *пасовали* перед этими матадорами красноречия, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с *vitesse accélérée*<sup>1</sup>. И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрывать *их* невежество (как делают нежные родители и самолюбивые мужья), тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими Анахарсисами\*.

Сазонов, любивший еще в России студентом окружать себя *двором* разных посредственностей, слушавших и слушавшихся его, был и здесь окружен всякими скудными умом и телом лапцарони литературной Киаии\*, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетонов, вроде тощего Жюльвекура, полуповрежденного Тардифа-де-Мело, неизвестного, но великого поэта Буэ; в его хоре были и ограниченнейшие поляки

---

<sup>1</sup> возрастающую быстротой (франц.).—Ред.

из товянщизны \* и тупоумнейшие немцы из атеизма. Как он не скучал с ними—это его секрет; он даже ко мне ходил почти всегда с одним или с двумя понятыми из хора, несмотря на то, что я с ними всегда скучал и не скрывал этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что он сам становился в положение Жюльвекура в отношении к Маррастам, Риберолям и даже к меньшим знаменитостям.

Все это не совсем понятно для современных посетителей Парижа. Никак не надобно забывать, что настоящий Париж — *не настоящий, а новый*.

Сделавшись каким-то *сводным* городом всего света, Париж перестал быть городом по преимуществу французским. Прежде в нем была вся Франция, и «ничего разве ее»; теперь в нем вся Европа да еще две Америки, но *его самого* меньше; он расплылся в своем звании мирового отеля, караван-сарая и потерял свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвращение без пределов.

Само собою разумеется, что отношение иностранцев к новому Парижу изменилось. Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution \*, знали, что они взяли *чужой* город. Кочующий турист считает Париж своим, он его покупает, жуирует им и очень хорошо знает, что он нужен Парижу и что старый Вавилон обстроился, окрасился, побелился не для себя, а для него.

В 1847 году я еще застал *прежний* Париж, к тому же Париж с поднятым пульсом, допевавший Беранжеровы песни с припевом: «Vive la réforme»<sup>1</sup>, невзначай перемешавшимся в «Vive la République!» \*Русские продолжали тогда жить в Париже с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков), *что они живут в нем*, что они гуляют в Palais Royal'e и ходят aux Français<sup>2</sup>. Они откровенно поклонялись львам и львицам всех родов — знаменитым докторам и танцовщицам, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему «Мапа» и всем литературным шарлатанам и политическим фокусникам.

<sup>1</sup> «Да здравствует реформа!» (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> во «Французскую комедию» (франц.). — *Ред.*



Я ненавижу систему дерзости *préméditée*<sup>1</sup>, которая у нас в моде. Я в ней узнаю все родовые черты прежнего, офицерского, помещичьего дантизма, ухарства, переложенные на нравы Васильевского острова и линий его. Но не надобно забывать, что и клиентизм наш перед западными авторитетами шел из той же казармы, из той же канцелярии, из той же передней — только в другие двери, а именно обращенные к барину, начальнику и командиру. В нашей бедности поклонения чему б то ни было, кроме грубой силы и ее знамений — звезд и чинов, потребность иметь нравственную *табель о рангах* очень понятна, но зато перед кем и кем не стояли в умилении лучшие из наших соотечественников? Даже перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма\*. От *немцев* можно сделать заключение, что делалось перед французами, перед людьми действительно замечательными, перед Пьером Леру, например, или перед *самой* Жорж Санд...

Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком «Десяти лет» \* или у Бакунина с Прудон — некоторым образом чин, повышение; но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию.

Месяца через три после моего приезда в Париж я начал крепко нападать на это *чинопочитание*, и именно в пуший разгар моей оппозиции случился спор по поводу Белинского. Бакунин, с обыкновенным добродушием своим, сам вполнину соглашался и хохотал, но Сазонов надулся и продолжал меня считать профаном в практически-политических вопросах. Вскоре я его убедил еще больше в этом.

Февральская революция была для него полнейшим торжеством: знакомые фельетонисты заняли правительственные места, троны качались, их поддерживали поэты и доктора. Немецкие князьки спрашивали совета и помощи у вчера гонимых журналистов и профессоров. Либералы учили их, как крепче нахлобучить узенькие коронки, чтоб их не снесло поднявшейся вьюгой. Сазонов писал ко мне в Рим письмо

---

<sup>1</sup> преднамеренной (франц.).— *Ред.*

за письмом и звал *домой*, в Париж, в единую и нераздельную республику \*.

Возвращаясь из Италии, я застал Сазонова озабоченным. Бакунина не было, он уже уехал *поднимать* западных славян\*.

— Неужели,— сказал мне Сазонов при первом свидании,— ты не видишь, что наше *время пришло*?

— То есть как?

— Русское правительство в *impass'e*<sup>1</sup>.

— Что же случилось, не провозглашена ли республика в Петропавловской крепости?

— *Entendons nous*<sup>2</sup>. Я не думаю, чтоб у нас завтра было 24 февраля. Нет, но общественное мнение, но наплыв либеральных идей, разбитая на части Австрия, Пруссия с конституцией заставят подумать людей, окружающих Зимний дворец. Меньше нельзя сделать, как *октроировать*<sup>3</sup> какую-нибудь конституцию, un simulacre de charte<sup>4</sup>, ну, и при этом,— прибавил он с некоторой торжественностью,— при этом необходимо либеральное, образованное, умеющее говорить современным языком министерство. Думал ли ты об этом?

— Нет.

— Чудак, где же они возьмут образованных министров?

— Как не найти, если б было нужно; но мне кажется, их искать не будут.

— Теперь этот скептицизм неуместен, *история совершается*, и притом очень быстро. Подумай — правительство поневоле обратится *к нам*.

Я посмотрел на него, желая знать, что он — шутит или нет. У него лицо было серьезно, несколько поднято в цвете и нервно от волнения.

— Так-таки просто *к нам*?

— Ну, т. е. *лично* ли к нам или к нашему кругу, все равно. Да ты подумай еще раз, к кому же они супутся?

— Ты какую берешь портфель?

---

<sup>1</sup> в тупике (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> Постараемся понять друг друга (франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> даровать (франц. *octroyer*).— *Ред.*

<sup>4</sup> подобие конституции (франц.).— *Ред.*

— Напрасно смеешься. Это наше несчастье, что мы не умеем ни пользоваться обстоятельствами, *ni se faire valoir*<sup>1</sup>; ты все думаешь о статейках; статейки хорошее дело, но теперь другое время, и один день во власти важнее целого тома.

Сазонов с сожалением смотрел на мою *непрактичность* и наконец нашел людей меньше скептических, уверовавших в близкое пришествие его министерства. В конце 1848 года два-три немца-рефюжье очень постоянно посещали небольшие вечера, устроенные Сазоновым у себя. В их числе был австрийский лейтенант, отличившийся как начальник штаба при Мессенгаузере \*. Раз, выходя часа в два ночи по проливному дождю и вспомнив, что от *rue Blanche* до *quartier Latin*<sup>2</sup> не то чтоб было чересчур близко, офицер роптал на свою судьбу.

— Какая же вам неволя была в такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно, не неволя, да, знаете, *Herr von Sessanoff* сердится, когда не приходишь, а мне кажется, что с ним надобно нам поддерживать хорошие отношения. Вы лучше меня знаете, что он с своим талантом и умом... с тем местом, которое он занимает в своей партии, что он далеко пойдет при предстоящем перевороте в России...

— Ну, Сазонов,— сказал я ему на другой день,— Архимедову точку ты нашел: есть человек, который верит в твою будущую портфель, и этот человек — лейтенант такой-то.

Время шло, переворота в России не было, и послов за нами никто не присылал. Прошли и грозные Июньские дни; Сазонов принялся за «передовую статью» — не журнала, а *эпохи*. Долго работал он за ней, читал небольшие отрывки, поправлял, менял и едва окончил к зиме. Ему казалось необходимым «объяснить последнюю революцию России». «Не ждите,— говорил он в начале,— чтоб я вам стал описывать события,— другие это сделают лучше меня. Я вам передам мысль, идею совершившегося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, он всякий раз, когда брал его, хотел сделать что-нибудь необыкновенное, громовое,— «Письмо» Чаадаева

---

<sup>1</sup> ни заставить ценить себя (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> от Белой улицы до Латинского квартала (франц.).— *Ред.*

постоянно носилось в его уме. Статья поехала в Петербург, была прочтена в дружеских кругах и не сделала никакого впечатления\*.

Еще летом 1848 завел Сазонов международный клуб \*. Туда он привел всех своих Тардифов, немцев и мессианистов. С сияющим лицом ходил он в синем фраке по пустой зале. Он открыл международный клуб речью, обращенной к пяти-шести слушателям, в числе которых был я <sup>1</sup> в роли публики, остальная кучка была на платформе в качестве бюро. Вслед за Сазоновым предстал растрепанный, с видом заспанного человека, Тардиф-де-Мело, и грянул стихотворение в честь клуба.

Сазонов поморщился, но остановить поэта было поздно.

.Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard  
Et vous tous...<sup>2</sup> —

кричал с каким-то восторженным остервенением Тардиф-де-Мело, не замечая смеха.

На другой или третий день Сазонов мне прислал экземпляров *тысячу* программы открытия клуба, тем клуб и кончился. Только впоследствии мы услышали, что один из представителей человечества, и именно представлявший на этом конгрессе Испанию и говоривший речь, в которой называл исполнительную власть *potence exécutive*<sup>3</sup> \*, воображая, что это по-французски, чуть не попал в Англии на настоящую виселицу и был приговорен к каторжной работе за подделку какого-то акта.

За неудавшимся министерством и лопнувшим клубом следовали больше скромные, но и гораздо больше возможные попытки сделаться журналистом. Когда устроилась «La Tribune des Peuples», под главным заведованием Мицкевича, Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хорошие статьи... и замолк; а перед падением «Трибуны», т. е. перед

---

<sup>1</sup> Я был тогда, как выражаются поляки, «паспортный», и не отрезал еще путей возвращения в Россию.

<sup>2</sup> Ворцель, Сазонов, Голынский, дель Бальцо, Леонар и все вы... (франц.).— *Ред.*

<sup>3</sup> исполнительная виселица (франц.).— *Ред.*

13 июнем 1849, был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, *il se sentait déroger*<sup>1</sup>, досадовал за это, ничего не оканчивал, запускать начатое и бросал вполовину сделанное.

В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции «*Voix du Peuple*» Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил, она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов через месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом. «Я Прудона глубоко уважаю, — писал он мне в Женеву, — но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».

Через год Сазонов пристроился к воскрешенной тогда маццинистами «Реформе»\*. Главной редакцией заведовал Ламенне. И тут не было места двум великим людям. Сазонов поработал месяца три и бросил «Реформу». С Прудоним он, по счастью, расстался мирно, с Ламенне — в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламенне, вспомнив привычки клерикальной юности своей\*, прибегнул к *ultima ratio* на Западе и пустил насчет Сазонова вопрос, не агент ли он русского правительства.

В последний раз я Сазонова видел в Швейцарии в 1851. Он был выслан из Франции и жил в Женеве. Это было самое серое, подавляющее время, грубая реакция торжествовала везде. Поколебалась вера Сазонова во Францию и в близкую перемену министерства в Петербурге. Праздная жизнь ему надоела, мучила его, работа не спорилась, он хватался за все, без выдержки, сердился и пил. К тому же жизнь мелких тревог, вечной войны с кредиторами, добывание денег, талант их бросать и неумение распоряжаться вносили много раздражения и печальной прозы в ежедневное существование Сазонова; он и кутил уже невесело, по привычке, а кутить он некогда был мастер.

---

<sup>1</sup> он чувствовал себя униженным (франц.). — *Ред.*

Кстати несколько слов о его домашней жизни и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутеж и не была лишена колорита.

В первые годы своей парижской жизни Сазонов встретился с одной богатой вдовой, с нею он еще больше втянулся в пышную жизнь. Она уехала в Россию, оставив ему на воспитание их дочь и большие деньги. Вдова не успела доехать до Петрополя, как уже ее заменила дебелая итальянка, с голосом, перед которым еще раз пали бы стены иерихонские.

Года через два-три вдова вздумала совершенно неожиданно посетить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа?— спросила она, оглядывая ее с головы до ног.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну как она научит ее говорить по-французски с таким акцентом?.. Это беда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher...<sup>1</sup> — и вдова взяла дочь.

Это был не только чувствительный, но и финансовый кризис. Сазонов был далеко не беден. Сестры посылали ему тысяч двадцать франков в год дохода с его имения. Но, тратя безумно, он и теперь не думал уменьшать свой *train*<sup>2</sup>, а бросился на займы. Занимал он направо и налево, брал у сестер из России что мог, брал у друзей и врагов, брал у ростовщиков, у дураков, у русских и нерусских... Долго держался он и лавировал таким образом, но наконец все-таки оборвался и попал в Клиши, как я уже упомянул.

В продолжение этого времени старшая сестра его овдовела. Услышав, что он в тюрьме, обе сестры поехали его выручать. Как всегда бывает, они ничего не знали о житье-бытье Николенки. Обе сестры были без ума от него, считали его за гения и ждали с нетерпением, когда он явится во всей силе и славе.

Их встретили разные разочарования, они их тем больше удивили, чем меньше они ожидали. На другой день утром они,

---

<sup>1</sup> Но, моя дорогая... Но, мой дорогой... (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> образ жизни (франц.).— *Ред.*

взявши с собой графа Хоткевича, приятеля Сазонова, поехали его выкупать сюрпризом. Хоткевич оставил их в карете и ушел, обещавши через минуту явиться с братом. Час шел за часом, Николенька не являлся... Верно, такие длинные формальности, думали дамы, скучая в фиакре... Прибежал наконец Хоткевич один, с красным лицом и сильным винным запахом. Он возвестил, что Сазонов сейчас будет, что он на прощанье с товарищами угощает их вином и закусывает с ними, что это уж так заведено. Кольнуло это немножко нежное сердце путешественниц... но... но вот и толстый, потный, плотный Николенька бросился в их объятия, и они отправились, довольные и счастливые, домой.

Они слышали что-то... об какой-то итальянке... Пламенная дочь Италии, не устоявшая перед северным гением, и гиперборей, плененный южным голосом, огнем очей... Они, краснея и стыдясь, изъявили робкое желание с ней познакомиться. Он согласился на все и отправился домой. Дня через два сестры вздумали сделать второй сюрприз брату, который еще меньше удался первого.

Часов в одиннадцать утра, в жаркий день, отправились сестры взглянуть на Франческу да Римини и ее житье-бытье с Николенькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... В небольшой гостиной, покрытой коврами, сидел на полу в глубоком неглиже Сазонов и с ним толстая signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянских легких... рассказу Николеньки. Возле них стояло ведро со льдом и в нем, склоняясь набок, бутылка шампанского.

Что было дальше и как, я не знаю, но эффект был сильный и продолжительный. Меньшая сестра приезжала ко мне советаться об этом событии, о котором она говорила с спазмами и слезами. Я ее утешал тем, что первые дни после Клиши не составляют норму.

За всем этим следовала проза переезда на меньшую квартиру... Камердинер, который мастерски подавал галстук из непрободаемой шелковой материи, в которую изловчился вонзать булавку с жемчужиной, был отпущен, да и сама булавка вслед за ним явилась в окне какого-то магазина.

Так прошло еще лет пять. Сазонов возвратился в Париж из Швейцарии, потом опять уехал из Парижа в Швейцарию. Чтоб отделаться от дебелой итальянки, он изобрел самое оригинальное средство — он женился на ней, потом расстался.

Между нами пробежала кошка: он не откровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогое мне. Я не мог перешагнуть через это.

Между тем началась новая эпоха для России; Сазонов рвался принять участие в ней, писал статьи неудававшиеся, хотел возвратиться — и не возвращался<sup>1</sup> и оставил наконец Париж. Долго об нем не было ничего слышно.

...Вдруг какой-то русский, приехавший недавно из Швейцарии в Лондон, сказал мне:

— Накануне моего отъезда из Женевы хоронили старого знакомого вашего.

— Кого это?

— Сазонова, и представьте: ни одного русского не было на похоронах.

И стукнуло сердце — будто раскаяньем, что я его так надолго оставил...

(Писано в 1863).

---

<sup>1</sup> Его статья «О месте России на всемирной выставке» напечатана в II кн. «Полярной звезды».







## II

### ЭНГЕЛЬСОНЫ

*Они оба умерли. Он* не старше тридцати пяти лет, она может его.

*Он* умер лет около десяти тому назад в Жерсее; за его гробом шла вдова, ребенок и коренастый, растрепанный старик с крупными, резкими, запущенными чертами — в его лице были зря перемешаны гений и безумие, фанатизм и ирония, озлобление ветхозаветного пророка и якобинца 1793 года. Старик этот был *Пьер Леру*.

*Она* умерла в начале 1865 года в Испании. О ее смерти я узнал несколько месяцев спустя.

Где ребенок, я не слышал.

Человек, о котором идет речь, был мне близок, был мне дорог, он первый обтер глубокие раны; когда они были свежи, он был моим братом, моей сестрой. *Она*, вряд зная ли, что делает, отдала его от меня. Он стал моим врагом...

Весть о ее смерти опять вызвала их в памяти...

Я взял тетрадь, писанную мною об них в 1859 году, и, вместо псалтыря, прочел ее над покойниками.

Долго думал я, печатать ее или нет, и недавно решил, что *да*. Намерение мое чисто, рассказ истинен. Не упрек хочу я бросить в их могилу, а вместе с читателем еще и еще раз проследить по новым субъектам всю сложную, болезненную сломанность людей последнего николаевского поколения.

Château Boissière, 31 декабря 1865.

В конце 1850 года в Ниццу приехал один русский с женой. Мне их указали на прогулке. Оба они принадлежали к чающим движения воды; он — худой, бледный, чахоточный, рыжеватобелокурый, она — быстро увядающая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, живший у одной русской дамы, сказал мне, что белокурый господин — лицеист \*, что он читает «*Vom andern Ufer*», что он был замешан в деле Петрашевского \* и по всему тому желает со мной познакомиться. Я отвечал, что всегда рад хорошему русскому, тем больше лицеисту, да еще участвовавшему в деле, мало мне известном, но которое для меня было маслиной, принесенной голубем в Ноев ковчег.

Прошло несколько дней, я не видал ни лекаря, ни нового русского. Вдруг как-то часу в десятом вечера мне подали карточку — это был он. Мы сидели с Карлом Фогтом в столовой; я велел гостя просить наверх в гостиную и прежде других пошел туда. Там я застал его, бледного, дрожащего, в каком-то лихорадочном состоянии. Он едва мог сказать свою фамилию; успокоившись немного, он вскочил со стула, бросился ко мне, расцеловал меня и прежде чем я в свою очередь успел прийти в себя, он, со словами: «Так наконец-то я в самом деле вижу вас!» — поцеловал мою руку. — «Что с вами? Помилуйте!» — говорил я ему, но он уже плакал в это время.

Я смотрел на него с недоумением: что это — нервная распушенность или просто помешательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, исключенный из лицея за какой-то вздор, гнушаясь службой \*, которую должен был принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться и, за несколько часов до исполнения своего намерения, пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы» \*. Чтение малопомалу захватило его внимание, ему стало легче, ему стало

стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющее силы, и Энгельсон вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим.

Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволения скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, перерываемую отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроенную голову, резкую диалектическую способность и еще яснее — сломанность, бросавшую его из одной крайности в другую: от негодованья, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния.

Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него, — он как-то слишком сильно действовал на нервы, — но мало-помалу я привык к его странностям и был рад оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей.

Энгельсон бездну читал и бездну учился, был лингвист, филолог и вносил во все знакомый нам скептицизм, который так много берет за боль, оставляемую им. Встарь об нем сказали бы, что он зачитался. Через край возбужденная умственная деятельность была не по силам хилого организма. Вино, которым он побеждал усталость и возбуждал себя, раздувало его фантазию и мысли в длинные и яркие пасмы огня, быстро сжигая его больное тело.

Беспорядок и вино, всегдашняя, раздражительная деятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнейшая праздность, крайность страстей и крайность апатии, несмотря на большую разницу с нашим прежним московским складом, живо напоминали мне бывшее. Опять слышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Он был свидетелем петербургского террора после 1848 и знал литературные круги. Совершенно отрезанный тогда от России, я с жадностью слушал его рассказы.

Мы стали видаться часто, потом всякий вечер.

Жена его тоже была странное существо. Ее лицо, от природы прекрасное, было искажено невралгиями и каким-то тревож-

ным беспокойством. Она была обруселая норвеженка и говорила по-русски с легким акцентом, который ей шел. Вообще она была молчаливее и скрытнее его. Домашняя жизнь их шла не светло; у них было как-то нервно *unheimlich*<sup>1</sup>, натянуто, чего-то недоставало в их жизни, что-то было лишнее в ней, и это постоянно чувствовалось, как невидимое, грозное, электрическое в воздухе.

Часто заставлял я их в большой комнате, бывшей их спальней и приемной в отеле, в совершеннейшей прострации. Ее, с заплаканными глазами, обессиленную, в одном углу; его, бледного как мертвец, с белыми губами, растерянного, молчащего — в другом... Так сидели они иногда часы целые, дни целые, и это в нескольких шагах от синего Средиземного моря, от померанцевых рощей, куда звало все — и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной жизни. Они, собственно, не ссорились, тут не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Он вдруг вставал, подходил к ней, становился на колени и иногда с рыданием повторял: «Сгубил я тебя, мое дитя, сгубил!» И она плакала и верила, что он ее сгубил. «Когда же я, наконец, умру и оставлю его на свободе?» — говорила она мне.

Все это было для меня ново, и мне их было до того жаль, что хотелось с ними плакать и пуще всего сказать им: «Да полноте, полноте, вы вовсе не так несчастны и не так дурны, вы оба славные люди, возьмете лодку и размыкаем горе по синему морю». Я это и делал иногда, и мне удавалось их увозить от самих себя. Но за ночь пароксизм возвращался... Они как-то надразнили друг друга и стояли в таком раздражительном импасе<sup>2</sup>, что пустейшее слово нарушало согласие и снова вызывало каких-то фурий со дна их сердца.

Иной раз мне казалось, что, беспрерывно растравляя свои раны, они в этой боли находят какое-то жгучее наслаждение, что это взаимное разьедаенье сделалось им необходимо, как водка или пикули. Но, по несчастью, организм у обоих начал явно уставать, они быстро неслись в дом умалишенных или в могилу.

---

<sup>1</sup> неуютно (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> тупике (франц.) — *impasse*. — *Ред.*

Натура ее, вовсе не бездарная, но невыработанная и в то же время испорченная, была гораздо сложнее и в некотором смысле гораздо выносливее и сильнее его. К тому же в ней не было ни тени единства, последовательности, той несчастной последовательности, которая у него оставалась в самых вопиющих крайностях и в самых крутых противоречиях. В ней рядом с отчаянием, с желанием умереть, с привычкой ныть и изнывать была и жажда светских наслаждений и затаенное кокетство, любовь к нарядам и роскоши, отвергаемая как-то преднамеренно, назло себе. Она всегда была одета к лицу и со вкусом.

Ей хотелось быть женщиной свободной, по тогдашним понятиям, и огромным, оригинальным психическим несчастьем, в смысле героинь Ж. Санд... но ее, как гиря, стягивала прежняя, привычная, традициональная жизнь совсем в иную сферу.

То, что составляло поэзию Энгельсона и много выкупало его недостатков, то, что ему самому служило выходом, того она не понимала. Она не могла следовать за его скачущей мыслию, за его быстрыми переходами от отчаяния к остроумию и хохоту, от откровенного смеха к откровенным слезам. Она отставала, теряла связь, терялась... Для нее были непонятны карикатурные профили печальных мыслей его.

Когда Энгельсон, после целого запаса каламбуров и шалостей, передразниваний, больше и больше монтируясь, делал целые драматические представления, от которых нельзя было не хохотать до упаду, она уходила с озлоблением из комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведение его при посторонних». Он обыкновенно примечал это, и так как его нельзя было ничем остановить, когда он закусывал удила, то он вдвое дурачился и потом вальсировал к ней и спрашивал ее с горящими щеками и покрытый потом: «Ach, mein lieber Gott, Alexandra Christia-novna, war es denn nicht respektabel?» <sup>1</sup> Она плакала вдвое, он вдруг менялся, делался мрачен и morose <sup>2</sup>, пил рюмку за рюмкой коньяк и уходил домой или просто засыпал на диване.

На другой день мне приходилось мирить, улаживать... и он так от души целовал ее руки и так смешно просил отпущение

<sup>1</sup> Ах, боже мой, Александра Христиановна, разве это не было прилично? (нем.).— *Ред.*

<sup>2</sup> угрюм (франц.).— *Ред.*

греха, что она сама иногда не могла удержаться и смеялась вместе с нами.

Надобно объяснить, в чем состояли эти представления, напосившие столько печали бедной Александре Христиановне. Комический талант Энгельсона был несомненен, огромен; до такой *едкости* никогда не доходил Левассор, разве Грассо в лучших своих созданиях да Горбунов в некоторых рассказах. К тому же половина была импровизирована, он добавлял, изменял, придерживаясь одной рамы. Если б он хотел развить в себе эту способность и привести ее в порядок, он наверное занял бы одно из первых мест в ряду *злых* комиков, но Энгельсон ничего не развил в себе и ничего не привел в порядок. Дикие и полные сил побег талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его и от домашних тревог, отнимавших половину времени, и от хватанья за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. В этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то, что отец его был финляндского происхождения.

Представлял он все на свете: чиновников и барынь, попов и квартальных, но лучшие его представления относились к Николаю, которого он глубоко, душевно, деятельно ненавидел. Он брал стул à la Napoléon, садился на него верхом и сурово подъезжал к выстроенному корпусу... Кругом трясутся эполеты, шляпы, каски... это Николай на смотру; он сердится и, поворачивая лошадь, говорит корпусному командиру: «Скверно». Корпусный с благоговением выслушивает, глядит вслед Николаю и потом, понижая голос и задыхаясь от бешенства, шепчет дивизионному генералу: «Вы, ваше превосходительство, кажется, заняты чем-то другим, а не службой; что за подлая дивизия, что за полковые командиры!! Я им покажу!!!»

Дивизионный генерал краснеет, краснеет и бросается на первого попавшего полковника... Так от одного чина до другого, с неуловимо верными нюансами императорское «скверно» доходит до вахмистра, которого эскадронный командир ругает по-площадному и который, ничего не говоря, эфесом сабли тычет из всей силы в бок флангового солдата, ничего не сделавшего.

Энгельсон представлял с поразительной верностью не только характеристику каждого чина, но все движения всадника, дергающего из бешенства свою лошадь и сердящегося на нее за то, что она не смиренно стоит.

Другое представление было более мирного рода. Император Николай танцует французскую кадрили. *Vis-à-vis*<sup>1</sup> с ним иностранный дипломат, по одну сторону фрунтовик генерал, по другую — сановник из штатских. Это было своего рода оконченный *chef d'oeuvre*. Для представления Энгельсон брал кого-нибудь из нас за даму. Цвет всего был Николай, *самодержавно царствующий* кадрили: сознательная твердость каждого шага, доблесть каждого движения, притом прощающий и милосердный взгляд на даму, который тотчас превращается в приказ генералу и в совет не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генерал, который, вытянувшись и немножко округля локти, с натянутым вниманием идет по темпам на приступ фигуры, под строгим наблюдением государя императора, и растерянный сановник с подкашивающимися от страха ногами, с улыбкой и почти со слезою на глазах — все это было представлено так, что человек, никогда не видавший Николая, мог совершенно основательно узнать, в чем состояла пытка царской кадрили и опасность высочайшего *vis-à-vis*. Я забыл сказать, что дипломат один танцевал с изученной небрежностью и с большим *fini*<sup>2</sup>, скрывая то неловкое чувство беспокойства, которое ощущает самый храбрый человек с зажженной сигарой возле бочки с порохом.

Но из того, что это ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не следует, чтоб в ней самой было больше спетости и гармонии; совсем напротив, у нее в голове был действительный беспорядок, разрушавший всякий строй, всякую последовательность и делавший ее неуловимой. Я на ней на первой изучил, как мало можно взять логикой в споре с женщиной, особенно когда спор в практических сферах. В Энгельсоне неустройство напоминало беспорядок после пожара, после похорон, пожалуй, после преступления, а в ней —

---

<sup>1</sup> напротив (франц.).— *Ред.*

<sup>2</sup> совершенством (франц.).— *Ред.*

неприбранную комнату, в которой все разбросано зря: детские куклы, венчалное платье, молитвенник, роман Ж. Санд, туфли, цветы, тарелки. В ее полусознанных мыслях и полуподорванных верованиях, в притязаниях на невозможную свободу и в зависимости от привычных внешних цепей было что-то восьмилетнее, восемнадцатилетнее, восьмидесятилетнее. Много раз говорил я это ей самой; и странное дело, даже лицо ее преждевременно завяло, казалось старым от отсутствия части зубов и в то же время сохраняло какое-то ребяческое выражение.

Во внутреннем хаосе ее был кругом виноват Энгельсон.

Его жена была избалованным ребенком своей матери, которая не чаяла в ней души; за нее посватался, когда ей было лет восемнадцать, пожилой, флегматический чиновник из шведов. В минуту досады и ребяческого каприза на мать она согласилась выйти за него. Ей хотелось сесть хозяйкой и быть своей госпожой.

Когда медовый месяц воли, визитов, нарядов прошел, новобрачной стало невыносимо скучно; муж, несмотря на то, что тщательно сохранял респектабельность, возил ее в театр и делал *чайные* вечера, ей опротивел; она побилась с ним года три-четыре, устала и уехала к матери. Они развелись. Мать умерла, и она осталась одна, с здоровьем, преждевременно разрушенным в борьбе с нелепым браком, с пустотой, с голодом в сердце, с праздным умом, страдающая, печальная.

В это время Энгельсон был исключен из лицей. Нервный, раздражительный, с страстной потребностью любви, с болезненным недоверием к себе, снедаемый самолюбием... Он познакомился с ней еще при жизни матери и сблизился после ее смерти. Мудрено было бы, если б он не влюбился в нее. Надолго ли или нет, но он должен был полюбить ее сильно. К этому вело все... и то, что она была женщина без мужа, вдова и не вдова, невеста и не невеста, и то, что она томилась чем-то, была влюблена в другого и мучилась своей любовью. Этот другой был энергический молодой человек, офицер и литератор, но отчаянный игрок. Они поссорились за эту неистовую страсть к игре — он впоследствии застрелился.

Энгельсон не отходил от нее, он утешал ее, смешил, занимал. Это была первая и последняя любовь его. Ей хотелось учиться



или, лучше, знать не учась; он взялся быть ее ментором, — она просила книг.

Первая книга, которую Энгельсон ей дал, была «Das Wesen des Christentums» Фейербаха. Себя он сделал комментатором и ежедневно из-под ног своей Элоизы, не умевшей ступить на землю от китайских башмаков старого христианского воспитания, выдергивал скамейку, на которой она кой-как могла не потерять равновесия...

Освобождение от традиционной морали, сказал Гёте, никогда не ведет к добру *без укрепившейся мысли*; действительно, *один разум* достоин сменять *религию долга*.

Энгельсон попробовал женщину, спавшую непробудным сном нравственной беспечности, убаюканную традициями и грезившую все, что грезит слегка христианская, слегка романтическая, слегка моральная, патриархальная душа, воспитать сразу, по методу английских нянек, которые кричащему от боли в животе ребенку наливают в рот рюмку водки. В ее незрелые, детские понятия он бросил разъедающий фермент, с которым мужчины редко умеют справиться, с которым он сам *не справился*, а только понял его.

Ошеломленная ниспровержением всех нравственных понятий, всех религиозных верований и находя у самого Энгельсона одно сомнение, одно отрицанье прежнего и одну иронию, она потеряла последний компас, последний руль и пошла, как пущенная в море лодка, без кормила, вертась и блуждая. Баланс, выработанный самой жизнью, держащийся, как в маятнике противоположными пластинками, нелепостями, исключаящими друг друга и держащимися на этом, — был нарушен.

Она бросилась на чтение с яростью, понимала, не понимая и примешивая к философии нянюшек философию Гегеля, к экономическим понятиям чопорного хозяйства — сентиментальный социализм. При всем этом здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили; она чахла, томилась, смертельно хотела ехать за границу и боялась каких-то преследований и врагов.

После долгой борьбы, собравши все силы, Энгельсон сказал ей:

— Вы хотите путешествовать, как вы поедете одни?.. Вам наделают бездну неприятностей, вы потеряетесь без друга, без

защитника, который имел бы право вас защищать. Вы знаете, что за вас я отдам мою жизнь... Отдайте мне вашу руку — и вас буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, ваш отец, ваша нянька и муж только перед законом. Я буду с вами — близко вас...

Так говорил человек моложе тридцати лет, страстно любивший. Она была тронута и приняла его мужем безусловно. Через некоторое время они уехали в чужие края.

Таково было прошедшее моих новых знакомых. Когда Энгельсон все это рассказал мне, когда он горько жаловался, что брак этот загубил их обоих, и я сам видел, как они изнывали в каком-то нравственном угаре, который они преднамеренно вздували, я убедился, что несчастье их состоит в том, что они слишком мало знали друг друга прежде, слишком тесно придвинулись теперь, слишком свели всю жизнь на личный лиризм, слишком верят, что они муж и жена. Если б они могли разъехаться... каждый вздохнул бы на свободе, успокоился бы, а может, и вновь расцвел бы. Время показало бы, в самом ли деле они так нужны друг для друга; во всяком случае горячка была бы прервана без катастрофы. Я не скрывал моего мнения от Энгельсона \*; он соглашался со мной, но все это был мираж; в сущности, у него не было силы ее оставить, у нее — броситься в море... они тайно *хотели* остаться при кануне этих решений, не приводя их в исполнение.

Мнение мое было слишком просто и здорово, чтоб быть верным в отношении к таким сложно-патологическим субъектам и к таким больным нервам.

## II

Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале сороковых годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих

безграмотностей, это явления совсем другого времени — но в них было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смело на деятельность и удивили всю Россию «Словарем иностранных слов» \*. Наследники сильно возбужденной умственной деятельности сороковых годов, они прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье, в последователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг, или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда безмерное самолюбие; не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время не уверенное в себе.

Между их *запросом* и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для понимания, для усвоения разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них закормы были полны. «Обидное непризнание общества» их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и *Fratzenhaftigkeit* <sup>1</sup>.

На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим \*. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же *видовым, болезненным надломом* по всем суставам.

Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели. Кто не знает знаменитую инструк-

---

<sup>1</sup> дурачества (нем.).—Ред.

цию учителям кадетских корпусов?\* В лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него\*. Вся система казенного воспитания состояла в внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло большое, сумасшедшее... Вместе с жгучим самолюбием прививалась какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталость перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, но имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. Мне впоследствии случалось часто иметь на духу не только мужчин, но и женщин, принадлежавших к той же категории. Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, и, наконец, убедился потом, что все это одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возраженья и состраданья согласиться с кающимся, чтоб увидеть, как легко уязвимы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский священник перед сильными мира сего, имеете только право торжественно отпустить грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились — страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Неубузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это психологическая задача.

В прежних студентских кружках бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но в самой пуще брани *кой-что* оставалось вне битвы... Для наших нервных людей энгельсоновского поколения этого заветного места не существовало, они не

считали нужным себя сдерживать; для пустой и мимолетней мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор *и плакали потом*. С переменной нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренны, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна — с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслаждения, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи.

### III

Энгельсоны вскоре уехали в Рим и Неаполь, они хотели остаться там месяцев шесть и возвратились через шесть недель. Ничего не выдавши, они таскали свою скуку по Италии, мыкали свое горе в Риме, грустили в Неаполе и наконец решились ехать обратно в Ниццу, «к вам на лечение» — писал он мне из Генуи \*.

Мрачное расположение их выросло во время их отсутствия. К нервному расстройству прибавились размолвки, принимавшие все больше и больше озлобленный, желчевого характер. Энгельсон был виноват в необузданности слов, в жестких выражениях, но вызывала их всегда она, вызывала преднамеренно, с затаенной колкостью и с особенным успехом в самые добродушные минуты его; забыться он не мог ни на минуту.

Молчать Энгельсон вовсе не умел, говорить со мною облегчало его, и потому он мне рассказывал все, даже больше, чем нужно; мне было неловко, я чувствовал, что не могу быть с ними так откровенен, как они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокаивала высказанная жалоба — меня нет.

Раз, сидя со мной в небольшой таверне, Энгельсон сказал, что он обессилен в ежедневной борьбе, что выхода из нее нет, что снова мысль о прекращении своего существования ему представляется последним спасением... При его нервной необузданности можно было ждать, что если наконец ему попадется пистолет или склянка яда, то он когда-нибудь и попробует то или другое...

Мне было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужем за человеком светлого нрава, который умел бы ее тихо развивать, *весело веселиться* и в случае нужды действовать не только убеждением, но и авторитетом, — авторитетом серьезным, без иронии. Есть несовершеннолетние натуры, которые не могут себя вести сами, так, как есть лимфатические сложения, которым необходим корсет, чтоб позвоночный столб не гнулся.

Пока я думал об этом, Энгельсон, продолжая свой рассказ, сам пришел к тому же заключению. «Женщина эта меня не любит, — говорил он, — да и не может любить; то, что она понимает во мне и ищет, скверно, а что во мне есть хорошего — для нее китайская грамота; она испорчена буржуазностью, с своим внешним *Respektabilität*'ом, с мелким фамилизмом<sup>1</sup>; мы замучим друг друга, это для меня ясно».

Мне казалось, что если мужчина может таким образом говорить о близкой женщине, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно с глубоким участием следя за их жизнью, часто задавал себе вопрос, зачем они живут вместе.

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьям, по старой нянюшке; отчего вы не устроите, чтоб она ехала домой, а вы бы остались здесь?

---

<sup>1</sup> семейственностью, от *famille* (франц.). — *Ред.*

— Тысячу раз думал я об этом, я только этого и хочу, но, во-первых, ей не с кем ехать, а во-вторых, она в Петербурге пропадет с тоски.

— Да ведь она и здесь пропадает с тоски. Что не с кем послать, это воспоминания наших барских затей; вы можете проводить вашу жену до парохода в Штеттин, а пароход сам дорогу найдет. Если у вас нет денег, я вам дам взаймы.

— Вы правы, и я это сделаю непременно. Мне больно, мне жаль ее; все, что было во мне любви, положил я на ее голову; я в ней искал не только жены, но существо, которое я хотел развивать, воспитывать по своей фантазии, я думал, что она будет моим ребенком,— задача была не по силам; да и кто же знал, сколько противодействий я найду, сколько упрямства? — Он помолчал и потом добавил:— Сказать вам всю мою мысль? Ей надобно другого мужа... Если б нашелся человек, достойный ее, которого бы она полюбила, я сдал бы ее с рук на руки, и мы оба выздоровели бы—это важнее Петербурга.

Я все это принимал *au pied de la lettre*<sup>1</sup>. Что он был искренен, в этом нет сомнения; тут-то и лежит загвоздка этих подвижных, не владеющих собой организаций; они могут, как хорошие актеры, выграться в разные роли и до того с ними сродниться, что картонный кинжал им кажется настоящим и они льют истинные слезы о «Гекубе».

Мы тогда жили вместе в С.-Елен \*. Дни два спустя после моего разговора с Энгельсоном, поздно вечером вошла М-ше Энгельсон в гостиную, со свечой в руке и с заплаканным лицом, поставила свечу на стол и сказала, что желает поговорить со мной. Мы сели... После небольшой и неясной прелюдии о судьбе, которая ее преследует, о несчастном характере Энгельсона и ее самой, она объявила, что решила возвратиться в Петербург и не знает, как это сделать. «Вы одни имеете на него влияние; уговорите его меня *в самом деле* отпустить; я знаю, что он в минуты досады на словах готов меня сей час посадить в почтовую карету, но все это *на словах*. Уговорите его, спасите нас обоих и дайте слово первое время походить

---

<sup>1</sup> буквально (франц.).—Ред.

за ним, похолить его... ему будет тяжело, он больной, нервный человек», — и она, снова рыдая, покрыла лицо платком.

В глубину горести ее я не верил, но очень хорошо понял, какого я дал маху, говоря откровенно с Энгельсоном: для меня было ясно, что он передал ей наш разговор.

Выбора мне не оставалось, я повторил свои слова, смягчивши их в форме. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поедет, то бросится в море, что она вечером сожгла многие бумаги и желает мне поручить какие-то другие в запечатанном пакете. Мне стало ясно, что и она вовсе не так страстно хочет ехать, а хочет, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверх того, я увидел, что если она колеблется без всякого решения, то он и не колеблется, а вовсе не хочет, чтоб она ехала. Она над ним имела большую власть, она знала это и, основываясь на ней, позволяла ему беситься, покрывать пеной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй он как хочешь, дело пойдет *не по его воле, а по ее*.

Совета моего она мне никогда не прощала, она боялась моего влияния, хотя и имела явное доказательство моего бессилия.

Дней десять не было речи об отъезде. Потом пошли периодические схватки. В неделю раз или два она являлась с заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будет собираться в Петербург или на дно морское. Энгельсон выходил из своей комнаты с зеленым лицом, с судорожным подергиванием и дрожащими руками, он исчезал часов на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпивший, носил визировать пасс или брать пропуск в Геную, потом все утиhalo и приходило в обыкновенное русло.

Наружно М-ше Энгельсон со мною совершенно примирилась, но с этого времени у ней началось слагаться что-то вроде ненависти ко мне. Прежде она спорила со мной, сердилась не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядел, что я не умилился перед ее трагической судьбой, не принимал ее за несчастную жертву, а глядел на нее как на капризную больную, что я не только не сделался платоническим соплакальщиком ее, а сомневался, не наслаждение ли вместо горести доставляют ей слезы, душевраздирательные сцены, объяснения в несколько часов и пр., и пр.



Время шло, и исподволь многое изменилось. Она с быстротою, которая только встречается у нервных больных, поздоровела, сделалась веселее, стала еще внимательнее к туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили к прежним сценам между нею и Энгельсоном, к прощанию Сократа перед цикутой и к готовности идти по следам Сафо в пучину морскую, но в сумме дела шли лучше. Вечно полулежащая от слабости, вечно утомленная женщина выпрямилась, как Сикст V\*, стала полнеть, и до того, что раз бедный Коля, сидя за обедом и глядя на ее полную грудь, сказал, покачивая головой: «Sehr viel Milch!»<sup>1</sup>

Видно было, что новый интерес занял ее жизнь, что что-то разбудило ее от болезненной летаргии. С тех пор как мы объяснились с ней, она начала упорную игру, обдумывая всякий ход, не хуже игроков du café Régent, и терпеливо поправляя ошибки. Иногда она изменяла себе, делала промахи, увлекалась в ту или другую сторону, но с постоянством возвращалась к прежнему плану. План этот шел уже дальше закрепления в свою власть Энгельсона, дальше отместки мне; он состоял в том, чтоб завладеть всеми нами, всем домом и, пользуясь усиливающейся болезнью Natalie, взять в свои руки воспитанье, всю жизнь, si non, по<sup>2</sup>, т. е. в противном случае разорвать во что б ни стало мою связь с Энгельсоном.

Но прежде чем она достигла последнего результата, игра представляла много ходов, очень трудных, тяжелых уступок, кошачьей тактики и большого выжидания; многое она сделала, но не все. Бесконечная болтовня Энгельсона мешала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергию, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замысел... но личности и самолюбия пьянати, вступая в темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядеть. Обыкновенно свет вносится в комнату на шум уже совершившегося преступления, т. е. когда с одной стороны неисправимая беда, с другой — угрызение совести.

---

<sup>1</sup> «Очень много молока!» (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> если нет, нет (лат.). — *Ред.*

...О несчастиях, обрушившихся на меня в 1851 и 1852 годах, и говорю в другом месте. Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь \*. Мы с ним долго прожили бы возле кладбищ, но беспокойное самолюбие его жены не пощадило и траура.

Несколько недель после похорон \* Энгельсон, печальный, встревоженный, видимо, нехотя и, видимо, не от себя, спросил меня, не думаю ли я поручить его жене воспитание моих детей.

Я отвечал, что дети, кроме моего сына, поедут в Париж с Марьей Каспаровной и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.

Ответ мой огорчил его; огорчать его мне было больно.

— Скажите мне, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать детей?

— Нет,— отвечал в свою очередь Энгельсон,— но.... но, может, это — *planche de salut* <sup>1</sup> для нее; она все-таки страдает, как прежде, а тут ваше доверие, новый долг.

— Ну, а как опыт не удался?

— Вы правы, не будем говорить об этом... а тяжело!

Энгельсон был, действительно, согласен со мной и замолчал.. Но она не ожидала такого простого ответа; уступить на этом вопросе я не мог, она не хотела и, вне себя от досады, тотчас решила увести Энгельсона из Ниццы. Дня через три он объявил мне, что едет в Геную.

— Что с вами?— спросил я,— и за что же так скоро?

— Да что, вы видите сами: жена не ладит ни с вами, ни с вашими друзьями, я уж решился... да оно, может, и лучше.

И через день они уехали.

А потом уехал я из Ниццы \*. В Генуе, проездом, мы встретились мирно. Окруженная нашими друзьями, в числе которых были Медичи, Пизакане, Козенц, Мордини, она казалась спокойнее и здоровее. Но тем не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтоб не кольнуть меня самым злым образом. Я отходил, молчал, это не помогало. Даже когда я уехал в

---

<sup>1</sup> якорь спасения (франц.).—Ред.

Лугано, она продолжала свои отравленные *petits points*<sup>1</sup>, и это в редких приписках к письмам мужа, как будто с его «визой».

Наконец булабочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем, вывели меня из терпенья. Я их ничем не заслужил, ничем не вызвал. На одну из злых приписок, в которой говорилось о том, как дорого еще Энгельсон поплатится за то, что беззаветно отдается друзьям, не зная, что они для него ничего не сделают,—я написал Энгельсону, что пора положить этому предел.

«Я не понимаю,— писал я,— за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдал ей моих детей, то вряд ли она права». Я напомнил ему наш последний разговор и прибавил: «Мы знаем, что Сатурн ел своих детей, но чтоб кто-нибудь *благодарил своих друзей за их участие* детским воспитанием, это неслыханно».

Этой выходки она мне не простила, но, что гораздо удивительнее, и он не простил, хотя сначала не показал вовсе вида... а поперкнул меня этими словами через годы...

Я уехал в Лондон \*, Энгельсон поселился на зиму в Женеве, потом перебрался в Париж<sup>2</sup>.

## V

Пословицу «Кто на море не бывал, тот богу не молился» можно так переделать: женщина, у которой детей не бывало, не знает бескорыстной преданности, и это особенно относится к замужним женщинам; бездетность у них развивает почти всегда грубый эгоизм, разумеется, если по дороге не спасет какой-нибудь общий интерес. Старая дева имеет какие-то посевшие стремления, смягчающие ее, она все еще ищет и все надеется; но женщина без детей и с мужем — в гавани, она благополучно приехала, сначала инстинктивно погрустила о том, что детей нет, потом успокоилась и живет в свое удовольствие, а если и оно не удастся, в *свое горе* или в чье-нибудь неудовольствие, в чье-нибудь горе, хоть горничной. Рождение ребенка

---

<sup>1</sup> уколы (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> К этому времени относится ряд очень замечательных его писем, из которых значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.



может ее спасти. Ребенок приучает мать к жертве, к подчинению воли, к страстной трате времени *не на себя* и отучает от всякой внешней награды, признания, спасибо. Мать с ребенком не считается, она ничего не требует от него, кроме здоровья, аппетита, сна и — и его улыбки. Ребенок, не выводя женщины из дому, превращает ее в гражданское лицо.

Совсем не то, когда бездетной женщине в дом попадетсч почему бы то ни было чужой ребенок, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будет, пожалуй, наряжать его, играть с ним, но когда ей *хочется*; она будет баловать его, но по-своему; во всех других случаях ребенок будет напрасно стучаться в окаменелое или ожиревшее сердце. Словом, ребенок может наверное рассчитывать на все льготы и холения, которые делают шпицу, канарейке, — но не больше.

У одного из наших близких знакомых была дочь \*, родившаяся от одной молодой вдовы. В видах *замужества* матери ребенка хотели увести и украли во время отсутствия отца. После долгих розысков девочку нашли; но отец, изгнанный из Франции, не мог за ней приехать в Париж, да и к тому же не имел денег. Не зная, куда деть ее, он попросил Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсон согласился, но очень скоро раскаялся. Девочка шалила, и, вероятно, очень много, взяв в расчет ее неправильное воспитание; но все же она шалила, как пятилетний ребенок, и не с гуманным пониманьем Энгельсона можно было опрокинуться на девочку за шалости. Да и беда была не в том, что она шалила: *она мешала*, и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не делавшей. Энгельсон с каким-то ожесточением жаловался мне письменно на ребенка!

Между прочим, насчет ее отца Энгельсон писал мне: «Не странно ли, что Х<оецкий>, соглашавшийся когда-то с вами, что жена моя *не способна воспитывать ваших детей, поручил ей свою собственную дочь?*»

Энгельсон знал очень хорошо, что отец девочки *не выбрал* его жену воспитательницей, а был приведен материальной нуждой в необходимость прибегнуть к ее помощи. В этом замечании было столько жесткого, невеликодушного, что у меня перевернулось сердце. Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой *смелости* языка, не останавливающегося ни

перед чем! Глубоко язвящие намеки, которые могут в минуту раздражения прийти каждому в голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятя людьми, к которым принадлежал Энгельсон, с легкостью и наслаждением при малейшей размовке.

Дав волю своему раздражению, Энгельсон в письме своем по дороге оборвал и Тесье и других приятелей, даже самого Прудона, которого очень уважал. Вместе с письмом Энгельсона пришло из Парижа письмо Тесье \*, он дружески шутил о «гневах и шалостях» Энгельсона, не подозревая, что он писал об нем. Мне была противна роль какого-то отрицательного предательства, и я написал Энгельсону \*, что стыдно так бранить людей, с которыми жизнь нас свела, что, несмотря на их недостатки, все же они люди хорошие, как он сам знает. В заключение я говорил, что стыдно так преувеличивать всякое дело и ахать, и охать, и приходиться в отчаяние от шалостей пятилетнего ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, друг, целовавший в порыве энтузиазма мою руку, приходивший ко мне делить всякую печаль и предлагавший мне кровь свою и свою жизнь, не на словах, а *в самом деле...*\* этот человек, связанный со мной своею исповедью и моими несчастиями, которых был свидетелем, гробом, за которым мы шли вместе,— все забыл. Его самолюбие было затронуто... ему надобно было отомстить — он и отомстил. Через *четыре дня* я получил от него следующий ответ:

«2 февраля 1853.

Слухи носят, что вы решились ехать сюда; здоровье Марии Каспаровны, кажется, восстанавливается (по крайней мере на прошедшей неделе она стала пободрее духом, встает с постели минут на пять, имеет аппетит); о поручении, данном вами мне к Т., имею только то сказать, что вещи, которые генерал \* просит его приготовить, не у Т., а оставлены им у Фохта в Женеве, что мадам Т. находит «*peu gracieux*» <sup>1</sup> ваше молчание

---

<sup>1</sup> невежливый (франц.).—Ред.

и прибавляет, что переписка с вами не могла бы причинить им неприятностей.

Словом, до вашего приезда\* я мог бы и не писать вам, если б мне не пришло на ум, что молчание часто может быть принято за знак согласия. Я не хочу вводить или продержать вас в заблуждении насчет меня: я не согласен с тем, что сказано в последнем вашем письме ко мне (от 28 января).

Вот ваши слова: „Ну скажите, стоило ли так расходиться — и биби — и младенец — и уж ай, ай, ай, и уж боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это вас. И что нового! Вы людей знали и видели. Я становлюсь с каждым днем снисходительнее и дальше от людей”.

На это отвечаю, не вдаваясь нынешний раз в диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя вас с вашим довольством самим собою, что, разумеется, смешон человек, который, облепленный комарами или клопами, впадает в ярость и бешенство, но что еще смешнее тот, который, страдая от нападений таких насекомых, усиливается придать себе вид равнодушия стоического.

Вы, может быть, с этим не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего*. Не сердитесь! Погодите! Дайте договорить. В первой главе вашего „Vom andern Ufer”, в русском и немецком текстах, следующие ваши слова: „Человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастье; страдание отвлекает, утешает... да, да, утешает”\*. — Как я уже в Ницце вам говорил, я сначала принял было это ваше изречение за обмолвку, хотя и нехорошую. Тогда вы мне возразили, что вы не помните этих слов.

Нисколько не относя исключительно к вам эти слова, т. е. не полагая, чтоб вы о людях вообще судили в этом случае по самому себе, я до сих пор думал, что это ваше изречение, как большая часть des „Réflexions” de La Rochefoucauld \*, на которые оно очень похоже, как мастерски однажды сделанная Белинским характеристика талантливых людей нашего времени \*, — „ипербола, шутка”. И потому, когда я узнал, что Х. в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле\*, я принял это его негодование не за роль, а за чувство, и написал вам: „Да, я вижу, Х. — мне брат”. — Когда

Т. (при свидетеле) объявлял, что он осужден „на вечность + два года“, я также поверил этому и даже пересказал это некоторым людям. Вчера мне г-жа Т. сказала, что ее муж никогда не был осужден. Ergo <sup>1</sup>, я в глазах тех, кому я пересказал его ложь, такой же благер <sup>2</sup>, как он. Это мне неприятно. Кто виноват? Разумеется, я, потому что я был „молод, легковверен“; но и они виноваты, потому что они лгали. Нет, таких благеров, как я увидел в Ницце, я ни на Руси, ни инде еще не видал. В письме моем к вам от 19 января я сказал вам, что я хочу без эскландра<sup>3</sup> удалиться от этих людей, они бо мне антипатичны. Написал же я вам это потому, что с вами я хочу играть в открытую. Но, погруженный в себя, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вероятно, не дали бы мне и самого пустого поручения к Т. — Вы тоже говорили, что вы удаляе-тесь от людей, но вместе с тем просите их вам писать. Я не умею таким образом удаляться.

Полагая, что в серьезных делах откровенность есть необходимое условие честности, я имею еще следующее сказать вам, не теряя времени: вы пишете мне, что, отправив генерала в Австралию \* и дав бессрочный отпуск всем, вы останетесь при мне и при врагах и что если б к тому же я поустоялся и меньше зависел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною сделали бы un bout de chemin <sup>4</sup>. Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угодно, служить вам моим советом, но не делом»...

Конечно, я не предполагал, чтоб человек, который слезами, рыданием вызвал меня на трудно произносимые доверия, — человек, так близко подошедший ко мне и на которого я опирался, как на брата, в минуты слабости и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, свидетель всего, что было, примет мои несчастья за кутурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, он заискивал в ней камни и откладывал

---

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).—*Ред.*

<sup>2</sup> враль (франц. blagueur).—*Ред.*

<sup>3</sup> скандала (франц. esclandre).—*Ред.*

<sup>4</sup> часть пути (франц.).—*Ред.*



их за пазуху, чтоб при случае пустить в меня. Ему мало было оборвать настоящее, он грязнил, опошлял прошедшее; разрываясь со мной, он не почтил его унылым чувством молчания, а покрыл его безжалостной бранью и ироническим шпыняньем.

Больно мне было это письмо, очень больно \*.

Я отвечал ему грустно, сквозь затаенные слезы, я прощался с ним и просил его прекратить переписку.

Затем наступило между нами совершеннейшее молчание...

С Энгельсоном еще раз что-то оторвалось внутри, я становился еще беднее, еще разобщеннее; холод кругом, ничего близкого... Иногда будто теплее протягивалась рука; какой-нибудь фанатик без понимания, не разобравший сначала, что мы не одной религии, быстро подходил и так же быстро отворачивался. Впрочем, я и сам не искал большой близости с людьми; я привыкал к встречным и проходящим, к разным анонимам, от которых ничего не требовал и которым ничего не давал, кроме сигар, вина и иногда денег. Одно спасение было в работе: я писал «Былое и думы» и устраивал русскую типографию в Лондоне.

## VI

Прошел год. Типография была в полном ходу, ее заметили в Лондоне и боялись в России. Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писал Энгельсон. Я тотчас напечатал ее\*.

Потом пришло от него письмо \*, в котором он просил окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дело \*. Разумеется, я ему протянул обе руки. Вместо ответа он явился сам в Лондон \* на несколько дней и остановился у меня. Рыдая и смеясь, просил он забвения прошлого... осыпал меня словами дружбы и снова схватил мою руку и прижал ее к своим губам. Я обнял его, глубоко тронутый и в твердой уверенности, что ссора не возобновится.

Но уже через несколько дней показались облака, мало предвещавшие хорошего. Оттенок фатализма, бонапартизма, который проглядывал в его письмах из Женевы, вырос. Из ненависти к Николаю и хористам французской революции

1848 года он переходил *arme et bagage* <sup>1</sup> в враждебный стан. Мы поспорили, он был упорен. Зная, как он бросается в крайности и как быстро возвращается, я ждал отлива, но его не было.

По, несчастью, Энгельсон возился тогда с удивительным проектом, в который был страстно влюблен.

Он выдумал воздушную батарею, т. е. шар, начиненный горючими веществами и вместе с тем печатными воззваниями. Дело было при начале Крымской кампании. Энгельсон предлагал пускать такие шары с кораблей на балтийские берега. Проект этот мне очень не нравился: что за пропаганда с прожектиями, что за смысл нам, русским, жечь финские деревни, помогать Наполеону и Англии? \* К тому же Энгельсон не открыл никакого нового средства направлять воздушные шары. Я мало возражал на его план, воображая, что он сам бросит эти бредни.

Не тут-то было. Он отправился с своим проектом к Маццини, к Ворцелю. Маццини сказал, что он такого рода делами не занимается, а готов переслать через своих друзей его проект военному министру. Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили в стороне. Он просил меня собрать двух-трех военных из рефюжье и предложить им вопрос о шаре. Все были против, и я еще и еще раз говорил ему, что и я против, что наше *дело*, наша *сила* — пропаганда и пропаганда, что мы падем нравственно, становясь на одну сторону с Наполеоном, и погубим себя в глазах России, *faisant cause commune* <sup>2</sup> с врагами ее. Энгельсон сердился, выходил из себя. Он ехал в Лондон на верное торжество и, встретивши оппозицию даже во мне, незаметно возвращался к неприязни.

Вскоре он отправился за женой и привез ее в мае месяце в Лондон. В их отношениях сделалась совершенная перемена: она была беременна, он — в восторге от будущего ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения — все прошло. Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. Духи ей предсказывали

---

<sup>1</sup> со всею амуницией (франц.).—*Ред.*

<sup>2</sup> будучи заодно (франц.).—*Ред.*

многое и между прочим скорую смерть мою. Он читал Шопенгауэра и, улыбаясь, говорил мне, что всеми силами мирволит мистическому направлению ее, что эта вера и экзальтация вносит мир и покой в ее душу.

Со мной она обошлась дружески,—может, в ожидании близкой смерти,—приходила ко мне с работой и заставляла меня читать главы из «Былого и думы» и новые статьи. Когда через месяц начались опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров, *она являлась примирительницей*—приходила ко мне, прося пощады *больному* и уверяя, что всегда весной на Энгельсона находит ипохондрическое расположение, в котором он сам не знает, что делает

Ее покойная кротость была кротость победителя, милосердие полного торжества. Энгельсон, воображавший, что он ее держит в руках вертящимися столами, упустил одно из виду: что она вертела не только столами, но и им, и что он больше, чем столы, всегда отвечал то, что она хотела.

Одним вечером Энгельсон снова заспорил о своих шарах с одним французом \*, наговорил ему разных колкостей, тот отделался пронией и, разумеется, взбесил Энгельсона еще больше. Он схватил шляпу и убежал. Поутру я пошел к нему, чтоб объяснить по этому поводу.

Я его застал за письменным столом, с лицом, совершенно искаженным вчерашней злобой, с безумным выражением глаз. Он сказал мне, что француз (рефюжье, которого я знал давно и знаю теперь)— *шпион*, что он его разоблачит, убьет, и подал мне письмо, только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины в Париже; в письме он припутал людей, живущих в Париже, и клеветал на выходцев в Лондоне. Я остолбенел.

— И вы это письмо намерены послать?

— Сейчас.

— По почте?

— По почте.

— Это *донос*,— сказал я и бросил на стол его маранье.— Если вы пошлете это письмо...

— Так что?— закричал он, перерывая меня голосом сиплым, диким,— вы хотите грозить мне, чем? Не боюсь я ни вас,

ни подлых друзей ваших!— при этом он вскочил, раскрыл большой нож и, махая им, кричал, задыхаясь:— Ну, ну, покажите-ка пруть... Покажу и я вам, не угодно ли попробовать?... милости просим!

Я обернулся к его жене и, сказавши:

— Что это он у вас, совсем с ума сошел? Вы бы убрали его куда-нибудь,— вышел вон.

И на этот раз М-ме Энгельсон явилась примирительницей. Она пришла ко мне утром, прося забыть, что было вчера. Письмо он изодрал — был болен, печален. Она принимала все это за несчастье, за физическое расстройство, боялась, что он сильно занеможет, плакала. Я уступил ей.

Затем мы переехали в Ричмонд, и Энгельсон тоже. Рождение сына и первые месяцы хлопот об нем оживили Энгельсона; он потерял голову от радости, в минуту рождения малютки он обнял и расцеловал сначала горничную, потом старуху, хозяйку дома... Страх о здоровье маленького, новость отцовского чувства, новость самого младенца заняли Энгельсона на несколько месяцев, и все шло опять ладно.

Вдруг получаю от него большой пакет при записочке, чтоб я прочел вложенную бумагу и сказал откровенно мое мнение. Это было письмо к французскому министру военных дел \*. В нем он снова предлагал шары, бомбы и статьи. Я нашел все дурным, от пути, к которому он обращался, до слога, мало сохранившего достоинство, и высказал это.

Энгельсон отвечал дерзкой запиской \* и начал дуться.

Вслед за тем он мне дал другую рукопись для напечатания. Я не скрыл от него, что действие ее на русских будет прескверное и что я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня в желании завести цензуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию исключительно для печати моих «бессмертных творений». Я напечатал рукопись \*, но чутье мое оправдалось: она возбудила в России общее негодование.

Все это показывало, что новый разрыв не далек. Признаюсь, на этот раз я не много об этом жалел. Перемежающаяся лихорадка с пароксизмами дружбы и ненависти, целованья рук

и нравственных заушений мне надоели. Энгельсон перешел за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминания, ни благодарность. Я его меньше и меньше любил и хладнокровнее ждал, что будет.

Тут случилось событие, которое своей важностью покрыло на время все споры и раздоры одним чувством радости и ожидания.

Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, разворачиваю «Теймс», читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia»<sup>1</sup>.

Не помня себя, бросился я с «Теймсом» в руке в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон; я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то, он умер!» Энгельсон, по своему обыкновению, прыгал, перепцеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского,— никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии.

В воскресенье дом мой был полон с утра; французские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, даже английские знакомые

---

<sup>1</sup> «Смерть русского императора» (англ.).—*Ред.*

приходили, уходили с сияющим лицом. День был ясный, теплый; после обеда мы вышли в сад.

На берегу Темзы играли мальчишки; я подзвал их к решетке и сказал им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво и конфеты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре!— кричали мальчишки,— Impernikel is dead! Impernikel is dead!»<sup>1</sup> Гости стали им тоже бросать сикспенсы и трипенсы; мальчишки принесли элю, пирогов, кеков, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнеме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали: «Impernikel is dead! Уре!»

Смерть Николая удесятирила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом «Письмо к императору Александру»\* и решил издавать «Полярную звезду».

«„Да здравствует разум!“ — невольно сорвалось с языка в начале программы,— „Полярная звезда“ скрылась за тучами николаевского царствования; Николай прошел, и „Полярная звезда“ явится снова в день нашей великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями»\*.

...Толчок был силен, живителен, работа закипела вдвое. Я объявил, что издаю «Полярную звезду». Энгельсон принялся, наконец, за свою статью о социализме\*, о которой еще говорил в Италии. Можно было думать, что мы проработаем года два или больше... но раздражительное самолюбие его делало всякую работу с ним невыносимой. Жена его поддерживала в нем его опьянение собой.

— Статья моего мужа,— говорила она,— будет считаться *новой эпохой* в истории русской мысли. Если он ничего больше не напишет, то место его в истории упрочено.

Статья «Что такое государство?»<sup>2</sup> была хороша, но успех ее не оправдал семейных ожиданий. К тому же она попала не во-время. Проснувшаяся Россия требовала, именно тогда, практических советов, а не философских трактатов по Прудону и Шопенгауэру.

---

<sup>1</sup> «Имперникель <император Николай> умер!» (англ.). — *Ред.*

<sup>2</sup> «Полярная звезда», книжка 1.

Статья еще не была до конца напечатана, как новая ссора, иного характера, чем все предыдущие, почти окончательно прервала все сношения между нами \*.

Раз, сидя у него, я шутил над тем, что они послали в третий раз за доктором для маленького, у которого был насморк и легкая простуда.

— Неужели оттого, что мы бедны, — сказала М-ше Энгельсон, и вся прежняя ненависть, удесятренная, злая, вспыхнула на ее лице, — наш малютка должен умереть без медицинской помощи? И это говорите вы, социалист, друг моего мужа, *отказавший ему в пятидесяти фунтах и эксплуатирующий его уроками.*

Я слушал с удивлением и спросил Энгельсона, делит он это мнение или нет. Он был сконфужен, пятны выступили у него на лице, он умолял ее замолчать... она продолжала. Я встал и, прерывая ее, сказал:

— Вы больны и сами кормите, я отвечать вам не стану, но не стану и слушать... Вероятно, вам не покажется странным, что нога моя не будет больше в вашем доме.

Энгельсон, печальный и растерянный, схватил шляпу и вышел со мной на улицу.

— Не принимайте необузданные слова женщины с расстроенными нервами au pied de la lettre... — Он путался в объяснениях. — Завтра я приду давать урок, — сказал он.

Я пожал ему руку и молча пошел домой.

...Все это требует объяснений, и притом самых тяжелых, касающихся не мнений и общих сфер, а кухни и приходо-расходных книг. Тем не меньше я сделаю опыт раскрыть и эту сторону. Для патологических исследований брезгливость, этот *романтизм чистоплотности*, не идет.

Энгельсоны вряд имели ли право себя включать в категорию бедных людей. Они получали из России десять тысяч франков в год, и пять он легко мог выработать — переводами, обзорами, учебными книгами; Энгельсон занимался лингвистикой. Книгопродавец Трюбнер требовал от него лексикон русского корнесловия и грамматику; он мог давать уроки, как Пьер Леру, как Кинкель, как Эскирос. Но в качестве русского он брался за все: и за корнесловие, и за переводы, и за уроки,

ничего не кончал, ничем не стеснялся и не вырабатывал ни одной копейки.

Ни муж, ни жена не были расчетливы и не умели устроить своих дел. Постоянная лихорадка, в которой они жили, не позволяла им думать о хозяйстве. Он из России уехал без определенного плана и остался в Европе без всякой цели. Он не взял никаких мер, чтоб спасти свое имение, и un beau jour<sup>1</sup>, испугавшись, сделал наскоро какое-то распоряжение, в силу которого ограничил свой доход на десять тысяч франков, которые получал не совсем аккуратно, но получал.

Что Энгельсон не вывернется с своими десятью тысячами, было очевидно; что он не сумеет, с другой стороны, ограничить себя, и это было ясно,— ему оставалось работать или занимать. Сначала, после приезда в Лондон, он взял у меня около сорока фунтов... через некоторое время попросил опять... Я имел с ним серьезный дружеский разговор об этом и сказал ему, что готов ссужать его, но решительно больше десяти фунтов в месяц ему займы не дам. Нахмурился Энгельсон, однако раза два взял по десятифунтовой бумажке и вдруг написал мне, что ему нужны пятьдесят фунтов и если я не хочу ему их дать или не верю, то просит меня занять их под заклад каких-то брильянтов. Все это очень походило на шутку; если он в самом деле хотел заложить брильянты, то их следовало бы снести к какому-нибудь pawnbroker'у<sup>2</sup>, а не ко мне... Зная его и жалея, я написал ему, что брильянты заложу в пятьдесят фунтов, если дадут, и деньги пришлю. На другой день я послал ему чек, а брильянты, которые он непременно бы продал или заложил, спрятал, чтоб их сохранить ему. Он не обратил внимания на то, что пятьдесят фунтов были без процентов, и поверил, что я брильянты заложил.

Второй пункт, относящийся к урокам, еще проще. В Лондоне С<авич> давал у меня уроки русского языка и брал четыре шиллинга за час. В Ричмонде Энгельсон предложил заменить С<авича>. Я спросил его о цене; он ответил, что ему со мной

---

<sup>1</sup> в один прекрасный день (франц.).—Ред.

<sup>2</sup> ростовщику (англ.).—Ред.



считаться мудрено, но так как у него нет денег, то он возьмет то же, что брал С<авич>.

Пришедши домой, я написал Энгельсону письмо \*, напомнил ему, что цену за уроки он назначил сам, но что я прошу его принять за все прошлые уроки вдвое. Затем я написал ему, что заставило меня удержать его брильянты, и отослал ему их.

Он отвечал конфузно, благодарил, досадовал, а вечером пришел сам и стал ходить попрежнему. С ней я не видался больше.

## VII

С месяц спустя обедал у меня Зено Свентославский и с ним Лиитон, английский республиканец. К концу обеда пришел Энгельсон\*. Свентославский, чистейший и добрейший человек, фанатик, сохранивший за пятьдесят лет безрассудный польский пыл и запальчивость мальчика пятнадцати лет, проповедовал о необходимости возвращаться в Россию и начать там живую и печатную пропаганду. Он брал на себя перевезти буквы и прочее.

Слушая его, я полушутя сказал Энгельсону:

— А что, ведь нас примут за трусов, если он пойдет один (on nous accusera de lâcheté).

Энгельсон сделал гримасу и ушел.

На другой день я ездил в Лондон и возвратился вечером; мой сын, лежавший в лихорадке, рассказал мне, и притом в большом волнении, что без меня приходил Энгельсон, что он меня страшно бранил, говорил, что он мне отомстит, что он больше не хочет выносить моего авторитета и что я ему теперь не нужен, *после напечатания его статьи*. Я не знал, что думать, — Саша ли бредил от лихорадки, или Энгельсон приходил мертвецки пьяный.

От Мальвиды М<ейзенбуг> я узнал еще больше. Она с ужасом рассказывала о его неистовствах. «Герцен, — кричал он нервным, задыхающимся голосом, — меня назвал вчера lâche<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> трусом (франц.).—Ред.

в присутствии двух посторонних». М. его перебила, говоря, что речь шла совсем не о нем, что я сказал *«on nous taxera de lâcheté»*<sup>1</sup>, говоря об нас вообще. «Если Г. чувствует, что он делает подлости, пусть говорит о самом себе, но я ему не позволю говорить так обо мне, да еще при двух мерзавцах...»

На его крик прибежала моя старшая дочь, которой тогда было десять лет. Энгельсон продолжал: «Нет, конечно, довольно! Я не привык к этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я!»— и он выхватил из кармана револьвер и продолжал кричать: «Заряжен, заряжен... я дождусь его...»

М. встала и сказала ему, что она требует, чтоб он ее оставил, что она не обязана слушать его дикий бред, что она только объясняет болезнью его поведение.

— Я уйду,— сказал он,— не хлопчите, но прежде хочу попросить вас отдать Герцену это письмо \*.

Он развернул его и начал читать; письмо было ругательное.

М. отказалась от поручения, спрашивая его, почему он думает, что она должна служить посредницей в доставлении такого письма?

— Найду путь и без вас,— заметил Энгельсон и ушел; письма не присылал, а через день написал мне записку; *в ней, не упоминая* ни одним словом о прошедшем, он писал, что у него открылся геморрой, что он ходить ко мне не может, а просит посылать детей к нему \*.

Я сказал, что ответа не будет, и снова все дипломатические сношения были прерваны... оставались военные. Энгельсон и не преминул их употребить в дело.

Из Ричмонда я осенью 1855 переехал в St. John's Wood. Энгельсон был забыт на несколько месяцев.

Вдруг получаю я весной 1856 от Орсини, которого видел дни два тому назад, записку, пахнущую картелью...

Холодно и учтиво просил он меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяем слух, что он австрийский

---

<sup>1</sup> нас обвиняет в трусости (франц.).—*Ред.*

шпион. Он просил меня или дать полный *démenti* <sup>1</sup> или указать, от кого я слышал такую гнусную клевету.

Орсини был прав, я поступил бы так же. Может, он должен был бы иметь побольше доверия к Саффи и ко мне, но обида была велика.

Тот, кто сколько-нибудь знал характер Орсини, мог понять, что такой человек, задетый в самой святейшей святыне своей чести, не мог остановиться на полдороге. Дело могло только разрешиться *совершенной* чистотой нашей или чьей-нибудь смертью.

С первой минуты мне было ясно, что удар шел от Энгельсона. Он *верно* считал на одну сторону орсиниевского характера, но, по счастью, забыл другую: Орсини соединял с неукротимыми страстями страшное самообуздание, он среди опасностей был расчетлив, обдумывал каждый шаг и не решался сбрызгу, потому что, однажды решившись, он не тратил время на критику, на перерешения, на сомнения, а исполнял. Мы видели это в улице Лепелетье \*. Так он поступил и теперь: он, не торопясь, хотел исследовать дело, узнать виновного и потом, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла в том, что он без всякой нужды замешал Саффи.

Дело было вот в чем. *Месяцев шесть* до нашего разрыва с Энгельсоном я был как-то утром у М-ше Мильнер-Гибсон (жены министра); там я застал Саффи и Пьянчани, они что-то говорили с ней об Орсини. Выходя, я спросил Саффи, о чем была речь.

— Представьте,— отвечал он,— что г-же Мильнер-Гибсон рассказывали в Женеве, что Орсини подкуплен Австрией...

Возвратившись в Ричмонд, я передал это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини.

— Чорт с ним совсем!— заметил Энгельсон, и больше об этом речи не было.

Когда Орсини удивительным образом спасся из Мантуи \*, мы вспомнили в своем тесном кругу об обвинении,

---

<sup>1</sup> опровержение (франц.).—Ред.

слышанном Мильнер-Гибсон. Появление самого Орсини, его рассказ, его раненая нога бесследно стерли нелепое подозрение.

Я попросил у Орсини назначить свиданье. Он звал вечером на другой день. Утром я пошел к Саффи и показал ему записку Орсини. Он тотчас, как я и ждал, предложил мне идти вместе со мною к нему. Огарев, только что приехавший в Лондон, был свидетелем этого свиданья.

Саффи рассказал разговор у Мильнер-Гибсон с той простотой и чистотой, которая составляет особенность его характера. Я дополнил остальное. Орсини подумал и потом сказал:

— Что, у Мильнер-Гибсон могу я спросить об этом?

— Без сомнения,— отвечал Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но,— спросил он меня,— скажите, зачем же вы говорили с посторонними, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонний*, с которым я говорил, был тогда не посторонний; вы лучше многих знаете, что он был для меня.

— Я никого не называл...

— Дайте кончить. Что же, вы думаете, легко человеку передавать такие вещи? Если б эти слухи распространялись, может, вас и следовало бы предупредить — но кто же теперь об этом говорит? Что же касается до того, что вы никого не называли, вы очень дурно делаете; сведите меня лицом к лицу с обвинителем, тогда еще яснее будет, кто какую роль играл в этих сплетнях.

Орсини улыбнулся, встал, подошел ко мне, обнял меня, обнял Саффи и сказал:

— *Amici*<sup>1</sup>, кончим это дело, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другом.

— Все это хорошо, и требовать от меня объяснение вы были вправе, но зачем же вы не называете обвинителя? Во-первых, скрыть его нельзя... Вам сказал Энгельсон.

— Даете вы слово, что оставите дело?

---

<sup>1</sup> Друзья (итал.).—Ред.

— Даю, при двух свидетелях.

— Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтверждение все же сделало какую-то боль,— точно я еще сомневался.

— Помните обещанное,— прибавил, помолчавши, Орсини.

— Об этом не беспокойтесь. А вы вот утешьте меня да и Саффи: расскажите, как было дело, ведь главное мы знаем.

Орсини засмеялся.

— Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на днях пришел он ко мне, я был в столовой (Орсини жил в boarding-house <sup>1</sup>) и обедал один. Он уж обедал; я велел подать графинчик хересу, он выпил его и тут стал жаловаться на вас, что вы его обидели, что вы перервали с ним все сношения, и после всякой болтовни спросил меня, как вы меня приняли после возвращения. Я отвечал, что вы меня приняли очень дружески, что я обедал у вас и был вечером... Энгельсон вдруг закричал: «Вот они... знаю я этих молодцов! Давно ли он и его друг и почитатель (Саффи говорили, что вы австрийский агент! А вот теперь вы опять в славе, в моде—и он ваш друг!»—«Энгельсон,— заметил я ему,— вполне ли вы понимаете важность того, что вы сказали?»— «Вполне, вполне»,— повторял он.— «Вы готовы будете во всех случаях подтвердить ваши слова?» — «Во всех!» Когда он ушел, я взял бумагу и написал вам письмо. Вот и все.

Мы вышли все на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мне, сказал, как бы в утешение:

— Он поврежденный.

Орсини вскоре уехал в Париж, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помосте гильотины \*.

Первая весть об Энгельсоне была весть о его смерти в Жерсее.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетело до меня...

(1858)

---

<sup>1</sup> пансионе (англ.).—Ред.

...P. S. В 1864 я получил из Неаполя странное письмо. В нем говорилось о появлении духа моей жены, о том, что она звала меня к обращению, к очищению себя религией, к тому, чтобы я оставил светские заботы...

Писавшая говорила, что все писано под диктант духа; тон письма был дружеский, теплый, восторженный.

Письмо было без подписи; я узнал почерк: оно было от М-ме Энгельсон.



## ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ





---

## БЫЛОЕ И ДУМЫ

### 〈РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ〉

#### 〈VI〉 〈OCEANO NOX〉

#### Подстрочное замечание

\* Из журнальных статей в «Прессе». (25 нояб<sup>ря</sup> 1851) и др. и из напечатанного рассказа спасшегося англичанина — можно составить довольно верное понятие о том, что было. В субботу вечером 15 ноября отправился из Марсел<sup>я</sup> в Ниццу пароход «Ville de Grasse». Около 3 часов пополудни, проходя между двумя островами против города Иер, пароход получил удар—носом парохода «Ville de Marseille», шедшего из Генуи. Море было в движении (houleuse) — но вовсе не бурно. Ночь была месячная. Удар был так силен, что железный «Ville de Marseille» буквально расселся на две части и минут через десять пошел ко дну. Пассажиры большей частью спали в каютах, когда случился удар, многие там и погибли не выходя. Шпилман — рассказывала горничная — услышав шум, бросился наверх и закричал, чтоб Колю одевали. Когда моя мать взошла на палубу, гибель была очевидна; лодка с «Марселя» бросила веревку, Шпилман ее взял, горничная держала ребенка на руках — в это время сильная волна покачнула мою мать — она только успела сказать: «Спасайте ребенка, спасайте ребенка!» — ее не видали больше. «Давайте его сюда», — кричал Шпилман горничной, но та, оцепенелая от страха, не делала ни шагу. «Тогда он оставил веревку, — говорит англичанин в своей статье, — пароход начинал тонуть, и, видя, что он не может больше достать веревку, — я схватил ее и бросился на лодку». «С таким удивительным самоотвержением погиб отец, желая спасти своего сына!» — прибавляет англичанин, думая, что Коля был его сын. Бедный, бедный Шпилман...

Сегодня 3 мая — три года тому назад в этот день были у нас похороны.

...Тридцатого апреля вечером она велела подать себе новорожденного и позвать детей; доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не делать этого. Она кротко посмотрела на меня. «И ты, Александр, слушаешься их, смотри, как бы тебе не было потом очень жаль, что ты у меня отнимешь эту минуточку, — мне теперь полегче, я хочу сама представить малютку детям». Я позвал детей. Не имея силы держать новорожденного, она его положила возле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате: «Вот вам еще маленький брат — любите его». Дети весело бросились целовать ее и малютку. — И печально стоял поодаль, смерть явно выражалась в каждой черте ее прекрасного лица; дети и малютка — напомнили мне стихи Пушкина, повторяемые ею так часто в последнее время:

И пусть у гробового входа  
Младая будет жизнь играть.

Это была апотеоза матери, торжественный образ успения — в комнате горели две свечи и не было никого постороннего. Когда дети вышли, она заплакала — но долго не говорила ни слова. Потом она положила мою руку себе на грудь и сказала: «Александр — если — — помни твое обещание — — как страшно думать, что они останутся одни». Она опять заплакала. Я не мог выговорить слова и молчал. Она с выражением ужаса покачала головой и с невыразимой болью остановила на мне взгляд. «Будь покойна — сказал я — все, что человечески возможно, я сделаю». — — —

— Да неужели? — сказала она, и будто луч надежды мелькнул в ней — — и у меня тоже. Ей не хотелось умереть. В последнее время она часто, часто говорила: «Да я хочу жить, мне надобно жить — — для полного [...] — для твоего торжества — для детей, их никто не будет так любить». Но были и иные мгновения, в которые физическая боль, тревоги, оскорбления — и даже просто память бывшего — наводили иное настроение — — и она говорила не раз: «Кажется, я необходима для детей — а ведь все пойдет своим путем, когда и меня не будет».

...Еще несколько слов о детях, о здоровье Саши: она радовалась, что он гораздо стал крепче в Ницце, что в этом согласен и Фогт. «Береги Тату — — с ней надобно быть очень, очень осторожным, это натура глубокая и несообщительная». — «Ах, — добавила она, — если б мне дожить до приезда моей Natalie — — Что дети, спят?» — «Спят», — сказал я. Вскоре издали по-

слышался детский голос. — «Это Оленька, — сказала она — и улыбнулась (в последний раз). — Посмотри, что она».

Потом ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушки нехорошо лежат, но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и стоном меняла положение головы — потом наступил тяжелый сон. — — — Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить, я ей подавал с ложечки апельсиновый сок с сахаром и водой — который я один умел готовить по ее вкусу, — но зубы больной были совершенно стиснуты, она была без сознания — я оцепенел от ужаса и [...] — между тем яркое утро светило больше и больше сквозь опущенные занавеси; и я с каким-то безумным чувством отчаяния и ужаса — разглядел, что не только губы, но и зубы почернели в несколько часов. За что же еще это — зачем это страшное беспамятство и так вдруг — — — зачем этот черный цвет. Доктор и К. Фогт, с двумя-тремя друзьями были внизу. Я сказал Фогту; ответа его мне было не нужно, он миновал мой взгляд — и взшел наверх. Я сам взял руку больной — пульс почти не бился.

Около полудня она пришла в себя — опять позвала детей, но не говорила ни слова — — «Отчего это здесь так темно?» — И приподнял стору — — «Все темно». — — В комнате было совершенно светло — — «Ах, друг мой, как тяжело голове» — еще несколько слов — — Раз она снова хотела что-то спросить, я понимал по движениям, в чем дело, — и отвечал прежде вопроса, успокаивая ее. Она болезненно взяла мою руку — рука ее уж не была похожа на живую — и покрыла ею свое лицо — — слезы катились у нее из глаз — она произнесла мое имя, прижала губы к моей руке — я что-то сказал ей — она отвечала невнятно — сознание было снова потеряно и не возвращалось.

Хоть бы еще слово — — или бы уже смерть! — Она осталась в этом положении до следующего утра, с полдня 1 мая до 7 часов утра следующего дня.

Минутами она приходила в полусознание — явственно говорила, что хочет снять с себя фланель, спрашивала свой платок, но ничего больше. Я несколько раз начинал говорить, не знаю, ошибался я или нет, — но мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, выражение горькой боли пробегало по лицу. Несколько раз она пожала мне руку — не судорожно — в этом я совершенно уверен — а намерснно. Часов в шесть утра я спросил доктора, сколько остается времени. — «Не больше часа». Я вышел в сад, позвать Сашу — я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. Входя с ним на лестницу, я предупредил его, какое несчастье ждет нас. Саша (ему было тогда около тринадцати лет) не подозревал всей опасности, он, совершенно

бледный и близкий к обмороку, взошел со мной в комнату. — «Станем здесь у кровати на колени», — сказал я ему. — Предсмертный пот покрывал ее лицо, спазматические движенья рукой, несколько стенаний и — те перестали. Доктор взял руку и опустил, она упала, как вещь. Мальчик рыдал. Я хорошенько не помню, что было в первые минуты. — Когда я сошел вниз, мне пришло в голову «береги Тату». Я очень боялся, что ребенка — страстно любившего мать — испугают. Я велел позвать ее к себе и не говорить ни слова; я заперся с нею в кабине — посадил к себе на колени и тихо, тихо приготовил ее. У нее навернулись слезы и пятна вышли на лицо, она дрожала всем телом. — Я ее повел наверх. — Там уж все изменилось. — Покойница, как живая, лежала на убранной цветами постеле, возле малютка, скончавшийся в ту же ночь — вся комната обтянута белым. — Насколько этот обычай Италии человечественнее нашего гроба в зале — — — Цветы, белые легкие ткани, торжественный вид не уменьшают — а вносят кротость в раздирающую печаль.

Испуганное дитя сейчас было удивлено этой изящной обстановкой. «Мамаша вот!» — сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами холодного лица — она истерически заплакала. Дальше я не мог и вышел.

Часа через два я сидел один у окна и смотрел бессмысленно то на море, то на небо — — — дверь отворилась, и взошла Тата — одна. Она подошла ко мне и, ласкаясь как-то испуганно, говорила мне: «Я *умно* себя вела, я не много плакала».

С глубокой горестью посмотрел я на сироту, так ребячески не понимающую, что случилось. Не знать тебе материнской ласки, материнской любви — — — бедное дитя. Их ничто не заменит, у тебя будет пробел в сердце — ты не испытаешь лучшей, чистейшей, единой бескорыстной привязанности на свете. — Ты ее, может, будешь иметь. Но к тебе ее никто не будет иметь — что же любовь отца в сравнении с материнской *болью* любви.



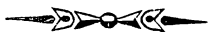


## 〈РУССКИЕ ТЕНИ〉

[больше новому поколению — я говорил подробно. Сделаю опыт рассказать что-нибудь о Сазонове. Он и Энгельсон — снесли в могилу огромные таланты и большие упреки. Оба ничего не сделали — — но на них ли лежит вся ответственность? Не думаю.

Искандер

10 Октяб. 1865.  
Женева  
La Boissière.]





АВТОРСКИЕ  
ПРЕДИСЛОВИЯ  
И ПЕРЕВОДЫ





---

«ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ ГЛАВ  
ИЗ ПЯТОЙ ЧАСТИ В «KOLOKOL»»

Il y a une dizaine d'années que sous un titre qui n'est pas celui que l'auteur lui a donné: *Le monde russe et la Révolution*, M. Delaveau a publié une très bonne traduction du russe des premiers volumes de mes *Souvenirs et pensées*. Cet ouvrage, complètement épuisé maintenant, a eu quelque succès. Des amis que j'estime et au goût desquels j'ai une grande confiance, m'ont exprimé plusieurs fois le désir de voir la traduction des volumes suivants. Je voulais faire l'édition de tout l'ouvrage... Je n'avais pas de traducteur sous la main, et le temps passait.

Sur de nouvelles instances et pour tout arranger, j'ai promis de donner cette automne, dans quelques feuilletons du *Kolokol*, des fragments du IV<sup>e</sup> volume, dont la traduction a été faite par mon fils et revue par moi.

Ces fragments n'ont d'autre droit d'hospitalité dans le journal que celui que leur donne le désir de mes amis. Pourtant quelques scènes des temps orageux (1848—1852) du monde européen, décrites par un Russe, et quelques profils de réfugiés «peints par eux-mêmes et dessinés par un autre», — peuvent avoir un intérêt *sui generis* pour les lecteurs qui ne connaissent pas la langue russe.

21 août 1868.

Château de Prangins, près Nyon.

П Е Р Е В О Д

Лет десять тому назад г. Делавао опубликовал очень хороший перевод с русского первых томов моего «Былое и думы», не под тем заглавием, которое было дано автором, — «Русский

мир и революция»\*. Это сочинение, теперь уже полностью распроданное, имело некоторый успех. Друзья, которых я уважаю и ко вкусу которых питаю большое доверие, неоднократно высказывали мне желание видеть перевод следующих томов. Мне хотелось издать все сочинение целиком... Под рукой у меня не было переводчика, а время шло...

Вследствие новых настоячивых просьб и чтобы все привести в порядок, я обещал опубликовать нынешней осенью в нескольких фельетонах «Kolokol» *отрывки из IV тома*, перевод которых был выполнен моим сыном и просмотрен мною самим.

Эти отрывки имеют право на гостеприимство в нашей газете только вследствие желания моих друзей. Однако некоторые сценки из бурных времен (1848—1852) европейского мира, описанные русским, и несколько профилей изгнанников, «изображенных ими самими и нарисованных другим», могут иметь интерес *sui generis*<sup>1</sup> для читателей, не знающих русского языка.

21 августа 1868 г.

Замок Пранжен, близ Ниона.

## 〈ГЛАВА XXXVII〉

La lettre n'arrivait pas, et cela le tourmentait beaucoup, il m'en parla souvent. Un jour, pendant notre dîner en présence de deux-trois personnes nous vîmes entrer le facteur dans l'antichambre — il m'apportait un journal. Orsini lui fit demander s'il n'y avait pas de lettre pour lui — on lui apporta une; il jeta un coup d'œil rapide et indifférent sur le contenu, hocha la tête — et continua la conversation. Lorsque nous restâmes seuls, Orsini me prit la main. «Ah,— dit-il,— je respire enfin, j'ai reçu la réponse... tout va bien!» Moi, qui savait quel prix il attachait à la lettre... j'ai été trompé par son apparence. Un tel homme était né pour être conspirateur — aussi le fut-il toute sa vie. ...Et que fit-il avec son énergie?

Et que fit Garibaldi avec son courage, Mazzini avec sa persistance, Pianori avec son revolver, Pisacane avec son drapeau... et les autres martyrs dont le sang n'est pas encore effacé? Qu'ont-ils fait?

«Divina Commedia» — ou plutôt «Commedia» tout simplement dans le sens employé par le pape Chiaramonti dans son entrevue avec l'autre Napoléon à Fontainebleau...

---

<sup>1</sup> своеобразный (лат.).—Ред.

... Passons maintenant encore une fois à notre brave *Bürger* Struve — dictateur-prophète, Cromwell et Jean de Leyde du Grand Duché de Bade — et ses collègues. .

Mais avant d'en parler je désire ajouter encore quelques considérations générales sur les *Umwälzung* *Männer* allemands<sup>1</sup>.

Il faut admettre en thèse générale que les Allemands réfugiés étaient scientifiquement mieux développés — que les réfugiés des autres peuples — mais cela ne leur profitait pas beaucoup.

Leur langue sentait l'«aulx» académique et les premières tragédies de Schiller, ils avaient une gaucherie remarquable dans tout ce qui était pratique et un patriotisme irritable, très chauvin à sa manière et navigant sous le drapeau du cosmopolitisme.

Après les soulèvements des paysans et la guerre de trente ans — les Allemands ne peuvent se remettre — et le sentent<sup>2</sup>. Napoléon a fait tout son possible pour les réveiller — cela n'a pas réussi — il n'avait pas eu encore le temps de traverser l'Océan, que les vieux magnétiseurs — les rois, les professeurs, les théologues, les idéalistes et les poètes endormaient déjà toute l'Allemagne.

Les Allemands étudient très <...><sup>3</sup> les classes, ils ont toujours des <...><sup>3</sup> comme la vie est courte et la science <est lon> gue<sup>3</sup>; — ils meurent avant de terminer leurs études. La vie réelle de l'Allemand est dans la théorie, la vie pratique n'est qu'un attribut, une reliure pour tenir les feuilles — et c'est là qu'il faut chercher la cause de ce que les Allemands les plus radicaux dans leurs écrits — restent très souvent «philistins» dans leur vie privée. A force de s'affranchir de tout — ils s'affranchissent des conséquences pratiques de l'application de leurs doctrines. L'esprit germanique saisit dans les révolutions — comme dans tout — l'idée générale et cela dans son sens *absolu* — sans jamais aller à la réalisation.

Les Anglais, les Français ont des préjugés que l'Allemand a rarement — et ils sont de bonne foi conséquents et simples. S'ils se soumettent à des vieilleries qui ont perdu le sens commun — c'est qu'ils les reconnaissent comme vraies et immuables. L'Allemand ne reconnaît rien, excepté la raison — et se soumet à tout — c'est à dire il se sert selon les circonstances des préjugés vulgaires.

Il est très habitué à un petit *comfort*, «an Wohlbehagen» — et lorsqu'il passe de son cabinet d'étude dans son salon, dans le *Prunkzimmer* ou dans la chambre à coucher, il sacrifie sa libre pensée — à l'ordre et à la cuisine. L'Allemand au fond est très

---

<sup>1</sup> Пропуск в рукописи.—Ред.

<sup>2</sup> Écrit en 1855—56.

<sup>3</sup> Угол листа оторван.—Ред.

sybarite, on ne le remarque pas parce que ses moyens modiques et sa vie sans bruit ne font pas d'effet — mais un Esquimau qui sacrifierait tout pour avoir de l'huile de morue à volonté est aussi épicurien que Lucullus. De plus, l'Allemand lymphatique s'appesantit vite et prend mille racines dans un genre de vie donnée. Tout ce qui peut altérer ses coutumes — l'effarouche et le met hors de lui.

Les réfugiés allemands étaient de grands cosmopolites — «den Standpunkt der Nationalität haben sie überwunden». Ils sont prêts à accepter la république universelle, à effacer les frontières entre les Etats — pourvu que Trieste et Dantzig restent à l'Allemagne unie. Les étudiants de Vienne ont formé une légion — lors de l'invasion de la Lombardie par Radetzki — conduits par un brave professeur, ils prirent un canon — et le donnèrent en souvenir à la bonne ville d'Innsbruck.

Avec ce patriotisme chatouilleux et un peu accapariste l'Allemagne regarde avec souci — à droite et à gauche. D'un côté il lui semble toujours que la France traverse le Rhin. De l'autre — que la Russie passe le Niémen — et un peuple de vingt-cinq millions se sent orphelin sans protection entre ces deux brigands de grandes routes. Pour se consoler en attendant l'invasion l'Allemand démontre «ex fontibus» que la France latine — n'est plus et que la Russie byzantine n'est pas encore.

Les paisibles professeurs, docteurs, théologues, pharmaciens et philologues — qui se rassemblaient dans l'église de Saint Paul à Francfort — après 48 — applaudissaient aux Autrichiens en Italie et ne voulaient entendre les plaintes des Polonais de la Posnanie comme entachées de nationalisme prussien. Le parlement allemand était très belliqueux — rêvait à une flotte allemande et jetait déjà ses yeux sur Schleswig-Holstein — «stamm-verwandt»...

La révolution de 48 avait partout quelque chose de précipité, d'inachevé, de nonsoutenu — mais elle n'avait ni en France, ni en Italie rien de si drôle — comme en Allemagne.

### ⟨ГЛАВА XXXVIII⟩

Les montagnes et les montagnards — Wiatka et Monte-Rosa — 1849

*(Fin du chapitre)*

...Je quittai Paris avec empressement; j'avais besoin de détourner les yeux d'un spectacle qui me navrait le cœur — je cherchais un coin tranquille, je ne le trouvais pas à Genève. C'était le même milieu réduit à de petites proportions. Rien de

plus monotone et de plus lourd que les cercles politiques après une défaite complète — récriminations stériles, stagnation obligatoire, immobilité par point d'honneur, attachement aux couleurs fanées, aux fautes manifestes par un sentiment de devoir et de piété. Un parti vaincu se tourne constamment vers le passé, n'avance qu'à reculons, se fait monument, statue, comme la femme de Loth — moins *le sel*.

Je me sauvais quelquefois de cette atmosphère suffocante... dans les montagnes.

Là, sous la ligne dure de la neige existe encore une race de paysans forte, presque sauvage... et cela à quelques lieues d'une civilisation qui tombe des os, comme les chairs d'un poisson trop faisandé. Il ne faut pas confondre avec ces paysans des montagnes, le paysan bourgeois des grands centres suisses, ces caravansérails où une population avide et mesquine existe aux frais de la population ambulante des touristes qui s'accroît tous les ans.

...Une fois j'allai à Zermatt. Déjà, à St. Nicolas, nous sortîmes de la civilisation. Un vieux curé, qui hébergeait chez lui des voyageurs, me demanda, c'était au mois de septembre 1849, quelles étaient les nouvelles de la révolution à Vienne et comment allait la guerre de Hongrie. C'est là que nous primes des chevaux. Fatigués d'une ascension lente de quelques heures, nous entrâmes dans une petite auberge pour nous reposer et donner un peu de repos aux chevaux. La paysanne, femme d'une quarantaine d'années, maigre, osseuse, mais haute de taille et bien conservée, nous apporta tout ce qu'elle avait dans la maison. Ce n'était pas beaucoup. Du pain dur comme une pierre — le pain n'est pas facile à avoir sur ces hauteurs, on l'apporte des vallées une fois par semaine l'été, et deux ou trois fois par mois le reste de l'année; — du mouton séché et fumé, du lièvre sec, une omelette, du fromage et une bouteille de kirsch. Les deux guides mangèrent et burent avec nous. Je demandai en partant combien il fallait payer. Après avoir longuement pesé et calculé, elle nous dit que, comptant tout, le restant du kirsch que nous voulions prendre avec nous y compris, elle pouvait bien demander *cinq francs*. Etonné du bon marché, je lui dis: «Comment, les guides compris?» La bonne femme ne me comprenant pas ajouta: «Si cela vous paraît trop, donnez quatre francs et demi, cela sera suffisant...»

... En 1835, je traversais par la poste les forêts du gouvernement de Perm, accompagné d'un gendarme et allant en exil. A un relais je priai une jeune paysanne, assise devant sa maison, de me donner du *kwass* à boire. — «Il est trop aigre chez nous, mais je t'apporterai de la bière, il nous en reste de la fête». Sur cela elle m'apporta une assez grande cruche de terre remplie de cette bière épaisse que les paysans fabriquent eux-mêmes sous

le nom de *braga*. Moi et le gendarme nous bûmes presque tout le contenu. En rendant la cruche à la paysanne, je lui glissai dans la main une pièce de quinze sous; elle me la rendit de suite en disant: «Non, non, nous ne vendons pas, ce n'est pas bien de prendre de l'argent d'un voyageur, et encore bien moins d'un... qui...» Elle montra des yeux le gendarme. «Mais, chère amie, — lui dis-je, — cela ne nous va non plus de boire ta bière sans la payer; prends donc la pièce pour acheter du pain d'épice aux enfants». — «Non, non, je ne prendrai rien, et n'aie pas de scrupules; si tu as trop d'argent, donne-le à un mendiant ou mets un cierge au bon Dieu».

Sur toute la frontière de la Sibérie, de ce côté des monts ouraliens, les paysans ont coutume de mettre devant la fenêtre un morceau de pain avec du sel, quelquefois un petit pot de lait, du *kwass*. C'est pour les *malheureux*. C'est ainsi qu'ils appellent tous les condamnés qui s'évadent de la Sibérie et qui n'oseraient ni frapper à la porte, ni passer le jour par un village. J'ai trouvé quelque chose de pareil en Suisse. Sur les hauteurs, là où le granit perce déjà comme le crâne dénudé d'un homme demi-chauve, et où un vent glacial souffle sur des plantes desséchées et presque mortes, j'ai trouvé des cabanes de chasseurs quelquefois inhabitées, mais ayant la porte non cadénassée. En entrant, on trouvait du pain, du fromage. Le voyageur égaré ou surpris par le mauvais temps y entre, reste pendant la bourrasque, mange et quelquefois laisse un gros sou sur l'assiette, plus souvent rien.

— Et on ne vole jamais? — dis-je à mon guide.

— Non, *Herr!*

Ce ne sont pas des hommes encore!

Après avoir quitté la vieille — qui avait conscience de prendre cinq francs pour la nourriture de quatre individus et de deux chevaux, y compris une bouteille entière de kirsch — nous continuâmes notre route par une montée plus rapide. Le chemin — mince incision dans le roc — n'avait parfois qu'un mètre de largeur et serpentait sous des rochers suspendus sur nos têtes, frisant la lisière d'un précipice qui devenait de plus en plus profond. Tout en bas s'élançait, avec bruit et fureur, le Wesp, comprimé dans un lit étroit; il se hâtait évidemment de sortir au large. Il y a trop du Salvator Rosa dans ces ascensions. Cela use les nerfs, les fatigue, les accable... Des heures et des heures passent, le spectacle est le même... D'autres rochers froncent les sourcils et sont prêts à vous pousser dans l'abîme; le Wesp mugit, tantôt visible et couvert d'écume blanche, tantôt se perdant derrière des montagnes, des forêts de sapin; les fers du cheval résonnent sur la pierre, les guides répètent les mêmes deux notes: «Oh — Eh! I — Ve!» Les contours s'effacent, une transpiration de brouillard se lève des abîmes... Le Wesp mugit, les

pas des chevaux résonnent.— «Oh — Eh! — I — Ve!» — Cela agace les nerfs, cela les irrite.

Zermatt est entouré de montagnes, presque adossé au Mont-Rose; il faisait nuit derrière ce paravent colossal.— Lorsque nous entrâmes dans une petite auberge, la seule de l'endroit en 1849, nous y trouvâmes encore un voyageur — c'était un géologue écossais — et la maîtresse de la maison. Nous étions autour d'une table en attendant le souper, lorsque le géologue nous dit: «Messieurs, c'est un bruit de sonnettes de chevaux ou de mulets!» — «Oui, oui,— dit la maîtresse, en écoutant attentivement. — Voilà du fort! grimper cette montagne lorsqu'on ne voit pas sa propre main». Elle prit une lanterne et alla à la rencontre; nous allâmes l'accompagner.— On entendait les sonnettes de plus en plus; quelque chose se détacha du fond noir, et une minute après une Anglaise, raide, haute et en amazone, descendit tranquillement de cheval, comme si elle revenait à la maison après une promenade à Hyde-Park; le second cavalier était son fils, un garçon de treize à quatorze ans.— La dame entra dans la chambre et demanda du thé. Le géologue l'avait déjà rencontrée et lui adressa la parole. Un quart d'heure après, elle dit à son fils d'aller demander aux guides combien de temps il leur fallait pour faire reposer et nourrir les chevaux.

— Comment! — dit l'Ecossais,— vous voulez partir par cette obscurité?

— Nous descendons,— dit-elle,— de l'autre côté, du côté italien du Monte-Rosa.

— Tant pis, vous avez une mauvaise descente. Restez ici jusqu'au matin.

— Je ne le puis, j'ai d'avance disposé du temps et on nous attend.

Deux heures après, l'Anglaise se mit à cheval, son fils monta gaiement le sien, et j'ouvris la fenêtre pour entendre le *diminuendo* des sonnettes qui s'éloignaient.

Quelle femme! Quelle race!

Le lendemain, avant le lever du soleil, nous prîmes un troisième guide qui connaissait bien les sentiers et sifflait encore mieux des chansons suisses. Nous avions l'intention de monter jusqu'à l'endroit où l'on pouvait encore aller à cheval.

J'avais peur que la journée ne soit manquée, un brouillard blanchâtre couvrait tout, et cela si bien qu'on ne voyait pas même le mont Cervin. Le maître de l'hôtel vint jeter encore plus de trouble dans mon âme en disant: «*Ja, ia, der Wetterhorn s'isch ein grosser Herr, lässt sich nik immer sehe lasse fur Jederman*». Heureusement, «le grand seigneur de Cervin» était de bonne humeur et apparût bientôt dans toute sa splendeur.

Une pluie fine et froide remplaça le brouillard, et peu après, pluie et brouillard étaient au-dessous de nous un océan de fumée, un monde en fusion. Au-dessus, le ciel bleu et pur.

Victor Hugo nous raconte «ce que l'on entend sur la montagne». Il faut supposer que la montagne du haut de laquelle il a entendu tant de belles choses n'était pas très haute. La première chose qui me frappa sur ces hauteurs, c'est l'absence de tout bruit, de tout son. On n'entend rien, absolument rien.

De temps en temps, le tonnerre éloigné des avalanches qui tombaient du mont Cervin, venait rompre pour un instant ce silence *diaphane*, visible, sonore, oui, *sonore*, je n'ai pas d'autre mot. La grande raréfaction de l'air donne une voix à cette tranquillité *minérale*, à cet éternel sommeil inorganique, à ce mutisme élémentaire.

C'est la vie qui s'agite, qui se démène, qui crie et tapage; ici elle est dépassée; elle est restée là-bas sous le brouillard. Les plantes mêmes, ces sourd-muets de la nature, disparaissent et ne sont représentées que par les algues desséchées, grisonnantes, à demi gelées.

Encore quelques pas — le froid devient plus intense, le verglas qui ne dégèle jamais s'épaissit et forme une croûte continue de neige. C'est la *frontière* de la planète. Plus loin, rien que la glace et le rocher. *Au delà* rien ne se passe, à l'exception de quelques sons mécaniques, des fissures, des éboulements. Au-delà il n'y a personne. Un seul animal, le plus curieux de tous, y va à travers les périls et les dangers, pour jeter un coup d'œil sur ce vide infini, sur ces points proéminents qui marquent les limites de la terre, pour y respirer la glace et l'immensité et descendre au plus vite dans son milieu plein d'angoisse et de misère, — mais où il est à la maison.

... Nous nous arrêtâmes. Arrivés à la mer glaciale, enlacée par une série de montagnes, elle avait l'air d'un immense Colisée, inondé par des vagues surprises par un froid glacial, qui les arrêta court au milieu du plus grand élan.

Les lignes du mouvement s'arrêtèrent sans avoir eu le temps de se déployer en lignes droites, en lignes de repos, et portant à tout jamais l'immobile trace du mouvement suspendu.

Je m'éloignais tout seul à quelque distance, et je m'assis en m'adossant à un bloc de granit, chaviré et enfoncé là dans la neige par je ne sais quel caprice des glaces. Une blancheur sans fin, sans voix s'étendait devant moi; un petit vent soulevait de temps en temps une légère poussière de neige, la tournait, la laissait tomber, et tout rentrait dans le silence blanc et muet. Une



avalanche roula, se brisant et laissant à chaque coup un nuage glacial qui scintillait et disparaissait.

L'homme se sent mal dans ces cadres. Dépaysé, ému, triste, il se sent étranger, superflu, étonné. Et pourtant il respire plus largement et semble, pour un instant, devenir lui-même blanc et comme cette neige, austère et sérieux comme le linceuil qui couvre ce cadavre de la nature sévère et morte!



---

## 〈РАЗДУМЬЕ ПО ПОВОДУ ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ〉

### I

... *D'un côté* la famille irrévocablement soudée, rivée, fermée à perpétuité — telle que Proudhon l'a rêvée, le mariage indissoluble de l'église, le pouvoir du *pater familias* romain — illimité... la famille absorbante, dans laquelle les individus — sauf un seul — sont victimes pour un but commun; le mariage consacrant l'inaltérabilité des sentiments, l'éternelle inviolabilité d'un pacte... *De l'autre*, les nouvelles doctrines dans lesquelles les liens du mariage et de la famille sont déliés, l'irrésistible puissance des passions — reconnue comme ayant droit, l'indépendance du passé admise et partant de la facultative des engagements.

*D'un côté* la femme — traînée au pilori, presque lapidée pour ce qu'on appelle la trahison — sans approfondir les causes. — *De l'autre* — la jalousie même mise hors la loi — comme un sentiment égoïste, maladif, propriétaire, romantique qui altère et empoisonne les notions simples et naturelles.

Où est la vérité? Au moins la diagonale. Il y a déjà vingt trois ans que je cherche un chemin pour sortir de ces contradictions, et c'est encore en 1843 que je tâchais pour la première fois à m'orienter dans ces ténèbres.

Nous sommes très courageux dans la négation et toujours prêts à jeter à l'eau chaque idole. Mais les idoles de la famille et de la vie domestique sont «waterproof» et reviennent toujours à la surface. Ils n'ont pas de sens quelquefois — mais ils ont la vie dure; les armes que l'on a employées contre eux — glissèrent sur leur écaille, les renversèrent, les abasourdirent — mais ne les tuèrent pas.

Jalousie... Fidélité... Pureté... Innocence... Trahison... Sombres puissances, verbes terribles au nom desquels coulèrent des torrents de sang, des torrents de larmes... Ces mots nous font frémir comme le souvenir de l'inquisition, de la torture, de la

peste — et ils sont suspendus sur notre tête comme le glaive de Damoclès — et c'est sous ce glaive qu'a toujours vécu et vit encore *la famille*.

Il n'est pas facile de les mettre à la porte par des négations injurieuses. Ils restent derrière le coin et sommeillent — tout prêts d'accourir à la première alarme. — et dévorer tout — tout ce qui est près — tout ce qui est loin... anéantir nous-mêmes.

La bonne intention d'éteindre à fond ces incendies — à ce qu'il paraît n'est pas possible, il faut peut-être se résigner à diriger le feu d'une manière humaine, à le dompter et dominer. On ne peut également ni finir avec les passions — par la logique, ni les faire acquitter par les tribunaux. Les passions sont des faits et non des dogmes — on peut sévir contre elles, mais non déraciner.

La jalousie, plus encore, jouissait des droits exceptionnels. Au lieu de frein et de résistance — elle ne trouvait qu'encouragements et sympathie. Par sa propre force — passion violente, ardente — au lieu d'être domptée — elle était poussée en avant par le chœur.

La doctrine chrétienne — qui à force de mépris et de haine pour le corps — met si haut tout ce qui est charnel, le culte aristocratique de la race, de la pureté du sang — développèrent jusqu'au monstrueux la notion de la suprême offense, de la tache irréparable. La jalousie reçut en main le *jus gladii*, le droit de juger dans sa propre cause et de se venger. Elle devint un *devoir de l'honneur*, presque une vertu. Tout cela ne peut soutenir la moindre critique — mais ce qui est très important — en dehors de cela il reste toujours quelque chose de réel, un sentiment de douleur, de malheur, sentiment élémentaire — comme l'amour même, faisant face à toute négation — irréductible, invincible.

Nous voilà encore une fois devant les fourches Caudines des antinomies. Le vrai et le faux sont de deux côtés. Un *entweder — oder* courageux n'avance en rien la question. Au moment où l'on croit avoir fini d'un de deux termes — par la négation... il réapparaît d'un autre côté, comme la nouvelle lune — après le dernier quart.

Hegel faisait absorber les antinomies dans l'esprit absolu... Proudhon — dans l'idée de la justice.

L'absolu est un dogme philosophique, la justice peut sévir, condamner — mais n'a réellement pas de prise sur les passions. La passion est par sa nature injuste, partielle. La justice fait abstraction des individualités, elle est unipersonnelle — la passion est par excellence individuelle, partielle.

Radicalement anéantir la jalousie veut dire en même temps l'anéantissement de l'attachement personnel — en mettant à sa place un attachement pour le sexe. Mais ce n'est que l'*indi-*

*viduel*, que le *personnel* qui nous plaît, qui nous entraîne, qui donne le coloris, le son, le sens, la passion. Notre lyrisme est un lyrisme personnel, notre bonheur et malheur — sont personnels. Le doctrinarisme avec toute sa logique — nous relève aussi peu de nos peines — comme les «consolations» des Romains avec toute leur rhétorique. Il est impossible d'essuyer les larmes de tristesse près du cercueil et les larmes — emprisonnées — de la jalousie — heureusement il n'y aura besoin de le faire. A quoi on peut parvenir — et à quoi on doit parvenir — c'est que ces larmes *coulent humainement* — purifiées de l'intolérance d'un moine, de la férocité d'un animal carnassier, de la rage d'un propriétaire volé qui se venge.

## II

Réduire le rapport de l'homme et de la femme à une rencontre fugitive, momentanée, sans trace — est, il nous semble, au même degré impossible que de river un homme et une femme jusqu'à la tombe — dans un mariage indissoluble. Les deux cas peuvent se rencontrer dans les extrémités des relations sexuelles et matrimoniales — comme des cas particuliers, comme des exceptions — mais non comme norme. Le rapport de hasard cessera ou tendra à une liaison plus durable, le mariage indissoluble — à l'émancipation d'un devoir sans fin, à l'affranchissement d'une chaîne, peut-être volontairement acceptée — mais toujours une chaîne.

La vie protestait constamment contre ces deux extrêmes. L'indissolubilité du mariage a été acceptée hypocritement ou sans s'en rendre compte. Une rencontre de hasard n'avait jamais d'investiture — on la cachait — comme on se vantait du mariage. Tous les efforts pour réglementer officiellement les maisons publiques — scandalisèrent l'opinion publique, le sens moral — nonobstant leur caractère de restriction. On voit dans la réglementation même une reconnaissance.

L'homme sain fuit également le cloître et le haras, la stérile abstinence du moine et l'amour stérile des courtisanes.

Pour le christianisme plein de contradictions entre le dogme et la pratique — le mariage est une concession, une faiblesse. Le christianisme tolère le mariage comme la société tolère le concubinat. Le prêtre est élevé au célibat à perpétuité, — en récompense de sa victoire sur la nature humaine.

Rien d'étonnant que le mariage chrétien est sombre et triste, injuste et accablant — il restaure l'inégalité contre laquelle prêche l'évangile et rend la femme esclave de son mari. La femme est sacrifiée par rancune, l'amour (détesté par l'église) puni en elle, elle est sacrifiée par principe. — Sortant de l'église

l'amour devient de trop, il cède la place au devoir. Du sentiment le plus lumineux, le plus plein de bien-être — le christianisme fait une souffrance, une douleur; un péché, une maladie. Le genre humain devait périr — ou être inconséquent. La vie ne cessait de protester.

Elle protestait non seulement par des faits — reniés par le repentir et les remords — mais par la sympathie et la réhabilitation. Cette protestation commença au plus fort du catholicisme et de la féodalité.

Rappelez-vous l'existence sombre de ces temps poétisés de la chevalerie? — Un mari terrible, Raoul Barbe Bleu, armé jusqu'aux dents, jaloux, sans pitié, à côté un moine, aux pieds nus, fou par fanatisme, prêt à venger sur les autres ses privations, sa lutte inutile, — des écuyers, des geôliers, des bourreaux... — et quelque part dans un donjon ou une tourelle, dans une cave ou une oubliette — une jeune femme en larmes, le désespoir dans le cœur, un page enchaîné... et pas une âme qui s'en inquiète. Tout est inexorable dans ce monde, partout la force, l'arbitraire, le sang, l'esprit borné... et les sons nasillards d'une prière latine.

Mais derrière le dos du moine, du confesseur, du geôlier — complices du mari — sentinelles féroces de l'honneur du mariage, en compagnie avec les frères et les oncles de l'époux et de l'épouse... se forme la *legende* populaire, retient la *complainte* — et s'en va d'un village à l'autre, d'un château à l'autre... avec le troubadour ou le minnesinger chantant les malheurs de la femme... la complainte est toujours pour elle. Le tribunal sévit — la chanson absout. L'église maudit l'amour hors du mariage, la chanson maudit le mariage sans amour. Elle prend cause et fait pour le page amoureux, pour la femme aimante, pour la fille opprimée — non par des raisonnements, mais par les larmes, par la compassion. La chanson populaire — c'est la prière laïque du peuple, l'*autre* issue dans sa vie de misère, de travail, de faim, d'angoisse. Les jours de fête après les lithanies à la Vierge — on pleurait les complaints pour la malheureuse femme, que l'on n'attachait pas au pilori — mais pour laquelle on priait — et que l'on recommandait à protection et aide — de la *Mater dolorosa*.

Des chansons et complaints — la protestation s'accrut peu à peu — en roman et drame. Dans le drame elle devient force. L'amour offensé, refoulé, les noires mystères de la vie de famille — ont acquis leur tribune, leur tribunal, leurs jurés. Les jurés du parterre et des loges — acquittaient toujours les personnes et accusaient les institutions...

Bientôt le monde commençant à se séculariser, soutenant le mariage — cède. Le mariage perd en partie son caractère religieux et acquiert une nouvelle force policière et administrative. Le mariage chrétien ne pouvait se justifier que par l'intervention

d'une force divine — il y avait une logique en cela, logique folle... mais conséquente. Le fonctionnaire de l'Etat qui met son écharpe tricolore et vous marie le code en main — est plus absurde que ne l'est le prêtre — officiant dans son costume sacerdotal, entouré de bougies, d'encens, de musique. Le premier consul Bonaparte lui-même — l'homme le plus prosaïquement bourgeois par rapport à l'amour, à la famille — s'était aperçu que le mariage dans une maison de police était par trop piètre — et demandait à Cambacérès — d'ajouter quelques phrases obligatoires aux paroles du maire, quelque chose de relatif «au devoir de la femme de rester fidèle à son mari» (du mari pas un mot) — de lui obéir, etc.

Dès que le mariage sort des domaines de l'église, il devient un expédient, une simple mesure d'ordre publique. C'est aussi de ce point de vue que l'on envisage les nouveaux Barbe Bleu — législateurs et notaires — rasés et poudrés, en perruques d'avocats, en soutane de juge — prêtres du Code Civil et apôtres de la Chambre des Députés.

Le mariage civil n'est au fond qu'une mesure économique, l'émancipation de l'Etat de la lourde charge d'éducation — et l'asservissement renforcé de l'homme à la propriété. Le mariage sans l'intervention de l'église devient un engagement pur et simple, engagement à vie de deux individus qui se livrent mutuellement. Le législateur ne s'inquiète pas de leurs croyances, de leur foi, — il n'exige que la fidélité au contrat et s'il est rompu — il trouvera des moyens pour le punir. Et pourquoi pas? En Angleterre, dans ce pays classique du droit individuel — on emploie des punitions inhumaines contre de pauvres enfants de seize ans — enrôlés entre deux verres de gin par un vieux débauché desoldat — un *mucker* de caserne — au profit d'un régiment de Sa Majesté. — Pourquoi donc ne pas punir par l'opprobre, la honte, la ruine, la petite fille qui déserte — après s'être engagée, sans bien savoir ce qu'elle fait, à aimer à perpétuité un homme qu'elle a à peine connu — plus encore, on la livre à son ennemi, à son propriétaire, comme le déserteur à son lupanar de sang — le régiment, lui, il saura de son côté la punir pour avoir oublié que le mariage comme les *season-tickets* ne sont pas transférables.

Les «Barbe Bleu» rasés trouvèrent aussi leur troubadours et romanistes. Contre le mariage — contrat indissoluble — s'élève bientôt le dogme psychiatrique, physiologique, — le dogme de la puissance absolue de la passion et de l'incompétence de l'homme à lutter contre elle.

Les esclaves à peine émancipés du mariage se font serfs volontaires de l'amour libre... de cette puissance sans contrôle — et contre laquelle toutes les armes sont faibles.

Tout contrôle de l'intelligence est éludé — elle n'a rien à

y voir, toute domination de soi-même — déclarée nulle ou impossible. L'asservissement de l'homme à des puissances fatales, insoumises à lui — est l'œuvre toute contraire de l'émancipation de l'homme dans la raison, de l'éducation de l'homme et de son caractère — but vers lequel doit tendre toute doctrine sociale.

Les puissances fictives — si les hommes les acceptent pour des réelles — en ont toute l'intensité et toute la force — et cela parce que *le fond*, le substratum que l'homme donne ou apporte est le même. Un homme qui craint les revenants et celui qui craint un chien enragé — ont la même crainte et les deux peuvent mourir par la frayeur. La différence consiste en cela que dans un de ces cas il y a une possibilité de prouver que le danger est fictif — tandis que c'est impossible dans l'autre.

Moi je nie complètement la place royale que l'on donne à *l'amour*. Je nie sa puissance souveraine et illimitée, je proteste de toutes mes forces contre l'infailibilité des passions, contre l'éternel acquittement de tous les faits — par des entraînements au-dessus des forces de l'homme.

Nous nous sommes émancipés de tous les jougs: de Dieu et du diable, du droit romain et du droit criminel, nous avons proclamé la raison — comme seul guide et régulateur de notre conduite — et tout cela pour nous prosterner aux pieds d'Omphale comme Hercule et nous endormir sur les genoux de Dalila en perdant toute la force acquise...

Et la femme... est-ce que vraiment elle a passionnément cherché son affranchissement de l'autorité de la famille, de la tutelle éternelle, de la tyrannie du père, du mari, du frère... cherché ses droits au travail, à la science, à une position sociale — pour recommencer une existence de roucoulement d'une colombe et de dépendre d'une dizaine de Léons Léoni — au lieu d'un seul?..

Oui, c'est la femme que je plains le plus, le Moloch de l'amour la perd plus irrévocablement. Elle croit en lui beaucoup plus et elle souffre plus. Elle est plus concentrée sur son rapport sexuel que l'homme, elle est plus *réduite* à l'amour. On lui tou<rne><sup>1</sup> plus l'esprit qu'à nous — et on lui diver<tit><sup>1</sup> moins la raison.

C'est la femme que je plains le<plus><sup>1</sup>.

### III

En général, la femme est loin d'être fautive de ses préjugés et de ses exagérations — qui donc a sérieusement pensé de détruire, de déraciner dans l'éducation même de la femme — les funestes préjugés qui se transmettent de génération en génération? Ils sont quelquefois brisés par la vie, par les rencontres,

---

<sup>1</sup> Рукопись повреждена.—Ред.

mais le plus souvent c'est le cœur qui se brise et non le préjugé — quelquefois les deux à la fois.

Les hommes tournent ces questions ardues comme les vieilles femmes et les enfants tournent les cimetières et les maudits endroits où se produisent des crimes de sang. Les uns ont peur des esprits noirs et impurs, les autres — de la clarté et de la pure vérité.

L'unité manque totalement dans notre manière d'envisager les rapports des deux sexes — c'est le même désordre, le même dualisme que nous importons de nos théories vagues dans toutes les sphères pratiques de la vie. L'éternelle tentation de concorder, d'amalgamer la moralité chrétienne, — qui a pour point de départ le mépris du corps, du terrestre, du temporel, qui a pour but de vaincre, de fouiller aux pieds la chair, pour parvenir à *l'autre monde* — avec notre moralité terrestre, réaliste, moralité exclusivement *de ce monde*. D'ennui et de dépit — que cela ne va pas, et pour ne pas trop se tourmenter — on garde ordinairement — au choix et au goût — ce qui nous plaît de la doctrine religieuse et on laisse de côté — ce qui gêne trop ou n'a pas l'avantage de nous plaire. Les hommes qui ne mangent pas maigre les journées de Carême — fêtent avec ferveur les fêtes de Pâques, de Noël. Est-ce que le temps n'est pas arrivé — d'avoir un peu plus de courage, de conséquence, de franchise et d'harmonie dans notre conduite?

Que celui qui respecte la loi — reste sous la loi — sans l'étreindre par caprice. Mais aussi que celui qui ne la reconnaît pas — qu'il le dise le front haut, qu'il ne soit pas un fuyard — qui craint la persécution, mais homme libre — le verbe haut.

Apporter cette manière de voir dans la vie privée est extrêmement difficile — et presque insurmontable pour la femme. Les femmes sont beaucoup plus profondément trompées par l'éducation que nous ne le sommes — et connaissent beaucoup moins la vie — et voilà la raison qu'elles s'émancipent plus rarement qu'elles ne font des faux pas, qu'elles sont en état de mutinerie — et d'esclavage perpétuel, aspirent passionnément à sortir de la position actuelle — et se cramponnent à elle avec un conservatisme acharné.

Depuis l'enfance la petite fille est effrayée — *d'un mystère terrible et impur*, d'un monstre qui la guête et contre lequel on la protège, on l'arme, on la prévient, on la prêche... comme si le monstre était doué d'une puissance d'attraction et avait besoin d'exorcisme. Peu à peu — l'éclairage change — le *magnum ignotum* — qui flétrit tout ce qu'il touche, dont le seul nom est une tache, l'allusion auquel est un acte impudique — fait rougir... il devient le seul but de l'existence de la fille... un soleil levant, vers lequel tout montre du doigt — le père, la mère, la famille, la bonne.



Au petit garçon qui commence à courir on s'empresse de donner une bandoulière et un sabre de bois... Va, cher petit, et joue avec l'assassinat fictif, porte des plaies à tes joujoux... en attendant que tu en porteras à ton semblable — dès six ans il ne rêve aussi qu'être soldat, tueur d'hommes en costume de mascarade. Mais la petite fille est bercée par des rêves tout opposés à l'assassinat.

Dors, dors, mon enfant,  
Jusqu'à l'âge de quinze ans,  
A quinze ans faut te réveiller,  
A quinze ans faut te marier.

Et même avant quinze ans elle marie déjà sa poupée et lui achète un petit trousseau. La poupée aura aussi un enfant en porcelaine avec un petit brin...

Il faut s'étonner de la nature humaine qui ne cède pas entièrement, qui résiste et ne se déprave pas par éducation. On pourrait s'attendre comme conséquence de ces provocations, de ces excitations que toutes les petites filles, à quinze ans — iront se marier à des petits assassins pour remplacer les hommes qu'ils ont tués.

D'un côté, la doctrine chrétienne dans sa ferveur de faire une horreur de la chair... réveille dans l'enfant une question dangereuse, précoce, jette dans son âme <un> trouble... et quand le temps de la réponse arrive — une autre doctrine met d'une manière grossière le mariage comme l'idéal glorieux, le but de l'éducation d'une jeune personne.

L'écolière devient *fille à marier, promessa sposa, Braut* — et le mystère trois fois maudit, le grand péché *épuré* devient non seulement le *desideratum* de la famille, le couronnement de l'éducation... le but de toutes les aspirations — mais presque un devoir civique. Les arts et les sciences, la culture et l'intelligence, la beauté, la richesse, la grâce — tout cela ne sont que des roses, des fleurs pour faciliter le chemin de la *chute* officielle, de la perpétration d'un crime — d'un crime immonde — penser auquel était un péché — mais qui chemin faisant a été métamorphosé en vertu et devoir... Comme la viande qu'on servit à un pape en voyage un jour maigre se transforma — par sa bénédiction — en plat maigre.

En un mot, positivement et négativement toute l'éducation de la femme — n'est que l'éducation, le développement des rapports sexuels, et c'est autour de ce pivot que tourne toute son existence ultérieure... Elle *fuit* ces rapports. Elle *les poursuit*, elle en est flétrie — elle s'en glorifie... Aujourd'hui elle garde avec terreur la sainteté négative de son innocence, elle bégaie rougissante, à voix basse — à sa plus proche amie — de son amour —

et demain aux sons des fanfares, à la clarté de centaines de bougies,— dans la présence d'une foule d'invités — elle se livre à un homme.

Fille à marier... épouse, mère — la femme ne commence à s'émanciper et à être *soi-même* que devenant *grand'mère* (et cela si le grand père est déjà enterré)... Quelle existence... Touchée par l'amour, la femme ne lui échappe pas de sitôt... la grossesse... l'allaitement, les premiers soins et la première éducation — ne sont que les conséquences du *grand mystère* qu'elle craignait tant, l'amour continue dans la femme par la maternité, non seulement dans sa mémoire, mais dans son sein, dans son sang, elle fermente en elle, l'envahit, la domine — et même en s'en séparant — ne se détache pas d'elle.

Sur ce rapport physiologiquement profond et puissant le christianisme a soufflé — par son haleine fiévreuse, malade, ascétisme monacale et par son souffle empoisonné des catacombes le transforma en flamme dévorante de la jalousie, de l'envie, de la vengeance, de la haine et de l'extermination, sous l'humble voile du pardon et de l'abnégation.


Sortir de ce chaos d'élucubrations et de spectres mêlés aux réalités — est un acte presque héroïque — et ce ne sont que les natures exceptionnelles qui réalisent ce saut périlleux... les autres se débattent — pauvres créatures — souffrent, et si elles ne perdent pas la raison — c'est grâce à la légèreté avec laquelle en général nous existons, passons d'un hasard à un autre, d'une contradiction à une autre... sans trop raisonner et sans nous s'arracher—jusqu'à ce coup de tonnerre terrible... funeste tombe sur notre tête...

*Amen.*



# ВАРИАНТЫ





## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В разделе «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

### 1. Архивохранилища

*ЛБ* — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

*СК* — «софийская коллекция» Герцена—Огарева.

*ЦГАЛИ* — Центральный Государственный архив литературы и искусства. Москва.

### 2. Печатные источники

*Бид* IV — «Былое и думы», Женева, 1867, т. IV.

*Л* (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома) — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. П., 1919—1925, тт. I — XXII.

*ЛН* — сборники «Литературное наследство».

*ПЗ* — альманах «Полярная звезда».



# БЫЛОЕ И ДУМЫ

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

#### Глава XXXIV

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1855 г.

Стр. 11

<sup>6</sup> После: нос. // Прусский дилижанс.

<sup>6</sup> Слова: И уезжаем — отсутствуют.

<sup>15-16</sup> Вместо: другого. Между Террачино // что раз между Террачиной

<sup>16-18</sup> Вместо: неаполитанский ∞ визы. // подходит к дилижансу ка-  
рабинер и требует, конечно, четвертый раз, наши виды.

<sup>21</sup> Вместо: Бригадир ∞ унтер-офицер // Бригадир этот был старый и  
пьяный унтер-офицер, он

<sup>22-23</sup> Вместо: спросил:

— Как ваша фамилия, откуда? // спросил, как наша фамилья, от-  
куда?

Стр. 12

<sup>16</sup> Вместо: H<aag> // L<uise>

<sup>21</sup> Вместо: только // только что

Стр. 13

<sup>6-7</sup> Вместо: двумя блестящими пуговицами // страшно блестящими  
двумя пуговицами

<sup>7-8</sup> Вместо: они смотрят // они, кажется, смотрят

<sup>11</sup> Вместо: кормилицу-то // кормилицу

<sup>31</sup> Вместо: хозяин // потом хозяин

Стр. 14

<sup>6</sup> Вместо: состоявшей // она состояла

<sup>14</sup> Вместо: сценической постановки // сценическую постановку

<sup>16</sup> Вместо: в кабриолет // на дилижанс, это и до сих пор осталось мое  
любимое место для путешествия

<sup>24-25</sup> Вместо: я ему возражал, сказал прямо, что я // я ему прямо сказал,  
что

<sup>34</sup> Вместо: приезжал // сам приезжал

<sup>35</sup> Вместо: высочайше удивился и одобрил // и высочайше удивлялся

Стр. 15

<sup>4</sup> Вместо: и нос ему // нос он ему

<sup>5</sup> Вместо: наименьшим // наименьший

<sup>8-9</sup> Вместо: хороша только // только и была хороша

<sup>11</sup> Вместо: так ловки // так необычайно ловки

- <sup>12</sup> *После:* станции // от Рейда до Вентнора, например, на острове Вайте
- <sup>25</sup> *Вместо:* с пожитками // с своими пожитками
- <sup>28</sup> *Вместо:* тут он объявил нам // он объявил нам тут
- <sup>32</sup> *После:* спорить; // вдруг
- <sup>33</sup> *Вместо:* спросила // спрашивала
- <sup>34</sup> *Вместо:* а у него их // а у него
- Стр. 16*
- <sup>1-2</sup> *Вместо:* раздавленным русско-немецко-военным голосом // раздавленным в горле голосом
- <sup>8-9</sup> *Вместо:* выстрелил бы // выстрелил
- <sup>19-20</sup> *Фраза:* Это ∞ носа. — *отсутствует.*
- <sup>21</sup> *Вместо:* Первый человек // Итак, первый человек
- <sup>34</sup> *Вместо:* чем // нежели
- Стр. 17*
- <sup>5</sup> *Вместо:* Бакунина, Сазонова... // Бакунина...
- <sup>6-12</sup> *Текст:* да вот ∞ приездом. — *отсутствует.*

## Г л а в а XXXV

### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1855 г.

- Стр. 18*
- <sup>7</sup> *Вместо:* из всего этого // из всего
- <sup>18-19</sup> *Вместо:* но и первых симпатичных // но первых симпатических
- <sup>25</sup> *Вместо:* надо // надобно
- Стр. 19*
- <sup>14</sup> *Вместо:* ехали // приехали
- <sup>18</sup> *Вместо:* в разговор // в речь
- <sup>29</sup> *Вместо:* А вы остаетесь здесь? // Вы остаетесь в Чивите?
- <sup>31</sup> *Вместо:* Я тогда еще очень мало знал англичан // Я тогда очень мало был в сношениях с англичанами
- <sup>37</sup> *Подстрочное примечание отсутствует.*
- Стр. 20*
- <sup>4-5</sup> *Вместо:* лежал в каюте на койке // лег в каюте на койку
- <sup>13</sup> *Вместо:* отозвался // отнесся
- <sup>15</sup> *Вместо:* Совершенно // Чрезвычайно
- Стр. 21*
- <sup>24</sup> *Вместо:* и послал бы // он послал бы
- <sup>37</sup> *Подстрочное примечание отсутствует.*
- <sup>38</sup> *Подстрочное примечание отсутствует.*
- Стр. 22*
- <sup>3</sup> *Вместо:* павловские медали // эти павловские медали
- <sup>4</sup> *Вместо:* целое // все
- <sup>8</sup> *Вместо:* указывает на Станислава // указывает Станислава
- <sup>9</sup> *После:* чином своим!» // Служба сводит у нас с ума и с сердца!
- <sup>16-17</sup> *Вместо:* подошла // пришла
- Стр. 23*
- <sup>18-19</sup> *Вместо:* тянут ∞ барку. // тянут по бечевнику нагруженную барку против течения.
- <sup>22</sup> *Вместо:* и считал // считал
- Стр. 24*
- <sup>7-8</sup> *Вместо:* парижского архиерея // теперешнего парижского архиерея
- <sup>13</sup> *Вместо:* старый капитан // тот старый капитан

Стр. 25

<sup>16</sup> Вместо: и все рухнуло // и все, все рухнуло

Стр. 26

<sup>30</sup> После: любви, // я снова верил,

Стр. 27

<sup>10</sup> Вместо: полосой // полоской

Стр. 28

<sup>3</sup> Вместо: а возле него // и возле него

<sup>7</sup> Вместо: громкое // приветливое

<sup>16</sup> Слово: Может — отсутствует.

<sup>23</sup> Вместо: Вечером 24 июня // Вечером 24

<sup>25</sup> Слово: слышался — отсутствует.

Стр. 29

<sup>7</sup> Вместо: пошли // выжили

<sup>17</sup> Вместо: полупьяны // вполпьяна

<sup>20-21</sup> Вместо: Замолчав, он продолжал // Он помолчал

<sup>24</sup> Вместо: припомнят // попомнят

Стр. 30

<sup>3-4</sup> Вместо: на сходках, другой должен быть такой же // в емётах, с толпой работников, другой такой же должен быть

<sup>7</sup> Слово: народа — отсутствует.

<sup>14-15</sup> После: не быть // потом

<sup>21</sup> Вместо: слыша // услышав

<sup>24-25</sup> Вместо: помещалось // было

Стр. 31

<sup>4</sup> Вместо: нашего ареста // ареста

<sup>4</sup> Вместо: изложил дело, прибавил // рассказал и прибавил

<sup>5-6</sup> Вместо: и рассказал случай, бывший со мной вчера. Я сидел // и что вчера было со мной следующее. Я был

<sup>15</sup> Вместо: это происходило // дело было

<sup>27</sup> После: Мадлены. // Я все это рассказал старику.

Стр. 32

<sup>14</sup> Вместо: что если // если

<sup>17</sup> Вместо: по возвращении // после того как я пришел

<sup>24</sup> Вместо: сделать у меня // у меня сделать

<sup>25-26</sup> Вместо: совершенно так, как в 1834 году полицмейстер Миллер // точно так, как Миллер в 1834 г.

<sup>27-28</sup> Вместо: комиссар ∞ извиняться // комиссар стал извиняться, как жандармский офицер, приезжавший от Дубельта.

<sup>31-32</sup> Вместо: Это было бы ∞ положение: вы уже // Это была бы жестокость с моей стороны не понять вашего положения: вы

<sup>34</sup> Вместо: покраснел // покраснел до ушей

<sup>38</sup> Вместо: не жег бумаг // не жег бумаги

Стр. 33

<sup>4</sup> Вместо: вспыхнув // вспыхнув в лице

<sup>6</sup> Вместо: я лгу // я солгал

<sup>7</sup> Вместо: Почему // Отчего

<sup>18</sup> Вместо: Комиссар // Комиссар-таки

<sup>21</sup> Слова: от арестанта — отсутствуют.

<sup>31</sup> Вместо: эмиграции // централизации

Стр. 34

<sup>2</sup> Вместо: сардинской полиции // папской полиции

<sup>4</sup> Вместо: до нее // до нунция

<sup>13</sup> Вместо: возратить // их возратить

<sup>15</sup> Вместо: канули в воду // канули, как в воду



<sup>23</sup> *Вместо:* сказал Ламорисьер // сказал префект полиции или Ламорисьер

<sup>25</sup> *Вместо:* раз; // раз. Я остоленел от удивления,

<sup>28</sup> *Вместо:* правительства! // правительства, этого нельзя было так оставить.

<sup>35</sup> *Вместо:* никакого подозрения // никакого рода подозрение

Стр. 35

<sup>4</sup> *Вместо:* пересмотрю бумаги // взгляну на бумаги

<sup>9</sup> *Вместо:* отвечать // ответить

<sup>13</sup> *Вместо:* у меня нет // мне нет

<sup>14-15</sup> *Вместо:* и он вышел, кланаясь с важностью // при этом с важностью кланаясь, он вышел вон

## Г л а в а XXXVI

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1859 г.

Стр. 36

<sup>4</sup> *Слово:* Отъезд — *отсутствует.*

<sup>5-7</sup> *Вместо:* не завязавши ∞ чуждыми // не сделавши никаких знакомств, особенно в круге литературном и политическом

<sup>8</sup> *Вместо:* только чтобы // просто для того чтоб

<sup>16</sup> *Вместо:* думаем // мы думаем

<sup>19</sup> *Вместо:* Чтобы // Для того чтоб

<sup>19</sup> *Вместо:* импонировать // себя им импонировать

<sup>21-22</sup> *Вместо:* под рукой // у меня под рукой

<sup>23</sup> *Вместо:* людей, с которыми // народа, с которым

<sup>24</sup> *Вместо:* с французами // с французским

<sup>26</sup> *Вместо:* чтобы // для того чтоб

<sup>28</sup> *Вместо:* как и во всем // как во всем

Стр. 37

<sup>1</sup> *После:* сведений; // оттого

<sup>3</sup> *Вместо:* все знает // знает

<sup>4</sup> *Вместо:* он любит // оттого он любит

<sup>16-18</sup> *Вместо:* Раз представлялась ∞ Граф Ксаверий Браницкий // Раз представился было случай общего труда, который мог бы естественно привести в сношение с многими лицами — да и тот не удался. Граф Б.

<sup>22</sup> *Вместо:* были очевидны // была очевидна

<sup>23</sup> *Вместо:* тем // всем

<sup>24</sup> *Вместо:* достаточно подчас // достаточно было иной раз

<sup>30-31</sup> *Вместо:* в «Теймсе» и «Journal des Débats» бывают // «Теймс» и «Journal des Débats» имеют

Стр. 38

<sup>3</sup> *Вместо:* вяло // был вял

<sup>9</sup> *Вместо:* учрежден // находился

<sup>10-11</sup> *Вместо:* а главным заведователем ∞ оставалось // главный заведователь всем был знаменитый Мицкевич, Х<оецкий> распоряжался под его начальством. Оставалось

<sup>14</sup> *Вместо:* Приехав, я застал уже // Когда я приехал, уже застал

<sup>18</sup> *Вместо:* не видал // не видывал

<sup>19</sup> *Вместо:* опершись // опираясь

<sup>21-22</sup> *Вместо:* тотчас узнать // узнать

<sup>24</sup> *Вместо:* чем // нежели

<sup>29</sup> *Вместо:* более // больше

<sup>35</sup> *Вместо:* остановившись // он остановился

<sup>38</sup> *Вместо:* он один // один

Стр. 39

<sup>6-7</sup> *Вместо:* монахи // монах

<sup>9</sup> *Вместо:* потому что // он

<sup>12</sup> *Вместо:* наружных знаков // наружные знаки

<sup>14</sup> *Вместо:* следовательно // следственно

<sup>20</sup> *Вместо:* как русский // в качестве русского

<sup>22</sup> *Вместо:* предложение // желание

<sup>24-25</sup> *Вместо:* в первый раз ∞ Хомяков // в первый раз. В Москве на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 г., один из гостей

<sup>28</sup> *Вместо:* выпили за здоровье // выпили здоровье

Стр. 40

<sup>5</sup> *Вместо:* она // она-то

<sup>21</sup> *Вместо:* заводили // пробовали

Стр. 41

<sup>6</sup> *Вместо:* Все // Наконец все

<sup>18</sup> *Вместо:* во главе // в голове

<sup>20</sup> *Вместо:* нечистого // гнусного

<sup>23</sup> *Вместо:* сломились // сломались

Стр. 42

<sup>9</sup> *Вместо:* его // его самого

<sup>10</sup> *Вместо:* показал // тогда показал

<sup>31-32</sup> *Вместо:* приостановились // были приостановлены

<sup>37</sup> *Вместо:* Писано // Это писано

Стр. 43

<sup>1</sup> *Вместо:* для меня было // для меня

<sup>2</sup> *После:* жизни // такого времени не будет наверное

<sup>18</sup> *Вместо:* что-то // всякую всячину

Стр. 44

<sup>6</sup> *Вместо:* стало // было

<sup>8</sup> *Вместо:* Туда-то // Там-то

<sup>8</sup> *Вместо:* Сазонов // один приятель

<sup>13-14</sup> *Вместо:* не имеешь почти ничего общего // почти ничего не имеем общего

<sup>19-20</sup> *Вместо:* привело и приведет // приведет

<sup>25</sup> *Вместо:* глупостей. // глупости!

Стр. 46

<sup>16</sup> *Вместо:* квартиру и форму бороды // квартиру или форму бороды

<sup>25</sup> *Вместо:* в какое-то политическое дело // в каком-то политическом деле

<sup>27-29</sup> *Вместо:* Делессер ∞ любил иногда // Делессер, который был тогда префектом, *bon vivant* и богатый человек, служивший по полиции не из нужды, а из страсти, любил иной раз

Стр. 47

<sup>13</sup> *Вместо:* ступайте // ступайте вы

<sup>16</sup> *Вместо:* а через два часа // и через два часа

<sup>18</sup> *Вместо:* уезжает // уехал

<sup>23</sup> *Вместо:* явнобрачные // другие

<sup>30</sup> *После:* банкете. // Так мальчиком я искал, бывало, на всех больших похоронах Домажирова и, только найдя его, в его светлом екатерининском мундире, с его противным павловским лицом, успокоивался.

Стр. 48

<sup>6</sup> *Вместо:* в кругу своей семьи // окруженный своей семьей

<sup>9</sup> *Вместо:* псевдореволюционизма // псевдореволюционаризма

<sup>21-22</sup> *Вместо:* или как шагистика — Николаю. // и шагистика Николаю, как я сказал.

Стр. 49

<sup>21</sup> *Вместо:* Сазонов // здесь и дальше: Х. Х.

<sup>28</sup> *Вместо:* много знает // многое знает

<sup>30</sup> *Вместо:* Торе // он

Стр. 50

<sup>20-21</sup> *Вместо:* Это очень кстати // Вот кстати

<sup>36</sup> *Вместо:* фарсом // фарсой

Стр. 51

<sup>21</sup> *Слово:* является — отсутствует.

<sup>24</sup> *Вместо:* получила // действительно получила

<sup>29-30</sup> *Вместо:* швей и работниц // швей, работниц

<sup>32</sup> *Вместо:* когда мы проходили // проходя

<sup>34-35</sup> *Вместо:* и, когда // когда

Стр. 52

<sup>30-31</sup> *Вместо:* а может, она была бы // а может быть, была бы

<sup>31</sup> *Вместо:* тех, которые поверили бы // тем, которые бы поверили

<sup>33-34</sup> *Вместо:* Будь в самом деле ∞ легче // Если б в самом деле была  
какая-нибудь дирекция, если б было что-нибудь приготовлено,  
ничего не было бы легче

Стр. 53

<sup>3</sup> *Слова:* начальник артиллерии Национальной гвардии — отсут-  
ствуют.

<sup>9</sup> *Вместо:* но никто // никто

<sup>12</sup> *Вместо:* не взяли // они не взяли

<sup>19</sup> *Вместо:* может // может быть

<sup>36</sup> *Вместо:* аресты // арестации

Стр. 54

<sup>1</sup> *Вместо:* К. Блинда и А. Руге // А. Руге

<sup>2</sup> *Вместо:* в небольшом зале // в небольшой зале

<sup>3</sup> *Вместо:* посреди него // середь нее

<sup>4</sup> *Вместо:* во время // середь

<sup>7</sup> *После:* в Женеву. // Об отъезде моем я рассказывал в другом месте. —  
и сноски: См. «Полярная звезда» на 1855.

<sup>34-37</sup> *Подстрочное примечание — отсутствует.*

#### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1856 г.

Стр. 54

<sup>8</sup> *Перед:* Тогда // ... Оставаться в Париже было безумно; я взял пасс  
у одного валаха и отправился в Женеву.

<sup>17</sup> *Вместо:* забыл // он забыл

<sup>18</sup> *Вместо:* конверт // пакет

<sup>19</sup> *Вместо:* до звонка остается всего минуты три // он имеет минуты  
три времени до звонка

<sup>20-21</sup> *Вместо:* стал еще подозрительнее осматривать // еще подозритель-  
нее осматривал

<sup>22</sup> *Вместо:* спросил у меня молча; // у меня спросил молча, и

<sup>23</sup> *Вместо:* Когда стало смеркаться, // К вечеру

<sup>29</sup> *Вместо:* с трудом // с затруднением

<sup>37</sup> *Вместо:* тогда // теперь

Стр. 55

<sup>2</sup> *Вместо:* Кашляя, отирая пот, // Он, кашляя, обтирая пот

<sup>2-3</sup> *Вместо:* он отвечал // отвечал

<sup>7</sup> *Вместо:* и, услышав // услышав

<sup>8</sup> *После:* Валахии // он

<sup>9</sup> *Вместо:* хотя он // хотя

<sup>16</sup> *Вместо:* Мой старший сын тоже, // Мой сын тоже, старший,

- <sup>26-27</sup> *Вместо:* контору дилижансов // дилижанс-контору  
<sup>29</sup> *Вместо:* сидел // сидел за столом  
 Стр. 56  
<sup>2</sup> *Вместо:* мочи нет, какой жар // такой жар, мочи нет  
<sup>5-6</sup> *Вместо:* принесет его нам // принесет  
<sup>9</sup> *Вместо:* к шляпе // к киверу  
<sup>17</sup> *Вместо:* бумаги // виды  
<sup>18</sup> *Вместо:* вошли // *здесь и далее:* взошли  
<sup>19</sup> *Вместо:* только что // только  
<sup>21</sup> *Вместо:* я ведь ему сказал // я же ему сказал

## Г л а в а XXXVII

### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1859 г.

- Стр. 58  
<sup>18</sup> *Слова:* к старому — *отсутствуют.*  
 Стр. 59  
<sup>15</sup> *Вместо:* а Паскевич // и Паскевич.  
<sup>21-22</sup> *Вместо:* галицийские // галицкие  
 Стр. 60  
<sup>10-11</sup> *Вместо:* очень красивая // красивая  
<sup>33</sup> *Вместо:* лечил, кормил и поил их // лечил их, кормил их, поил их  
 Стр. 61  
<sup>10</sup> *Вместо:* Реакция // Реакция вся  
<sup>28</sup> *Вместо:* двое были // двое  
<sup>29</sup> *Вместо:* вдобавок // притом  
<sup>31</sup> *Вместо:* называя ее // называя их  
 Стр. 62  
<sup>9</sup> *Вместо:* более // больше  
<sup>30-32</sup> *Вместо:* ходил ∞ гор // ходил сам купаться и ее водил в Арву, где вода середь лета бывает холодна, как лед; быстро стекая с гор, она не успевает нагреваться.  
 Стр. 63  
<sup>28</sup> *Вместо:* он // он мпе  
 Стр. 64  
<sup>8</sup> *Вместо:* сказал // сказал мне  
<sup>10</sup> *Вместо:* я и пришел // я пришел  
<sup>14</sup> *Вместо:* на стуле за столом, держа // на своем стуле за столом и держал  
<sup>15</sup> *Вместо:* он протянул // протянул  
<sup>22-23</sup> *Вместо:* общий всем язык был один французский // один общий язык всем был французский  
<sup>35</sup> *Вместо:* догадался // я догадался  
<sup>36</sup> *Вместо:* чтоб // для того чтоб  
 Стр. 65  
<sup>5</sup> *Вместо:* на две-три // на две — на три  
<sup>13-14</sup> *Вместо:* касается итальянского перевода // касается до итальянского перевода  
<sup>18-19</sup> *Вместо:* хотелось показать ему // захотелось ему показать  
<sup>36</sup> *Вместо:* «Былое и думы». Том II // См. в «Поляр<ной> звез<де>» 1855 г.  
 Стр. 66  
<sup>2</sup> *После:* Саффи // *подстрочное примечание:* См. в «Прибавлении».  
<sup>16</sup> *Вместо:* не скрывает ее // не скрывает  
<sup>19</sup> *Вместо:* с вечной сигарой // со своей вечной сигарой  
<sup>31</sup> *Вместо:* никакая полиция // равно никакая полиция

- <sup>34</sup> *Вместо:* примыкавшей // примыкающей  
Стр. 67
- <sup>9</sup> *Вместо:* вряд ли она возможна // вряд возможна ли она  
<sup>12</sup> *Вместо:* да и тут // и тут  
<sup>16</sup> *Слово:* теперь — *отсутствует.*  
<sup>19</sup> *Вместо:* предпоследние // последние  
<sup>19</sup> *Вместо:* но речь // речь  
<sup>26</sup> *Слово:* служба — *отсутствует.*
- Стр. 68  
<sup>25</sup> *Вместо:* строк // строф  
<sup>28</sup> *Вместо:* взглянула // посмотрела
- Стр. 69  
<sup>8</sup> *Вместо:* составил // составились  
<sup>10</sup> *Вместо:* Сам Гарибальди // Наконец сам Гарибальди  
<sup>30</sup> *Вместо:* особенно // и особенно  
<sup>31</sup> *Вместо:* к тому же // притом  
<sup>35</sup> *Вместо:* вера, любовь и ненависть // магнетизм верования и одушевления  
<sup>37</sup> *Вместо:* большая часть их даже // большая часть из них
- Стр. 70  
<sup>7</sup> *Вместо:* так же, как // так, как  
<sup>26</sup> *Вместо:* любит // он любит  
<sup>27</sup> *Вместо:* чем // *здесь и дальше:* нежели  
<sup>28</sup> *Вместо:* о нем. Он предпочитает // против него. Он любит лучше
- Стр. 71  
<sup>22</sup> *Вместо:* да еще тем // и тем еще  
<sup>30–31</sup> *Вместо:* лицом и неукротимой отвагой // лицом, с его средневековой отвагой  
<sup>35</sup> *Вместо:* блестящий военный штаб // этот блестящий военный штаб
- Стр. 72  
<sup>16</sup> *Слово:* славным — *отсутствует.*  
<sup>20</sup> *Вместо:* состоял // был составлен  
<sup>27</sup> *Вместо:* навверх // вверх  
<sup>31</sup> *Вместо:* Америки // Монтевидео
- Стр. 72—73  
<sup>36–3</sup> *Вместо:* который ∞ похода // отступившего после взятия Рима, огрызаясь на каждом шагу, который, растеряв своих сподвижников, сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тессине солдат, мужиков, бандитов, кого-нибудь, чтоб снова ударить на врага, и это возле тела подруги своей, не вынесшей всех усилий и лишений похода.
- Стр. 73  
<sup>15</sup> *Вместо:* сделать то же // того же делать  
<sup>20</sup> *Вместо:* Что теперь делать // Помилуйте, что теперь делать  
<sup>25</sup> *Вместо:* как собраться // как эмиграции собраться  
<sup>28</sup> *Вместо:* Пловучая // да ведь это была бы пловучая  
<sup>30</sup> *Вместо:* В эту // Действительно в эту
- Стр. 74  
<sup>3</sup> *Вместо:* наконец // и наконец  
<sup>8–9</sup> *Вместо:* патриоты и кондотьеры // вместе патриоты и кондотьеры  
<sup>14</sup> *Вместо:* надобен // им надобен
- Стр. 75  
<sup>28</sup> *Вместо:* разве только // разве только была
- Стр. 76  
<sup>6–7</sup> *Вместо:* по семейным // по своим семейным  
<sup>16–17</sup> *Вместо:* положил его // положил  
<sup>17</sup> *Вместо:* родился // родился быть

<sup>13</sup> После: жизнь // подстрочное примечание: О моих личных сношениях с Орсини говорится в другом месте.

Стр. 77

<sup>14</sup> Вместо: проведенных с ним // проведенных мною с ним

<sup>23</sup> Вместо: иной раз и // иногда

<sup>24</sup> Вместо: говоря // и говорил

<sup>24-25</sup> Вместо: там жила красавица испанка, которую он любил. // а по дороге он сам заводил речь о том, что меня занимало. Не из роз была и его жизнь.

<sup>27</sup> Вместо: тусклее, но в нем // тусклее... В Медичи

<sup>28</sup> Вместо: замечал // заметил

<sup>29</sup> После: закала. // У меня остался в памяти один милый анекдот, который я передам.

Стр. 78

<sup>8</sup> После: поляком ! // Все вспырыснули от смеха, а Медичи сказал мне с довольным видом: «Защитился-таки».

<sup>12</sup> Вместо: встречается // встречается иногда

<sup>16</sup> Вместо: мыслей, заняты своей ролью // мыслей, расчетов, а главное заняты своей ролью

<sup>23</sup> Вместо: Вот почему становится так отраднo // Вот почему так бьется сердце, так становится отраднo

Стр. 79

<sup>1-2</sup> Вместо: великой преданности // великого декорума

<sup>4-5</sup> Вместо: расстреляли ∞ задача // гаротировали бы или расстреляли, если б он попался; и не надобно притом забывать, что задача

<sup>15</sup> Вместо: повторял стихи // рецитировал

<sup>22</sup> Вместо: не слышал // потом не слышал

<sup>28-29</sup> Вместо: внутреннюю скорбь // внутреннюю, современную скорбь

<sup>29-30</sup> Вместо: Такие ∞ ямбах // Есть такие слова, стихи у Лермонтова, в некоторых ямбах

<sup>32</sup> Вместо: перед смертью // перед своей кончиной

<sup>36</sup> Вместо: знал // догадывался

Стр. 80

<sup>1</sup> Вместо: с каким-то ожесточением // с ожесточением

<sup>4</sup> Вместо: зачем // что

<sup>16</sup> Вместо: не выдержал // наконец не выдержал

<sup>24</sup> Вместо: жаждет // у них ищет

<sup>27-28</sup> Вместо: без его отношения к действительности // без отношения к его внешнему действию

<sup>30</sup> Вместо: мы // и мы

<sup>30-31</sup> Вместо: некоторые // несколько

<sup>32-33</sup> Вместо: Этого было достаточно ∞ в исчезающих // Больше не было нужно. Когда люди встречаются в этих исчезающих

<sup>34</sup> Вместо: очевидно // разумеется

<sup>36</sup> Вместо: недолго был знаком // не был хорошо знаком

Стр. 81

<sup>5</sup> Вместо: без всякой примеси // без примеси

<sup>6</sup> Вместо: он возил // возил

<sup>9</sup> Вместо: федерации // федерализации

<sup>10</sup> Вместо: к небольшому // к тому небольшому

<sup>11</sup> Вместо: от победы // от победы и

<sup>15-16</sup> Вместо: и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал // он и несколько энергических человек спрашивали

<sup>23</sup> Вместо: потом // и потом

<sup>24</sup> Вместо: однажды вечером // вечером

<sup>27</sup> Вместо: впересыпку // впересыпочку

- <sup>33-34</sup> *Вместо:* взаперти и прятаться, просто // назаперти и прятаться, это просто
- Стр. 82*
- <sup>19</sup> *Вместо:* Французские газеты // Наполеоновские газеты
- <sup>25</sup> *Вместо:* физически // так сказать, физически
- <sup>31-32</sup> *Вместо:* а теперь понемногу перебирается в положительную науку — он // теперь он из них понемногу перебирается в положительную науку
- Стр. 83*
- <sup>11</sup> *Вместо:* Гёте // Гёте и Шиллера
- <sup>30</sup> *Вместо:* доволен этим // доволен
- Стр. 84*
- <sup>4</sup> *Вместо:* но эскимос // эскимос
- <sup>4-5</sup> *Вместо:* для рыбьего жира // для получения рыбьего жира
- Стр. 85*
- <sup>16</sup> *Вместо:* были и // были
- <sup>23</sup> *После:* глаза // так, как в сто раз увеличенные горы на картах.
- <sup>32</sup> *Вместо:* стал // начал
- Стр. 86*
- <sup>3</sup> *Вместо:* гроза // гроза, ураган
- <sup>7-8</sup> *Вместо:* намеренно распускаются ложные слухи // рассеиваются намеренно ложные слухи
- <sup>12</sup> *Вместо:* приказываю вам, чтоб всякий // приказываю я вам, чтоб кто б то ни был,
- <sup>14</sup> *После:* был захвачен // был бы захвачен
- <sup>18</sup> *Вместо:* она // они
- <sup>19</sup> *Вместо:* она их отводила // они их отводили
- Стр. 86—87*
- <sup>21-26</sup> *Текст:* К характеристике ∞ перестали — *отсутствует.*
- Стр. 88*
- <sup>2</sup> *Вместо:* потому он // потому
- <sup>7</sup> *Вместо:* сердиться на него // сердиться за него
- <sup>12</sup> *Вместо:* чего // что
- <sup>25-26</sup> *Слово:* издеваются — *отсутствует.*
- <sup>31</sup> *Вместо:* отстает // перестает
- <sup>34</sup> *Вместо:* нужно // надобно
- Стр. 89*
- <sup>12</sup> *Вместо:* После этого // Тогда
- <sup>17</sup> *После:* в Лондоне // все пьяные ирландцы
- Стр. 90*
- <sup>2-3</sup> *Вместо:* готов бесчестить ∞ преследовать их // бесчестит дочь жену, юридически доказывая ее стыд
- <sup>6</sup> *Вместо:* отвечает // он отвечает
- <sup>11</sup> *Вместо:* Это // Для того, чтоб убедить, что это
- <sup>11-12</sup> *Вместо:* только посмотреть // посмотреть
- <sup>32</sup> *Вместо:* и в которую // в которую
- <sup>35</sup> *Вместо:* женщин и детей // женщинам и детям
- Стр. 91*
- <sup>3</sup> *Вместо:* Отправляясь // Отправляясь раз
- <sup>6</sup> *Вместо:* В половине восьмого портье // В половину восьмого камерьер
- <sup>8</sup> *Вместо:* Но, несмотря на то // И, несмотря на то
- <sup>19</sup> *Вместо:* могут сделать // сделают
- <sup>23</sup> *Вместо:* чтоб схватить // схватить
- <sup>33</sup> *Вместо:* кто-нибудь // кто
- Стр. 92*
- <sup>4</sup> *Вместо:* Однако // Но

- <sup>8</sup> *Вместо:* сигары // свои сигары  
<sup>15</sup> *Вместо:* Повторяю // Повторяю, что  
<sup>18-19</sup> *Вместо:* чувствовал я, что // я чувствовал, что я  
<sup>20</sup> *Вместо:* Кто // Тот, кто  
<sup>33</sup> *Вместо:* масло // сливочное масло  
Стр. 93  
<sup>1</sup> *Вместо:* Еще // И еще  
<sup>3</sup> *Вместо:* человека // камерьера  
<sup>16</sup> *Вместо:* он принялся // принялся  
<sup>20</sup> *Вместо:* а один итальянец // и один итальянец  
<sup>23</sup> *Вместо:* о братстве // о их братстве  
<sup>28</sup> *Вместо:* надобно // на это надобно  
<sup>28</sup> *Вместо:* времени. Когда же // времени; а когда

## Г л а в а XXXVIII

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1858 г.

- Стр. 94  
<sup>7</sup> *Слова:* Попадая под их влияние, — *отсутствуют.*  
Стр. 95  
<sup>14</sup> *Вместо:* и там они торжественно возрастают // там они торжественно возрастают  
<sup>17</sup> *Вместо:* в ней нет каст // там нет каст  
<sup>24-25</sup> *Вместо:* призванная вся, от пахаря и работника, к самоуправлению // призванная вся к политической деятельности, от пахаря и работника  
Стр. 96  
<sup>30</sup> *После:* доезжачим // вроде Наполеона  
<sup>31-32</sup> *Вместо:* столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы // ее так же ненавидят, как и швейцарцы  
Стр. 99  
<sup>5</sup> *Вместо:* своей силы // о своей силе  
<sup>9</sup> *Вместо:* деться // деваться  
<sup>10-11</sup> *Вместо:* некоторые кантоны ∞ собранию // частные кантоны противудействовали федеральному собранию, и в том числе Женевский  
<sup>21-22</sup> *Вместо:* и этим возбуждал против себя обе стороны // в силу чего те и другие были недовольны  
<sup>27</sup> *Вместо:* а потом // и потом  
Стр. 100  
<sup>6</sup> *Вместо:* на свое старое правительство // против старого правительства своего  
<sup>9</sup> *Вместо:* своих вооруженных друзей // две пушки  
<sup>11-12</sup> *Вместо:* пушку или отряд // пушки  
<sup>25-26</sup> *Вместо:* наполнила // наполняла  
<sup>36</sup> *Вместо:* диктатором // в диктаторы  
<sup>38</sup> *Вместо:* на два года // на один год  
Стр. 101  
<sup>1</sup> *Вместо:* через два года // через год  
<sup>2-3</sup> *Вместо:* и таким образом // так что  
<sup>6-7</sup> *Вместо:* Фази показал новые способности во время своего диктаторства. // Новые способности показал Фази на своем диктаторстве.  
<sup>10</sup> *Вместо:* каким был // как был  
<sup>12-13</sup> *Вместо:* знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой // сам Остерман-Толстой  
<sup>20-21</sup> *Вместо:* а что-то неладно. // но что-то многое изменилось!  
<sup>26</sup> *Вместо:* проходил // проходит  
<sup>26</sup> *Вместо:* отдавали // отдают



- 34-35 *Слова: и пошел вниз — отсутствуют.*
- Стр. 102
- 8-9 *Вместо: на новое учение, сложившееся // против нового учения, назвавшегося*
- 12 *Вместо: пониманию // понимать*
- 15 *Вместо: записку Струве // записку от Струве*
- 21 *После: журнал // подстрочное примечание: См. глава II, часть IV.*
- 27 *Вместо: в ту минуту // в эту минуту*
- Стр. 103
- 1 *Вместо: расплатиться // поплатиться*
- 4 *Вместо: эрой // эре*
- 13-14 *Вместо: показав // напомнив ему*
- Стр. 104
- 7 *Вместо: а он // так он*
- 12-13 *Вместо: что он пришел // что пришел ко мне*
- Стр. 105
- 9 *Вместо: человек не злой // без малейшей злопамятности*
- 20 *Слово: домой — отсутствует.*
- 25-26 *Вместо: растворились и публика, состоявшая // были отворены и публика, состоящая*
- 29 *Вместо: а с тем же Струве // он воротился с тем же Струве*
- 31-32 *После: Префект полиции // в Нион, что ли*
- 34-35 *Вместо: не только ∞ назад. // отказался послать его далее.*
- Стр. 106
- 2 *После: голов // подстрочное примечание: «Былое и думы», часть IV, глава II.*
- 10 *Вместо: Федеральный // Тут федеральный*
- 11 *Вместо: а тут // тут*
- 11 *Слово: жекский — отсутствует.*
- 22 *Вместо: Бленкера // здесь и дальше: Б.*
- 32-33 *Вместо: только вы не подумали, что // только вот что вы не подумали,*
- 35 *Вместо: принимаете // так принимаете*
- 36 *Вместо: касается партии // касается до партии*
- 38 *Вместо: сделаете // этим сделаете*
- Стр. 107
- 7 *Вместо: как нельзя лучше // как нельзя быть лучше*
- 13 *Вместо: соглашаясь // сам соглашался*
- 24 *Вместо: к этому нельзя // нельзя*
- Стр. 108
- 16 *Вместо: жекский супрефект спросил // какой-то супрефект спросил почти*
- 35 *Вместо: Приметы // дурные приметы*
- Стр. 109
- 1 *Вместо: Я по опыту // Я очень по опыту*
- 4 *Вместо: даль // и даль*
- 14 *Вместо: чувством... но // чувством», и после теплых дружеских похвал — «но*
- 18 *Вместо: Сазонов // Другой приятель*
- 31 *Вместо: полной кроткой гармонии // полной, кроткой гармонией*
- 33 *После: не часты; // даже они становились реже;*
- 38 *Вместо: и зачем я был близок с ним!.. // остальные очень естественно поддерживали тревожное и раздражительное состояние духа.*
- Стр. 110
- 9 *Вместо: жарко // где жарко*
- 11-12 *Вместо: Живой человек: рвется // Так живой человек и рвется*
- 14 *Слова: сального, гнилого запаха — отсутствуют.*

- <sup>24</sup> *Вместо:* хорошо // очень хорошо
- <sup>32</sup> *Вместо:* такой же // такой
- <sup>34-36</sup> *Вместо:* что-то подобное ∞ закала // подобное население. В Перми и на Бятке со мной были такие же встречи
- <sup>37-38</sup> *Вместо:* шаг за шаг // шаг в шаг
- Стр. 111*
- <sup>2</sup> *Вместо:* повыше св. Никола // близь с. Никола
- <sup>26</sup> *Вместо:* Мы с жандармом напились вдоволь // Я и жандарм, мы напились сколько хотели
- Стр. 112*
- <sup>9</sup> *Вместо:* Оно // вот, оно
- <sup>14</sup> *Вместо:* подкрепился // подкрепиться
- <sup>15</sup> *Вместо:* на горах Швейцарии // на горах в Швейцарии
- <sup>21</sup> *Вместо:* чтобы // для того чтобы
- <sup>23-24</sup> *Вместо:* а на столе // и на столе
- <sup>29</sup> *Вместо:* главу // нашу главу
- <sup>30</sup> *Вместо:* семи // девяти
- Стр. 113*
- <sup>5-6</sup> *Вместо:* казавшиеся мохом ∞ мы двигались // с высоты, по которой мы двигались, они казались мохом
- <sup>11-12</sup> *Вместо:* Я не хотел бы часто // несколько раз я не хотел бы
- <sup>14-15</sup> *Вместо:* окружают его // со всех сторон
- <sup>23</sup> *Вместо:* я пошел // через несколько минут и я вышел
- <sup>30</sup> *Вместо:* говорить // говорить по-английски
- <sup>30</sup> *Вместо:* поесть // что-нибудь поесть
- <sup>34-35</sup> *Вместо:* придется спускаться по новой дороге. // по новой дороге спускаться?
- <sup>36</sup> *Слово:* время — *отсутствует.*
- Стр. 114*
- <sup>4</sup> *Слова:* и Мон-Сервину — *отсутствуют.*
- <sup>12</sup> *Слова:* Вообще же — *отсутствуют.*
- <sup>13</sup> *Вместо:* и необычайная // необычайная
- <sup>17</sup> *Вместо:* облаками // своими облаками
- <sup>18-19</sup> *Вместо:* мох ∞ кое-где // мох кое-где, седой, жесткий попадает
- <sup>21</sup> *Вместо:* чтоб на минуту // и то на минуту
- <sup>23</sup> *Вместо:* замерзшую // замерзнувшую
- <sup>33</sup> *Вместо:* к берегу // к своему берегу
- Стр. 115*
- <sup>1</sup> *Вместо:* она // потом она
- <sup>13-14</sup> *Вместо:* обдумывал черную измену?.. // в то самое время сознательно губил, обдуманно предавал другого?

## ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ. Тетрадь вторая

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1856 г.

*Стр. 116*

<sup>20</sup> *Вместо:* еще печальнее // печальнее

*Стр. 117*

<sup>4-5</sup> *Вместо:* новый цех ∞ с другими // новый цех складывался и костенел рядом с другими, цех выходцев

<sup>5</sup> *Вместо:* И как некогда // И так, как

<sup>11</sup> *Вместо:* При всем // Но при всем

<sup>12</sup> *Вместо:* Если б // И если б

<sup>16</sup> *Вместо:* переживать // пережить

<sup>25</sup> *После: к 1849* // *подстрочное примечание:* См. «С того берега», страницу 151.

- <sup>34</sup> *Вместо:* вряд ли нет // вряд нет ли  
Стр. 118
- <sup>13</sup> *Вместо:* каких-нибудь верований // каким-нибудь верованием  
Стр. 119
- <sup>35</sup> *Вместо:* эти-то левиты // эти левиты ее  
Стр. 120
- <sup>9</sup> *Вместо:* на конце // всегда на конце  
<sup>35</sup> *Вместо:* плоше // пошлее
- <sup>35-36</sup> *Вместо:* романтической Европы // романской Европы  
Стр. 121
- <sup>17-18</sup> *Вместо:* постоянно натянутые мышцы которой // которого постоянно натянутые мышцы  
<sup>19</sup> *Вместо:* к той жизни // к этой жизни
- <sup>20-21</sup> *Вместо:* лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем // лорд Пальмерстон или сир Джон Россель  
<sup>22</sup> *Вместо:* Гарольдом // Чайльдом  
<sup>34</sup> *Вместо:* с 1830 // от 1830
- Стр. 122
- <sup>18</sup> *Вместо:* никакого вывода // никакого заключения, никакого вывода  
Стр. 123
- <sup>17</sup> *Вместо:* привык // уже привык  
<sup>17</sup> *Вместо:* уже не пугают // не пугают  
<sup>36</sup> *Вместо:* с общими-то вопросами // с общими вопросами
- Стр. 124
- <sup>10</sup> *Вместо:* о настоящем мире, воображая // о настоящем мире и воображают  
<sup>13</sup> *Вместо:* там непременно // то непременно
- <sup>30-31</sup> *Вместо:* как нивы // так, как нивы  
Стр. 125
- <sup>8</sup> *Вместо:* нравов, *мещанских* // нравов, нравов мещанских  
<sup>12</sup> *Вместо:* Как рыцарь // Так, как рыцарь
- <sup>25-26</sup> *Вместо:* что считал // что он считал  
<sup>31</sup> *Вместо:* как рыцарь // так, как рыцарь  
<sup>32</sup> *Вместо:* только мерится // он мерится  
<sup>35</sup> *Вместо:* достойние // свое собственное достойние
- Стр. 125—126
- <sup>38-1</sup> *Вместо:* говорили ∞ зарывали // говорили соседям о своей бедности, зарывая нотихоньку
- Стр. 126
- <sup>8</sup> *Вместо:* и запросто развалясь // запросто развалился  
<sup>11</sup> *Вместо:* переменялось // переменялось исподволь
- <sup>20-21</sup> *Вместо:* способствовал развитию всех мелких и дурных сторон // способствовал развить все мелкие и дурные стороны  
<sup>22</sup> *Вместо:* не обуздываемого // не обузданного
- Стр. 128
- <sup>12-13</sup> *Вместо:* и должно быть // должно быть  
<sup>14-15</sup> *Вместо:* как им приходится съезжать // когда им приходится съехать
- Стр. 129
- <sup>2</sup> *Вместо:* линючим ковром // восточным ковром  
<sup>6</sup> *Вместо:* забравший // и забрал
- <sup>20</sup> *Вместо:* не позволяло им ни быть свободными // не позволяло им быть свободными  
<sup>32</sup> *Вместо:* своих детей // твоих детей
- Стр. 130
- <sup>9</sup> *Вместо:* всего менее ходит // не ходит  
<sup>22</sup> *Вместо:* тяжелее // тяжеле

- <sup>30-32</sup> Текст: Эти ∞ Грановского — отсутствует.  
 Стр. 131  
<sup>4</sup> Вместо: не тем, чем я хотел // не тем, что я хотел  
<sup>16</sup> Вместо: много // так много  
<sup>20</sup> Вместо: уходящего прошедшего // прошедшего  
<sup>32-33</sup> Слова: «Lieta ∞ mumie» // напечатаны в примечании к слову: любовь (строка 31)  
<sup>36</sup> Слова: Isle of Wight, Ventnor, 1 октября 1855 // находятся после слова: миром (стр. 130, строка 29)

## Г л а в а XXXIX

### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1858 г.

- Стр. 132  
<sup>11</sup> Вместо: Деньги — независимость // Деньги теперь — независимость  
<sup>17</sup> Вместо: можно // могу  
<sup>20-21</sup> Вместо: хотел только остаться донельзя // хотел донельзя остаться  
<sup>28</sup> Вместо: пред моими окнами // и пред моими окнами  
 Стр. 133  
<sup>2-3</sup> Вместо: и говорил // говорил  
<sup>10</sup> Вместо: сломленная жизнь которой // которой сломленная жизнь  
<sup>12</sup> Вместо: из предусмотрительности // из какой-нибудь предусмотрительности  
<sup>13</sup> Вместо: невозмутимого // невозмущаемого  
<sup>14-15</sup> Вместо: достояние, за исключением костромского имения. // именье!  
<sup>19</sup> После: прескверный // (помнится, рубль ходил в 3 ф. 80 сант.)  
<sup>23</sup> Вместо: называть // меня называть  
<sup>29-30</sup> Вместо: большой суммой денег // 500 000 фр.  
<sup>31</sup> Вместо: уладились // уладил  
 Стр. 134  
<sup>2</sup> Вместо: несколько французских и // немного французских и потом  
<sup>4</sup> Вместо: Один // Итак, один  
<sup>12-13</sup> Вместо: не сломит // сломит  
<sup>14</sup> Вместо: не облегчит пловца, т. е. не унесет его с собой // облегчит пловца  
<sup>19</sup> Вместо: буржуазный мир Франции // буржуазный мир во Франции  
<sup>26</sup> Вместо: сумму; я не понял его, потому что // сумму, т. е. 135 000 фр.; я не понял его, потому что я  
<sup>27</sup> Вместо: деньги. Нотариус // деньги; по нотариусу  
<sup>32</sup> Вместо: по собрании справок // после собрания справок  
<sup>33</sup> Вместо: а прежнему хозяину // тогда прежнему хозяину  
 Стр. 135  
<sup>13</sup> Вместо: роль // ролю  
<sup>15</sup> Вместо: был еще кредитор // был еще господин; это был кредитор  
<sup>18</sup> Вместо: оставалось // осталось  
<sup>25</sup> Вместо: что это его дело, что он // что как же ему не беспокоиться, что это его дело и что он  
<sup>28</sup> Вместо: вместе // обоим  
<sup>30-31</sup> Вместо: разменяю его // разменяю вам его  
 Стр. 135—136  
<sup>35-2</sup> Вместо: были взяты ∞ моего имения // были взяты все странные меры против моего имения петербургским правительством  
 Стр. 136  
<sup>14-15</sup> Вместо: шаль франков за 15 и завернулся в нее // платок франков в 15 и завернулся в него  
<sup>20</sup> Слово: виднеются — отсутствует.

<sup>21-22</sup> *Вместо:* В этой природе есть ∞ твердое и угрюмое // Что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое в этой природе

<sup>29-30</sup> *Вместо:* Опекунский совет // Ломбард

<sup>31-33</sup> *Вместо:* потребовать аудиенции ∞ и иск // потребовать аудиенцию у Нессельроде и спросить у него, в чем дело. Нессельроде, во-первых, сказал, что в билетах никакого сомнения нет, что иск

*Стр. 137*

<sup>3</sup> *Вместо:* в Ротшильдовом бюро // в Ротшильдовых бюро

<sup>5-6</sup> *Вместо:* не ждал даже // не ждал

<sup>6-7</sup> *Вместо:* как Николай // каков был Николай

<sup>12-13</sup> *Вместо:* передала предъявителю // превратила в неизвестные

<sup>19</sup> *Вместо:* категорического ответа // категорический ответ

<sup>21</sup> *Вместо:* «конфиденциального», а то «категорического» // «конфиденциальный», а то «категорический»

<sup>22</sup> *Вместо:* Вот // Это

<sup>27</sup> *Вместо:* нельзя оставить этого // оставить это нельзя

<sup>34</sup> *Слово:* деньги — *отсутствует.*

<sup>36-38</sup> *Подстрочное примечание:* Это ∞ Рим — *отсутствует.*

*Стр. 138*

<sup>1-2</sup> *Вместо:* вряд ли сделает // вряд сделает ли

<sup>9</sup> *Вместо:* стал // начал

<sup>11-12</sup> *Вместо:* чтоб сделать достойным // чтоб я был достоин как равный

<sup>27</sup> *Слова:* и лимфатические — *отсутствуют.*

<sup>37</sup> *Вместо:* требовал аудиенции // требовал аудиенцию

*Стр. 139*

<sup>3-6</sup> *Вместо:* что, в случае отказа ∞ заключить через него // что он подвергнет дело обсуживанию юрисконсультов и советует очень подумывать о следствиях отказа, особенно странного в то время, как русское правительство негоцирует у него

*Стр. 140*

<sup>30</sup> *После:* отношениях; // он мне давал советы, как поместить деньги, и пр.

*Стр. 141*

<sup>6</sup> *Вместо:* касающийся вас // касающийся до вас

<sup>25</sup> *Слова:* и денежный штраф — *отсутствуют.*

<sup>26</sup> *Вместо:* приняты // взяты

*Стр. 142*

<sup>21</sup> *Вместо:* должно // должно бы

<sup>23</sup> *Вместо:* пишут так // так пишут

<sup>34</sup> *Вместо:* уже начинала надоедать // скорее была мне противна

<sup>35</sup> *Вместо:* должен я явиться // надобно

*Стр. 143*

<sup>9</sup> *Вместо:* хозяйка // и хозяйка

<sup>10</sup> *Вместо:* была // она была

<sup>19</sup> *Вместо:* с бородкой, усами // с бородкой и усами

<sup>30</sup> *Вместо:* спросил // спросил его

<sup>33</sup> *Вместо:* просит аудиенции // просит аудиенцию

<sup>35</sup> *Вместо:* с цепью // с золотой цепью

*Стр. 144*

<sup>4</sup> *Вместо:* чтоб // для того чтоб

<sup>10</sup> *Вместо:* день; у него была особая комната, из чего // день. Так как у него была особая комната, то

<sup>27</sup> *Вместо:* ничего лучшего // лучше

<sup>36</sup> *Вместо:* и не стану // не стану

*Стр. 145*

<sup>5</sup> *Вместо:* трудно // очень трудно

<sup>18</sup> *Вместо:* Чуть ли не по его милости // Чуть не по ли его милости

Стр. 146

<sup>18</sup> *Вместо:* последствиям // следствиям

<sup>30-31</sup> *Вместо:* сомнение // сомнения

<sup>36-37</sup> *Подстрочное примечание:* Впоследствии ∞ университете — отсутствует.

Стр. 147

<sup>2</sup> *После:* ее?... // — сказал я смеясь

<sup>3</sup> *Вместо:* светский // урбанный

<sup>5</sup> *Вместо:* еще не было // не было

<sup>6</sup> *Вместо:* Пальмье // *адезь и дальше:* П.

<sup>11</sup> *Вместо:* передать // отдать

<sup>20</sup> *Вместо:* доктор // П.

<sup>21</sup> *Вместо:* и пришлось // пришлось

<sup>22</sup> *Вместо:* Сазонова, который, при // одного приятеля, который, при своей

<sup>23</sup> *Вместо:* я сказал // я и отпартовал

<sup>28</sup> *Вместо:* вместе с тем // с тем вместе

Стр. 148

<sup>5</sup> *Вместо:* уехал // приехал

<sup>6-7</sup> *Вместо:* приобретенною историей // которую ему дала история

<sup>10</sup> *Вместо:* поспешило // спешило

<sup>20</sup> *Вместо:* чтоб // для того чтоб

<sup>21-22</sup> *Вместо:* поймать ∞ Ellysée // можно было бы по телеграфу, из министерства внутренних дел и Ellysée поймать и задушить

<sup>24</sup> *Вместо:* Второе декабря — возведение полиции // Второе декабря — революция сыщиков! возведение шпионства и полиции

<sup>26</sup> *Вместо:* Никогда // Впрочем, надобно заметить, что никогда

<sup>28</sup> *Слово:* национального — отсутствует.

Стр. 149

<sup>8</sup> *Слова:* и дворником? — отсутствуют.

Стр. 150

<sup>11</sup> *Вместо:* забывать // забыть

<sup>33-34</sup> *Вместо:* в тюльерийском дворце. // в императорской клоаке бонапартизма!

## Глава XXXIX

### ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (ЦГАЛИ)

Стр. 138

<sup>21</sup> *Вместо:* говоря // говорил

<sup>27</sup> *Вместо:* слабые и лимфатические отпрыски // слабые отпрыски

Стр. 139

<sup>2-6</sup> *Вместо:* изложения ∞ новый заем. // изложения, почему уплата остановлена, которое он подвергнет обсуживанию юрисконсультов. Но что прежде этого он серьезно советует подумать о следствиях отказа, особенно странного в то время как русское правительство негоцирует у него новый заем, что такой произвол подорвет кредит.

Стр. 140

<sup>29-30</sup> *Вместо:* мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он любил во мне // мы с Ротшильдом — в наилучших отношениях, он мне давал советы, как поместить деньги и пр. Он во мне любил

## Глава XL

### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1858 г.

Стр. 151

<sup>9</sup> *Вместо:* чертил у дверей моих // чертил я

<sup>14</sup> *Вместо:* тяжелое и чрезвычайно пустое время // тяжелое время и чрезвычайно пустое

<sup>16</sup> *Вместо:* какое личное несчастье // наше личное несчастье

<sup>26</sup> *Слово:* куда — отсутствует.

Стр. 152

<sup>5</sup> *После:* больше. // три строки точек.

#### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1861 г.

Стр. 152

<sup>6</sup> *Перед:* После нашей встречи // Через несколько дней после моего приезда в Лондон я отправился к Маццини. Он тогда жил в небольшом домике, в одном из самых глухих переулков Чельси. Я застал его в крошечной комнате, служившей ему спальней и кабинетом; он сидел за столом, заваленным бумагами; несколько конченных писем, на небольших лоскутках, лежали перед ним. Везде книги и бумаги — на полу, на комод, на постеле; какое-то бледное растение на окне, канарейка, летавшая по воле, кричавшая сколько птичьему горлу было угодно, и на камине модель какой-то пушки — вот и все.

<sup>10</sup> *Вместо:* спрашивал // спрашивал меня

<sup>12</sup> *Вместо:* явился ко мне / явился ко мне от Маццини

<sup>14</sup> *Вместо:* предложением // вопросом

<sup>28</sup> *Вместо:* Европейский // Впоследствии мы видели — европейский

<sup>34</sup> *Вместо:* в слова // в слово

Стр. 153

<sup>13</sup> *Вместо:* Везде // Но везде

<sup>16</sup> *Вместо:* составляться // составлять

Стр. 154

<sup>7</sup> *Вместо:* высказать вам // вам сообщить

<sup>9</sup> *Вместо:* деятелей // актеров

<sup>23</sup> *Вместо:* той // этой

<sup>29</sup> *Вместо:* устраиваться // устроиться

<sup>30</sup> *После:* глубокой // деятельной

<sup>31</sup> *Вместо:* Но где же // где

Стр. 155

<sup>31</sup> *Вместо:* Простите мне // Вы прѣстите

<sup>32</sup> *Вместо:* переставайте // перестанете

Стр. 156

<sup>1</sup> *Вместо:* не касаясь сущности, говорил // не касаясь до сущности, он говорил

<sup>3</sup> *После:* и пр. // подстрочное примечание: Письмо это со множеством других документов я сжег в декабре 1851 г., боясь домового обыска.

#### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1858 г.

Стр. 156

<sup>23</sup> *Вместо:* Сазонову // здесь и дальше: S.

<sup>29</sup> *Вместо:* и, желая, чтоб он это заметил // и, чтоб он заметил

Стр. 157

<sup>18</sup> *Вместо:* кельи отца Леонтия // кельи отца Леонтия, в крепость

<sup>23-24</sup> *Вместо:* хочу ли я // хочу ли

<sup>29</sup> *Вместо:* он опять покраснел // он покраснел

Стр. 158

<sup>1-2</sup> *Вместо:* все же перепугался // перепугался

<sup>13-14</sup> *Вместо:* я же только сообщу его // а я только сообщу

<sup>20</sup> *Вместо:* его могут послать // может его пошлют

<sup>32</sup> *Слова:* 10 000 фр. — отсутствуют.

Стр. 159

<sup>16</sup> *Вместо:* счел // считал

<sup>21</sup> *Вместо:* но какими // какими

Стр. 160

<sup>18</sup> *Вместо:* чтобы // для того чтоб

<sup>29</sup> *Вместо:* лучше. Проезжая // лучше — при моем проезде

Стр. 161

<sup>16</sup> *Слова:* об этом — *отсутствуют.*

<sup>23-24</sup> *Вместо:* После ∞ пещере // После этого оставлять дитя в этой осли-  
ной пещере было мне противно

Стр. 162

<sup>1</sup> *Вместо:* было уже // было

<sup>14</sup> *Вместо:* оставить // покинуть

<sup>22</sup> *Вместо:* в котором // в котором бы

<sup>22-23</sup> *Вместо:* должна была засвидетельствовать // засвидетельствовала

<sup>25</sup> *Вместо:* это // этот ответ

<sup>32-33</sup> *Вместо:* для меня, но и для Пиэмонта // мне, но и Пиэмонту

Стр. 163

<sup>10</sup> *Вместо:* не имеем // никто не имеет

<sup>30</sup> *Слова:* как сказал Гарибальди — *отсутствуют.*

Стр. 164

<sup>8</sup> *Слово:* тамошней — *отсутствует.*

<sup>32</sup> *Вместо:* знает // знает и то

<sup>33</sup> *Вместо:* уверена и в нем, уверена, что и из него // и в нем уверена,  
что из него

Стр. 165

<sup>23</sup> *Вместо:* вслед за которою // потому что вслед за ней он

<sup>31</sup> *Вместо:* да от качества // и от качества

Стр. 166

<sup>1</sup> *Вместо:* чрезвычайно умная // раскрытая

<sup>3</sup> *Вместо:* ранее 6 часов // ближе 6 часов

<sup>21</sup> *Вместо:* приносить // принести

<sup>25</sup> *Вместо:* к Фогтам // к ним

<sup>25</sup> *Вместо:* меньшего брата // меньшого брата Фогта

Стр. 167

<sup>2</sup> *Вместо:* то, что Карл о вас пишет, да и без // и потому что Карл о  
вас пишет и без

<sup>6</sup> *Вместо:* рюмку // бокал

<sup>17</sup> *Вместо:* разумеется // как разумеется

<sup>33</sup> *Вместо:* дочитать // перечитать

Стр. 168

<sup>14</sup> *Вместо:* мысль // философия

<sup>25</sup> *Вместо:* доказал // дал пример

<sup>27</sup> *Вместо:* Кудлих // *здесь и дальше :* К.

<sup>30</sup> *Вместо:* изгнаннику // здесь и дальше: рефюжье

<sup>31</sup> *Вместо:* и он // он, помнится,

<sup>31</sup> *Вместо:* был // он был

<sup>37</sup> *Вместо:* Кудлиха // доктора К.

Стр. 169

<sup>12</sup> *Вместо:* но на судьбу полагаться // на судьбу располагаться

<sup>20-21</sup> *Вместо:* художник // артист

<sup>23</sup> *Вместо:* взгляду // взгляду своему

Стр. 170

<sup>2</sup> *Вместо:* его насмешка // и его насмешка

<sup>7-8</sup> *Вместо:* были так розны // было так розно

<sup>18-19</sup> *Вместо:* помещики и сенаторы // помещики-сенаторы

<sup>23</sup> *Вместо:* грязного // и грязного

<sup>27</sup> *Вместо:* недостаточно верит // не имеет достаточно веры

<sup>29</sup> *Слова:* на себя — *отсутствуют.*

<sup>32</sup> *Вместо:* вел потом // он ведет теперь



<sup>33</sup> *Вместо:* когда революционный шквал // как революционный шквал

*Стр. 171*

<sup>19</sup> *Вместо:* невозмутимой // невозмущаемой

<sup>22</sup> *Вместо:* поехал // приехал

<sup>23</sup> *Вместо:* Несмотря на то // Тем не менее, несмотря на то

<sup>26</sup> *Вместо:* на нее // и на нее

<sup>32-33</sup> *Вместо:* романтизм революции я пережил; // романтизм революции, например, пережил другие;

<sup>34</sup> *Вместо:* оставалось // осталось

<sup>35</sup> *Вместо:* а когда я и их пережил // а как я и их пережил

<sup>35</sup> *Вместо:* оставалась // осталась

*Стр. 172*

<sup>7</sup> *Вместо:* богатую колыбель // такую богатую колыбель

<sup>7</sup> *Вместо:* вода // что вода

<sup>9</sup> *Вместо:* сапы // их

<sup>13</sup> *Вместо:* плавал он // плавал он в нем

<sup>15</sup> *Вместо:* пел // читать целую лекцию, петь

<sup>15-16</sup> *Вместо:* рассказывал // рассказывать

<sup>18</sup> *Вместо:* огромным // большим

<sup>21</sup> *Вместо:* выразительно // выражено

<sup>23-24</sup> *Вместо:* чтоб заставить // чтоб снова заставить

<sup>29-30</sup> *Вместо:* одного и того же // одно и то же

<sup>31-32</sup> *Вместо:* доктринеры до того привыкают к // школьники до того привыкают к этому

<sup>33</sup> *Вместо:* им он кажется понятен // или он кажется непонятен

*Стр. 173*

<sup>3</sup> *Вместо:* чем выучившиеся? // и удивляются, что их не понимают.

<sup>28</sup> *Вместо:* серьезно // в самом деле

<sup>38</sup> *Вместо:* И как // И, так, как

*Стр. 174*

<sup>6</sup> *Вместо:* iddio // богом

<sup>9-10</sup> *Вместо:* бессмертные души и ее защиту // бессмертные души и его защиту

<sup>11</sup> *Вместо:* до // и до

<sup>17</sup> *Вместо:* обоих // их

<sup>18</sup> *Вместо:* единственная уловка // единственная цель, уловка

<sup>19</sup> *После:* история? // Пожалуй, что и так!

<sup>21-23</sup> *Вместо:* представлен осел ∞ а на шесте // был представлен осел, у которого на спине был прикреплен шест, и на шесте

<sup>24</sup> *Вместо:* должен // должен был

<sup>27</sup> *Слово:* радушно — отсутствует.

<sup>31</sup> *Вместо:* которая согласилась бы принять меня // которая бы хотела меня принять

<sup>33</sup> *Вместо:* необходимо // необходимо надобно

<sup>34-35</sup> *Вместо:* на принятие нового согражданина // на то

*Стр. 174—175*

<sup>35-1</sup> *Вместо:* что совершенно согласно с самозаконностью // что, впрочем, совершенно согласно с аутономией

*Стр. 175*

<sup>4</sup> *Вместо:* недалеко // была недалеко

<sup>6</sup> *Вместо:* несчастная смерть и имя которого // которого несчастная смерть и имя

<sup>30</sup> *Слова:* с ними — отсутствуют.

<sup>34</sup> *Слова:* Из Ниццы — отсутствуют.

*Стр. 176*

<sup>2</sup> *После:* владений // и не въезжать больше, вследствие чего я и решил отложить свой отъезд.

- <sup>5</sup> *Вместо:* и не было // не было  
<sup>10</sup> *Слова:* с ним — *отсутствуют.*  
<sup>17</sup> *Вместо:* и ничего не сделал // он ничего не сделал  
<sup>18</sup> *Вместо:* вниманий // вниманий и дусеров  
<sup>22</sup> *Вместо:* при первом же // при первом  
<sup>38</sup> *Вместо:* в том числе // притом
- Стр. 177*  
<sup>5</sup> *Вместо:* пасс // *здесь и дальше:* паспорт  
<sup>26-27</sup> *Вместо:* верховной полицией // верховной (т. е. тайной) полицией  
<sup>28</sup> *Вместо:* католической // ультракатолической  
<sup>36</sup> *Вместо:* аудиенции // аудиенцию
- Стр. 178*  
<sup>7</sup> *Вместо:* А то // Видите, а то  
<sup>20</sup> *Вместо:* Но возвращаясь к Фрибургу и его кантону // До моего возвращения в Турин я пробыл несколько дней в Фрибурге.  
<sup>22</sup> *Вместо:* отправились // отправились одним утром
- Стр. 178—179*  
<sup>33-1</sup> *Вместо:* широкую, сильную руку // широкую, но еще сильную руку
- Стр. 179*  
<sup>12</sup> *Вместо:* а Россию оставил // я оставил Россию  
<sup>21</sup> *После: его!* // (Сенсация, сам канцлер тронут силой моего красноречия)  
<sup>28</sup> *Вместо:* пригласил нас // пригласил
- Стр. 180*  
<sup>22-23</sup> *Вместо:* а Карла — Теллем? (и при этом // или Карла Теллем?) даже он  
<sup>25</sup> *Вместо:* рвется ; Николаю // рвется, и Николаю  
<sup>32</sup> *Вместо:* скрыть это // скрыть
- Стр. 181*  
<sup>13</sup> *Вместо:* дня за два // дни за два  
<sup>27-28</sup> *Вместо:* или, вернее // или, лучше  
<sup>33</sup> *Вместо:* покрылся // покрыл себя
- Стр. 182*  
<sup>17-19</sup> *Вместо:* проездом из Берна ∞ сказал он мне // на станции между Берном и Женевой я встретил моратского префекта, говоря о том и о сем. — А знаете ли вы, — спросил он меня  
<sup>28-36</sup> *Подстрочное примечание:* Не могу ∞ 1866 — *отсутствует.*

## Глава ХLI

### ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1859 г.

- Стр. 183*  
<sup>9</sup> *Вместо:* право на слово // право на речь  
<sup>23</sup> *Вместо:* Все // Последовательно все
- Стр. 184*  
<sup>4</sup> *Вместо:* объявлено // возведено  
<sup>8</sup> *Вместо:* Прудон // Прудон сам  
<sup>8</sup> *Вместо:* журнал его // журнал  
<sup>18</sup> *Вместо:* Сазонов // С.  
<sup>18</sup> *Вместо:* внести // взнести  
<sup>33</sup> *Слова:* хотя иной раз — *отсутствуют.*
- Стр. 185*  
<sup>3</sup> *Вместо:* сводятся // сводят  
<sup>4-5</sup> *Вместо:* становится *вопросом* ∞ прежним // приводится *в вопрос.* Социализм не только касается того, что было прежде решено прежним  
<sup>26-28</sup> *Вместо:* не боясь помять ∞ слишком далеко // не боясь, если что-нибудь помнет по пути, не жалея, если что раздавит, не жалея, даже если слишком далеко зайдет

- 30-31 *Вместо:* одиноким ∞ своей силой // одинок между своими, больше  
пугая своей силой, нежели убеждая
- 35-37 *Вместо:* Он только усвоил себе ∞ все приемы // Он усвоил себе  
диалектический метод Гегеля, это правда. Он также усвоил себе  
все средства
- Стр. 186*
- <sup>4</sup> *Слово:* твердо — отсутствует.
- <sup>9</sup> *Слово:* системы — отсутствует.
- <sup>11</sup> *Вместо:* привыкших // привыкнувших
- <sup>16</sup> *Вместо:* не будь он // если б он не был
- <sup>28</sup> *Вместо:* зачем же молчать // зачем же это
- <sup>36</sup> *Вместо:* попробовал было раз // раз попробовал
- Стр. 187*
- <sup>2-4</sup> *Вместо:* la democratie! Он ∞ французы // la democratie!—за то, что  
он не употребляет этих фраз, за то, что он не шадит революционных  
староверов, французы
- <sup>10-11</sup> *Вместо:* В этих ∞ связующее их //—именно в этих переменах внут-  
реннее единство, которое связует их, бросается в глаза —
- <sup>18</sup> *Вместо:* они предполагают // она предполагает
- <sup>21</sup> *Вместо:* находиться // быть
- Стр. 188*
- <sup>4</sup> *Вместо:* ни его силы // его силы
- <sup>8</sup> *Вместо:* стоит у него на втором плане, как что-то // у него стоит на  
втором плане, что-то
- <sup>13</sup> *Вместо:* признавать // признать
- <sup>14</sup> *Вместо:* несколько посвободнее // посвободнее
- <sup>15</sup> *Вместо:* принимать // принять
- <sup>22</sup> *Вместо:* Да что же // И что же
- <sup>34</sup> *Вместо:* Но даже и тут // Но и тут
- Стр. 189*
- <sup>1-2</sup> *Вместо:* улыбающемуся старичишке // вперед улыбающемуся  
старичишке
- <sup>24-25</sup> *Вместо:* унывал менее других ∞ бесчувственности, но и // меньше  
уныл, меньше испугался, потому что предвидел; его за это не толь-  
ко обвинили в бесчувственности, но
- <sup>36</sup> *Вместо:* сообщая // миром
- Стр. 190*
- <sup>13</sup> *Вместо:* как петербургская цензура // как прежняя петербургская  
цензура
- <sup>21</sup> *Вместо:* Сазонову и Хоецкому // Х.
- <sup>22</sup> *Вместо:* внести // взнести
- <sup>23</sup> *Вместо:* мои сношения // все личные сношения
- Стр. 191*
- <sup>8</sup> *Вместо:* сдержанностью // retenue
- <sup>15</sup> *Вместо:* внести // взнести
- Стр. 192*
- <sup>15-16</sup> *Вместо:* высылкою ∞ твердым // посылая ему 24.000 фр. и длин-  
ное письмо, совершенно дружеское, но твердое
- <sup>17</sup> *Вместо:* прибавив // и прибавил
- <sup>22</sup> *Вместо:* это вас // это вы
- <sup>31</sup> *Вместо:* следовало бы // надобно бы было
- <sup>32</sup> *Вместо:* европейских событий // событий во всей Европе
- Стр. 193*
- <sup>3</sup> *Вместо:* глубоко убежден // имею глубокое убеждение
- <sup>13</sup> *Вместо:* вашего варварского задора // ваш варварский задор
- <sup>15</sup> *Вместо:* французов // робких французов
- <sup>17</sup> *Вместо:* : все же // все

- <sup>22</sup> *Вместо:* разумеется, это // разумеется, что это
- <sup>23</sup> *Вместо:* Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга // Что касается до этих вопросов, нам нечего друг другу толковать
- <sup>26</sup> *Вместо:* также думаю // думаю, как вы
- <sup>27</sup> *Вместо:* как того хотят // как бы того хотели
- <sup>34</sup> *Вместо:* Его статьи // Собственные его статьи
- Стр. 194
- <sup>2-3</sup> *Вместо:* скажите ∞ рыба // скажите, что вы — мужчина, женщина, гермафродит, что вы — зверь или рыба
- <sup>17</sup> *Вместо:* скандализировал // скандализировал
- Стр. 195
- <sup>2</sup> *После:* страшной. // Этого наполеониды не могли вынести.
- <sup>7-8</sup> *Вместо:* неприличные// едва ли приличные
- <sup>20</sup> *Вместо:* «Voix du Peuple» в 1850 // «Voix du Peuple de 1850»
- <sup>21</sup> *Вместо:* до конейки // весь до копейки
- <sup>23</sup> *Вместо:* было еще // было
- <sup>30</sup> *Слово:* подобного — *отсутствует.*
- <sup>31</sup> *Вместо:* были // это были
- Стр. 196
- <sup>1-2</sup> *Вместо:* написал мне // мне писал
- <sup>21</sup> *Вместо:* на женщину // на брак и на семью
- <sup>25</sup> *Вместо:* а себя // и себя
- <sup>35</sup> *Подстрочное примечание:* После ∞ Брюсселе — *отсутствует.*
- Стр. 198
- <sup>33</sup> *Вместо:* стороны пришлось-то мне // стороны, и их-то нам пришлось
- Стр. 199
- <sup>4</sup> *Вместо:* действия // поведения
- <sup>33</sup> *Вместо:* кого же // кого
- Стр. 200
- <sup>26</sup> *Вместо:* начинают // начнут
- Стр. 201
- <sup>9</sup> *Вместо:* не сделались // они не сделались
- <sup>10</sup> *Вместо:* что она их исправила и одела, как // она их исправила и одела, так, как
- <sup>17</sup> *После:* хаос! // Беда останавливающимся, их без пощады карает логика.
- <sup>24</sup> *Вместо:* он подкапывал // подкапывал

## ⟨РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ⟩

### ВАРИАНТЫ БИД IV

- Стр. 223
- <sup>13-14</sup> *Вместо:* после Июньских дней, как после // от Июньских дней, как от
- <sup>26</sup> *Вместо:* со всех сторон // с разных сторон
- <sup>32</sup> *Вместо:* переулках // переулках и улицах
- <sup>36</sup> *Вместо:* печальным // печально-торжественным
- Стр. 224
- <sup>6</sup> *Слово:* тогда — *отсутствует.*
- <sup>18</sup> *Вместо:* тем, кто прощают // тому, кто прощает
- <sup>26</sup> *Вместо:* в них // на них
- <sup>33-34</sup> *Вместо:* и не думал // не думал

Стр. 225

<sup>19</sup> *Вместо:* Natalie писала около того же времени // А жена моя около того же времени писала

<sup>22</sup> *После:* доля». — // Как много надобно было протраждать, чтоб мысль эта могла явиться в сердце матери, страстно любившей детей, и насколько больше, чтоб пайти силу высказать ее, да еще письмен-но.

Стр. 229

<sup>25</sup> *Вместо:* нежели на деле // нежели каковы мы на деле

<sup>33-36</sup> *Вместо:* занавесь // занавеску

Стр. 231

<sup>12</sup> *Слова:* томилли меня - отсутствуют.

<sup>35</sup> *После:* верования - строка точек отсутствует.

Стр. 232

<sup>26-27</sup> *Вместо:* которых сердце боится // от которых сердце бьется

Стр. 234

<sup>11</sup> *Вместо:* Зимой 1848 // Зимой 1848 года

<sup>32</sup> *Вместо:* кончины // смерти

Стр. 235

<sup>21</sup> *Вместо:* их знаю // и их знаю

<sup>23</sup> *Вместо:* ролей // ролью

<sup>24</sup> *Вместо:* Тот, кто // Кто

Стр. 236

<sup>2</sup> *Вместо:* боится несчастий // боится несчастий эгоистически

<sup>3</sup> *Вместо:* которых память // память о которых

#### ВАРИАНТЫ ИЗ ПЛ 1836 г.

Стр. 228—229

<sup>36-1</sup> *Вместо:* делал облавы по рощам и катакомбам, отыскивая скрывающихся // делал облавы по рощам и катакомбам по скрывавшимся

Стр. 229

<sup>9</sup> *Вместо:* внутренней // внутренней

Стр. 230

<sup>20</sup> *Вместо:* о каменный пол // об каменный пол

Стр. 231

<sup>1-2</sup> *Вместо:* следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уж // следить за отдалением, за пылью, дымом, парусом, точкой, следить, когда уже

<sup>11</sup> *Вместо:* скучнее чтения // скучнее книги

Стр. 232

<sup>15</sup> *Вместо:* окончивалась // оканчивалась

<sup>26-27</sup> *Вместо:* которых сердце боится // которые сердце боится

<sup>29</sup> *Вместо:* приговаривает // приговаривает

<sup>35</sup> *Вместо:* Что ж // Что же

Стр. 233

<sup>13</sup> *Вместо:* они не знают болезни истины // они не знают болезнь истины

<sup>25</sup> *После:* ветра // отступ

<sup>29</sup> *Вместо:* за боль и обман // за боль и за обман

Стр. 234

<sup>2-3</sup> *Вместо:* скрыться... от лишних // скрыться от ... лишних

<sup>3</sup> *Вместо:* И надменно я поставил // И надменное поставил

<sup>11</sup> *Вместо:* Зимой 1848 // Зимой 1848 года

<sup>13</sup> *Вместо:* известный доктор // известный академик

<sup>24</sup> *Вместо:* потряс // потряс

Стр. 235

<sup>21</sup> *Вместо:* я их знаю // я и их знаю

Стр. 236

<sup>2</sup> *После:* он боится несчастий // эгоистически

#### ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (ЦГАЛИ)

Стр. 271

<sup>2-4</sup> *Вместо:* Осеано пох. (1851) I // I. Летом [Пролог (1851)]

<sup>7</sup> *Вместо:* поодаль — *было:* только поодаль

<sup>7</sup> *Вместо:* часовой // и часовой

<sup>11</sup> *Вместо:* как не бывало давно // как не бывало годы

<sup>13</sup> *Вместо:* полон — *было:* так же полон

<sup>19</sup> *Вместо:* любовью — *было:* страстностью

<sup>22-27</sup> *Подстрочное примечание:* // отсутствует

Стр. 272

<sup>4</sup> *После:* довершили мое выздоровление — *было:* и я чувствовал себя снова молодым и сильным

<sup>4</sup> *Вместо:* писала — *было:* писала мне

<sup>5</sup> *Вместо:* что ей — *было:* и что ей

<sup>7</sup> *После:* всмотреться друг в друга — *было:* после возобновившихся бурь

<sup>15</sup> *Вместо:* недалеко от него — *было:* где

<sup>16</sup> *Вместо:* в этот же день // в тот же день

<sup>17</sup> *Вместо:* в hôtel Feder мне дали // мне дали в hôtel Feder

<sup>26</sup> *Вместо:* мелькнули, как молния // как молния, [промелькнули] мелькнули

<sup>27-28</sup> *Вместо:* после бурь, кораблекрушений и несчастий // после бури кораблекрушений и несчастий

<sup>32</sup> *Вместо:* перебросил его // перебросил

<sup>33</sup> *Вместо:* по пустым улицам — *было:* по пустынным улицам

<sup>36</sup> *Вместо:* взглянули — *было:* мы взглянули

<sup>37</sup> *Вместо:* разом — *было:* в один голос

<sup>37</sup> *После:* владимирское житье — *было:* нашу свадьбу и наши тогдашние обеды

<sup>38</sup> *Вместо:* На ней — *было:* На Natalie

Стр. 273

<sup>2</sup> *Вместо:* также вся в белом // вся в белом

<sup>6</sup> *Вместо:* И мы сами были те же // Да, мы сами были < 1 нрзб. > те же

<sup>12-13</sup> *Вместо:* мы, не считаясь, разделили печальную ношу былого. С этой ношей — *было:* нам хотелось разделить печальную ношу былого, не считаясь, но с ней

<sup>14</sup> *Вместо:* сохранилось — *было:* было

<sup>15-16</sup> *После:* разглядели мы — *было:* снова

<sup>17</sup> *После:* детьми. — *было:* Чувство, проводившее нас через всю жизнь, не могло оборваться как перепревший канат.

<sup>23</sup> *После:* Она чидела меня — *было:* готовым на жертву, на месть, ви-дела

<sup>24</sup> *Вместо:* оскорбленным, оскорбляющим — *было:* оскорбленным и оскорбляющим

<sup>25</sup> *После:* преступление. — *было:* Нельзя было больше сомневаться в месте, которое она занимала в моей жизни.

<sup>26</sup> *Вместо:* большой платой заплатили — *было:* дорогой платой заплатили теперь

<sup>36</sup> *Вместо:* разлуки в несколько лет — *было:* многолетней разлуки

Стр. 274

<sup>1-2</sup> *После:* по Ривьере. — *было:* < 2 нрзб. > блистала на итальянском солнце.

<sup>2-3</sup> *Вместо:* часто бывали — *было:* часто гуляли

- <sup>3</sup> *Вместо:* мелькнуло Монако // мелькнуло и Монако [вдали]
- <sup>4</sup> *Вместо:* врезывающееся в море бархатной травой и бархатным песком. — *было:* легко врезывающееся бархатной травой и бархатным песком в море.
- <sup>5</sup> *Вместо:* весело — *было:* // так весело
- 11–12 *Вместо:* увенчала обреченных на жертву // [нас] обреченных на жертву увенчала
- <sup>14</sup> *После:* Пропasti,— *было:* рвы, преграды
- <sup>15</sup> *Вместо:* через всю жизнь // через всю жизнь
- <sup>16</sup> *Вместо:* только иногда // иногда
- <sup>17</sup> *После:* Успокойся же — *было:* и ты
- <sup>20</sup> *Перед:* «... После страданий...— *было:* [ И она была покойна] И успокоивалась она
- <sup>25</sup> *Вместо:* писала она своему другу в Россию — *было:* Вот что писала она за несколько месяцев до своей кончины
- 26–27 *Вместо:* нельзя было касаться безнаказанно — *было:* касаться не надобно было
- <sup>29</sup> *Вместо:* а нож гильотины — *было:* скорее нож гильотины
- <sup>30</sup> *После:* не срastается // без рубца
- 31–32 *Вместо:* неизменное, темное // неизменное и темное
- Стр. 275
- <sup>1</sup> *Вместо:* слабость // слабо
- 2–3 *После:* надобно *сладить* — *было:* над ним восторжествовать
- 3–4 *Вместо:* дружными шагами // дружным шагом
- <sup>5</sup> *Вместо:* Случалось, ничтожное слово // Случалось [и у нас], что ничтожное слово
- <sup>6</sup> *Вместо:* попавшаяся // случайно попавшаяся
- <sup>10</sup> *После:* тучи.—*было:* Но еще я был тогда далек от победы... Я и теперь начал мой рассказ с середины, с светлой полосы [примиренья] мира и гармонии—для того чтоб не так было больно и тяжело...
- 11–12 *Вместо:* о нем сквозь слезы // об нем сквозь слез
- <sup>15</sup> *Вместо:* и плохо одевают — *было:* и именно потому плохо одевают
- 17–18 *Вместо:* В самые мрачные минуты — *было:* В самые мрачные, в самые злые минуты
- <sup>19</sup> *После:* были присущи.—*было:* Но и эти минуты болезненного вzwрата являлись реже и реже и совсем улеглись после туринской встречи.
- 19–20 *Вместо:* Мы ходили скорее на людей // Мы в самом деле скорее были похожи на людей
- <sup>24</sup> *После:* на берегу.— *было:* Кой-какие драгоценности пришлось бросить в море — но мы-то были целы и спасены.
- 26–27 *После:* свою исповедь — *было:* в «мою защиту» — как она говорила. Моя мать с Колей уехала месяца на два в Париж — мы были одни, в новом доме, окруженном, защищенном садом перед глазами, за деревьями синело море — итальянская осень была во всей красе, и Natalie начинала свой труд.
- <sup>27</sup> *Вместо:* Она была недовольна ее началом, жгла листки — *было:* Она была недовольна ее началом, бросала его, жгла листочки
- <sup>31</sup> *Вместо:* этих беззвучных тайн, вечно скрытых // тех беззвучных тайн, вечно скрытых, немых
- 32–33 *Вместо:* В этих строках можно было уловить — *было:* В них было видно
- 37–38 *Вместо:* и окончательно все разбил. // и снова разбил все надежды.

ВАРИАНТЫ ПЗ НА 1859 г.

Стр. 271

- <sup>22</sup> *Вместо:* отрывок (никогда еще не печатавшийся) // печальный отрывок

- <sup>23</sup> *Вместо:* издана // напечатана  
<sup>26</sup> *После:* были // без всякой причины, впрочем  
<sup>27</sup> *Вместо:* напечатал второй отрывок в «Полярной звезде» 1859 // печатаю его. Пусть он станет рубежом между прежней жизнью и рассказом о жизни в Лондоне. 1 марта 1859 года.

*Стр. 276*

- <sup>23</sup> *Вместо:* разрешения *sanita* // когда *sanita* разрешит

*Стр. 277*

- <sup>10</sup> *Вместо:* не спрашивая // не спрашивал  
<sup>14</sup> *Вместо:* но не могла // не могла

#### ВАРИАНТЫ КОРРЕКТУРЫ (ЦГАЛИ)

*Стр. 276*

- <sup>1</sup> *После:* II // <Ос>енью.  
<sup>6-7</sup> *Вместо:* уехали погостить в Париже к М. К. // уехали погостить к М. К. Рейхель  
<sup>22</sup> *Вместо:* вошел // взошел  
<sup>23</sup> *Вместо:* разрешения *sanita* // когда *sanita* разрешит  
<sup>30</sup> *Вместо:* не приехали // не приезжали

*Стр. 277*

- <sup>2</sup> *Вместо:* и я ждал // я ждал  
<sup>3</sup> *Вместо:* островом Иером // островом Иер  
<sup>14</sup> *Вместо:* но не могла // не могла  
<sup>25</sup> *Вместо:* Энгельсону // Э.  
<sup>26</sup> *Вместо:* в каком-то ошеломлении // в состоянии какого-то ошеломления  
<sup>31</sup> *Вместо:* Как, ты один? // Как это ты один?

*Стр. 278*

- <sup>11</sup> *Вместо:* Хоецкий // Х—  
<sup>12</sup> *Вместо:* и даже совсем посторонними // и совсем посторонними  
<sup>12-13</sup> *Вместо:* узнать, что случилось // узнать,  
<sup>23</sup> *Вместо:* с Хоецким // с Х...  
<sup>33</sup> *Вместо:* закажем // доставим  
<sup>34</sup> *Вместо:* доставать карету // доставить карету

*Стр. 279*

- <sup>8</sup> *Вместо:* предполагать это // предположить  
<sup>20-21</sup> *Вместо:* мельчайшими подробностями // маленькими подробностями  
<sup>21-22</sup> *Вместо:* зайцем, тухлость которого // зайцем, которого несвежесть  
<sup>24</sup> *Вместо:* Луизой // Элизой

*Стр. 280*

- <sup>5-6</sup> *Вместо:* с жандармским бригадиром // с жандармским бригаде  
<sup>16</sup> *После:* сестры милосердия // все в белом

*Стр. 281*

- <sup>3</sup> *Вместо:* Бригадир // Бригаде  
<sup>5</sup> *Вместо:* бригадиру // бригаде  
<sup>14</sup> *Вместо:* оставаться // остаться  
<sup>22</sup> *Вместо:* более // больше  
<sup>24</sup> *Вместо:* вез груз // имел груз  
<sup>29</sup> *Вместо:* очень холодное // очень холодно

*Стр. 282*

- <sup>4</sup> *Вместо:* вошли // взошли  
<sup>15</sup> *Вместо:* разом надеется // разом и надеется



# ВАРИАНТЫ СПИСКА Б (ЦГАЛИ)

Стр. 224

<sup>6-7</sup> *Вместо:* В это время ∞ спасти республику // В это время еще можно было спасти республику

Стр. 247

<sup>5</sup> *Вместо:* терялся // терзался

Стр. 253

<sup>17</sup> *Вместо:* 'большой ребенок // больной ребенок

<sup>24</sup> *Слово:* жалея — *отсутствует.*

Стр. 259

<sup>21-22</sup> *Вместо:* Я еще готов принять всякое решение, готов ждать // Я еще готов ждать.

Стр. 266

<sup>35</sup> *Вместо:* холодного лезвия // лезвия

Стр. 267

<sup>27</sup> *Вместо:* выбросить их трупы // выбросить их

Стр. 269

<sup>27</sup> *Вместо:* гораздо покойнее // покойнее

Стр. 286

<sup>10</sup> *Вместо:* В том же смысле // В этом же смысле

Стр. 289

<sup>20</sup> *Слово:* безнаказанно — *отсутствует.*

Стр. 296

<sup>21-22</sup> *Вместо:* схоронили и М-ме Пачелли. // схоронили М-ме Пачелли.

Стр. 297

<sup>4</sup> *Вместо:* записочку // записку

<sup>7-8</sup> *Вместо:* заставившее написать ее // заставившее написать

Стр. 299

<sup>15</sup> *Вместо:* кажется, я так нужна // кажется, так нужна

# ВАРИАНТЫ СПИСКА В (ЦГАЛИ)

Стр. 221

<sup>2-3</sup> *Вместо:* I. (1848) // 1. Журнал, записанный в другой книге. (1848).

<sup>12</sup> *Вместо:* многим недоволен // ничем не доволен

<sup>15</sup> *Вместо:* остатки журнала // остаток журнала

<sup>16</sup> *Вместо:* писаны // писано

<sup>16-17</sup> *Вместо:* московских размолвок // размолвок

<sup>26</sup> *Вместо:* Сначала новость — Париж — // Сначала новость Парижа

Стр. 222

<sup>4</sup> *Вместо:* надежды // надежд

<sup>19-20</sup> *Вместо:* Им легче было // Мне легче было

<sup>22</sup> *Вместо:* противниками // противником

<sup>29</sup> *К слову:* месяц. // *выноска на полях:* Вот что я писал об них через месяц. Далее карандашная пометка переписчика: Далее две печатные странички из «С того берега», 2-я глава («После грозы»): «Женщины плачут» и т. д. — включительно с словами: «Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много неистребляемого».

Стр. 222—225

<sup>30-18</sup> *Текст:* «Женщины плачут ∞ так много неистребляемого». — *отсутствует.*

Стр. 227

<sup>25</sup> *Вместо:* чувствовать себя всегда // чувствовать себя

<sup>32</sup> *Слово:* Неудовлетворенность? — *отсутствует.*

Стр. 228

<sup>15</sup> *Вместо:* что приняли // что мы приняли

- <sup>19</sup> *Вместо:* наполнен // исполнен  
 Стр. 228—236
- <sup>34—14</sup> *Вместо текста:* Реакция торжествовала ∞ своего барина! // *примечание:* Далее глава из «Полярной звезды». III. Приметы.  
 ...Но не хорошо было и дома: мы слишком пострадались и т. д. (стр. 185) — до стр. 194, кончая словами:  
 Осиротевшая передняя, наконец, нашла своего барина!
- Стр. 236
- <sup>28—29</sup> *Вместо:* с щемящимся сердцем // с щемящим сердцем
- Стр. 237
- <sup>10—11</sup> *Вместо:* на юного пророчествующего левита // на какого-то пророчествующего левита
- <sup>13</sup> *Вместо:* попался // попал
- Стр. 238
- <sup>3</sup> *Вместо:* сродняются // срастаются
- <sup>18</sup> *Вместо:* ломались // ломились
- <sup>30—31</sup> *Вместо:* колея истории // колес истории
- <sup>32—33</sup> *Вместо:* в наших отношениях // в нашем отношении
- Стр. 239
- <sup>5</sup> *Вместо:* не переходило // не перелезало
- <sup>7—8</sup> *Вместо:* заветные мысли // заповедные мысли
- <sup>18</sup> *Вместо:* позы // поза
- <sup>24</sup> *Вместо:* разовьется // разольется
- <sup>32</sup> *Вместо:* у меня в руках скальпель // у меня скальпель
- Стр. 240
- <sup>12</sup> *Вместо:* возвращался с поля битвы // возвращался, убежавши с поля битвы
- <sup>25—26</sup> *Вместо:* баденской ошибки // баденских ошибок
- Стр. 241
- <sup>6</sup> *Вместо:* до наивности цинизма // до наивности и цинизма
- <sup>28</sup> *Вместо:* мозговых страстей // ложных страстей
- Стр. 242
- <sup>31</sup> *Вместо:* на канве // по канве
- Стр. 243
- <sup>18</sup> *Вместо:* криком // <пробел> припевом
- <sup>33</sup> *Вместо:* обе половины // обе половинки
- Стр. 244
- <sup>14</sup> *Вместо:* занавесками // занавесами
- <sup>19</sup> *Вместо:* не глупа // совсем не глупа
- <sup>22</sup> *Вместо:* до зенита // до ясности
- <sup>32</sup> *Вместо:* ее предусмотрительность // ее предупредительность
- <sup>34</sup> *Вместо:* ящик чистой одеколонии // дюжину чистой одеколонии
- Стр. 245
- <sup>8—9</sup> *Вместо:* покажет // показывает
- <sup>30</sup> *Вместо:* ее разговор // ее рассказ
- Стр. 246
- <sup>18</sup> *Вместо:* старого банкира // старика банкира
- <sup>33</sup> *Вместо:* которое дает лицу власть // которое дает власть
- Стр. 247
- <sup>8—9</sup> *Вместо:* лавровый венок ваял могилой // лавровый венок возле могилы
- <sup>16</sup> *Вместо:* потока революционных идей // напора революционных идей
- <sup>26</sup> *Вместо:* ни поэтов, ни республики // ни поэтов, ни республиканцев
- <sup>36</sup> *Вместо:* и где-нибудь // куда-нибудь

Стр. 249

<sup>30</sup> Вместо: усилий // усилия

Стр. 250

<sup>7</sup> Вместо: старика банкира // старого банкира

Стр. 251

<sup>21</sup> Слово: горячо — *отсутствует*.

<sup>27</sup> Вместо: грустным сознанием // грустным сожалением

Стр. 252

<sup>5</sup> Вместо: бессилия // безумия

Стр. 253

<sup>17</sup> Вместо: большой ребенок // больной ребенок

<sup>34</sup> Вместо: по корректурным листкам // по корректурным листам

<sup>37</sup> Вместо: ни на одну минуту // ни на минуту

<sup>38</sup> Вместо: самой восторженной / восторженной

Стр. 254

<sup>34</sup> Вместо: мутило // мутил

<sup>38</sup> Вместо: в дружбе к Г<ервегу > // в дружбе Г<ервега>

Стр. 257

<sup>11</sup> Вместо: ехала // поехала

Стр. 258

<sup>6</sup> Вместо: часть дома и двор // часть дома и двора

Стр. 259

<sup>30</sup> Перед: думай сколько хочешь // погоди...

Стр. 260

<sup>3</sup> Вместо: Зачем я не начал прямо разговора // Зачем я не искал прямо разговора

Стр. 261

<sup>22</sup> Вместо: я уже не ставил // я не ставил

<sup>26</sup> Вместо: взглянул // взглянул на нее

<sup>33-34</sup> Вместо: положил голову на плечо // положил голову на ее плечо

Стр. 262

<sup>8-9</sup> Вместо: не расстанусь // не разлучусь

<sup>12-13</sup> Вместо: пожала мою руку // пожала мне руку

Стр. 263

<sup>2</sup> Вместо: или он уже // или, может, он уж

<sup>8</sup> Вместо: которое он нанес // которое нанес

<sup>15-16</sup> Вместо: трудные комиссии // комиссии

<sup>26</sup> Вместо: он не может остаться // он не должен остаться

Стр. 264

<sup>2</sup> Вместо: сам справлюсь // сам управлюсь

<sup>4</sup> Вместо: под одной кровлей // под одной крышей

<sup>20</sup> Вместо: минут через двадцать // минут через десять

<sup>24</sup> Слово: у нас — *отсутствует*.

Стр. 265

<sup>25</sup> Вместо: встретившее нас // встретившее меня

Стр. 266

<sup>11</sup> Вместо: последняя искра // последняя вера

Стр. 267

<sup>4</sup> Вместо: чувство досады и негодования // чувство досады и негодование

<sup>11</sup> Вместо: Рокка // Рокка, наш повар,

<sup>18</sup> Вместо: бросил / отослал

Стр. 268

<sup>22</sup> Вместо: продолжала // отвечала

Стр. 269

<sup>26-27</sup> Вместо: Ты принуждаешь, — разумеется не физически, а морально. //

Ты принуждаешь ее, — разумеется не физически, а морально— твоими словами, твоей горестью...

Стр. 270

<sup>6</sup> *Вместо:* чтоб добавить, когда оправится, вторую половину // чтоб добыть вторую половину, когда окрепнет

Стр. 283

<sup>18-25</sup> *Текст:* В одну из самых тяжелых минут ∞ Гудсон Лова. — *отсутствует.*

Стр. 284

<sup>19</sup> *Вместо:* можно // можно было

Стр. 285

<sup>4</sup> *Вместо:* сделанный // сделанный им

<sup>7</sup> *Вместо:* около нас // около меня

Стр. 287

<sup>27</sup> *Вместо:* Головин // Головин (!)

Стр. 288

<sup>14-16</sup> *Абзац:* Я решительно ∞ не настаивал. — *отсутствует.*

<sup>27</sup> *Вместо:* передавал дело // представил дело

Стр. 289

<sup>20-21</sup> *Вместо:* покрыть все это // покрыть все

<sup>32</sup> *Вместо:* спокойно // покойно

Стр. 291

<sup>8-9</sup> *Вместо:* вечные протестации в вашем религиозном уважении // вечные протестации ваши в религиозном уважении

<sup>37</sup> *Вместо:* возвратил // отослал

Стр. 292

<sup>1-2</sup> *Вместо:* с надписью // с подписью

<sup>24-25</sup> *Вместо:* в спальном и вышел // в ее спальном и я вышел

Стр. 297

<sup>21</sup> *Вместо:* такой немецкий цветок // такие немецкие цветочки

<sup>23</sup> *Вместо:* что так как вы // что так как мол вы

Стр. 298

<sup>20</sup> *После:* не делать этого. // Она кротко посмотрела на меня.

<sup>33</sup> *Вместо:* Оглушенный горем // Омраченный горем

<sup>35</sup> *Слова:* она хотела отдохнуть — *отсутствуют.*

Стр. 299

<sup>30-31</sup> *Вместо:* подушки не хорошо лежат, но как я ни поправлял, ей все казалось // подушка не хорошо лежит, но как я ни поправлял ее, все казалось

Стр. 301

<sup>9</sup> *Вместо:* бросился вон — в зал — встретил // бросился вон — в зале встретил

Стр. 302

<sup>6</sup> *Вместо:* море шипело // море кипело

<sup>8</sup> *Вместо:* тревога — словно страданье окончилось // тревоги ... словно страданья окончились

Стр. 304

<sup>5</sup> *После:* И понял ! // Переписал 9 сент. 1860. Bournemouth

Стр. 305

<sup>19-20</sup> *Вместо:* написанную // писанную

Стр. 307

<sup>35</sup> *Вместо:* забываете // забыли

Стр. 309

<sup>32</sup> *Вместо:* напечатать // печатать

Стр. 310

<sup>35</sup> *Вместо:* не было // не состояло

<sup>1</sup> *Вместо:* следы // след<sup>18</sup> *Вместо:* страшны // странны

## РУССКИЕ ТЕНИ

## II. Энгельсоны

## ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (ЛБ)

Стр. 350

<sup>6</sup> *Вместо:* Энгельсоном // Вейтбергом<sup>11</sup> *Вместо:* сказал — *было:* прибавил<sup>14-15</sup> *Вместо:* как мы объяснились с ней // [как мы говорили с ней ночью в гостиной] как мы объяснялись с ней<sup>19-20</sup> *Вместо:* шел уже дальше ∞ отместки мне — *было:* далеко перерос одно желание закрепить свою власть над Вейтбергом и отомстить мне<sup>20</sup> *Вместо:* он состоял — *было:* цель ее состояла<sup>23</sup> *Вместо:* всю жизнь // [хозяйство, весь дом] дом, всю жизнь<sup>23</sup> *Вместо:* т. е. в противном случае — *было:* или<sup>28</sup> *Вместо:* Энгельсона — *было:* Вейтберга<sup>29</sup> *Вместо:* мои раскрытые глаза — *было:* наши раскрытые глаза.

На лучшее могли быть употреблены ее силы — мало ли что бы могло быть, если б вообще в темную игру страстей заглядывал почаще разум, если б его луч не так преломлялся от личных бессмысленных стремлений и пристрастий... [Если б!...] [Обыкновенно] свет вносится в комнату [когда ночное несчастье совершилось и] на шум совершившегося преступления, т. е. когда с одной стороны остается неисправимая беда — с другой угрызение совести.

<sup>32</sup> *После:* замысел... // Конечно могла бы...

Стр. 351

<sup>2</sup> *Вместо:* О несчастьях // Об несчастьях<sup>10</sup> *Вместо:* дети // пока дети<sup>11</sup> *Вместо:* с Марьей Каспаровной // с М. К.<sup>12</sup> *Вместо:* его предложения // этого предложения<sup>12</sup> *После:* не могу. — *было:* Я отвечал, что нет.<sup>13</sup> *Вместо:* огорчил // казалось огорчил<sup>14-15</sup> *Вместо:* считаете ли вы вашу жену // считаете вы [ее] вашу жену<sup>16</sup> *Вместо:* Энгельсон // Вейтберг<sup>17</sup> *Вместо:* planche de salut — *было:* настоящая planche de salut<sup>17</sup> *Вместо:* она — *было:* что она<sup>18</sup> *Вместо:* ваше доверие — *было:* такое доверие<sup>23</sup> *После:* не хотела — *было:* обратить на это внимание<sup>25</sup> *Перед:* едет в Геную — *было:* через день<sup>26</sup> *Вместо:* за что же — *было:* зачем же<sup>29</sup> *Вместо:* они уехали // уехали они<sup>30</sup> *Вместо:* уехал я // уехал и я<sup>35</sup> *Вместо:* я — *было:* я с Сашей

Стр. 352

<sup>1-2</sup> *Вместо:* и это в редких приписках — *было:* на письме — т. е. в приписках<sup>2</sup> *Вместо:* как будто // т. е. как будто<sup>3-4</sup> *Вместо:* булавочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем — *было:* эти булавочные уколы, и в такое время, когда я весь был болен и в самом деле потерян, может, больше, чем в то время, о котором писал Орсини в своих «Записках»<sup>6</sup> *Вместо:* Энгельсон // Вейтберг

- <sup>8</sup> *Вместо:* Энгельсову — было: Вейтбергу
- <sup>11-12</sup> *Вместо:* вряд ли она права». Я напомнил // вряд она права ли», и тут я напомнил
- <sup>13</sup> *После:* «Мы знаем — было: прибавил я к этому
- <sup>14</sup> *Вместо:* детским воспитанием — было: воспитанием своих детей
- <sup>17</sup> *Перед:* не простил — было: только скрыл
- <sup>20</sup> *После:* в Париж. — было: К этому времени принадлежит ряд удивительно оригинальных писем его, очень жаль, что часть их утрачена. [Это] Уцелевшими письмами его я и заключаю первую часть моего вставочного романа.
- <sup>21</sup> *Вместо:* V. — было: V. Часть вторая.
- <sup>35</sup> *Вместо:* ряд очень замечательных его писем // ряд его очень замечательных писем
- <sup>38</sup> *Вместо:* когда-нибудь напечатать. // напечатать в приложениях.
- Стр. 353*
- <sup>2</sup> *Вместо:* к страстной трате времени // к страшной трате времени
- <sup>6</sup> *Перед:* гражданское лицо — было: высокопоставленное
- <sup>12</sup> *Вместо:* ребенок — было: он
- <sup>16</sup> *Вместо:* замужества // замужества
- <sup>21</sup> *Вместо:* Энгельсон — здесь и далее в большинстве случаев было: Вейтберг
- <sup>27</sup> *После:* никогда ничего не делавшей // кроме случайного чтения
- <sup>30</sup> *Вместо:* Х<оецкий> // Ш<арль Эдмонд>
- <sup>36</sup> *Перед:* жесткого — было: неделикатного,
- <sup>36-37</sup> *Вместо:* что у меня перевернулось сердце. — было: что я не мог вытерпеть.
- <sup>37-38</sup> *Вместо:* Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой смелости языка // [Странные люди — как с их развитием сочетать этот недостаток] Я [никогда] не могу привыкнуть к этому недостатку пощады, что за смелость языка
- Стр. 354*
- <sup>3</sup> *Перед:* говорятся — было: ими
- <sup>3</sup> *Вместо:* людьми — было: этими людьми
- <sup>6</sup> *Вместо:* Дав волю своему раздражению, Энгельсон — было: Поппав в эту струну брани, Вейтберг
- <sup>10-11</sup> *Вместо:* писал об нем — было: писал об них
- <sup>12</sup> *Вместо:* стыдно // скверно
- <sup>13</sup> *После:* жизнь нас свела — было: так близко
- <sup>20</sup> *Вместо:* печаль // печаль свою
- Стр. 354—356*
- <sup>27-28</sup> *Вместо текста письма:* «2 февраля 1853. Слухи носятя ∞ но не делом»... // пометка: письмо. На противоположной незаполненной странице против слова «письмо» другая пометка: Сюда письмо В. В<ейтберга>.
- Стр. 356*
- <sup>27</sup> *Вместо:* человек // он, этот человек,
- <sup>29</sup> *Вместо:* человек // этот человек
- <sup>31</sup> *Вместо:* что очевидец // чтоб этот очевидец
- <sup>32-33</sup> *Вместо:* котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль. — было: трагические декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть роль.
- <sup>33</sup> *После:* роль. // Я, никогда ни в чем, ни для чего и ни для кого не игравший никакой роли.
- <sup>34</sup> *Вместо:* заискивал — было: заискивал стало
- Стр. 357*
- <sup>3</sup> *Вместо:* не почтил его унылым чувством молчания — было: не почтил унылым чувством молчания бывшее

- <sup>4</sup> *Вместо:* покрыл его — *было:* и его покрыл
- <sup>6-7</sup> *Вместо:* прощался с ним и просил его прекратить переписку. // прощался с ним, просил его прекратить переписку и говорил, что я со своей стороны писать не буду.
- <sup>11-12</sup> *После:* протягивалась рука; какой-нибудь фанатик — *было:* без <1 нрзб.> почти всегда какого-нибудь полуповрежденного или какой-нибудь фанатик
- <sup>12</sup> *Вместо:* мы — *было:* мы были
- <sup>13-14</sup> *Вместо:* быстро подходил и так же быстро отворачивался — *было:* так же быстро подходил — как и отворачивался
- <sup>15</sup> *После:* я привыкал — *было:* больше и больше
- <sup>21</sup> *После:* Прошел год. — *было:* Весной 1854
- <sup>22-23</sup> *Вместо:* Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны // Весной 1854 я получил от [одной дамы] М. К.
- <sup>23</sup> *После:* небольшую рукопись — *было:* и напечатал ее
- <sup>34</sup> *Вместо:* Но уже // Однако
- <sup>34</sup> *Вместо:* облака — *было:* дурные облака
- Стр. 357—358
- <sup>37-1</sup> *Вместо:* хористам французской революции 1848 года // хористам [, статистам] французской революции 48 года
- Стр. 358
- <sup>2</sup> *Вместо:* он — *было:* он (и прежде его Белинский)
- <sup>13</sup> *Перед:* Энгельсон — *было* 1 нрзб.
- <sup>15</sup> *Вместо:* на его план — *было:* на него
- <sup>21</sup> *Вместо:* оставили в стороне — *было:* не приняли
- <sup>22</sup> *Вместо:* предложить им // им предложил
- <sup>27</sup> *Вместо:* сердился — *было:* сердился, бледнел
- <sup>31</sup> *Вместо:* сделалась совершенная перемена — *было:* была совершенная перемена
- <sup>33-35</sup> *Вместо:* Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. — *было:* Она с каким-то лунатическим мистицизмом делалась спиритом.
- Стр. 359
- <sup>4</sup> *После:* покой в ее душу // и пр.
- <sup>8-9</sup> *Вместо:* опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров — *было:* ссоры и размолвки не на шутку опять-таки за бонапартизм и воздушные шары
- <sup>9</sup> *Вместо:* приходила ко мне — *было:* приходила одна ко мне
- <sup>23-24</sup> *После:* с лицом, совершенно искаженным вчерашней злобой // [а может] и вчерашним [, не улегшимся с вечера] вином
- <sup>24-25</sup> *Вместо:* с безумным выражением глаз. Он сказал — *было:* с безумным выражением лица. Он кричал
- <sup>28</sup> *Вместо:* припугнул // пугал
- <sup>37</sup> *Вместо:* Так что? // Что?
- <sup>38</sup> *Перед:* вы хотите — *было:* что
- Стр. 360
- <sup>2</sup> *Вместо:* большой нож // большой складной нож
- <sup>10-11</sup> *Вместо:* все это // это
- <sup>13</sup> *Вместо:* мы переехали // я переехал
- <sup>26-27</sup> *После:* высказал это. // Этого было достаточно.
- <sup>33-34</sup> *После:* «бессмертных творений». — *было:* Мне надоело это.
- <sup>35</sup> *После:* она возбудила в России общее негодование // и ее приписали мне.
- Стр. 361
- <sup>2</sup> *Вместо:* не могли даже спасти ни воспоминания — *было:* не могли следовать ни светлые воспоминания
- <sup>7</sup> *После:* ожидания. // Николай умер!

Стр. 361—362

<sup>8-20</sup> Текст: Утром 4 марта ∞ сделали для нас пятью распятиями.  
// отсутствует.

Стр. 362

<sup>28-27</sup> После: его опьянение собой — было: пожалуй, во всем этом было что-то детское, но форма, в которой все это отливало, никуда не годилась.

<sup>31</sup> Вместо: Статья «Что такое государство?» была хороша — было: Статья «Что такое государство?» Вейтберга была хороша, замечательно хороша

<sup>32</sup> Вместо: К тому же она // Она

<sup>37</sup> Подстрочное примечание: «Полярная звезда», книжка 1. // отсутствует.

#### ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (ЦГАЛИ)

К стр. 359—364, вероятно, относился следующий перечеркнутый отрывок, читающийся на обороте наклеенной части листа:

Минутами словно вспыхивала его прежняя дружба — но потом он опять становился мрачен и жаловался на приливы к голове.

Я помню, как раз Ольшевский, попавший впоследствии в Гамбурге с нашими книгами и выданный вольным городом России, — стал бранить умеренный тон моего письма к Александру II. Энгельсон взбесился.

— Письмо это гражданский подвиг с его стороны, — кричал он на бедного <1 нрзб.>, — подвиг преданности и любви — поэтому я его ценю <2 или 3 нрзб.> А вы воображаете, может, что трудно свистать одно и то же <1 нрзб.>

Стр. 363

<sup>10</sup> Вместо: говорите вы // вы говорите

<sup>13</sup> Вместо: и спросил Энгельсона — было: и молча глазами спросил Энгельсона

<sup>13</sup> Здесь и далее: Энгельсона сначала зачеркнуто и сверху надписано: Вейтберга, затем восстановлено: Энгельсона

<sup>14</sup> Вместо: выступили у него // выступили

<sup>17</sup> Перед: отвечать — было: поэтому

<sup>19</sup> Вместо: что нога моя // [если] что после сказанного нога моя

<sup>29</sup> После: Для патологических исследований — было: первое, что надобно забыть, — это

<sup>30</sup> Вместо: романтизм чистоплотности // романтизм [внешней] чистоты

#### ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (СК)

Стр. 364

<sup>14</sup> После: занимать — было: он выбрал последнее как легчайшее. Занимать ему было не у кого — кроме меня.

<sup>17</sup> Вместо: разговор об этом // разговор

<sup>19</sup> Вместо: Энгельсон — здесь и далее в большинстве случаев было: Вейтберг

<sup>23</sup> Вместо: если он // и если он

<sup>26</sup> Вместо: заложу в пятьдесят фунтов // заложу в 50 фунтах

<sup>30-31</sup> После: я брильянты заложил. — было: На это рассердилась пуще всего его жена.

<sup>33</sup> Вместо: С<авич> // здесь и далее: S.

Стр. 365

<sup>2</sup> После: что брал С<авич>. — было: И в самом деле считаться нам было трудно, после того как он около года занимал у нас комнаты моей матери и жил вместе с нами, плата из приличия какую-то безделицу.



<sup>5</sup> *Вместо:* вдвое // ровно вдвое

<sup>5</sup> *Вместо:* я написал // сказал

<sup>6</sup> *После:* удержать его брильянты // для него же на черный день

<sup>9-10</sup> *После:* не видался больше. — *было:* «Деньги, деньги, проклятые деньги, — говаривал Ворцель, — сейчас сделаюсь коммунистом, если коммунизм уничтожит деньги».

Я не знаю, было ли после первых веков христианства — время, в которое так бы трудно было управиться с своим состоянием, в том исключительном положении, в котором поставлен эмигрантский мир. Кругом вопиющая нужда и вопиющая лень, невозможность видеть эту нищету и невозможность помочь. За пятым, шестым требованием,<sup>1</sup>

<sup>12-31</sup> *К тексту:* С месяц спустя обедал у меня ∞ приходил мертвецки пьяный. // *имеется подстрочное примечание без точного указания на то, куда оно относится:* О Свентосл. — во время проезда Наполеона в Лондоне.

<sup>17-18</sup> *Вместо:* живую и печатную пропаганду. // и живую и печатную пропаганду.

<sup>18</sup> *Вместо:* брал — *было:* брался

<sup>18</sup> *Вместо:* буквы // нужные буквы

<sup>21</sup> *Вместо:* ведь нас // нас

<sup>24</sup> *Вместо:* я ездил в Лондон и возвратился вечером — *было:* когда я возвратился вечером домой

<sup>28</sup> *Вместо:* моего авторитета — *было:* моей власти

<sup>30</sup> *Вместо:* бредил // бредит

<sup>32</sup> *Вместо:* М. — *здесь и далее было:* Мейзенбург

<sup>32</sup> *После:* От Мальвиды М. // жившей тогда у нас

Стр. 366

<sup>3</sup> *Вместо:* «Если Г. // «Если он

<sup>7</sup> *Вместо:* На его крик // На этот крик

<sup>9-10</sup> *После:* я покажу, кто я! // не угодно ли отведать

<sup>15</sup> *Вместо:* его поведение. // такое поведение человека — в присутствии ребенка и женщины, которая одна в доме.

<sup>20</sup> *Вместо:* от поручения — *было:* от письма

<sup>22</sup> *Вместо:* такого письма // ругательного письма

<sup>23</sup> *Вместо:* заметил Энгельсон // заметил он

<sup>23</sup> *Вместо:* и ушел — *было:* а впрочем, мне очень жаль, что я вас обеспокоил, вас я не имею причины ни ненавидеть, ни презирать. — Вейтберг, ушел

<sup>25</sup> *Вместо:* о прошедшем, он писал // о происшедшем, он писал мне

<sup>26</sup> *Вместо:* не может, а просит // не может и просит

<sup>31</sup> *Вместо:* осенью 1855 переехал — *было:* осенью 1855 года уехал

<sup>31-32</sup> *Вместо:* в St. John's Wood. Энгельсон был забыт на несколько месяцев. — *было:* в St. John's Wood, весной приехал Огарев, с ним явилась мысль «Колокола», опять Вейтберг был совершенно забыт, и об нем не было речи.

<sup>33-34</sup> *Вместо:* от Орсини, которого видел дни два тому назад — *было:* от Орсини, от знаменитого Феличе Орсини, которого видел дни два тому назад очень дружески

<sup>34</sup> *После:* пахнущую картелью. // Что за чудеса?

---

<sup>1</sup> На этом л. 51 кончается, на следующем, 53-м, листе пометка рукою Герцена: «52 стр. исключена» — *Ред.*

Стр. 366—367

<sup>36-1</sup> После: распространяем слух, что он австрийский шпион // оставаясь с ним в дружеских отношениях.

Стр. 367

<sup>2</sup> После: клевету — было: чтоб потребовать у него отчет.

<sup>11-12</sup> После: Энгельсона. — было: Итак, он хотел меня казнить смертью.

<sup>13</sup> Вместо: но, по счастью, забыл — было: но, в вечной лихорадке и раздражении, забыл

<sup>18</sup> Вместо: и теперь // теперь

<sup>20</sup> Вместо: потом, если удастся, убить его. — было: если он не убьет его — казнить.

<sup>21</sup> Вместо: ошибка — было: ошибка, обмолвка

<sup>26</sup> Вместо: с ней — было: с хозяйкой дома

<sup>26-27</sup> Вместо: о чем была речь — было: в чем дело

<sup>28-29</sup> Вместо: что г-же Мильнер-Гибсон рассказывали в Женеве — было: что г-же Мильнер-Гибсон рассказывали, что ее уверяли на континенте

<sup>31</sup> Вместо: передал это — было: рассказал об этом

<sup>32</sup> Вместо: недовольны — было: очень недовольны

<sup>35</sup> Вместо: удивительным образом спасся — было: бежал

Стр. 368

<sup>1</sup> Вместо: Появление самого Орсини — было: Появление впоследствии Орсини

<sup>2</sup> Вместо: бесследно — было: все это бесследно

<sup>4</sup> Вместо: Я попросил у Орсини назначить свиданье. Он звал — было: Я отвечал Орсини, что приду к нему и объясню все дело, и требовал, чтоб он назначил, когда нам встретиться. Он назначил время

<sup>5</sup> Вместо: к Саффи — было: к Саффи — он тогда еще жил у Маццини

<sup>7</sup> Перед: Огарев — было: Орсини

<sup>10-11</sup> Вместо: составляет особенность его характера. — было: составляет особенную прелесть этого человека.

<sup>11-12</sup> Вместо: и потом сказал // и вдруг спросил

<sup>18</sup> После: Вы — было: тут многое

<sup>19-20</sup> Вместо: были тогда не посторонний; вы лучше многих — было: был тогда не неприятель; вы лучше других

<sup>23</sup> Вместо: такие вещи — было: такие страшные вещи

<sup>24</sup> Вместо: предупредить — но кто же // предупредить. Кто же

<sup>26</sup> Вместо: сведите меня лицом к лицу — было: отдайте на правое, сведите нас лицом к лицу

<sup>29</sup> Вместо: улыбнулся // слегка улыбнулся

<sup>29</sup> После: обнял меня, // поцеловал,

<sup>31</sup> После: простите меня, — было: объяснения ясны — ну

<sup>33</sup> Вместо: Все это хорошо — было: Все это, Орсини, хорошо

Стр. 368—369

<sup>35-3</sup> Вместо: Вам сказал Энгельсон ∞ сделало какую-то боль // [вам сказал это Вейтберг] Скажете, если я сразу отгадаю?

Орсини молчал и улыбался.

— [Ну] [Дайте честное слово, что не ск] Ну кто же? — спросил он.

— Энгельсон.

— [Дайте вы честное слово, что оставите дело.] Даете вы слово — что оставите дело?

— Даю при двух свидетелях.

— Ну, [вы] отгадали.

Мы все переглянулись... [нам стыдно стало за отсутствующего]. Это [страшное] ожидаемое подтверждение во мне сделало какую-то боль

Стр. 369

<sup>11</sup> *Вместо:* ко мне, я был в столовой // ко мне в столовую

<sup>12</sup> *Вместо:* и обедал один. // там никого не было, и я обедал один.

<sup>17</sup> *Вместо:* вдруг закричал ./! вдруг и закричал

<sup>22</sup> *Вместо:* Вы готовы // И вы готовы

<sup>24-25</sup> *После:* Вот и все. — *было:* Я задумался. Паденье этого человека было все-таки очень тяжело.

<sup>26</sup> *После:* будто догадываясь — *было:* и не догадываясь

<sup>27</sup> *Вместо:* сказал — *было:* сказал мне

<sup>28</sup> *После:* поврежденный // [ а впрочем] я к нему больше не поеду.

<sup>29</sup> *Вместо:* Орсини вскоре уехал в Париж и — *было:* С Орсини мы остались в хороших отношениях, вскоре он уехал в Париж и!..

Наступил штиль — об Вейтберге я не слышал больше.

<sup>29-30</sup> *Вместо:* голова его — *было:* голова Орсини

<sup>35</sup> *Вместо:* (1858) // (Fulham!) Putney. 1858.

Стр. 370

<sup>6</sup> *После:* восторженный. — *было:* Я узнал, что его писала М-ме Вейтберг.

Mentona.

1866.

Janvier 25.

<sup>8</sup> *После:* от М-ме Энгельсон. // (1865)

## ДРУГИЕ РЕДАЦИИ

### 〈РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ〉

〈VIII〉. 3 мая 1855

ВАРИАНТЫ АВТОГРАФА (ЛБ)

Стр. 374

<sup>4</sup> *После:* похороны. — *было:* Хорошо в этот день начать мрачный отдел моих воспоминаний, исполненный невыносимых мучений — которые я перенес благодаря каменной организации — [недаром Гамлет дивился кр] той крепости тела, которой дивился Гамлет.

Похороны были следствием. Я ждал смерть — она не невзначай взшла в мой дом. Столько нельзя было вынести [нежной] женской груди.

<sup>6</sup> *Вместо:* детей — *было:* всех детей

<sup>9-10</sup> *Вместо:* отнимешь эту минуту — *было:* отнимешь последнее удовольствие

<sup>11</sup> *Перед:* Я позвал детей. — *было:* Она велела

<sup>16-17</sup> *Вместо:* напомнили мне стихи Пушкина, повторяемые ею [за несколько дней Энгельсону и мне] так часто в последнее время — *было:* придавали величественную торжественность этой минуте

<sup>20</sup> *Вместо:* торжественный образ — *было:* удивительный образ

<sup>22-23</sup> *После:* не говорила ни слова. — *было:* Я держал руку ее, она иногда жала мою руку так говоряще, что я понимал очень хорошо, что ее занимает. Через час времени она показала мне, чтоб я подошел, и сказала

<sup>23</sup> *Вместо:* положила мою руку — *было:* взяла мою руку, положила ее

<sup>24-25</sup> *Вместо:* если — — помни твое обещание — — как страшно думать, что — *было:* если что — что — — помни, что твое мне обещанье — я боюсь

26-27 *Вместо:* Я не мог выговорить слова и молчал. Она с выражением ужаса покачала головой и с невыразимой болью — *было:* Я молчал оттого, что не мог выговорить слова. Она с выражением ужаса покачала головой, и какой-то легкий стон невольно вылетел из груди, и потом молча и с какой-то невыразимой болью

<sup>33</sup> *После:* для полного — *было:* торжественного оправдания

37-38 *Вместо:* Кажется, я необходима для детей — а ведь все пойдет — *было:* Как, кажется, я необходима для детей — а ведь все так же пойдет

<sup>41</sup> *Вместо:* Фогт — *было:* К. Фогт

Стр. 375

<sup>1</sup> *Вместо:* детский голос — *было:* небольшой плач

<sup>2</sup> *Перед:* Посмотри — *было:* Зачем

<sup>3</sup> *Вместо:* Потом ей овладело — *было:* Тут ей овладело

<sup>6</sup> *Вместо:* потом наступил тяжелый сон — *было:* потом наступил сон ... дурной сон

<sup>11</sup> *После:* оцепенел от ужаса и — *было:* дрожа всем телом стоял, скрепив руки на груди

<sup>11</sup> *Вместо:* яркое утро — *было:* яркое утро 1 мая

<sup>13</sup> *Вместо:* с каким-то безумным чувством отчаяния и ужаса — *было:* с каким-то безумным притуплением всего существа

<sup>15</sup> *Вместо:* зачем это страшное беспамятство — *было:* за что это страшное беспамятство

<sup>16-17</sup> *Вместо:* Доктор и К. Фогт, с двумя-тремя друзьями были внизу. — *было:* Доктор Бонфис и К. Фогт, с двумя-тремя друзьями сидели [оставались] [последние ночи] внизу.

<sup>20</sup> *Вместо:* она пришла в себя — *было:* больная пришла в себя

<sup>24</sup> *Вместо:* Раз она снова хотела — *было:* Раз как будто она снова хотела

<sup>26</sup> *Вместо:* успокоивая ее — *было:* успокоивая бедную страдальцу

<sup>27</sup> *Вместо:* и покрыла ею свое лицо — *было:* она положила мою руку на лицо

<sup>29-30</sup> *Вместо:* она отвечала невнятно — *было:* она отвечала не то

<sup>31</sup> *После:* Хоть бы еще слово — *было:* один взгляд

<sup>31-32</sup> *Вместо:* Она осталась в этом положении — *было:* Предсмертная мука продолжалась

<sup>34</sup> *Вместо:* Минутами она приходила в полусознание — *было:* И не странно ли — больная приходила минутами в полусознание

<sup>35</sup> *После:* снять с себя фланель — *было:* рвала ее с себя

<sup>37-38</sup> *Вместо:* что она слышит — *было:* что она слышит, понимает

<sup>38-39</sup> *Перед:* выражение горькой боли пробежало по лицу. — *было:* мне казалось, что

<sup>39</sup> *Вместо:* Несколько раз она пожала мне руку — не судорожно — в этом я совершенно уверен — а намеренно. — *было:* Но что я на-верное знаю [ и <2 нрвб.>] — это несколько раз она жала мне — не судорожно — а намеренно руку.

<sup>41</sup> *Вместо:* доктора — *было:* Фогта

<sup>42-43</sup> *Вместо:* Я вышел в сад, позвать Сашу — я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти — *было:* Я вышел на дво<р>, позвать Сашу — откуда берется столько силы, я удивляюсь сам — я не хотел, чтоб у него не остались в вечной памяти

<sup>44-45</sup> *Вместо:* я предупредил его, какое несчастье ждет нас. Саша — *было:* я приготовил его к вести, что больная <3 нрвб.>. Дитя

<sup>46</sup> *Вместо:* не подозревал — *было:* нисколько не подозревал

Стр. 376

<sup>4</sup> *После:* несколько стenanий — *было:* беспокойство

<sup>5-7</sup> *Вместо:* Я хорошенько не помню, что было в первые минуты. —

Когда я сошел вниз, мне пришло в голову «береги Тату». Я очень боялся — *было*: Я хорошенько не помню, что было. Я встал, сошел вниз, первое, что я вспомнил, — «береги Тату». Итальянец, наш слуга, сильно преданный нам, громко плакал в зале, меня поразила мысль

<sup>8</sup> *Вместо*: любившего мать — *было*: любившего ее

<sup>8-9</sup> *Вместо*: Я велел позвать ее к себе — *было*: Я строго запретил ей говорить и велел позвать ее ко мне

<sup>10</sup> *После*: тихо приготовил ее — *было*: сказал [ей], что [м] случилось

<sup>13</sup> *Вместо*: Покойница — *было*: Она

<sup>16-17</sup> *Вместо*: Цветы, белые легкие ткани, торжественный вид не уменьшают — *было*: Цветы, белый цвет, торжественный вид успокаивают

<sup>19</sup> *Вместо*: удивлено — *было*: поражено

<sup>23</sup> *Перед*: Часа через два — *было*: Я взшел

<sup>23-24</sup> *Вместо*: я сидел один у окна и смотрел бессмысленно то на море, то на небо — — — дверь отворилась — *было*: я сидел один в кабинете и смотрел бессмысленно то, не сводя глаз, на море, то на небо — — — когда дверь отворилась

<sup>27</sup> *Вместо*: С глубокой горестью посмотрел я на сироту — *было*: Как мне было жаль ее. С какой глубокой горестью посмотрел я на бедную сироту

<sup>29-30</sup> *Вместо*: Их ничто не заменит — *было*: Их ничто не может заменить

<sup>30</sup> *Перед*: лучшей — *было*: величайшей

<sup>31</sup> *Вместо*: привязанности — *было*: привязанности к тебе

<sup>34</sup> *После*: любви. — *было*: 2) Этими строками и начну я мрачную часть моих [записок] воспоминаний, ту, для которой вообще я [начал] стал писать записки. Каждое [вре] слово об этом времени тяжело, мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — — —

#### ВАРИАНТЫ КОПИИ (ЛБ)

Стр. 375

<sup>5</sup> *После*: с тоской и стоном // *рукою Герцена добавлено*: даже с досадой

<sup>11</sup> *Вместо*: я оцепенел от ужаса и [дрожа всем телом стоял, скрестив руки на груди] // я оцепенел от ужаса и, дрожа всем телом, [стоял скрестив руки на груди]. *Рукою Герцена перед словом «дрожа» вписано*: стоял

<sup>15-16</sup> *Слова*: и так вдрут — *вычеркнуты*

#### АВТОРСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И ПРЕДИСЛОВИЯ

##### <Предисловие к публикации глав из пятой части в «Kolokol»>

##### ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

Стр. 381

<sup>6(27)</sup> *После*: *pensées* <думы> — *было*: (par Iscander); l'édition est presque totalement épuisée — nous avons le droit de réimpression <(Искандера); издание это почти полностью распродано — мы имеем право на переиздание>

Стр. 381 (382)

<sup>10(6)</sup> *После*: volumes suivants <следующих томов> — *было*: qui ont paru en russe <появившихся на русском языке>.

<sup>11(7)</sup> *Вместо*: traducteur <переводчика> — *было*: traduction <перевода>

<sup>18</sup>(<sup>13</sup>) *Вместо:* amis <друзей> — *было:* lecteurs français <французских читателей>

<sup>19</sup>(<sup>14</sup>) *После:* scènes <сценки> — *было:* révolutionnaires <революционные>

<sup>20</sup>(<sup>15</sup>) *Вместо:* profils <профилей> — *было:* ébauches de portraits <набросков портретов>

## <Г л а в а   XXXVIII>

### ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ (ЦГАЛИ)

*Стр. 385*

<sup>3</sup> *Перед:* attachement <привязанность> // incorrigibilité <неисправимость>

<sup>15</sup> *Вместо:* ambulante ∞ tous les ans <бродячего ∞ с каждым годом> // migrante des touristes, des désœuvrés de toutes les nations qui s'accroît tous les ans. Heureusement, cette population craint trop les rhumatismes pour monter si haut <кочующая туристов, бездельников всех наций, увеличивающаяся каждый год. К счастью, этот люд слишком боится ревматизма, чтоб подыматься так высоко>.

*Стр. 386*

<sup>28</sup> *После:* encore! <еще!> // Je me suis tellement avancé dans mon récit alpêtre — que je demande la permission d'aller jusqu'à Zermatt. <Я так далеко зашел в своем альпийском рассказе, что прошу разрешения дойти до Церматта>.

<sup>38</sup> *После:* Salvator Rosa <Сальватор Роза> // trop de monotonie et de grandeur <слишком много однообразия и величия>.



# КОММЕНТАРИИ

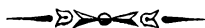






Настоящий том содержит пятую часть «Былого и дум» А. И. Герцена, посвященную первым годам жизни писателя за границей. Часть состоит из разделов «Перед революцией и после нее», <«Рассказ о семейной драме»> и «Русские тени». В «Других редакциях» приведены ранние рукописные тексты отдельных глав. В том вошли также предисловие к публикации глав из пятой части в «Kolokol» и авторские переводы на французский язык «Раздумья по поводу затронутых вопросов» и отрывков из глав XXXVII—XXXVIII.

В разделе «Варианты» печатаются разночтения между последней редакцией и ранними публикациями (варианты текста из первых книжек «Полярной звезды» приводятся по второму изданию) и первоначальные варианты рукописей; для <«Рассказа о семейной драме»> приведены варианты списков.



## БЫЛОЕ И ДУМЫ

### ЧАСТЬ ПЯТАЯ<sup>1</sup>

Пятая часть «Былого и дум» составила четвертый том мемуаров, изданный Герценом в конце 1866 года: Былое и думы Искандера. Том четвертый. Женева, Вольная русская типография, 1867. На шмуцтителе — заглавие пятой части: «Часть пятая. Париж — Италия — Париж. (1847—1852)». Весь материал этой части подразделен здесь на два «отделения». «Отделение первое», имеющее заголовок «Перед революцией и после нее», состоит из девяти нумерованных глав, XXXIV—XLII, и четырех нумерованных: 1. «Западные арабески. Тетрадь первая» (I. Сон. II. В грозу. III. После грозы. IV. Приметы. V. Тифоидная горячка); 2. «Западные арабески. Тетрадь вторая» (I. II pianto. II. Post scriptum); 3. «Раздумье по поводу затронутых вопросов» и 4. «Осеано пох». «Отделение второе», озаглавленное «Русские тени», состоит из двух глав: «I. Н. И. Сазонов. II. Энгельсоны». Часть «Былого и дум», условно называемая <«Рассказом о семейной драме»>, не была опубликована Герценом. Исключение составили два отрывка из первой главы <«Рассказа о семейной драме»> — «Приметы» и «Тифоидная горячка», которые были опубликованы Герценом в *ПЗ* на 1856 г. в составе «Западных арабесок», а затем перепечатаны в четвертом томе «Былого и дум» (Женева, 1867); здесь же впервые полностью была опубликована глава VI <«Рассказа о семейной драме»> — «Осеано пох», — второй раздел которой был ранее напечатан в *ПЗ* на 1859 г. Кроме того, последние страницы первой главы <«Рассказа о семейной драме»> Герцен привел как цитату в пятом «письме» «Концов и начал», напечатанном в «Колоколе» в 1862 г.; этот текст в издании 1867 г. не был перепечатан. При публикации «первой тетради» «Западных арабесок» в издании 1867 г. Герцен дополнил их главкой «После грозы» из ранее напечатанной им книги «С того берега». Публикация <«Рассказа о семейной драме»> в полном виде заставляет отступить от композиции четвертого тома герценовских мемуаров, а именно: из состава «Западных арабесок» (Тетрадь первая) выводятся 2 главки — «Приметы» и «Тифоидная горячка», поскольку они вошли в первую главу <«Рассказа о семейной драме»>; не воспроизводится главка «После грозы», напечатанная ранее в книге «С того берега» и содержащаяся в виде обширной цитаты в первой главе <«Рассказа о семейной драме»>.

<sup>1</sup> В составлении данного комментария участвовали: текстологический комментарий — С. С. Борщевский; вступительная заметка — И. Г. Птушкина; реальный комментарий — А. М. Малахова, Г. И. Месяцева, И. Г. Птушкина; главу о Мицкевиче (XXXVI) комментировала И. М. Белянская, главы XLI и «Н. И. Сазонов», — Н. Е. Застенкер; <«Рассказ о семейной драме»> — Л. Р. Ланский; «Энгельсоны» — М. Я. Поляков; итальянскую тематику — З. М. Цыпкина.

драме» (стр. 222, строка 30 — стр. 225, строка 18). Глава «Осеано пох», завершающая в издании 1867 г. «Отделение первое», печатается как глава VI <«Рассказа о семейной драме»>.

Работа Герцена над пятой частью «Былого и дум» продолжалась тринадцать лет — с конца 1853 г. по 1866 г. Наиболее ранней датой помечена глава «Сон» («Западные арабески. Тетрадь первая»): «Писано в конце 1853 года». На черновом автографе последней главы пятой части — «Энгельсоны» — под постскриптумом обозначено: «Mentona. 1866. Janvier 25». «Post scriptum» в *ПЗ* датирован: «1 октября 1855». Глава «Il pianto» была написана в том же году, о чем свидетельствует следующее упоминание в ней о предсмертной болезни Н. А. Герцен, скончавшейся в мае 1852 г.: «Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу».

Главку «В грозу» Герцен опубликовал в *ПЗ* на 1856 г. с примечанием: «Ни описания Европы, ни февральской революции, ни Июньских дней в моих „Записках“ не будет. Все *общее*, что я мог сказать, сказано мною в ряде статей „С того берега“ и в „Письмах из Франции и Италии“. Я, едва пометив несколько очерков, несколько частных воспоминаний, историю внутренней борьбы, перехожу к 1850 году». Во втором издании *ПЗ* на 1856 г. (Лондон, 1858) это примечание Герцен исключил, так как вскоре принял другое решение и написал для пятой части «Былого и дум» ряд глав о революционном движении в Европе. Одна из этих глав (I — в журнальной публикации, XXXVI — в четвертом томе «Былого и дум») датирована 1856 годом. Написанные вслед за тем II и III главы (XXXVII и XLI) Герцен несколько лет не решался печатать из соображений конспирации: они приоткрывали «кулисы революционных движений в Европе» (письмо к И. С. Аксакову от 17 июня 1859 г.). Поэтому раньше их была опубликована глава IV (XXXVIII) — в *ПЗ* на 1858 г. В подстрочном примечании к ней Герцен привел подробное содержание первых трех глав. Из примечания видно, что в первоначальной рукописи главы II (XXXVII) отсутствовал рассказ о встречах с Гарибальди и Орсини. Эта глава дополнялась и позднее, уже в процессе печатания. Поэтому в *ПЗ* на 1859 г., где она помещена, отдельно опубликовано «Прибавление к II главе», заключающее в себе портреты-характеристики Медичи, Саффи и Лавирона. В отдельном издании пятой части «Былого и дум» «Прибавление» было включено Герценом в текст главы. Глава III, напечатанная в *ПЗ* вслед за главой II (XXXVII), в отдельном издании перенесена в конец «Отделения первого» (гл. XLI). С 1862 г. издание *ПЗ* прекратилось до 1869 г.; судя по тому, что в *ПЗ* не появились нумерованная глава «Раздумье по поводу затронутых вопросов» и глава XLII, можно полагать, что они были написаны позднее 1862 г. Главы «Отделения второго» («Русские тени») создавались в разное время: первая глава — «Н. И. Сазонов» — написана в 1863 г., вторая — «Энгельсоны» — в 1858 г., постскриптум к ней — в 1866 г.

В отдельном издании пятой части «Былого и дум» Герцен снял заголовки, которым были объединены в *ПЗ* на 1855 г. первые главы ее — XXXIV и XXXV, — «Между третьей и четвертой частью» (в первоначальной редакции главы четвертой части входили в третью); снял также Герцен при публикации в *Бид* IV и заголовки «Запад. Отделение первое. Outside (1849—1852)», с которым были напечатаны в *ПЗ* на 1859 г. главы XXXVI, XXXVII, XLI и «Осеано пох». В новом заголовке ко всей пятой части — «Париж — Италия — Париж» — естественно, изменилась и первоначальная дата «1849—1852» на «1847—1852», так как в текст пятой части Герцен ввел главы XXXIV и XXXV, в которых рассказывается о событиях 1847—1848 гг. Уже после выхода в свет отдельного издания пятой части «Былого и дум» Герцен в записке к Огареву (подробнее о ней см. в т. VIII наст. изд., стр. 440), по свидетельству М. К. Лемке, отменил для полного издания своих мемуаров разделение ее на два «отделения».

Главы пятой части «Былого и дум», увидевшие свет при жизни Герцена, печатались в продолжение двенадцати лет — с 1855 по 1866 г. Порядок публикации этих глав не всегда соответствовал хронологической последовательности описываемых в них событий. Так, главы XXXVIII и XXXIX были напечатаны в 1858 г., а XXXVI и XXXVII позднее — в 1859 г. Промежутки в публикации отдельных глав были значительными: первые две главы, XXXIV и XXXV, появились в ПЗ на 1855 г., главы XXXVI—XLI — в 1858—1859 гг., а четыре главы — «Раздумье по поводу затронутых вопросов», XLII, «Н. И. Сазонов» и «Энгельсоны» — в 1866 г.

В предисловии к пятой части «Былого и дум», датированном 29 июля 1866 г., Герцен писал: «Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...» Однако <«Рассказ о семейной драме»> был впервые напечатан почти через 50 лет после смерти Герцена, в 1919 г., в т. XIII-его «Полного собрания сочинений и писем», под ред. М. К. Лемке, которому дочь писателя Н. А. Герцен предоставила для публикации копию с рукописи отца. В издании М. К. Лемке состав <«Рассказа о семейной драме»> следующий: I—VIII главы, «Post scriptum», «Прибавление. Гауг» и 2 небольших отрывка — «Теддингтон. Перед отъездом» и «После приезда»; текст заканчивается пометкой автора «Еще посещение. (26 марта 1865)».

В 1921 г. <«Рассказ о семейной драме»> был опубликован берлинским издательством «Слово» в отдельном издании «Былого и дум». Источником текста снова послужила копия, предоставленная Н. А. Герцен, но снятая, очевидно, с иной рукописи, чем для издания М. К. Лемке. Помимо стилистических разночтений текст берлинского издания отличается от текста, данного в издании М. К. Лемке, по композиции. В берлинском издании текст <«Рассказа о семейной драме»> подразделен не на восемь глав, а на четыре: главы I и II объединены в одну, первую главу под названием «1848 год»; глава III — «Кружение сердца» — помещена в качестве главы II под названием «1849 год. Кружение сердца»; главы IV, V, VI объединены в главу III — «1851 год»; наконец, главы VII—VIII составляют последнюю главу — «IV. 1852 год». Заголовок «Post scriptum» перед заключительными строками основной части <«Рассказа о семейной драме»> в берлинском издании отсутствует; нет и даты под ними. В «Прибавлении» нет заголовка «Гауг» и отсутствуют тексты, озаглавленные «Перед отъездом» и «После приезда»; нет пометки о посещении Ниццы в марте 1865 г. В списке, по которому напечатан <«Рассказ о семейной драме»> в берлинском издании, повидимому, отражена редакция более ранняя, чем та, которая опубликована в издании Лемке. В последующих советских изданиях «Былого и дум» текст <«Рассказа о семейной драме»> воспроизводился по Л XIII, так как местонахождение копий, предоставленных Н. А. Герцен М. К. Лемке и берлинскому издательству, до сих пор остается неизвестным, а розыски автографа пока не привели к желаемым результатам.

В последние годы советские текстологи получили в распоряжение три списка <«Рассказа о семейной драме»>, сделанные неизвестными лицами («пражская коллекция», ЦГАЛИ). Все три списка, отличаясь от текста издания М. К. Лемке и от текста берлинского издания стилистическими разночтениями, в композиционном отношении ближе к изданию Лемке. О большей или меньшей достоверности этих списков, ввиду отсутствия каких-либо документальных свидетельств, можно судить только на основании детального сличения их; такое сравнение заставляет отдать предпочтение одному из списков (условно — список А). На главном листе этого списка стоит: «„Былое и думы“. Часть пятая (1848—1852). Начато 1853 — окончено в 1860. Лондон». Список А содержит I—VIII главы, «Post scriptum», «Прибавление. I. Гауг», «Теддингтон. Перед отъездом. Август 1863» и «После приезда».

Второй список (условно — список *В*) состоит только из 8 глав; заглавный лист, «Post scriptum» и все остальное отсутствует. Текст повторяет, с некоторыми отличиями, текст списка *А*. Отличия заключаются в пропусках отдельных слов, в неверных чтениях ряда мест; большинство же различий объясняется оттенками в лексике, грамматических формах и синтаксических конструкциях, причем список *В* ближе, чем список *А*, к нормам современного языка.

Третий список (условно — список *В*) по полноте состава не уступает списку *А*. На заглавном листе написано: «„Былое и думы“». Часть пятая, (1848—1852). Начало 1853. Оконч. 1858 — погр. в 1860. Переписано в Eagli 'j Nest Bournemouth 25 августа 1860. Читано отрывками.

1856 — 1860 Ор. и Nat.  
В 1860 — Н. М. Сатину.  
В 1862 — давал Саше».

Из всех трех списков только в списке *В* имеется в самом конце текста пометка: «Еще посещение (26 марта 1865)», против которой на полях карандашом написано: «Здесь рукопись кончается». Эта пометка и надпись на заглавном листе сближают список *В* с текстом издания Лемке, от которого, однако, список *В* отличается стилистическими разночтениями, так же, как и от списка *А* (см. раздел «Варианты»). В списке *В* гораздо шире, чем в списке *А*, применен способ смыслового выделения курсивом. Список *В* отличается от списка *А* и существенными недостатками: в нем имеется свыше 40 пробелов, оставленных на месте неразобранных слов; кроме того, список *В* изобилует явными описками, ошибками и неверными чтениями, искажающими смысл текста. Вследствие всего этого список *В*, как и список *Б*, не может быть использован в качестве основного источника текста.

В списке *А* имеется несколько исправлений, сделанных не переписчиком, а кем-то другим; тем же почерком, только в большем объеме, сделаны исправления в списке *Б*. Так как принадлежность этих исправлений Герцену более чем сомнительна, в тексте настоящего издания они не учитываются; ниже перечисляются существенные в смысловом отношении случаи правки в списке *А*:

Стр. 222

<sup>20</sup> В выражении: идти умирать на баррикаду — исправлено надежное окончание: на баррикаде

Стр. 238

<sup>25</sup> Слово: сказании — зачеркнуто, над ним написано: сплетни

Стр. 241

<sup>16</sup> Перед: задушила — вставлено: заморила

Стр. 248

<sup>22</sup> Слово: отбросить — исправлено на: бросить

Пятая часть печатается по четвертому тому «Былого и дум» (Женева, 1867); главы I—V и VII—VIII «Рассказа о семейной драме» печатаются по списку *А* (ЦГАЛИ).

В текст пятой части внесены следующие изменения:

Стр. 13, строка 2: образы вместо: образ

Стр. 34, строка 10: письма вместо: письмо (по ПЗ)

Стр. 41, строка 29: эта белая горячка вместо: это белая горячка

Стр. 56, строка 31: и вы вместо: да вы (по ПЗ)

Стр. 80, строка 4: ну, на Моцарта, например вместо: ну, например (по ПЗ)

Стр. 116, строка 24: невеста обманула вместо: не невеста обманула (по ПЗ)

Стр. 140, строка 13: «Только не за полпроцента» — подумал я и хотел вместо: ... Я хотел (по автографу ЦГАЛИ)

Стр. 153, строка 24: с головою вместо: головою (по ПЗ)

Стр. 175, строки 23 — 24: карьере дома вместо: карьере в России (по ПЗ)

Стр. 185, строка 12: теократически-феодальному вместо: теоретически-феодальному (по ПЗ)

Стр. 193, строка 11: философии революции вместо: философии (по ПЗ)

Стр. 210, строки 22—23: намек на которое вместо: намек на которого

Стр. 225, строки 31—32: делал неловким вместо: делали неловкими (по списку В)

Стр. 227, строки 17—18: вполне развившейся, но вместо: вполне развившейся по (по списку В)

Стр. 231, строка 8: смесь вместо: смеясь (по БИД IV)

Стр. 238, строка 27: 1833 вместо: 1835 (по списку В и Л XIII)

Стр. 238, строки 27—29: сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полицеймейстер Цынский вместо: сцен в том же роде (по списку В и Л XIII)

Стр. 246, строка 13: на «босвом коне» вместо: на «белом коне» (по списку В и Л XIII)

Стр. 255, строка 4: струна новая вместо: струя новая (по Л XIII)

Стр. 265, строка 32: Негг вместо: Негт (по списку В и по Л XIII)

Стр. 266, строка 6: за нами ∞ я могу вместо: за ними ∞ и я мог (по списку В и Л XIII)

Стр. 271, строка 9: темная вместо: теплая (по автографу ЦГАЛИ)

Стр. 286, строки 20—21: мог оскорблять вместо: так оскорблять (по списку В)

Стр. 292, строка 18: с умилением вместо: с упреком мне (по списку В)

Стр. 300, строка 12: во второй раз за день вместо: во второй раз; за день (по списку В)

Стр. 300, строка 26: снять вместо: опять (по автографу ЛБ)

Стр. 301, строка 5: стенаний вместо: стenanий (по автографу ЛБ)

Стр. 302, строка 27: шепчет вместо: лепечет (по списку В и Л XIII)

Стр. 307, строки 2—3: <имен> и места жительства вместо: и места жительства (по Л XIII)

Стр. 309, строки 27—28: сильно засела вместо: ему сильно засела

Стр. 311, строка 24: слово: эксцентричной вставлено по Л XIII

Стр. 311, строка 36: в приложении вместо: в Париж (по Л XIII)

Стр. 314, строка 24: облегченья вместо: объясненья (по списку В)

Стр. 321, строка 12: взойшло вместо: вошло

Стр. 342, строка 3: Первая книга, которую вместо: Первую книгу, которую

Пятая часть «Былого и дум» хронологически охватывает один из самых напряженных периодов (1847—1852) в жизни Герцена, годы его духовного краха в связи с поражением революции 1848 года, годы пережитой им семейной драмы.

Герцен не ставил перед собой задачи дать здесь исторический очерк политических событий эпохи революции 1848 года, как отчасти это было сделано им в «Письмах из Франции и Италии». В отличие от книги «С того берега», пятая часть не стала и лирико-философским подведением итогов революции. В центре повествования — ряд ярких эпизодов из жизни самого Герцена (приезд за границу, знакомство с Западной Европой, конспиративный отъезд из Парижа после событий 13 июня 1849 года, встречи с представителями международной демократической эмиграции, история разрыва с царской Россией и натурализации в Швейцарии, рассказ о семейной драме и т. д.), перемежающихся с характеристикой политических событий (демонстрации 13 июня 1849 г. в Париже, государственного

переворота Луи-Наполеона, деятельности различных партий и групп и их печатных органов—«Трибуны народов» Мицкевича, «Голоса народа» Прудона и т. д.), с рассуждениями об «общем» и «частном», с думами о будущем.

Глубоко видя слабости и противоречия, свойственные многим представителям революционного движения Западной Европы, и критикуя идейную ограниченность их буржуазного и мелкобуржуазного социализма, Герцен с большой симпатией изображает искренних борцов за свободу как «сильных работников человеческого освобождения», «огненных проповедников независимости», «мучеников любви к ближнему» и резко противопоставляет их «хористам революции» — «неподвижным консерваторам во всем революционном». Он создает яркие портреты деятелей политического и общественного движения Западной Европы в их сложности и противоречивости (Прудон, Мицкевич, Маццини, Фази, К. Фогт и т. д.). Не поняв истинной роли Прудона в классовой борьбе эпохи, Герцен в то же время дал характеристику не только сильных с его точки зрения сторон деятельности Прудона, но и выступил с критикой отрицательных черт его мировоззрения. Силу Прудона Герцен видел «не в создании, а в критике существующего», он подчеркивал целеустремленность его натуры, диалектичность его мысли в отрицании «старого общественного быта». Однако Герцен резко осудил взгляды Прудона на семью, провозглашенные в книге «О справедливости в революции и в церкви», покоящиеся на рабском подчинении в семье отцу и мужу, на тяжелом угнетении женщины, на отрицании ее человеческих прав. В «Раздумье по поводу затронутых вопросов» Герцен выступил за чистоту и настоящую верность чувств, за нравственное освобождение женщины.

С глубокой симпатией изображал Герцен итальянских революционеров (Гарибальди, Маццини, Орсини, Медичи, Саффи, Пизакане), жадных до практической деятельности, энергичных и предприимчивых, чистых и честных, бескорыстно жертвующих жизнью для освобождения родины. Но Герцен не замалчивал и их недостатков; так, говоря о деятельности Маццини, Герцен писал о его «вере, идущей наперекор фактам».

С другой стороны, он дал сатирические портреты таких представителей немецкой мелкобуржуазной эмиграции, как Струве и Гейнцен.

Особое место в пятой части занимают две «тетради» «Западных арабесок», по словам Герцена «самое художественное» из его «писаний и самое злое» (письмо к М. К. Рейхель от 31 марта 1856 г.). Заклучая в себе зарисовки отдельных эпизодов революции 1848 года, «Западные арабески» являются ярким отражением пережитой Герценом в связи с поражением революции духовной драмы, его глубокого пессимизма и неверия в перспективы развития человеческого общества, его идейных исканий и острого критицизма по отношению к буржуазии и буржуазной демократии. Своей лирико-философской окрашенностью «Западные арабески» близки к книге «С того берега».

В пятой части, отразившей пережитые Герценом годы духовной драмы и краха иллюзий, сказался вместе с тем опыт, накопленный им в период, следовавший за эпохой революции 1848 г. Это проявилось в усилении веры Герцена в революционные возможности народов Западной Европы, в частности в том, с какой теплотой и душевностью он изображал простых людей, их самоотверженность во время революционных выступлений (рассказ о восстании крестьян в департаменте Вар во Франции в связи с государственным переворотом Луи-Наполеона). Вера Герцена в народ сказалась и в утверждении, что «городские работники» — «искренний и настоящий элемент революции».

«Западные арабески» в их первоначальном виде (см. текстологический комментарий, стр. 446—447 и 488) были знаменательны также и тем, что в них Герцен впервые печатно говорил, правда еще намеками, о своей семейной драме, о том крушении «частного», которое он пережил вслед

за крахом его иллюзий об «общем». Безысходность и пессимизм, окрашивающий «Западные арабески», были результатом этих его разочарований в «общем» и «частном».

В <«Рассказе о семейной драме»> Герцен подробно описал историю своих взаимоотношений с Гервегом, историю гибели своей жены. Прочитав в 1876 г. рукопись <«Рассказа о семейной драме»>, И. С. Тургенев писал М. Е. Салтыкову-Щедрину: «Все это написано слезами, кровью: это—горит и жжет» (письмо от 19 января 1876 г., см. «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 281). Правда, рассказывая о своих взаимоотношениях с Гервегом, Герцен был склонен виновника своих личных несчастий рассматривать как изменника в общем идейном деле. Однако это было не так. Герцен был прав, клеймя Гервега как человека, обманувшего его доверие и дружеские чувства. Но Гервег не изменил своим революционно-демократическим убеждениям и остался им верен до конца жизни.

Несколько особняком стоят в этой части две главы «Русских теней» («Н. И. Сазонов» и «Энгельсоны»), представляющие собой рассказ о взаимоотношениях Герцена с представителями русской интеллигенции, так или иначе связанными с освободительным движением. Но эти главы — не только воспоминания о личных связях писателя. Их тематика позволяет Герцену снова со всей остротой поставить вопрос об истории и путях русского освободительного движения. В главе «Н. И. Сазонов» воспоминания о студенческих годах, когда члены герценовского кружка «проповедовали ненависть к всякому насилию, к всякому произволу», когда идея революции становилась ведущей идеей во взглядах Герцена, перекликаются с первыми частями его мемуаров. Глава об Энгельсонах — свидетельство никогда не покидавшего Герцена интереса к жизни России, к судьбам ее народа. Вспоминая о своих беседах с Энгельсоном, рассказывавшим о кружке Петрашевского, участником которого он был, Герцен говорит о своем отношении к новому поколению русской революционной интеллигенции. Глубокая ненависть к парскому самодержавию и постоянная вера Герцена в революционное будущее русского народа еще раз подчеркивают, что вся его деятельность была подчинена задачам русского освободительного движения.

---

### <Предисловие>

Впервые опубликовано в *БД* IV (Женева, 1867, стр. III — IV) без заглавия (в оглавлении обозначено: «Предисловие»).

## ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

### Глава XXXIV

Впервые опубликована в *ПЗ* на 1855 г. (кн. I, стр. 179—184) как глава I, с заголовком «Между третьей и четвертой частью», относящимся и к следующей главе. Перепечатана без этого заголовка в *БД* IV (стр. 5—13).

---

Стр. 11—12. *Между Террачино и Неаполем ∞ сам продиктовую.* — Герцен описывает эпизод из своей поездки по Италии, которая состоялась в феврале 1848 г. Семья Герцена ехала из Рима (выехали 5 февраля) в Неаполь (прибыли 7 февраля) в сопровождении А. А. Тучкова и его дочерей Натальи и Елены. «Товарищем» Герцен называет, повидимому, А. А. Тучкова. См. описание этой поездки в «Письмах из Франции и Италии», письмо седьмое (т. V наст. изд., стр. 108—112).



Стр. 12. *Потеря этого паспорта ∞ о котором два года хлопотал...* — Хлопоты о разрешении выехать за границу начались еще в 1843 г. (см. об этом в дневнике, запись от 15 апреля 1843 г., т. II наст. изд., стр. 277).

Стр. 13. *...прежде всего увижу ∞ казачью лошадь...* — Герцен вспоминает картину своего переезда русской границы в конце января 1847 г. (см. часть IV, глава XXXIII, т. IX наст. изд., стр. 222).

*Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила.* — Герцен имеет в виду кормилицу его дочери Патальи (Таты) — Татьяну, которая провожала семью Герцена до пограничного местечка Таурогена (см. т. IX наст. изд., стр. 222).

*...«В Кенигсберг я приехал ∞ зимний день»...* — Цитата из первого письма «Писем из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 26).

Стр. 16. *...с куклой чугунной...* — Герцен цитирует строки из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 7, строфа 19), в которых описывается настоящая статуэтка, изображающая Наполеона I на Вандомской колонне.

## Глава XXXV

Впервые опубликована в ПЗ на 1855 г. (стр. 185—191) как глава II с датой в подзаголовке: 1848. Перепечатана без этой даты в ВД IV (стр. 14—22).

Стр. 18. *...«Завтра мы едем в Париж ∞ не сдует же реакция».* — Цитируется несколько измененный конец восьмого письма «Писем из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 131).

*Вот что я писал в конце апреля 1848 года...* — Письмо восьмое «Писем из Франции и Италии» датировано 4 марта 1848 г.

Стр. 19. *...в прошедшем году мы ехали ∞ из Генуи в Чивита-Веккию.* — Герцен говорит здесь о своей первой поездке в Италию, куда он выехал из Парижа 21 октября 1847 г. По пути в Рим он, как видно по визам в его заграничном паспорте, хранящемся в ЛБ, 24 ноября посетил Геную, а 27 ноября 1847 г. прибыл в Чивита-Веккию.

Стр. 20. *...и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике.* — В 1810 г. в Колумбии (Ю. Америка) началось восстание против испанского владычества. В 1819 г. Колумбия сделала независимой и стала называться федеративной республикой Великая Колумбия. В ее состав входили Венесуэла, Эквадор и Новая Гренада. Национально-освободительная война продолжалась до 1824 г.

Стр. 21. *Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V.* — Описывая в «Письме четвертом» из цикла «Опять в Париже» (часть ранней редакции «Писем из Франции и Италии») это путешествие из Рима в Париж, Герцен также рассказывал о своем разговоре с «почтенным стариком», который назван герцогом Роганом (см. т. V наст. изд., стр. 375). Герцог Роган (1789—1869) действительно принимал участие, как там пишет об этом Герцен, в русском походе Наполеона. Установить, существовал ли герцог де Ноайль, близкий к претенденту на французский престол Генриху V (графу Шамбору), не удалось.

Стр. 22. *...они похожи на павловские медали с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему».* — Речь идет не о «павловских медалях», а о медалях, учрежденных Александром I в память Отечественной войны 1812 г.

*Выходя из парохода в Марсели...* — Герцен приехал в Марсель в первых числах (до 5) мая 1848 г., так как 5 мая 1848 г. он был уже в Париже (см. т. V наст. изд., стр. 133 и 378).

*...комиссар Временного правительства, Демостен Оливье...* — Комиссаром Временного правительства в Марселе, в департаментах Устья Роны и Вар, был Эмиль Оливье, сын республиканца Демосфена

Оливье. Здесь у Герцена явная ошибка памяти: в четвертом письме из цикла «Опять в Париже» он называл комиссара правительства в Марселе правильно, Эмилем Оливье (см. т. V наст. изд., стр. 376).

...граждане «единой и нераздельной республики» понялись... — Описание этой демонстрации см. также в четвертом письме из цикла «Опять в Париже» (т. V наст. изд., стр. 376—377).

Романья — Северо-восточная часть бывшей Панской области.

...я прочел в газетах руанскую историю. — Герцен имеет в виду вооруженное выступление рабочих в Руане 27—28 апреля 1848 г. в связи с победой контрреволюции на выборах в Учредительное собрание. Жестокая расправа буржуазной Национальной гвардии и правительственных войск с восставшими вызвала бурю негодования в демократических кругах Франции.

Стр. 23. ...с классической правильностью языка Порройяля и Сорбонны... — Пор-Рояль — монастырь во Франции, ставший в XVII в. крупным центром просвещения и литературы. В 1660 г. в монастыре была составлена К. Лансло и А. Арно «Всеобщая и рациональная грамматика», которая стремилась установить классические основы искусства речи. Сорбонна — часть парижского университета, в которую входил историко-филологический факультет.

Стр. 24. ...наступало 15 мая, этот грозный ритурнель... — Народные массы Парижа выступили 15 мая 1848 г. с требованием, чтобы Учредительное собрание послало французские войска на помощь польскому национальному восстанию в Пруссии. Народная демонстрация потерпела полное поражение. См. об этом в «Письмах из Франции и Италии», письмо девятое (т. V наст. изд., стр. 132—133 и примечание на стр. 474—475).

Об этих днях я много писал. — См. «Письма из Франции и Италии», письмо двенадцатое (т. V наст. изд., стр. 198—199) и главу «После грозы» з книги «С того берега» (т. VI наст. изд., стр. 40—48).

### Западные арабески. Тетрадь первая

Впервые опубликовано в ПЗ на 1856 г. (кн. II, стр. 167—177) с заголовком: «Западные арабески (Из четвертой части „Записок Искандера“) (1847—1852)». В ВиД IV (стр. 23—36) перепечатано под названием «Западные арабески» без указания, к какой части относится, без дат и с добавлением: «Тетрадь первая».

Стр. 25. ...одного только недоставало — б л и ж а й ш е г о и з б л и ж а к и х ∞ в моем отъезде. — Речь идет о Н. П. Огареве, который в это время жил в своем пензенском имении Старое Акшено (см. письма Н. П. Огарева к А. И. Герцену, ЛН, т. 61, стр. 734—753).

Это было 21 января 1847 года. — Проводы Герцена у Черной Грязи состоялись 19 января 1847 г. В письме к Т. Н. Грановскому из Твери от 20 января 1847 г. Герцен писал: «О проводах, о 18 и 19 января, буду говорить, когда приду в себя».

Стр. 26. Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренного просящего милостыню народной любви... — В феврале 1848 г. в Неаполе Герцен был свидетелем того, как неаполитанский король Фердинанд II, уступая требованиям восставших народных масс, обнародовал конституцию и согласился на образование либерального правительства. 2 января 1848 г. в Риме Герцен видел, как Пий IX, стремясь вернуть себе любовь римлян, разъезжал по улицам города, благословляя народ (см. т. V наст. изд., стр. 92—95 и 112—114).

Стр. 27. Корсо пжкрыто народом... — Герцен описывает далее демонстрацию; возникшую в Риме 21 марта 1848 г. в связи с известиями о революции в Вене и о восстании в Милане.

*Новости пришли из Милана — там дерутся, народ требует войны, носят службу, что Карл-Альберт идет с войском.*— 18 марта 1848 г. началась революция в Милане против австрийского господства в Ломбардии. Пятидневная борьба завершилась победой восставшего народа; австрийская армия бежала из Милана. Карл-Альберт, король Пьемонта, чтобы перехватить инициативу у народных масс и помешать развертыванию революционного движения, поспешил объявить Австрии войну.

*...молодой римлянин, поэт народных песен...*— Повидимому — Джузеппе Бенаи, уроженец Рима, друг Чичероваккио, автор народных песен, которые были очень популярны среди трудящегося населения Рима.

Стр. 28. *...четыре молодые женщины, все четыре русские...*— Эти русские женщины: Н. А. Герцен, М. Ф. Корш, Н. А. Тучкова, Е. А. Тучкова

*...Макбет заносил уже свою руку, чтоб убить «сон»...*— Макбет убил короля Дункана во время его сна; при этом ему почудился крик: «Рукой Макбета зарезан сон» (Шекспир. «Макбет», акт II, сцена вторая).

*My dream was past—it has no further change!*—Строка из стихотворения Байрона «Сон», IX.

Стр. 29. *...пошли к Мадлене.*— La Madeleine — церковь в Париже на площади того же названия; находится на месте пересечения улицы Рояля (Rue Royale) и бульвара Капуцинов (Boulevard des Capucines).

Стр. 30. *...с глупой воронкой в петлице...*— Герцен имеет в виду нагрудный знак отличия из трехцветного шелка, который носили депутаты Учредительного собрания (см. Dayot A. Journées révolutionnaires, 1830—1848, Paris, p. 92).

*...Токвиль, писавший об Америке.*— Посетивший в 1831 г. Соединенные Штаты Америки Токвиль написал несколько работ об их государственном и политическом устройстве, а также о действующих там юридических законах. В 1832 г. вышла написанная им совместно с Бомоном книга «Du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application en France». В 1835 г. были изданы первые две части книги «Démocratie en Amérique», последние две части которой появились в 1840 г.

## Глава XXXVI

Впервые опубликована в ПЗ на 1859 г. (кн. V, стр. 75—94) с заголовком, относящимся и к следующим главам пятой части, вплоть до раздела «Русские тени»: «„Былое и думы“ (Отрывки из четвертой части „Записок Искандера“)». Запад. Отделение первое. Outside. (1849—1852) Глава I. Перепечатана без этих обозначений в БИД IV (стр. 59—88) с дополнением, озаглавленным «Отъезд». Это дополнение впервые опубликовано в ПЗ на 1856 г. (стр. 188—191) как пятая глава «Западных арабесок».

Стр. 37. *...он, как Репетиллов, не замечает, что ∞ вместо Скалозуба — Загорецкий ...*— См. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (действие IV, явление 5).

*При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной», из него можно было сделать международный «Монитор» движения и прогресса.*— Газета издавалась в Париже на французском языке под названием «La Tribune des Peuples». В составе ее редакции были поляки, французы, итальянцы, русские и представители других народов. Главным редактором был Адам Мицкевич. Финансировал издание польский эмигрант граф Ксаверий Браницкий. Первый номер вышел 15 марта 1849 г.

Стр. 38. *Журнал пошел плохо, вяло — и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849.*— 13 июня 1849 г. в «Трибуне народов» был помещен ряд воззваний (манифест «Новой Горы» — левой Законода-

тельного собрания Франции, воззвание к Национальной гвардии и другие), призывавших к революционной борьбе против правительства Луи Бонапарта, пославшего французские войска в Италию для подавления Римской республики. В этот же день в Париже состоялась демонстрация протеста против политики Луи Бонапарта. Это выступление мелкобуржуазных демократов не было поддержано французским пролетариатом и быстро потерпело поражение. Правительственные войска во главе с генералом Шангарнье рассеяли демонстрацию. В Париже было введено осадное положение. Все левые газеты были закрыты. В числе закрытых газет была и «Трибуна народов», помещение редакции которой было занято полицией в ночь с 13 на 14 июня 1849 г. Ряд членов редакции был арестован. Издание газеты возобновилось 1 сентября 1849 г., но уже 15 октября Мицкевич вышел из редакции газеты. 10 ноября этого же года издание окончательно прекратилось из-за полицейских репрессий.

*...тощий французский литератор был приставлен смотреть за ошибками...*— Герцен имеет в виду Жюль Лешевалье, одного из активнейших членов редакции газеты «Трибуна народов», в которой он писал главным образом по экономическим вопросам.

*...в годовщину 24 февраля...*— 24 февраля 1848 г. в результате народного восстания Июльская монархия во Франции пала. Было образовано буржуазное Временное правительство.

*Его видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже...*— Давид д'Анже познакомился с А. Мицкевичем в 1829 г. в Веймаре в доме Гёте. По просьбе Гёте д'Анже в 1829 г. вырезал медальон Мицкевича, воспроизведение которого было помещено в следующих французских изданиях его сочинений: «Oeuvres de Adam Mickiewicz. Traduction nouvelle, par Christien Ostrowski, Paris, 1841. Tom premier» и «Oeuvres poétiques complètes de Adam Mickiewicz. Traduction du polonais, d'après l'édition posthume de 1858 par Christien Ostrowski. Quatrième édition, t. I, Paris, 1859».

*Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля...*— Ворцелю Герцен посвятил одну из глав шестой части «Былого и дум» (см. т. XI наст. изд.).

*...литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию.*— А. Мицкевич находился в России с конца октября 1824 г. до середины мая 1829 г. Он был выслан в Россию за участие в тайном патриотическом обществе «Филаретов» («Друзей добродетели»). За время пребывания в России Мицкевич сблизился с выдающимися деятелями русской литературы: Пушкиным, Рылеевым, Баратынским, Вяземским, Жуковским, Крыловым, Грибоедовым и др. Он навсегда сохранил к ним чувство огромной признательности и симпатии и высоко ценил их творчество.

Стр. 39. *...на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году.*— Герцен имеет здесь в виду торжественный обед, данный Грановскому 22 апреля 1844 г. в честь окончания его публичных лекций в Московском университете. Отзывы Герцена об этом обеде см. также в дневнике (запись от 24 апреля 1844 г., т. II наст. изд., стр. 351), в письме Герцена к Н. Х. Кетчеру от 27 апреля 1844 г. и в гл. XXX «Былого и дум» (часть IV, т. IX наст. изд., стр. 302).

Стр. 39—40. *...ждал одного из меня, чтоб не осталось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться!*— Герцен имеет в виду Луи-Наполеона Бонапарта.

Стр. 40. *...их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.*— А. Мицкевич был идейно близок польской революционной демократии. В период революции 1848 г. он проявил себя как

революционер и демократ. Однако ему, как и ряду других деятелей польского национально-освободительного движения того времени, были свойственны наполеоновские иллюзии. Эти иллюзии особенно ярко выступили после избрания 10 декабря 1849 г. президентом Франции племянника Наполеона I — Луи Бонапарта. В деятельности Наполеона I Мицкевич видел продолжение французской революции. «Наполеон — это революция, ставшая законной властью. Это социальная идея, ставшая правительством», — писал Мицкевич в статье «Бонапартизм и наполеоновская идея», опубликованной в «Трибуне народов», № 25 от 8 апреля 1849 г. В Луи Бонапарте Мицкевич видел продолжателя дела Наполеона I, дела революции. Несмотря на то, что уже в 1849 г. Мицкевич стал разочаровываться в Луи Бонапарте, он так и не смог полностью преодолеть наполеоновские иллюзии, за что его резко и справедливо осудил Герцен.

Стр. 41. ...этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела. — «Трибуна народов» не стала орудием в руках бонапартистской реакции. Мицкевич, несмотря на свои наполеоновские иллюзии, не сошел с революционного пути и публиковал в газете статьи, содержащие острую критику внутренней и внешней политики французского правительства, пропагандировал идеи революционного братства народов, социалистические идеи, призывы к революционному действию.

Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу. — Горечь поражения восстания 1830—1831 гг., отлив революционной волны, утрата надежд на освобождение Польши породили среди польских эмигрантов мистические настроения, способствовали возникновению идей мессианизма. Польский мессианизм — учение об особой роли «мученической Польши» в истории народов. Согласно этому учению, польский народ-мессия искупает и освобождает все другие народы своим мученичеством и борьбой. Представителем польского мессианизма был Юзеф Вронский, математик и фило-оф, автор книги «Мессианизм». Из своей идеалистической системы, которую он называл «мессианистической», Вронский «с помощью» созданной им «универсальной математической формулы» выводил идею единства славянских народов. Мессианско-мистические настроения захватили и Мицкевича и вызвали его духовный кризис в 30-х и особенно в начале 40-х годов, когда он вступил в мистическую секту Андрея Товянского, авантюриста, прибывшего в 1840 г. в Париж из Литвы и выдававшего себя за пророка. Шопен в одном из своих писем в 1841 г., говоря о Товянском, как о ловком мошеннике, одурманивавшем людей, с горечью отмечал, что Мицкевич не разгадал Товянского (см. А. М и ц к е в и ч. Собр. сочинений, т. 5, М., 1954, стр. 677). Религиозно-мистические увлечения наложили отпечаток на творчество Мицкевича 30—40-х гг. и сыграли самую отрицательную роль в его жизни и деятельности. Однако даже в годы духовного кризиса в творчестве Мицкевича брали верх революционные тенденции, которые все более укреплялись. Революция 1848 г. пробудила Мицкевича и идейно приблизила его к польской революционной демократии.

...они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сьерра. — В 1797 г. на территории Ломбардии под покровительством Наполеона I были созданы первые польские легионы. Наполеон использовал их в своих завоевательных походах, в частности в войне против Испании. В конце ноября 1808 г. у ущелья Сомосьерра (Сомо-Сьерра) наполеоновские войска выиграли сражение благодаря усилиям польского уланского полка. Штурм Сомосьерры открыл наполеоновской армии путь на Мадрид.

Стр. 42. Он угас в Турции, замешавшись в нелепое дело устройства казачьего легиона, которому Турция запретила называться польским. — В связи с Крымской войной и вступлением в нее Англии и Франции

у польских эмигрантов возникли надежды на восстановление Польши. Для реализации этих надежд было задумано создание польских легионов с помощью и на средства Англии и Франции. Эти легионы должны были входить в состав турецкой армии. Активную роль в осуществлении этих планов играла аристократическая эмиграция во главе с Чарторыйскими. Не разобравшись в истинных целях союзников и аристократов, некоторые представители демократической эмиграции также приняли участие в создании польских легионов. В их числе был и Мицкевич, выехавший в сентябре 1855 г. из Парижа в Константинополь. Здесь он заболел холерой и умер 26 ноября 1855 г.

*Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона.* — Одним из последних поэтических произведений Мицкевича была ода в честь Луи Бонапарта — «*Ad Napoleonem III Caesarem Augustum ode in Bomersundum scriptum*», написанная в связи с взятием англо-французским флотом крепости Бомарзунд на Аландских островах. В этой оде снова проявились наполеоновские иллюзии Мицкевича, обусловившие его надежды на освобождение польского народа из-под гнета русского царизма с помощью наполеоновской Франции.

Стр. 43. *Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу...* — Знакомая Луизы Ивановны Гааг — г-жа Рейхель, первая жена Адольфа Рейхеля. Эпизод, о котором рассказывает далее Герцен, описан также М. К. Рейхель в ее воспоминаниях (см. «Отрывки из воспоминаний», М., 1909, стр. 64), из которых ясно, что описываемый далее переезд в Ville d'Avray состоялся после похорон г-жи Рейхель (об этом см. на стр. 40).

Стр. 44. *Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала в Ville d'Avray ∞ переехал и я туда.* — Ville d'Avray — населенный пункт в живописной местности недалеко от Парижа. О холере в Париже и о болезни И. С. Тургенева см. также в письме к Н. П. Огареву от 10 июня 1849 г.

Стр. 47. *...я ходил в Риме и в caffè delle Belle Arti...* — «Кафе изящных искусств» — клуб либерального направления в Риме, где собирались писатели, художники и артисты.

*Circolo Romano* — Римский клуб. Помещался во дворце Бернини на улице Корсо. Организован был в марте 1847 г. и объединял представителей либерального дворянства, финансовой и торговой буржуазии, стремившихся ограничить народное движение требованиями реформ. В период пребывания Герцена в Риме Римский клуб играл большую роль в политической жизни Рима. В марте и апреле 1848 г. на его заседания широко приглашались иностранцы.

*Circolo Popolare* — Народный клуб. Возник в конце 1847 г. В его состав входили ремесленники и рабочие Рима; организатором клуба был Чичероваккио (Анжело Брунетти). 8 марта 1848 г. правительство папы по требованию масс утвердило устав клуба. Герцен мог наблюдать начальный период деятельности клуба, рост его влияния на политическую жизнь Рима (см. т. V наст. изд., стр. 96).

Стр. 48. *...как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова...* — См. Н. В. Гоголь. «Мертвые души», т. I, гл. III.

Стр. 49. *Château d'Eau* — большой фонтан на бульваре Saint-Martin в Париже.

*...он поехал «к горцам» за инструкциями.* — «Горцы» — «montagnards» — якобинцы 1793 г., занимавшие в парламенте верхние места «на горе». В 1848—1849 гг. монтаньярами называли сторонников Ледрю-Роллена в Учредительном собрании Франции.

*...протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности их принять участие в движении.* — Герцен имеет в виду протест против интервенции французских войск, завершив-

шейся несколько позже (в начале июля 1849 г.) занятием Рима и восстановлением папской власти. Составленный, по свидетельству Герцена, Сазоновым протест был опубликован 13 июня 1849 г. в газете Торэ «Journal de la Vraie République», вслед за воззваниями «Горы» и других демократических организаций, призывавшими население Парижа и Национальную гвардию к демонстрации протеста против нарушения конституции правительством и президентом Луи-Наполеоном. Текст протеста эмигрантов гласил: «Мы присоединимся к декларациям французских демократов, сохраняя полное доверие к энергии и благородству народа, который не пойдет на нарушение обетов февраля. Всем сердцем и действиями мы остаемся и будем вместе с ним в этот момент, когда речь идет об общем деле всей европейской демократии. Представители различных стран Европы, пребывающие в Париже: немецкий комитет, польский комитет и т. д.» (см. «Journal de la Vraie République», № 77, 13 Juin 1849).

Стр. 50. *Maison d'Or* — название ресторана в Париже.

*Консьержери* — тюрьма в Париже.

...*день не окончился бы фарсом.* — Герцен рассказывает далее о событиях 13 июня 1849 г. (см. примечание к стр. 38).

Стр. 53. ...*мы видели по версальскому процессу.* — После разгрома демонстрации 13 июня 1849 г. в Париже и ряда выступлений в провинции правительство Одилона Барро лишило депутатских мандатов, объявило государственными преступниками и предало суду 33 депутата «Горы». Эмигрировавшие судились заочно.

...*опытом лионского восстания.* — Восстание в Лионе 15 июня 1849 г. было откликом на события 13 июня 1849 г. в Париже. Во время уличных боев с правительственными войсками было убито и ранено около 150 человек.

Стр. 54. ...*уехал в Женеву.* — Герцен выехал из Парижа в Женеву, повидимому, 20 июня 1849 г. Об этом свидетельствует прощальное письмо к сыну от 20 июня 1849 г.

...*обыск, сделанный дня три после моего отъезда в доме моей матери, в Ville d'Avray.* — Подробности об обыске в доме матери Герцена в Ville d'Avray см. также в «Отрывках из воспоминаний» М. К. Рейхель, М., 1909, стр. 65.

Стр. 57. *На другой день мы приехали в Женеву.* — В письме к жене, Н. А. Герцен, от 22 июня 1849 г. из Женевы Герцен сообщал: «<...> в пять часов после обеда я приехал сюда <...>»; следовательно, он прибыл в Женеву 22 июня 1849 г.

*«Во время смерти короля с нравственной силой».* — Цитата из 22 главы Histoire de France. Réforme» («История Франции. Реформа») Мишле.

## Глава XXXVII

Впервые опубликована в ПЗ на 1859 г. (стр. 95—123) как глава II: с датой «1849» и «Прибавлением к II главе» (стр. 124—131) с заголовками, «Джакомо Медичи. — Марк Аврелий Саффи. — Лавирон». Перепечатана без даты и указанных заголовков в БИД IV (стр. 89—137) с включением «Прибавления» в текст главы (со слов: «...С двумя лицами» до «изменником отечества!» (стр. 76, строка 26 — стр. 82, строка 20).

Стр. 58. ...*на манер гранвилевской иллюстрации.* — Повидимому, имеется в виду иллюстрация Жана Жерара (псевдоним — Гранвиль) «La lune peinte par elle-même» из книги «Un autre monde par Grandville», Paris, 1844.

Стр. 59. ...*Рим пал под ударами французов*...— Предлогом для французской интервенции послужило образование республики в Риме 9 февраля 1849 г. и низложение папской власти. 25 апреля 1849 г. французские войска под командованием генерала Удино высадились в порту Чивита-Веккья и двинулись к Риму. После ожесточенного сопротивления 3 июля 1849 г. французские войска вступили в Рим.

...*в Бадене свирепствовал брат короля прусского*...— Для подавления восстания, начавшегося в мае 1849 г. в Бадене и Пфальце, была организована военная интервенция прусских войск. Верховное командование силами интервентов было поручено принцу прусскому Вильгельму, брату прусского короля Фридриха-Вильгельма IV.

...*она делалась Кобленцем революции 1848 г.*— Кобленц — город в Германии, бывший центром феодально-монархической контрреволюционной эмиграции во время французской революции конца XVIII в.

...*французы, ушедшие от Бошарова следствия*...— Герцен подразумевает здесь тех французских республиканцев и социалистов, которым удалось избежать репрессий, начавшихся против них благодаря работе следственной комиссии по делу о демонстрации 15 мая и июньском восстании. Доклад этой комиссии, работавшей под председательством Одилона Барро, был прочитан в Учредительном собрании 3 августа 1848 г. ее членом Бошаром.

...*баденские ополченцы*...— Ушедшие от разгрома части баденской армии и народные ополченцы, которые защищались от нашествия прусских контрреволюционных войск.

...*участники венского восстания*...— 6 октября 1848 г. в Вене вспыхнуло восстание в знак протеста против отправки австрийского экспедиционного корпуса для подавления революции в Венгрии. Против восставших была направлена 70-тысячная армия во главе с Виндишгрецем. 1 ноября Вена пала.

...*познанские и галицийские поляки*...— Национально-освободительное движение в Познани и Галиции особенно усилилось в 1848 г. в связи с общим подъемом революционного движения в Западной Европе. В марте 1848 г. началось восстание в Познани, которое было подавлено 9 мая. 1—2 ноября — львовское восстание в Галиции.

Стр. 61. *Mit bedächtigem Schritt*

*Gymas Cmpyse tritt*...—

Герцен перефразирует две строки из баллады Шиллера «Der Handschuh». У Шиллера:

«Und hinein mit bedächtigem Schritt

Ein Löwe tritt...»

<И осторожным шагом входит лев...>.

Стр. 64. ...*пойдет к Маццини*...— После подавления итальянской революции 1848—1849 гг. Маццини эмигрировал в июле 1849 г. в Женеву, где и познакомился с Герценом. С 1850 г. Маццини жил преимущественно в Лондоне.

Стр. 65. ...*согласно с теорией ∞ Зурова, повгородского военного губернатора*...— О Е. А. Зурове рассказывается в части IV «Былого и дум», глава XXVII (см. т. IX наст. изд., стр. 77 и сл.).

«*Si omnes consentiunt, ego non dissentio*»,— *подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках»*...— Цитируемые слова из «Разбойников» Шиллера (акт I, сцена 2) принадлежат не Шуфтерле, а Гримму.

*Я тут видел Маццини ∞ мы отправились к нему в Паки с Л. Спи-ни*.— Паки — в середине XIX в. пригород Женевы, расположенный на западном берегу Женевского озера, где жил Маццини с 22 июля по 12 октября 1849 г., до переезда в Лозанну. В эти же месяцы в Женеве проживал и Герцен, который прибыл в Женеву 22 июня 1849 г. из Парижа и выехал



из Женевы в Цюрих в середине декабря 1849 г. По решению швейцарского правительства от 18 сентября 1849 г. Гейнцен и Струве должны были покинуть страну. Следовательно, созванное ими совещание, на котором присутствовали Герцен и Маццини, могло состояться до 18 сентября 1849 г. Поскольку же описываемая далее первая встреча Герцена с Маццини состоялась в Паки в присутствии Медичи, прибывшего в Женеву в начале сентября 1849 г., то посещение Герценом Маццини и совещание у Гейнца и Струве могли иметь место только в сентябре 1849 г. по до 18 сентября. Отсутствие необходимых сведений не позволяет более точно датировать эти встречи. В конце 1849 г. Герцен был в Лозанне и виделся с Маццини (см. настоящий том, глава XL, стр. 152). Герцен, прибывший в Рим 30 ноября 1847 г., познакомился со Спини в период с декабря 1847 г. по январь 1848 г., ибо в феврале, марте 1848 г. он упоминает о Спини уже как о хорошем знакомом (см. т. V наст. изд., стр. 115 и письмо Герцена к П. В. Анненкову от 5 марта 1848 г.). После падения Римской республики Спини в июле 1849 г. эмигрировал в Женеву, где и встретился вновь с Герценом.

Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник *Vascello*, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. — Во время революции 1848—1849 гг. в Италии Джакомо Медичи сражался в рядах волонтеров Гарибальди в Ломбардии (1848 г.) и в Риме (1849 г.). При защите Римской республики он возглавлял оборону виллы Жиро, именуемой *Vascello*, которая защищала подступы к западным воротам Рима. Отряды римских волонтеров под командованием Медичи оказали упорное сопротивление численно превосходящим силам французов. Падение *Vascello* 30 июня 1849 г. в значительной мере предопределило капитуляцию Римской республики. О боях за *Vascello* и о Медичи как защитнике *Vascello* Саффи напечатал статью в февральском номере «*Italia del Popolo*» за 1850 г. Есть все основания полагать, что статья эта была Герцену известна. В годы эмиграции Медичи жил преимущественно в Генуе, где встречался с Герценом в июне 1852 г. (см. письмо Герцена к Огареву от 22 декабря 1867 г.).

Стр. 66. ...товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи. — В связи с угрозой интервенции и обострением классовых противоречий внутри Римской республики Учредительное собрание в Риме 23 марта 1849 г. создало центральный орган власти — триумвират в составе Маццини, Саффи и Армеллини, предоставив ему неограниченные права. Саффи, депутат Римского Национального собрания, после провозглашения республики 9 февраля 1849 г. был назначен министром внутренних дел. Войдя в состав возглавляемого Маццини триумвирата, Саффи был вплоть до падения Римской республики одним из активнейших ее руководителей. С этого времени он становится верным соратником Маццини, проводит с ним годы эмиграции. Оставаясь верным республиканским воззрениям, Саффи отрицательно отнесся к образованию в 1861 г. единого монархического государства в Италии. 15 августа 1849 г. Саффи приехал в Женеву и здесь познакомился с Герценом; у них установились дружеские отношения, поддерживавшиеся и в Лондоне, где Саффи жил с апреля 1851 г. Во время своей работы в Оксфордском университете (конец 1853—1860 гг.) в качестве преподавателя итальянского языка и литературы Саффи находился в переписке с Герценом. Приезжая в Лондон, он неизменно бывал у Герцена, о чем упоминает и Маццини в своих письмах («Приехал Саффи, — пишет Маццини, — и, конечно, поспешил скорее побегать к Герцену». См. *Ma a z i n i. Scritti editi ed inediti*, v. LVI, p. 264). Герцен в одном из писем к М. К. Рейхель от 2 июля 1853 г. сообщал ей, что он обучает Саффи философии. В своих воспоминаниях Саффи оставил очень теплую характеристику Герцена как выдающегося революционного деятеля и человека (см. *Ricordi e scritti di Aurelio Saffi*, v. IV, Firenze, 1899, p. 58—59).

...Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне сосредоточивал  $\infty$  сообщения со всем полуостровом.— Эмигрировав после падения Римской республики в 1849 г. в Женеву, Маццини продолжал руководить революционными организациями в итальянских государствах, сохранил старые и налаживал новые связи с ушедшими в подполье деятелями национально-освободительного движения. Герцен сравнивает деятельность Маццини с деятельностью римских пап в то время, когда их резиденция была перенесена из Рима в Авиньон (1308—1377 гг.). Находясь за пределами Италии в Авиньоне, римские папы располагали широко разветвленной сетью агентуры в Италии и продолжали держать в своих руках нити ее управления.

...он покрыв Италию сетью тайных обществ  $\infty$  шедших к одной цели.— Герцен дает здесь и далее обобщенную характеристику различных революционных организаций, созданных Маццини в период 30—50-х годов. В 1831 г. Маццини основал тайное общество «Молодая Италия», в 1848 г.— «Итальянскую национальную ассоциацию», в 1850 г.— «Итальянский национальный комитет» и, наконец, в 1853 г.— «Партию действия». Целью всех этих организаций была борьба за создание путем народного восстания независимой единой буржуазной республики в Италии. Поскольку руководимые Маццини тайные общества боролись только за политические требования, оставляя без внимания социальные нужды народа и в первую очередь крестьянства, постольку их деятельность оказалась изолированной от масс. В состав обществ входили преимущественно представители революционной буржуазии (мелкой и средней), буржуазной интеллигенции и либерального дворянства. Сеть тайных подпольных комитетов охватывала весь Апеннинский полуостров.

Стр. 67. ...со времен Менотти и братьев Бандьера...— В 1831 г. Менотти возглавил в Модене заговор, ставивший своей целью объединение Италии. Корону итальянского королевства Менотти предполагал вручить герцогу Моденскому — Франциску IV, поддерживавшему в начале планы Менотти. Накануне выступления герцог предал заговорщиков, они были арестованы, а Менотти по приказу герцога повешен. Для освобождения Италии от австрийского ига братья Бандьера организовали в 1841 г. из числа итальянцев, служивших в австрийском флоте, тайное общество «Esercia», установили связь с Маццини и «Молодой Италией». 17 июня 1844 г. братья Бандьера вместе с группой своих единомышленников высадились на побережье Неаполитанского королевства с целью поднять восстание против монархии Бурбонов, но были схвачены и расстреляны.

...Маццини, рукоположенного старцем Буонарроти, товарищем и другом Гракха Бабефа...— Герцен имеет в виду тот факт, что Маццини в начале своей революционной деятельности короткое время был соратником Буонарроти и находился под его влиянием. Участник коммунистического заговора Бабефа, один из руководителей бабувистского движения, Буонарроти был в 1815 г. одним из вождей карбонарского движения во Франции и Италии. Эмигрировав в 1831 г. из Италии, Маццини вступил в возглавляемую Буонарроти карбонарскую организацию итальянских революционеров «Aprofasimeni». Буонарроти возлагал большие надежды на Маццини в деле обновления и реорганизации карбонарского движения. Создав «Молодую Италию» в период пребывания в «Aprofasimeni», Маццини указывал на идейную близость этих двух организаций. Сотрудничество Буонарроти и Маццини было недолговременным, вследствие обнаружившихся вскоре программных и тактических разногласий.

...Орсини...— Герцен познакомился с Орсини в 1850 г. в Ницце при посредстве Маццини (см. Ф е л и ч е О р с и н и. Воспоминания, «Academia», М.—Л., 1934, стр. 160). В гл. XL (см. настоящий том, стр. 152 и примеч. к ней) Герцен упоминает о приходе к нему в Ницце Орсини с поручением от Маццини. Но Герцен не пишет, видел ли он Орсини здесь впервые.

или же их знакомство состоялось ранее. Дружеские отношения между ними поддерживались и в Лондоне, где Орсини жил с перерывами в 1853, 1854, 1856 и 1857 гг. С 1850 по 1854 г. Орсини участвовал в многочисленных попытках организации восстаний на территории Италии, предпринимавшихся Маццини. Бесплодность этих попыток усилила критическое отношение Орсини к заговорщической тактике Маццини, что произошло, как считают биографы Маццини, и не без влияния Герцена (см. L u z i o A. F. Orsini, 1914, p. 79 и Lettere di F. Orsini a cura di A. M. Ghisalberti, p. XIX). Итальянские авторы единодушны в своей высокой оценке характеристики Орсини, данной Герценом в «Былом и думах» (см. L u z i o. Цитир. соч., p. 48; Lettere di F. Orsini..., p. XVII; O r s i n i. Memorie e documenti intorno al governo della Repubblica Romana. Introduzione, p. 7). За покушение на Наполеона III в январе 1858 г. Орсини был арестован и 13 марта 1858 г. гильотинирован. Орсини предполагал, что его террористический акт разбудит революционную энергию Европы и поможет создать благоприятные условия для революции в Италии.

...*два предпоследние опыта в Милане*...— Первый «опыт», который имеет в виду Герцен,— миланское восстание 6 февраля 1853 г., подавленное с большой жестокостью австрийскими властями. Это восстание было, по словам Маркса, «жалким, поскольку оно должно представлять собою конечный результат вечных заговоров Маццини, его напыщенных прокламаций» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. IX, 1932, стр. 107). Из-за плохой подготовки восстание свелось к выступлению небольшой группы рабочих, не имевших ни руководителей, ни оружия. Второй «опыт» — повидимому, попытка организации восстания в Милане в сентябре — октябре 1854 г. В сентябре 1854 г. Маццини сообщил одному из своих соратников, что все свое внимание он концентрирует «сейчас на Милане, на подготовке другого 6 февраля, которое должно завершиться победой» (см. M a z z i n i. Scritti editi ed inediti, v. LIII, p. 152). Для подготовки восстания Маццини направил в Милан в начале октября Орсини, который на месте убедился, что в Милане отсутствуют необходимые предпосылки для успешного проведения восстания. К тому же планы заговорщиков вскоре стали известны полиции, и последовал арест почти всех членов Миланского комитета маццинистской партии действия. Маццини постигла очередная неудача. Этот неосуществившийся проект восстания был, надо полагать, известен Герцену, так как он был в дружеских отношениях с главными действующими лицами этих событий, Маццини и Орсини. Кроме того, о попытке поднять восстание в Милане в октябре 1854 г. Орсини пишет в своих мемуарах (Memoirs and adventures of Orsini, written by himself, Edinburgh, 1857), которые Герцен читал (см. упоминания Герцена о мемуарах Орсини в настоящем томе, стр. 77 и 271).

*Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку в воготи Бурбона*.— Один из руководителей обороны Римской республики в 1849 г. Карло Пизакане в 1857 г. совместно с Маццини разработал план высадки революционной экспедиции в Неаполитанском королевстве. Они предполагали, что это явится началом общенеаполитанского восстания, а затем перерастет в общетальянскую революцию. 25 июня 1857 г. группа заговорщиков под руководством Пизакане отплыла на пароходе из Генуи. Находясь в море, заговорщики отстранили команду и взяли управление кораблем в свои руки, после чего причалили к острову Понца, освободили находившихся там политических заключенных и вместе с ними в количестве 300 человек направились в Сапри (западное побережье Неаполитанского королевства). Заговорщики не были поддержаны населением, для которого высадка в Сапри отряда Пизакане была полной неожиданностью. Отряд заговорщиков, несмотря на героическое сопротивление, был разгромлен силами жандармерии и армии монархии

Бурбонов. Одним из первых пал Пизакане. Оставшиеся в живых были схвачены и преданы суду.

*Смерть Пизакане и смерть Орсини ∞ покачнулся на козлах.*— Герцен в образной форме высказывает мысль о том, что реакция, установившаяся в Европе после поражения революции 1848—1849 гг., была поколеблена актами Пизакане и Орсини, и в первую очередь это коснулось двух романских стран Европы — Италии и Франции. «Вепрь» — неаполитанский король Фердинанд II; *Казерта* — его замок; «*траурный кучер*» — Наполеон III.

Стр. 68. *L. Mercantini. «La Spigolatrice di Sapri».*— В 1857 г. вышло отдельным изданием стихотворение Меркантини Муиджи «*Spigolatrice di Sapri*» («Собирательница колосьев из Сапри»), посвященное трагической эпопее экспедиции Пизакане. Много лет спустя Герцен вновь вспоминал об этом стихотворении Меркантини; в заметке «Чернышевскому, Михайлову и всем друзьям нашим, стоявшим у позорного столба, носящим цепи, работающим на каторге» (1864) он писал: «Имя его <Пизакане> было запрещено помянуть. Едва тайком, у своего веретена, какая-нибудь *spigolatrice* села вполголоса о *bel capitano* и его трех сотнях». 12 июня 1869 г. Герцен в письме к Э. Кинэ писал по поводу стихотворения Меркантини, текст которого он прилагал к письму: «Это восхитительно в своей наивности; в первый раз, когда я читал эти стихи, прекрасный образ Пизакане как будто стоял предо мною — и я плакал, как дитя».

*И я знал bel capitano и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной роины...*— Герцен говорит здесь о Пизакане. Относительно времени и места первого знакомства Герцена с Пизакане точных сведений нет. Они могли встретиться в Женеве в августе 1849 г., ибо соратник Маццини — Мадрицио Квадрио в письме из Женевы от августа 1849 г. (см. *М а з з и н и. Scritti editi ed inediti, v. XL, p. 247*) упоминает Пизакане в числе лиц, находившихся в то время в Женеве. Герцен же, как известно, тоже жил тогда в Женеве и бывал у Маццини; возможно, что Герцен и Пизакане встречались и в Лозанне, где жил Пизакане в 1849—1850 гг. и куда приезжал Герцен. Документально известно, что Герцен встречался с Пизакане в Генуе в июне 1852 г. после похорон Натальи Александровны (см. письмо к Н. П. Огареву от 22 декабря 1867 г. из Генуи). Пизакане жил тогда в окрестностях Генуи, в Альбаро. Итальянский историк Росселли пишет: «В июне — июле 1852 г. в Генуе остановился на несколько недель известный русский революционер Александр Герцен... Он довольно часто встречался с Пизакане и вел с ним продолжительные беседы о положении дел в Неаполитанском королевстве и, весьма вероятно, о социальных проблемах» (*Rosselli. Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino, 1932, p. 194—195*). Далее Росселли высказывает мысль о том, что общение Пизакане с Герценом оказало известное влияние на эволюцию взглядов Пизакане в сторону их приближения к социальным проблемам и к социалистическим воззрениям.

Стр. 69. *В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его...*— В 1849 г. Маццини возглавлял Триумвират — революционное правительство в Риме. После падения Римской республики его авторитет был очень высок, он являлся символом итальянской революции. Его имя внушало страх монархическим и реакционным кругам Европы, которые подняли против него в 1849 г. злостную клеветническую кампанию в печати. Правительство Пьемонта в ноте от 15 декабря 1849 г. потребовало от швейцарского правительства высылки Маццини из Швейцарии как человека, который угрожает спокойствию государств. На этом же настаивало и австрийское правительство. Швейцарские власти не замедлили выполнить предъявленное требование.

*Одни из друзей Маццини сблизились с Пизмонтом, другие с Наполеоном.*— Герцен имеет в виду процесс размежевания, происходивший среди

итальянских республиканцев, в том числе и среди маццинистов, в 50-х годах XIX в. Часть маццинистов (Медичи, Козенц и др.) порвала с Маццини и стала в ряды сторонников объединения Италии под властью короля Пьемонта Виктора Эммануила II. Другая часть маццинистов попала под влияние бонапартизма, поддерживая веру в то, будто Наполеон III принесет освобождение Италии. В 1854 г. Герцен писал: «Половина эмиграции заражена тайным бонапартизмом» (см. письмо Герцена Пианчиани от 19 июня 1854 г.). Бонапартистские настроения итальянской эмиграции приняли конкретную форму в виде движения мюриатизма, заключавшегося в поддержке плана, разработанного при дворе Наполеона III, о свержении власти Фердинанда II Бурбона и возведении на неаполитанский престол Лучиана Мюрата — сына Иохима Мюрата, бывшего неаполитанским королем при Наполеоне I. Сторонниками Мюрата стали бывшие маццинисты: Саличети, Сиртори, Руффони и др. Итальянская революционная эмиграция во главе с Маццини решительно выступила против проектов Мюрата, таивших в себе скрытые намерения Наполеона III превратить юг Италии в провинцию Франции. Либерально-монархическая пьемонтская группа также отвергла планы Мюрата, о чем свидетельствуют выступления в печати Манина, Лафарина и др. Противопоставление политики Пьемонта политике Наполеона III в итальянском вопросе правомерно для первых лет правления Наполеона, но уже в 1857 г. Вторая империя идет на сближение с Пьемонтом. На стр. 76 Герцен рассматривает как части одного целого политику Пьемонта и политику Наполеона, отмечая при этом зависимость Пьемонта от Франции: «От австрийцев Италию освободит разве Пьемонт, от неаполитанского Бурбона — толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта».

*Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы...* — Манин Даниеле — один из руководителей республиканского и антиавстрийского движения в Венеции. Будучи главой Венецианской республики (1848—1849), склонен был к политике компромисса с либерально-монархическим лагерем и был противником развертывания революционной инициативы масс. После падения Венецианской республики Манин эмигрировал в Париж, где поддерживал отношения с итальянскими эмигрантами, противниками Маццини. В 1855 г. он опубликовал обращение к пьемонтской монархии, в котором заявлял от имени республиканской партии Италии о ее готовности отказаться от республиканской программы и стать союзником Савойской династии в случае, если последняя направит свои усилия на создание единой и независимой Италии («Diritto» — 26 сентября 1855; «Times» — сентябрь 1855; «Daily News» — 1 октября 1855). В 1856 г. Манин выступил в печати с призывом к созданию широкой партии, основанной на идее объединения вокруг Пьемонта всех политических направлений и национальных сил Италии, за исключением маццинистов, которых Манин объявил опаснейшими врагами Италии. Нападки на Маццини Манин увенчал шумевшим письмом (июнь 1856 г.), в котором обвинял Маццини в проповедовании доктрины «политических убийств» и «теории кинжала». Выступления Манина вызвали многочисленные протесты со стороны участников революционного движения, в том числе и самого Маццини, который, критикуя Манина, в то же время призывал его остаться верным своему славному прошлому и вернуться в ряды республиканцев. В 1857 г. Манин создал «Итальянский национальный союз», ставивший своей целью объединение Италии под властью Пьемонтской монархии. Очевидно, всю совокупность указанной деятельности Манина имеет в виду Герцен, когда пишет, что он «составил расколы».

*...Гарибальди дал гласность письму, в котором косвенно обвинял его...* — Имеется в виду письмо, которое Гарибальди опубликовал в «Italia e popolo» 4 августа 1854 г. Причиной, побудившей Гарибальди выступить в печати, явилось то, что его имя связывали с потерпевшими неудачу

выступлениями маццинистов в Луниджиане (территория, включавшая часть Модены, Пармы и Пьемонтского государства) и в Вальтеллине (Северная Ломбардия). В письме Гарибальди заявил, что он не одобряет подобного рода выступления и предостерегал молодежь от увлечения «ложными доводами обманщиков или обманутых людей, которые, вызывая несвоевременные попытки, губят или, по крайней мере, дискредитируют наше дело» («Italia e popolo». Geneva, 4 августа 1854 и Edizione nazionale degli scritti di G. Garibaldi, v. IV, p. 160).

Стр. 71. ...со времени первой революции *с п и э м о н т с к и м с л о е м*. — Под «первой революцией» Герцен подразумевает, повидимому, французскую буржуазную революцию 1789—1794 гг. «Пьемонтским слоем» Герцен назвал итальянскую буржуазию потому, что в Пьемонте буржуазия была сильнее, чем где-либо в остальной Италии. Здесь ярче проявились те качества, на которые указал Герцен, — ее умеренный либерализм и страх перед революционным движением народных масс.

...из летописей Гвичардини и Муратори... — Герцен имеет в виду многотомные труды по истории Италии Гвичардини Франческо и Муратори Лодовико Антонио, которые использовали в своих работах итальянские хроники и архивные документы.

...полудиким ускоком Ромео из Абруцц... — Ускоки — пираты, действовавшие в XV—XVI вв. в районе Адриатического моря. Австрийская империя часто использовала их в военных действиях против Турции. Своим морским разбоем ускоки причиняли большой вред венецианской торговле. В XVII в. они были изгнаны из пределов Адриатического моря и рассеялись по другим морям, где продолжали заниматься разбоем. Образ неукротимого ускока, возможно, был навеян Герцену романом Жюль Верн «Ускок». Ромео — повидимому, Джованна Андреа Ромео, один из руководителей восстания в Калабрии в 1847 г.

...Сиртори, — по-герой *с дрался под градом пуль, в передовых рядах*... — Сиртори был духовным лицом, но затем отказался от церковного сана и с первых же дней итальянской революции вступил в ряды волонтеров. С начала блокады Венеции австрийцами в августе 1848 г. Сиртори находился в рядах ее защитников, сражаясь на важнейшем участке военных действий в Маргере — единственном из окружающих Венецию фортвов, оставшемся в руках венецианцев. Осажденный гарнизон Маргеры до последней возможности оказывал сопротивление австрийским войскам и только 27 мая 1849 г. оставил занимаемые позиции.

Стр. 72. ...трастеверинские плебеи... — Трастевер — квартал в юго-западной части Рима на правом берегу Тибра, где жили рабочие и ремесленники. В период революции в Риме трудящееся население Трастевера было активным участником и защитником Римской республики.

...Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота... — См. примечание к стр. 67.

С Гарибальди я *с познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вест-индских доках*... — Вынужденный после поражения революции 1848 г. вторично эмигрировать в Америку, Гарибальди работал здесь вначале на фабрике, затем служил в торговом флоте, совершая дальние рейсы. Во время одного из этих рейсов, когда он прибыл в Англию на американском корабле «Commonwealth» в феврале 1854 г. с ним и познакомился Герцен. Знакомство Герцена с Гарибальди состоялось в Лондоне на обеде у американского консула Сондерса 21 февраля 1854 г. (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 23 февраля 1854 г., письмо Герцена к Пианчиани от 29 февраля 1854 г. и главу «Немцы в эмиграции», т. XI наст. изд.). В том же 1854 г. Гарибальди возвратился на родину. В эти годы Гарибальди отходит от Маццини, считая ошибочной и вредной его заговорщическую тактику, и склоняется к мысли о возможности соглашения с Пьемонтом. Но идя на такой компромисс, Гарибальди

фактически оставался народным вождем. Он возглавлял борьбу за воссоединение Италии снизу, командуя волонтерами в войне с Австрией в 1859 г., подымая народ в Центральной Италии на борьбу за объединение и, наконец, совершив легендарный поход в Южную Италию. Правительство Пьемонта, опасаясь развернувшегося народно-освободительного движения, воспрепятствовало Гарибальди завершить объединение Италии. Он был отстранен, и Пьемонт присвоил себе плоды победы, одержанной народом под руководством Гарибальди. Гарибальди оказался жертвой своей политики компромисса с монархией.

...я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне...— Это Эрнст Гауг, сражавшийся в рядах волонтеров Римской республики в 1849 г.

*Б е л е т* — марка вина, которым славится Пизца.

Стр. 72—73. ...отступил после взятия Рима ∞ и это возле тела своей подружки, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.— После падения Римской республики в 1849 г. Гарибальди с отрядом добровольцев предпринял попытку прорваться в осажденную Венецию, продолжавшую еще борьбу с Австрией. В пути погибла его жена Анита, отважная спутница Гарибальди во всех его походах. Потеряв в неравных боях значительную часть своего отряда, Гарибальди вынужден был отказаться от своего плана и вновь эмигрировать из Италии.

Стр. 73. *Поселиться в Америке ∞ это страна «забвения родины» ∞ носить по океану...*—Аналогичные мысли, несколько по-иному сформулированные, высказывал Гарибальди в письме к своему другу А. Векки 9 марта 1855 г. См. *Epistolaria di G. Garibaldi con documenti e lettere inediti* (1836—1882), raccolte ed annotate da E. E. Ximenes, 1885, v. I, p. 48. (Переписка Д. Гарибальди. Неопубликованные документы и письма (1836—1882), собранные и аннотированные Хименес).

*«Arma virumque capo!»*— Начальные строки «Энеиды» Вергилия.

... 14 января 1858 года, в rue Lepelletier...— Герцен указывает здесь дату покушения Орсини на Наполеона III на улице Лепеллетье (см. примеч. к стр. 67).

Стр. 74. *Теверино* — герой одноименного романа Жорж Санд. Теверино — итальянец по национальности, богато одаренный человек. В его романтическом образе Жорж Санд воплотила идею о свободном человеке, который пренебрегает материальным благополучием и условностями буржуазно-дворянского общества, живет в непосредственном общении с природой и следует влеченью своих чувств.

*Риенци* — Захватив в мае 1347 г. власть в Риме, Кола ди Риенци целью своей политики провозгласил объединение Италии под главенством Рима. Вскоре был свергнут и должен был бежать из Рима. Буржуазная историография 40—50-х годов XIX века уделяла много внимания личности Кола ди Риенци как народному трибуну. В работах об итальянской революции 1848—49 гг., вышедших в 50-х годах прошлого века, очень распространенным было сравнение Кола ди Риенци с Чичероваккио и другими деятелями революции. Имя Кола ди Риенци Герцен часто мог встретить в современной ему литературе.

...едва спасшись от сардинских жандармов ∞ бросают их под кареты.— Герцен сообщает здесь эпизоды из жизни Орсини. Весной 1854 г. Орсини участвовал в подготовке задуманного Маццини восстания в Центральной Италии. Заговор потерпел неудачу, и Орсини с большим трудом удалось уйти от сардинской полиции, которая преследовала его в течение недели. В июне 1854 г. Орсини участвует в подготовке новой экспедиции в Вальтеллину. Экспедицию не удалось осуществить. В конце августа Орсини был арестован швейцарской полицией, но ему удалось бежать. В сентябре 1854 г. Орсини опять принимает предложение Маццини о тайной поездке в Ломбардию с целью подготовки нового восстания в Милане.

С октября по декабрь 1854 г. Орсини под чужим именем совершает поездку по Ломбардии, Австрии и Венгрии. Во время этой поездки он был арестован австрийской полицией и заключен в Мантуанскую тюрьму. Из Мантуанской тюрьмы в октябре 1855 г. Орсини послал с одним из выходивших на свободу заключенных письмо с дружеским приветом Герцену. Видимому, письмо до Герцена не дошло (см. Lettere di F. Orsini..., p. 184; L u c i o. F. Orsini..., p. 52). В конце марта 1856 г. Орсини совершил необычайный по смелости и мужеству побег из тюрьмы. Спускаясь из окна тюрьмы, он повредил себе ногу и порезал руки. Приехав в Лондон, Орсини начинает готовить покушение на Наполеона III, занимаясь сам изготовлением бомб.

Стр. 75. *Маццини так же принадлежит к их семье ∞ как Иоанн Прочида.* — В современной Герцену исторической и политической литературе часто упоминалось имя Прочида. Его деятельность как борца за освобождение Сицилии от французского господства была очень актуальна в условиях борьбы Италии с австрийским владычеством. О нем писали, как о человеке больших страстей и великих целей. Он был примером политического деятеля, умевшего любыми средствами добиваться своей цели. В образе Прочида Герцен видит черты, родственные Маццини. «Сам Маццини, — пишет Герцен в письме к друзьям от 27 сентября 1849 г., — итальянец вроде Прочида, сметливый, бойкий, привычный к беде и успеху». В главе «Лондонские туманы» Герцен пишет: «Маццини <...> Прочида итальянского освобождения» (см. т. XI наст. изд.).

*...голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде!* — По евангельским преданиям, Иоанн Предтеча Креститель — ближайший предшественник и предвестник Иисуса Христа — был обезглавлен галилейским царем Иродом Антипой. Голова Иоанна Предтечи была поднесена жене Ирода Антипы — Иродиаде на золотом блюде.

Стр. 76. *От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонте, от неаполитанского Бурбона — толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта.* — См. примечание к стр. 69.

*O divina Commedia!* — или просто *Commedia*, в том смысле как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло! — В январе 1813 г. Наполеон Бонапарт посетил папу Пия VII, в миру Луиджи Барнаба Киарамонти, находившегося в заключении в Фонтенебло. Во время свидания Наполеон добивался от папы согласия на подписание нового конкордата, подчинявшего католическую церковь власти французского императора и упразднявшего светскую власть папы в Риме. Во время беседы, как ее излагает Тьер, Пий VII, вынужденный уступить требованию Наполеона, не без горечи говорил о превратностях судьбы и о бренности всего земного, в том числе и светской власти папы (см. Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire, t. XV, Paris, 1857, p. 298—300).

*Медичи ∞ служил в рядах кристиносов...* — В 1836—1840 гг. Медичи участвовал в гражданской войне в Испании на стороне кристиносов — либерально-буржуазной партии, группировавшейся вокруг регентши Марии Кристины, против которой подняли мятеж сторонники Дон-Карлоса (карлисты), представлявшие интересы феодально-клерикальных групп.

Стр. 77. *...не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках»...* — Герцен имеет в виду следующее место в воспоминаниях Орсини: «Herzen was for some days almost insensible» («В течение нескольких дней Герцен был в совершенно бессознательном состоянии»). См. Orsini. Memoirs and adventures of Orsini, written by himself, Edinburgh, 1857, p. 99.

*В день моего отъезда...* — Герцен выехал из Генуи 20 июня 1852 г. В письме к М. К. Рейхель от 20 июня 1852 г. Герцен писал: «Вчера вечером я еще думал, что проживу здесь месяц, но <...> сегодня отправляюсь с Сашей и Тесей к берегам Лаго-Маджоре».



Стр. 78. *Маццини, старик Армеллини и он были триумфами во время Римской республики.*— См. примечание к стр. 66.

Стр. 78 — 79. *Он из своего изгнания с новостями из Милана.*— Герцен имеет в виду следующее событие. Когда готовилось восстание в Милане 6 февраля 1853 г., Маццини одновременно предполагал подготовить выступления и в Центральной Италии (Болонье). Был сформирован Верховный комитет в составе Саффи, Орсини и др. В конце января 1853 г. Саффи приехал в Сарцана, откуда перешел Апеннины и прибыл в Болонью 6 февраля 1853 г. Здесь он прожил до 15 февраля 1853 г., подготавливая восстание в Болонье и ожидая вестей из Милана. Неудача миланского восстания сняла вопрос о выступлениях в Центральной Италии.

Стр. 79. *Раз, вечером, вошел спор между мной и Маццини о Леопарди.*— Об этом споре с Герценом упоминает и Маццини в письме к Эмилии Хаускес от 2 апреля 1853 г. (см. Mazzini. Scritti editi ed inediti, v. XLIX, p. 18). Леопарди глубоко волновала судьба его поработанного и разединенного отечества. В своих ранних произведениях он призывал итальянцев брать пример героизма и мужества с древних римлян и звал итальянскую молодежь подняться на защиту свободы и независимости своей родины. Но после неудачи революции 1820—21 гг. в Италии, причину которой он видел в трусливой и предательской политике дворянства и буржуазии, Леопарди, оставаясь верным своим идеалам, был охвачен глубочайшим разочарованием и пессимизмом. Его поэзия, в которой нашли отражение личные и общественные несчастья, была в известной мере созвучна в начале 50-х годов Герцену, пережившему духовную драму и личную трагедию.

*Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie...*— Это было, надо полагать, собрание стихов Леопарди, изданное в 1845 г.: *Opere di Giacomo Leopardi ediz accresciuta, ordinata e corretta, secondo l'ultima intenzione dell' autore da A. Ranieri. 2 V., Firenze. Le Monnier.*

Стр. 80. *...он умер в 1836 году.*— Леопарди умер 14 июня 1837 г.

Стр. 81. *Клебер с воял в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника федерации.*— Весной 1790 г. Национальное собрание дало разрешение на проведение в Париже праздника Федерации. Празднество было назначено на 14 июля — день годовщины взятия Бастилии. Для проведения дня Федерации на Марсовом поле нужно было выкопать огромную арену для участников торжества и устроить подобные скамеек для зрителей. Сделать это в короткий срок силами одних рабочих, нанятых для этой цели, было невозможно. Тогда все население Парижа взялось за дело. В работах на Марсовом поле в июле 1790 г. участвовал и Тальма. В своей книге *Mémoires de F. J. Talma écrits par lui-même* («Мемуары Тальмы, написанные им самим»), 1850 г., он очень подробно описывает подготовку к празднику Федерации (см. главу седьмую).

*...Лавирон 15 мая ворвался с заставил президента допустить на трибуну народных ораторов.*— 15 мая 1848 г. в Париже демократическими организациями и клубами была организована народная демонстрация с целью массового давления на Учредительное собрание и изменения его внешней и внутренней политики в революционном духе. Часть демонстрантов ворвалась в зал заседаний Учредительного собрания, захватила ораторскую трибуну, с которой выступили с изложением требований демократических масс Парижа их революционные вожаки — О. Бланки, Распайль, А. Барбес и другие.

*Тортони — кафе в Париже.*

Стр. 82. *...объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались к Риму.*— См. примечание к стр. 59.

Стр. 83. *Народ ∞ пел Кернеровы песни.*— Патриотические песни немецкого поэта Карла Теодора Кернера, переложенные на музыку Вебера, имели огромный успех во время освободительной борьбы против Наполеона. Собрание этих песен под названием «*Leier und Schwert*» вышло в 1814 г.

...*драматические торжества для Гёте—в Веймаре.*— Гёте был директором Веймарского театра с 1791 г. Здесь были поставлены почти все его пьесы.

Стр. 85. *После дрезденского дела...*— В мае 1849 г. М. Бакунин руководил восстанием в столице Саксонского королевства — Дрездене, за что был арестован и приговорен саксонским судом к повешению. Через некоторое время казнь была заменена пожизненным заключением.

Стр. 90. ...*посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, Руге et consorts, которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана.*— Полемика между Марксом и Гейнценом началась еще в 1847 г. В конце 1847 г. Маркс выступил на страницах «*Deutsche-Brüsseler-Zeitung*» со статьей, направленной против Гейнцена: «Морализирующая критика и критикующая мораль. К истории немецкой культуры, против Карла Гейнцена» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. второе, т. 4, 1955, стр. 291—321). Впоследствии борьба Маркса против Гейнцена не прекращалась. Так, отзываясь о статье И. Вейдемейера, направленной против Гейнцена, опубликованной в Нью-Йорке, Маркс писал: «Твоя статья против Гейнцена <...> очень хороша, груба и тонка в одно и то же время — как раз то, что требуется от настоящей полемики» (письмо к И. Вейдемейеру от 5 марта 1852 г., см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXV, 1936, стр. 144). Гейнцен нападал на Маркса в своей газете «*Der Pionier*», выходившей в Америке с 1854 г.

Стр. 91. *Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано...*— Герцен прибыл в Швейцарию 22 июня 1852 г. (дата его письма к М. К. Рейхель из Белинцоны). Первое письмо из Лугано датировано 26 июня 1852 г. (письмо к М. К. Рейхель).

## Глава XXXVIII

Впервые опубликована в ПЗ на 1858 г. (кн. IV, стр. 203—215) как глава IV, с тем же заголовком, что и гл. XXXVI, с датой «1849» и следующим примечанием: «Отрывки из первых трех глав будут помещены в V книжке „Полярной звезды“, которая, надеемся, выйдет к 1 января 1859 г. Вот их содержание: Глава I.— „*La Tribune des Peuples*“.— Мицкевич и де-ла-Сагра.— Холера в Париже.— Хористы революции и 13 июня 1849. Глава II.— Вавилонское столпотворение.— Немецкие *Umwälzungsmänner*, французские красные горцы, итальянские *fuorusciti* в Женеве.— Маццини.— Романская и германская традиция.— Прогулка на „Князе Радецком“. Глава III.— Соединение с Прудоном для издания. „*La Voix du Peuple*“. Переписка.— Свидание в Сент-Пелажи.— Значение Прудона в французской истории и в истории социализма». Перепечатана без этого примечания в БИД IV (стр. 138—168).

Стр. 94. *В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию ∞ которая в 1847 году подавила Зондербунд.*— Борьба за ликвидацию феодальных отношений и политическую централизацию развернулась в Швейцарии в 30—40-х годах XIX века. Революционные выступления крестьян, рабочих и ремесленников привели к демократическим преобразованиям в большинстве кантонов. В 1830—31 гг. в 11 кантонах были введены новые конституции буржуазно-либерального характера. Это повело к образованию в 1845 г. Зондербунда — союза остальных семи католических кан-

тонов, целью которого была борьба против централизации власти и защита прав католической церкви. В июле 1847 г. федеральное правительство, придерживавшееся буржуазно-радикального направления и опиравшееся на передовые кантоны, издало указ о роспуске Зондербунда. Зондербунд объявил войну федеральному правительству. 23 ноября 1847 г. отряды Зондербунда были разбиты.

... жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями. — Правительства Франции, Австрии, Пруссии и других соседних государств вмешивались во внутренние дела Швейцарии, осуществляя через своих агентов полицейские функции на ее территории. Швейцарское федеральное правительство изгнало революционных итальянских, французских и немецких эмигрантов, поселившихся на территории Швейцарии после поражения революции 1848 г., по первому требованию реакционных правительств этих стран.

Стр. 95. Страна ∞ является, после бурь революции и сатурналий реакции, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде. — В этих словах Герцен не очень точно характеризует политические судьбы Швейцарии, желая подчеркнуть прежде всего своеобразие их по сравнению с направлением политического развития крупнейших стран континентальной Европы в период революции 1848 г. Восстание в Женеве в 1846 г., поставившее у власти радикалов во главе с Джемсом Фази и отозвавшееся на других кантонах, разгром в 1847 г. Зондербунда, торжество революционного движения в 1848 г. в кантоне Невшател, являвшемся одновременно герцогством и находившемся под верховной властью прусского короля, воздействие революционных событий 1848 г. в Западной Европе привело к господству в Швейцарии либеральной, а в некоторых кантонах радикальной буржуазии, к выработке и утверждению швейцарской конституции 1848 г., введением которой, по словам Энгельса, «наиболее цивилизованные швейцарские круги заявили о своей готовности перейти, до известной степени, от средних веков к современному социальным порядком» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX, 1932, стр. 305). Наступление реакции в Западной Европе не могло решающим образом повлиять на такой склад политической судьбы Швейцарии, хотя сами руководители швейцарской буржуазии чем дальше, тем больше испытывали процесс поправления и искали сближения с реакционными режимами Западной Европы, в особенности с империей Наполеона III.

Стр. 96. Бриарей — в греческой мифологии сторукий великан.

Стр. 97. Каруж — пригород Женевы.

Стр. 98. Застраченная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона... — В 1838 г. Луи-Наполеон и кучка собравшихся вокруг него в Швейцарии бонапартистов развернули пропаганду идей восстановления во Франции власти Бонапартов. Правительство июльской монархии вместе с австрийским правительством потребовали от швейцарских властей изгнания Луи-Наполеона из Швейцарии. Получив отказ швейцарских властей, французское правительство прибегло к угрозе войны, после чего швейцарское правительство дало понять Луи-Наполеону, что больше не сможет отстаивать для него право убежища и предложило ему «добровольно» покинуть страну. В октябре 1838 г. Луи-Наполеон уехал в Англию.

Стр. 99. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом ∞ издает журнал, который на французский манер задавали пенями... — Фази, учившийся в Париже, участвовал в революции 1830 г. и затем был членом тайного республиканского «Общества прав человека», которым руководил Годфруа Каваньяк. Сотрудничал в оппозиционной газете «Националь», которую редактировал Марраст. Сам Фази издавал «Revue républicaine». Подвергся преследованиям со стороны французской полиции и переехал в Женеву.

Стр. 100. *Женева восстала на свое старое правительство ∞ Фази явился главою возмущившейся части города.*— Имеется в виду восстание в 1846 г. демократических низов Женевы против реакционного правительства кантона, приведшее к его падению. Хотя Фази и встал во главе нового радикального правительства и затем в течение около 15 лет был фактическим диктатором Женевы, роль его в восстании была до известной степени двусмысленной. По словам корреспондента Маркса, известного деятеля рабочего движения И. Ф. Беккера, Фази «больше думал о путях к бегству, чем о путях к победе» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. I, 1935, стр. 449), хотя и сумел затем полностью воспользоваться ее плодами. Душой народного восстания был демократ и социалист Галер, о конфликте которого с Фази Герцен упоминает в «Скуки ради» (1868—1869), рисуя политический путь, пройденный Фази, к 60-м годам. Последний издавал в Женеве «Revue de Genève».

Стр. 102. *Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить ∞ в новую революционную силу.*— Герцен имеет в виду эволюцию взглядов Маццини в отношении социализма. Будучи в начале тридцатых годов XIX в. близок идеям бабуизма и сенсимонизма, Маццини через короткий период времени отошел от социалистических воззрений, выдвинув на первый план политическую борьбу за национальное освобождение и объединение страны. После 1848 г. Маццини резко выступил против идей социализма, утверждая, что причиной поражения революции 1848—1849 гг. было вторжение в чисто политическое движение идей социализма, органически чуждых, по мнению Маццини, задачам революции и демократии.

*Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий.*— Герцен имеет в виду многочисленные брошюры, написанные Маццини против социализма, как например: «Manifesto del Comitato nazionale italiano» («Манифест национального итальянского комитета»), «Dovere della Democrazia» («Обязанности демократии»), «Condizione e avvenire dell'Europa» («Положение и будущее Европы») и др. (см. М а з з и н и. Scritti editi ed inediti, v. XLVI). Нападки Маццини на социализм подрывали и ограничивали его влияние на широкие массы и были причиной отхода от Маццини наиболее радикальных и последовательных деятелей революционного движения. Все это и дало основание Герцену сравнить результаты антисоциалистических выступлений Маццини с деятельностью австрийского фельдмаршала Радецкого, который руководил подавлением революции 1848 г. в Ломбардии, а затем, став в 1848 г. генерал-губернатором Ломбардии и Венеции, жестоко преследовал участников национально-освободительного движения, в частности миланского восстания 6 февраля 1853 г., подготовленного Маццини (см. примечание к стр. 67).

*...он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы.*— История высылки Струве описана также в письме И. Ф. Беккера — Марксу (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XII, ч. I, 1935, стр. 450). Вообще, Фази, который не прочь был играть роль покровителя революционной эмиграции, на деле под разными демагогическими предлогами подвергал преследованиям ее представителей, стремясь угодить реакционным западноевропейским правительствам, с которыми, особенно с французским, он поддерживал, по видимому, неофициальные отношения.

Стр. 105. *...стенторовским голосом.*— Стентор имел феноменально сильный голос (см. Гомер. «Илиада», песнь V, строки 785—786).

*Это уж из «Волка и овцы».*— Герцен имеет в виду басню Лафонтена «Волк и овца».

Стр. 108. *Я прожил в Женеве до половины декабря.*— Точная дата отъезда Герцена из Женевы в Цюрих не установлена.

...«незабвенный» император.— Николай I.

Стр. 109. *Я по опыту писал в «Поврежденном»: «Когда душа ∞ он не зачерствел»...*— См. т. VII наст. изд., стр. 363—364.

*«Книга твоя дошла до нас ∞ на чужой почве...»*— Герцен цитирует в несколько измененном виде письмо Т. Н. Грановского, датируемое предположительно маем—июнем 1851 г. (см. ЛН, т. 62, стр. 99). Впервые было опубликовано Герценом в ПЗ, 1859 г., кн. V, стр. 218.

*...начало моей повести «Долг прежде всего», писанной за два года...*— Об истории создания повести «Долг прежде всего» см. в т. VI наст. изд., стр. 523—525.

*...и зачем я был близок с ним!..*— Имеется в виду Георг Гервиг.

Стр. 110—111. *...я и товарищ, ехавший со мной в Церматт...*— Во французском переводе этой главы (см. раздел «Варианты») указано, что эта поездка Герцена состоялась в сентябре 1849 г. «Товарищ»— Г. Гервег.

Стр. 114. *Гюго где-то описывает, «что слышно на горе»...*— Имеется в виду стихотворение В. Гюго «Ce qu'on entend sur la montagne» из книги «Les feuilles d'automne».

### Западные арабески. Тетрадь вторая.

Первая глава— «Il pianto»— впервые опубликована в ПЗ на 1856 г. (стр. 192—200); здесь же было опубликовано посвящение, сткрывающееся эпиграфом из Пушкина (стр. 201—202), и вторая главка— «Post scriptum» (стр. 203—207); она не имела в ПЗ названия, в оглавлении была обозначена как «Примечания». Перепечатано в БИД IV (стр. 169—190), под общим заголовком: «Западные арабески. Тетрадь вторая». Посвящение помещено здесь после «Post scriptum», а не после «Il pianto», как в ПЗ.

Стр. 116. *Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей ∞ без их сознания...*— Агриппина Младшая в 59 г. была убита по приказу своего сына, римского императора Нерона.

Стр. 117. *...это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж ∞ написал проклятие— мой «Эпилог 1849».*— «Эпилог 1849» помечен: «Цюрих. 21 декабря 1849 г.», следовательно, Герцен уехал из Цюриха в Париж 22 декабря 1849 г. (см. также письмо Герцена к Лервегу от 23 декабря 1849 г.). Он ехал с матерью для устройства своих и ее материальных дел (см. главу XXXIX). «Эпилог 1849» был включен Герценом в книгу «С того берега» (глава VI; см. т. VI наст. изд., стр. 107—114).

Стр. 118. *...папа-Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя бога и свободы...*— Бенжамен Франклин был во Франции вместе со своим внуком— маленьким мальчиком и просил Вольтера благословить последнего. Вольтер сказал: «Бог и свобода— вот единственный девиз, достойный внука Франклина».

Стр. 119. *Davus sum, non Aedipus!*— Теренций. «Andria» (акт I, сцена 2). Davus— обычное имя раба. Aedipus— главное действующее лицо трагедии Софокла «Царь Эдип». Его имя стало нарицательным для ловкого отгадчика. Смысл фразы: я раб, а не отгадчик.

*...Сийес был больше прав, чем думал, говоря, что мешане—асе».*— В своей брошюре («C'est ce que le tiers état?» («Что такое третье сословие?») Сийес доказывал, что буржуазия должна стать в государстве всем.

Стр. 121. *...переродиться в нового Ионатана...*— Шуточное название северо-американцев.

*Представьте себе оранжевый юншу, хоть того, который описал себя в «The Dream»...*— В стихотворении «Сон» Байрон описал некоторые эпизоды из своей жизни.

...«Неси меня куда хочешь—только вдаль от родины».—Вольный перевод стихов Байрона из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь первая, 13).

...ни в Равенне, ни в Диодати.— В Равенне (Италия) Байрон жил в 1819 г., на вилле Диодати (побережье Женевского озера) — в 1816 г.

Стр. 122. ...прозвучит всему — *sie ist gerettet*. — Г ё т е. «Фауст», (часть I, эпилог). У Gёте: *Ist gerettet*...

Стр. 123. ...Три года тому назад я сидел у изголовья больной ∞ достояние. — Н. А. Герцен умерла 2 мая 1852 г.

Стр. 124. ...как дети судят по «*Orbis pictus*» о настоящем мире...— Герцен имеет в виду книгу Амоса Коменского «*Orbis sensualium pictus*».

Стр. 126. *Salus populi* — или *salus publica suprema lex* — общее благо — принцип, формулированный римскими юристами, в силу которого частные интересы должны уступать интересам общественным.

Стр. 127. *Common law* — обычное право; действовало главным образом в феодальную эпоху. В Англии в законодательстве сохранились некоторые нормы обычного права.

...как оба английские парламента? — Герцен имеет в виду две палаты английского парламента: палату лордов (верхнюю) и палату общин (нижнюю).

Стр. 130. Эти отрывки, напечатанные в IV кн. «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением...— «Западные арабески» были впервые напечатаны не в кн. IV, а в ПЗ на 1856 г., кн. II. Там же Герцен опубликовал и это посвящение (см. текстол. комментарий, стр. 473).

...Прими сей череп—он...—Начальные строки «Послания Дельвигу» Пушкина. У Пушкина: «Прими сей череп, Дельвиг, он...»

## Глава XXXIX

Впервые опубликована в ПЗ на 1858 г. (стр. 216—234) как глава V. Перепечатана в БИД IV (стр. 191—215).

Имеется автограф небольшой части главы («пражская коллекция», ЦГАЛИ). Текст автографа начинается словами «или изменить, мы сей час» сделаем» (стр. 138, строка 17) и кончается словами «но великодушно шадя побитого противника» (стр. 140, строка 33—34); в конце—росчерк. Автограф отличается от основного текста рядом стилистических разночтений (см. «Варианты»), но, кроме того, содержит более развернутую характеристику Ротшильда, изъятую Герценом, очевидно, по соображениям автоцензурного характера. И в ПЗ и в БИД IV после слов «показать Нессельроду» (стр. 139, строка 10) идут две строки точек, указывающие на пропуск. В настоящем издании вместо двух строк точек и следующей за ними фразы «Нас перервали... Шомбург просил меня зайти через полчаса» вставляется отрывок автографа: «Очень рад ∞ зайти через полчаса» (стр. 139, строка 11 — стр. 140, строка 6). Отрывок впервые опубликован в ЛН, т. 61, 1953, стр. 118—119.

Стр. 136. *E tiene ancora del monte et del macigno!*— Д а н т е. «Божественная комедия», «Ад» (песнь XV, стих 63).

Стр. 137. ...а другой, переведенный в Рим.— Герцен имеет в виду русского посланника во Франции Н. Д. Киселева, который за неудачную попытку привлечь Наполеона III на сторону России во время дипломатической подготовки Восточной войны был отозван в 1854 г. из Парижа. С 1855 г.— посланник при римском и тосканском дворах.

Стр. 148. Второе декабря — возведение полиции на степень государственной власти.— Имеется в виду государственный переворот Луи-Наполеона, совершенный 2 декабря 1851 г.

Стр. 150. ...слабодушный товарищ погубил Конарского.— См. об этом в статье «Русский народ и социализм» (т. VII наст. изд., стр. 313).

Впервые опубликована в *ПЗ* на 1858 г. (стр. 235—264) как глава VI, с датой «1850—1851». Перепечатана в *Бид IV* (стр. 216—260) с включением в текст отрывка, замененного тремя строками точек в *ПЗ* на 1858: «После нашей встречи в Женеве ∞ грустил о разномыслии их и пр.» (стр. 152, строка 6 — стр. 156, строка 3); этот отрывок был впервые опубликован в *ПЗ* на 1861 г. (кн. VI, стр. 236—240) в составе публикации «Из II главы (1852)».

Стр. 151. ...я писал: «Напрасно радовался я ∞ рассыплется». «Письма из Франции и Италии» (1 июня 1851).—Герцен неточно цитирует письмо тринадцатое из «Писем из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 201).

*Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия.*—Предпринятая в 1849 г. военную интервенцию в Венгрию с целью подавления революции, Николай I стремился также укрепить позиции Австрии в Европе, чтобы помешать тем самым установлению прусской гегемонии в Германии и объединению страны. Предательство главного командующего венгерской армией Гергея определило успех царской армии в Венгрии и обеспечило торжество политики Николая I в Германии.

*Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы ∞ шпионства.*— Имеются в виду совещания и контакты полицейских властей Пруссии, Франции, Бельгии и Австрии на предмет совместной борьбы с революционной деятельностью демократических и пролетарских организаций в европейских странах после революции 1848—1849 гг.

Стр. 152. *Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности...*—Подробнее об отношении Герцена к поездке Кошута в Соединенные Штаты Америки см. в главе «Горные вершины» («Былое и думы», часть VI, т. XI наст. изд.).

*...Маццини заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге центральный европейский комитет...*— В июле 1850 г. Маццини создал Европейский центральный демократический комитет, в состав которого входили: Ледрю-Роллен (Франция), Арнольд Руге (Германия), Альберт Дараш (Польша) и Маццини (Италия). Позже А. Дараша заменил Ворцель, а А. Руге — Г. Струве; состав комитета пополнился представителями от Венгрии — Кошут и от Румынии — Д. Братиано. Целью организации провозглашалось объединение эмигрантов европейских государств для освобождения угнетенных национальностей и создания союза европейских народов. Программа Европейского центрального демократического комитета, написанная Маццини, представляла собой замаскированную фразами о равенстве, братстве, свободе, прогрессе, сотрудничестве, примирении интересов всех партий и классов, защиту «интересов одной партии — буржуазной» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1930, стр. 260). Отрицание классовой борьбы, защита собственности, враждебное отношение к социализму и проповедь лозунга «бог и народ» составляли идейное содержание этой программы. Комитет имел свой печатный орган «Proscrit» («Изгнанник»), затем «Voix du proscrit» («Голос изгнанника»).

*После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, я виделся с Маццини в Париже в 1850 году ∞ Тут он говорил мне о проекте международной юнты в Лондоне...*—О встречах Герцена с Маццини в Женеве и Лозанне, см. примечание к стр. 65. В Париже Герцен виделся с Маццини в мае 1850 г., куда последний приехал 9—10 мая 1850 г. и пробыл там до конца месяца. В Париже Маццини вел переговоры с рядом французских политических деятелей, так же, как и с Герценом, о создании Европейского центрального демократического комитета, который Герцен называет в данном контексте «международной юнтой». Впервые с просьбой о содей-

ствии в деле создания Европейского союза народов Маццини обращался к Герцену еще в ноябре 1849 г. (см. письмо Маццини к Герцену от ноября 1849 г. — Л V, стр. 363—364).

Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Маццини с новым предложением. — Орсини (см. примечание к стр. 67) был в Ницце у Герцена не год спустя, как пишет Герцен, а несколько месяцев спустя, так как переговоры Герцена с Маццини происходили в Париже в мае 1850 г., а письмо Герцена к Маццини с ответом на вторичное предложение об участии в Европейском центральном комитете было написано Герценом 13 сентября 1850 г. Программа, переданная Орсини Герцену, о которой упоминает Герцен, это, надо полагать, манифест Европейского центрального демократического комитета от июля 1850 г., написанный Маццини (см. M a z z i n i. Scritti editi ed inediti, v. XLIII, Imola, 1926, p. 207—216).

...alien-биллем, или предложением приостановить *habeas corpus*: — Английские законы об иностранцах и о неприкосновенности личности.

Стр. 154—155. «Ницца, 13 сентября 1850. Любезный Маццини! своим убеждениям». — Письмо к Маццини было написано Герценом по-французски. Впервые довольно свободный перевод этого письма, сделанный самим Герценом, был опубликован в ПЗ, 1861, кн. VI, стр. 238—240.

Стр. 155—156. ...Маццини отвечал несколькими дружескими строками и пр. — О письме Маццини в кн. VI ПЗ подстрочное примечание: «Письмо это со множеством других документов я сжег в декабре 1851 г., боясь домашнего обыска». Повидимому, боязнь обыска возникла у Герцена в связи с тем, что он был близко знаком с жившими в Ницце итальянскими и французскими эмигрантами, которые после государственного переворота 2 декабря 1851 г. во Франции предприняли попытку поднять восстание на юге Франции против Наполеона III в защиту республики (см. настоящий том, гл. XLII). Правительство Пьемонта преследовало революционных эмигрантов и демократических деятелей, связанных с Маццини; в декабре 1851 г. в Турине был привлечен к судебной ответственности издатель маццинистской газеты «Italia e popolo». Поэтому у Герцена были основания опасаться, что полиция Пьемонта может возбудить против него дело, тем более, что в июне 1851 г. местные власти в Ницце уже пытались его выслать.

В ту же осень вспомнил меня, наконец, и противоевропейский комитет Николая Павловича. — Герцен именует так III отделение, осуществлявшее надзор за поведением русских за границей и подготовившее повеление Николая I о срочном вызове Герцена в Россию. Вызов этот и последовавшие за отказом Герцена репрессивные меры против него произошли не в 1850 г., а в 1849 г.

Стр. 157. ...не хотел ехать в петропавловские кельи отца Леонтия... — Казематы Петропавловской крепости с 1839 г. находились в ведении управляющего III отделением Леонтия Васильевича Дубельта.

...Евпатории в легких Николая Павловича. — Герцен связывает смерть Николая I, последовавшую 18 февраля 1855 г. по официальной версии от воспаления легких, с поражением русских войск под Евпаторией 5 февраля 1855 г. Известие о неудачном нападении на Евпаторию, предпринятом по сути дела по инициативе Николая I, оказало на него самое подавляющее впечатление как свидетельство ошибочности его политики. (См. об этом подробно в книге акад. Е. В. Тарле «Крымская война», т. II, М., 1943, стр. 267—297).

Стр. 160. ...от методы аббата Лепе. — Французский филантроп Лепе разработал метод обучения глухонемых посредством алфавита жестов. Этот метод изложен в его книгах «Instruction des sourds et muets par



la vie des signes méthodiques» и «La véritable manière d'instruire les sourds et muets».

*Проезжая через Цюрих...*— Герцен проезжал через Цюрих во второй половине декабря 1849 г. по пути из Женевы в Париж. См. об этом в настоящем томе, стр. 108 и 132.

Стр. 161. ...*Vom andern Ufer*» ∞ из лучшей цюрихской типографии.— Историю публикации немецкого издания книги «С того берега» см. в т. VI наст. изд., стр. 486.

...напечатал об этом в «Национале».— 21 февраля 1850 г. в парижской газете «National» появилась заметка о преследованиях, которым подвергался в Цюрихе шестилетний сын Герцена (сын Герцена при этом не упоминалось. Вырезка эта из «National» сохранилась среди личных бумаг Герцена). Упоминаемый далее прощический запрос о том, как поступила бы цюрихская полиция, если бы у Герцена не оказалось денег, в этой заметке не встречается. Как удалось установить Л. Р. Лансону, аналогичный вопрос был задан в анонимной заметке, напечатанной в «La Voix du Peuple», № 152 от 3 марта 1850 г., где есть следующие строки: «...остается только узнать, что было бы предпринято, если бы родные <ребенка> не имели достаточно денег, чтобы выплатить эту сумму». Вероятно, именно эту заметку имел в виду Герцен.

Стр. 165. *Отец Фогта* — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне...— Филипп Фридрих Вильгельм Фогт, профессор медицины сначала в г. Гиссене, где и родился Карл Фогт, а затем в г. Берне (Швейцария).

*Тугендбунд* — буквально «союз добродетели» — политическое общество, возникшее в Германии в 1808 г. во время ее оккупации французами с целью борьбы с Наполеоном I. Вел патристическую пропаганду. В 1809 г. был официально распущен по приказу Наполеона.

*Буршеншафт* — политический «Всеобщий студенческий союз», организован в 1818 г. в г. Иене.

*Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера...*— Демонстрация, состоявшаяся 18 октября 1817 г., заключалась в символическом сожжении реакционных сочинений. В этой демонстрации участвовал Август Фоллен.

*Его сжук, Карл Фогт ∞ был одним из викариев империи в 1841 году*— См. об этом на стр. 171 и примечание к ней. Викарий империи— в средневековой Германии заместитель императора, назначаемый в случае его смерти, временного отсутствия, болезни или малолетства.

Стр. 167. ...знаменитое творение Гайдена.— Имеется в виду оратория Гайдена «Сотворение мира» на либретто Линдлея по поэме Мильтоя «Потерянный рай».

Стр. 169. ...дантовские слова: «Qui è l'uomo felice».— Данте. «Божественная комедия», «Чистилище» (песнь XXX, стих 75).

Стр. 170. ...своих товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.— Заседания избранного после Мартовской революции общегерманского Национального собрания (т. н. Франкфуртского парламента), членом которого был Карл Фогт, происходили в соборе св. Павла (г. Франкфурт-на-Майне).

...он стал в самый радикальный ряд...— Во Франкфуртском парламенте Карл Фогт принадлежал к демократической левой группировке, возглавленной Робертом Блюмом. Эта по преимуществу мелкобуржуазная группа не была последовательно республиканской; хотя она и выступала за превращение Германии в федеративную республику, она считала возможным сохранение монархического строя в некоторых немецких государствах.

Стр. 171. ...короля прусского.— Фридриха-Вильгельма IV.

...Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место.— По предложению умеренных демократов Национальное собрание заменило оставшихся во Франкфурте-на-Майне имперского правителя эрцгерцога Иоганна и Центральное правительство регентством из пяти членов: Фогта, Рава, Симона, Шюлера и Бехера.

Стр. 174. ...от Пия IX «с незапятнанным зачатием»...— Герцен иронизирует по поводу догмата, провозглашенного Пием IX в 1854 г. о непорочном зачатии св. Девы.

...до Мацини с «республиканским iddio»...— Имеется в виду демократическая сторона религиозных воззрений Мацини, утверждавшего, что единственным истолкователем божественных законов на земле является народ. Своим лозунгом «Бог и народ» Мацини хотел противопоставить бога папе, а народ князьям. В противовес папской власти и монархическому правлению он выдвигал требование учреждения народного правления — республики (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1930, стр. 262; Mazzini. Scritti editi ed inediti, v. XLVI, p. 200).

Стр. 175. ...Карл Смелый ∞ для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере.— Проникнутая освободительными настроениями опера Россини «Вильгельм Телль» по требованию цензуры ставилась на австрийской и русской сценах под названием «Карл Смелый» с измененным сюжетом, для которого использовалась история бургундского герцога (XV век) Карла Смелого, погибшего в бою с швейцарцами под Муртенем во Фрейбургском кантоне. В России «Вильгельм Телль» был поставлен по новому измененному либретто Р. М. Зотова. См. об этом дневниковую запись Герцена от 10 ноября 1842 г. (т. II наст. изд., стр. 241).

...Людвиг Бонапарт — гражданин Турговии и Александр Николаевич — бюргер дармштадтский...— Луи-Наполеон, будущий император Наполеон III, эмигрировав в молодости в Швейцарию, натурализовался в Турговии и получил швейцарское гражданство. Что касается Александра II, то Герцен имеет в виду его женитьбу на принцессе Марии Дармштадтской.

Стр. 176. Сердце Азелио чуяло, верно, что я ∞ читал его «La Disfida di Barletta»...— Председатель совета министров Пьемонтского королевства с 1849 г. по ноябрь 1852 г. Азелио был известен как романист. Его первый роман «La Disfida di Barletta» («Барлеттский турнир»), изданный в 1833 г., читал Герцен, находясь в Крутицких казармах в сентябре 1834 г.

...роман «и не классический и не старинный»...— Перефразировка 57 стиха из поэмы Пушкина «Граф Нулин».

...прежде ∞ надобно было прислать посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта.— Среди монархов Европы за королем Пьемонта Карлом-Альбертом утвердилась репутация «мятежника». Причиной такой репутации явилось, во-первых, то, что в ранней юности, будучи еще принцем Кариньянским, он проявлял некоторый интерес к карбонарскому движению и был весьма отдаленно причастен к революции 1821 г. в Пьемонте, которую он затем предал; во-вторых, то, что в 1848 г. Карл-Альберт дал конституцию Пьемонту — «статут 4-го марта» — и объявил войну Австрии. Хотя все эти действия были предприняты Карлом-Альбертом в антиреволюционных целях, чтобы захватить инициативу и подавить революционное движение, о чем он не замедлил конфиденциально сообщить Николаю I, тем не менее Николай I в 1848 г. порвал дипломатические отношения с Пьемонтом и не восстановил их даже после отречения Карла-Альберта в 1849 г. и воцарения Виктора-Эммануила II. Поэтому Россия и не имела в 1851 г. посланника в Пьемонте.

Несколько дней до моей высылки в Ниццу было «народное волнение» ∞ к его правам, «начертанным на скрижалях истории».— Герцен в нескольких строках раскрывает истинную подоплеку событий, имевших место

в Ницце в конце мая 1851 г. Причиной «волнений» явилось обсуждение в Пьемонтском парламенте в последней декаде мая 1851 г. вопроса об отмене порто-франко для Ниццы в связи с переходом Пьемонта от протекционистской таможенной политики к политике свободной торговли и к установлению единого таможенного тарифа, обусловившего ликвидацию старинных монополий и привилегий. Авидор — представитель торгово-банкирских кругов Ниццы в Пьемонтском парламенте, которым отмена порто-франко для их города была невыгодна, предпринял попытку инсценировать «народное волнение» с тем, чтобы провалить в парламенте обсуждавшийся законопроект. Сообщение о высылке Герцена было опубликовано в туринской газете «Progresso» 5 июня 1851 г.

Стр. 177. ...уехал в Париж. — Герцен выехал из Ниццы 3 или 4 июня 1851 г.

Валерио ∞ требовал отчета, почему меня выслали. — Запрос в Пьемонтском парламенте был сделан Валерио 10 июня 1851 г.

В Турине я пошел к министру внутренних дел; вместо его меня принял его товарищ ∞ граф Понс де ла Мартино... — Министром внутренних дел в правительстве Азелио в 1851 г. был Гальваньо. Граф Понца ди С. Мартино — один из наиболее реакционных чиновников в правительстве Азелио, руководил кампанией преследований политических эмигрантов в Пьемонте и итальянских эмигрантов в Швейцарии.

Стр. 178. Видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку. — Имеется в виду то, что конституция в Пьемонте была провозглашена 4 марта 1848 г.; таким образом, срок ее действия был еще непродолжителен.

## Глава ХLI

Впервые опубликована в ПЗ на 1859 г. (стр. 132—151) как глава III. Перепечатана в БИД IV (стр. 261—286).

Стр. 183. Один старец Ламенне ∞ мрачно сказал народу: «А ты молчи ∞ право на слово!» — После подавления июньского восстания парижского пролетариата Учредительное собрание приняло ряд законов, направленных на удушение демократической и социалистической прессы. Для издания газет восстанавливалось требование о внесении в казну денежного залога — 25 тысяч франков. Это привело к закрытию многих демократических газет, для которых такой залог был непосильным. Ламенне, закрывая свою газету «Le Peuple Constituant», писал в последнем ее номере, 11 июля 1848 г.: «Ныне нужно иметь золото, много золота, чтобы иметь право говорить. Мы же недостаточно богаты. Бедняки должны молчать!»

Стр. 184. Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. — В марте 1849 г. Прудон был привлечен к судебной ответственности за статьи против президента Луи-Наполеона, резкие по форме и обличительные по содержанию. Приговоренный 28 марта судом к трехгодичному тюремному заключению, Прудон уехал в Бельгию, но в начале июня 1849 г. тайком вернулся в Париж. 6 июня 1849 г. он был арестован и заключен в тюрьму. После провала организованного мелкобуржуазными демократами выступления 13 июня 1849 г. газета Прудона «Le Peuple», как и ряд других демократических газет, была закрыта.

Э. Жирарден был не прочь их дать ∞ Сазонов предложил мне внести залог. — Сведения Герцена о готовности Жирардена дать Прудону деньги для залога за «La Voix du Peuple» были недостоверными. Герцен узнал об этом от Хоецкого (Шарль Эдмон) и Сазонова, подсажавших Прудону мысль об обращении к Герцену за денежной помощью для издания новой газеты.

Особенно активную роль в налаживании этого сотрудничества сыграл Сазонов, использовавший версию о якобы полученном Прудонем согласия Жирардена для того, чтобы убедить Герцена согласиться на просьбу Прудона (см. письмо Сазонова к Герцену от 4 июля 1849 г., *ЛН*, т. 62, стр. 537). Прудон действительно обратился сперва за денежной помощью к Жирардену. Обращение это не было случайным, поскольку после февральской революции 1848 г. идейно-политические позиции Прудона и Жирардена нередко сближались. Рассчитанные на завоевание популярности среди мелкой буржуазии, проекты социальных реформ («отмена налогов», «упрощение правосудия» и т. д.), опубликованные Жирарденом в 1849—1850 гг., — образец, самого шарлатанского по словам К. Маркса, «буржуазного социализма» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1830, стр. 315 и 317), — заслужили сочувствие Прудона. Однако Жирарден вовсе не выразил согласия финансировать затеваемую Прудонем газету. Около двух недель он хранил, несмотря на повторные заискивающие просьбы Прудона, молчание. Обращение Прудона к Герцену объяснялось, повидимому, тем, что в поисках залога для своей новой газеты Прудон действовал сразу в нескольких направлениях. Ответ Жирардена последовал в виде резко враждебных Прудону статей, опубликованных газетой «La Presse» 9—11 июля 1849 г., в которых Прудон обвинялся в заигрывании с реакционно-монархическим лагерем, с Луи-Наполеоном и легитимистами.

...не находя ни смоты фаланстера, ни икарійской управы благочиния... — Насмешливые слова Герцена имеют в виду, во-первых, реформаторские проекты фурьеристов о создании гармонического общества в виде трудовых ассоциаций, устройство которых разрабатывалось фурьеристами во всех деталях, и, во-вторых, проекты создания коммунистических поселений, образ жизни в которых соответствовал бы тому идеальному коммунистическому строю, который был изображен в утопическом романе Кабэ «Путешествие в Икарию».

...поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedifico»... — Герцен приводит эпиграф к сочинению Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» («Contradictions économiques ou Philosophie de la misère»), взятый из Евангелия от Марка (гл. XIV, 58).

Стр. 185. ...Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. — На протяжении 1848—1851 гг. между Прудонем и представителями других направлений и сект мелкобуржуазного утопического социализма неоднократно вспыхивали острые споры по различным идеологическим и политическим вопросам. Фурьеристы подвергали критике «диалектическую» софистику Прудона и его частновладельческие реформаторские проекты, П. Леру — его антигосударственные идеи и критику религиозной сентиментальности. В свою очередь Прудон обрушивался на фурьеризм и мистический социализм Леру язвительной критикой.

Стр. 186. ...маленькой республикой... — Намек на буржуазную республику 1848—1851 гг. Называя ее «маленькой», Герцен иронически подчеркивал ее буржуазно-консервативный характер, враждебность трудящимся массам, ее слабость и поражение в отличие от якобинской республики времен буржуазной революции конца XVIII в.

...маленьким Наполеоном... — Имеется в виду Наполеон III. Эпитет «маленький» взят Герценом из направленного против Наполеона III памфлета В. Гюго «Наполеон маленький» («Napoléon le Petit»).

Сам Прудон ∞ срезался на Народном банке... — В качестве средства для осуществления своих реформаторских идей в области кредита и обращения, Прудон предложил в ноябре 1848 г. проект создания «Народного банка», построенного на принципах «дарового кредита»

и «безденежного обмена» продуктов труда ремесленников и рабочих производительных ассоциаций. Пропаганда этого проекта в обстановке депрессии рабочего движения, когда часть пролетариата, по выражению Маркса, «бросается на доктринерские эксперименты» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, М.—Л., 1930, стр. 330), нашла некоторый отклик у ремесленных рабочих, особенно же среди лавочников, владельцев ремесленных мастерских и мелких промышленников, задыхавшихся под бременем долгов и ростовщического кредита. К началу апреля 1849 г. на «акции» прудоновского «банка» подписалось около 20 тысяч человек. Тем не менее «Народный банк» практически так и не был создан. Начавшиеся между учредителями «банка» разногласия в толковании его целей и задач обострили не покидавшие Прудона опасения за судьбу своего проекта, особенно в обстановке наступления монархической «партии порядка» на демократические и республиканские силы и остатки заводящей революции. По всем этим причинам Прудон в начале апреля 1849 г. неожиданно объявил о ликвидации «Народного банка». Предлогом для своего решения Прудон избрал приговор, осудивший его на 3 года тюремного заключения, что сделало якобы невозможным личное руководство Прудона «реформой кредита». В ходе последовавшей после этого полемики между Прудоном и другими учредителями «банка» из числа фурьеристов и лублановцев Прудон старался скрыть истинные причины своего отказа от проекта и выдвигал на первый план непонимание сущности своей реформы руководителями «производительных ассоциаций», невозможность доверить им руководство «банком» и т. д. Замечание Герцена свидетельствует о том, что он никогда не давал себя обмануть этими объяснениями Прудона и, критически относясь к его реформаторской деятельности, отчетливо видел ее провал. Когда Прудон попытался обосновать свой проект и опубликовал в феврале — марте 1849 г. серию статей под общим заглавием: «Demonstration du socialisme, théorique et pratique ou révolution par le crédit...» («Le Peuple», 19 февраля, 25—26 февраля, 1.5, 12 и 19 марта 1849 г.), Герцен высмеивал мудрствования Прудона (см. письмо Герцена к Г. Гервегу, относящееся к началу апреля 1849 г.). Говоря далее о том, что идея Прудона сама по себе верна, Герцен скорее имел в виду то, что он называл «органическими основами» (стр. 187) мировоззрения Прудона — его протест против экономического, политического и идейного гнета личности, критику государства, буржуазного парламентаризма и бюрократического государственного механизма, идею «социальной ликвидации» буржуазного общества и государства.

Стр. 187. Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»... — Имеются в виду сочинения Прудона, начиная от «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права и государства» («Qu'est-ce que la propriété ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement». См. отзыв Герцена об этой книге в дневнике, запись от 3 декабря 1844 г., т. II наст. изд., стр. 391) до «Руководство биржевого игрока» («Manuel du spéculateur à la bourse»).

...считать тот же дуэт а толл-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». — А. С. Грибоедов. «Горе от ума». (действие III, явлениеб). У Грибоедова:

«Нет, есть-таки занятя,  
На флейте я твержу дуэт  
А-мольный...»

...от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии... — В 1838 г. Прудон был зачислен на одну из стипендий безансонской академии, что дало ему возможность в течение трех лет продолжать самообразование. В качестве стипендиата этой академии Прудон принял

в следующем году участие в объявленном ею конкурсе сочинений на тему: «О пользе празднования воскресенья». Он написал на эту тему довольно ученический трактат («De l'utilité de la célébration du dimanche»), в котором обозначилась тенденция к критическому рассмотрению проблемы собственности. В этом трактате Прудон говорил о «равном для всех праве на жизнь и развитие» и называл собственность «последним из ложных богов».

...до недавно вышедшего *carmen horrendum* биржевого распутства...— Герцен, повидимому, имеет в виду вышедшее в 1857 г. шестое издание сочинения Прудона «Руководство биржевого игрока». Первые два издания этой книги (1853 и 1854) вышли анонимно и только начиная с 3-го издания (1855) цензура разрешила поставить фамилию ее автора.

...тот же порядок мыслей ∞ идет и через «Противоречия» политической экономии, и через его «Исповедь», и через его «журнал».— Кроме «Системы экономических противоречий, или Философии нищеты» Герцен имеет здесь в виду сочинение Прудона «Исповедь революционера» («Les Confessions d'un révolutionnaire, pour servir à l'histoire de la révolution de Février») и серию газет, которые редактировал Прудон в период революции 1848—1851 гг.,— «Представитель народа» («Le Représentant du Peuple»), 1848; «Народ» («Le Peuple»), 1848—1849; «Голос народа» («La Voix du Peuple»), 1849—1850; «Народ 1850» («Le Peuple de 1850»).

...the deep slumber of a decided opinion.— Цитата из главы II («Of the liberty of thought and discussion») сочинения Стюарта Милля «On liberty».

Стр. 188. ...не место было Прудона в Народном собрании ∞ в этом мешанском вертепе.— На парижских дополнительных выборах в Учредительное собрание в июне 1848 г. Прудон был избран депутатом. Учредительное собрание в своей подавляющей части состояло из буржуазных республиканцев и перекрасившихся вчерашних монархистов.

...Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов...— Подразумевается конституция французской республики, принятая Учредительным собранием в ноябре 1848 г. В разработке проекта этой конституции активнейшую роль играл председатель Учредительного собрания Марраст. Конституция 1848 г. была отмечена многими реакционными чертами, одной из которых было учреждение поста независимого от парламента главы государства и правительства — президента республики, избираемого голосованием всех избирателей. Прудон голосовал в Учредительном собрании против проекта конституции.

Парламентская чернь отвечала ∞ в сумасшедший дом!— Герцен имеет в виду обсуждение в Учредительном собрании 31 июля 1848 г. внесенного Прудонем утопического законопроекта, предусматривавшего обложение движимого и недвижимого имущества единовременным налогом в размере одной трети доходов от него. Предложение Прудона привело в бешенство буржуазное большинство Собрания и буржуазную печать. Его выступление сопровождалось обструкцией депутатов, криками об отправке оратора в сумасшедший дом и т. п. Маркс отмечал, что выступление Прудона в защиту своего проекта было «актом высокого мужества» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. XIII, ч. 1, 1936, стр. 28), хотя оно и обнаружилось, «как мало он понимал все происходящее». Основным оппонентом Прудона выступил Тьер. Учредительное собрание отвергло проект Прудона (за него было подано лишь 2 голоса, из них один — самого Прудона) как подстрекательство против собственности и «гнусное покушение на принципы общественной нравственности».

Стр. 189. ...на тысячу ладов повторял он ∞ «это не Катилина у горот ваших, а смерть».— Эти слова Прудона неоднократно приводились Герценом в его работах, посвященных судьбам революции 1848 г. В торжестве бонапартистской контрреволюционной диктатуры Гер-

цен видел полное подтверждение пророческих слов Прудона. Однако смысл этих слов у Прудона был совсем не тот, что вкладывал в них Герцен. Прудон написал их в заключении своей статьи «Философия 10 марта», опубликованной в «La Voix du Peuple» 29 марта 1850 г. Статья Прудона, печатавшаяся в виде передовой в двух номерах его газеты (25 и 29 марта), была посвящена оценке значения победы кандидатов демократическо-социалистического блока «Горы» на дополнительных выборах в Законодательное собрание, состоявшихся 10 марта 1850 г. Встревоженный тем, что успех на этих выборах может толкнуть демократические силы на путь революционной борьбы за власть и на новое выдвижение требований «организации труда», Прудон заклинал демократов и социалистов отказаться от этой борьбы, пойти на компромисс с правящим монархическим лагерем и удовлетвориться ролью легальной оппозиции. Прудон доказывал, будто своим избирательным успехом «Гора» обязана торжеству идей сотрудничества классов и отказа демократии от всякого государственного вмешательства во взаимоотношения труда и капитала и посягательства на собственность буржуазии. Социальный вопрос теперь — утверждал Прудон — охватывает не только проблему пролетариата, но и проблему буржуазии, проблему предотвращения ее банкротства и разорения со стороны крупного капитала, и решение этого вопроса должно отвечать задаче примирения и единения пролетариата и буржуазии. Доказывая, что таково мнение и воля избирателей, голосовавших 10 марта за кандидатов «Горы», Прудон изменил на этот раз свой прежний взгляд на демократию как на фактор обострения классовых противоречий; теперь он превозносил ее как фактор умиротворения и примирения классов, требуя от «Горы» проникнуться этой идеей и сообразовать с ней свое поведение. Отсюда вытекала и концовка статьи Прудона, обращенная к «Горе»: «При режиме всеобщего избирательного права больше не может быть революций, могут быть лишь мятежи. Вы являетесь конституционной оппозицией, вы, кроме того, большинство... Возвратите буржуазии безопасность, а народу — спокойствие и терпение, доказав всем, что вы готовы к этому. Вам для этого необходимо лишь сблизиться с правительством либо посредством официальных представлений, либо посредством адреса, либо петиции или же каким-либо другим способом... Действуйте же, говорю вам это: у ваших ворот стоит не Катилина, не банкротство, а смерть». Таким образом, фраза Прудона о «Катилине» и «смерти» отнюдь не звучала пророчеством о неизбежности гибели республики во Франции. Наоборот, заключительные слова статьи Прудона выражали надежду на то, что гибели республики можно избежать и что предотвратить ее катастрофу может именно демократия, причем по сути дела — формальная демократия всеобщего избирательного права, демократия классового мира и классового сотрудничества буржуазии и пролетариата.

*«Объявления прав человека».* — Подразумевается программный документ французской буржуазной революции конца XVIII в. — «Декларация прав человека и гражданина».

Стр. 191. *Lohn, der reichlich lohnet.* — Строка из баллады Гёте «Der Sänger».

*...писал мне 29 августа 1849 года в Женеву...* — Герцен цитирует далее в своем переводе с французского письмо П.—Ж. Прудона от 23 августа 1849 г. Дата уточняется письмом Герцена от 27 августа 1849 г. В оригинале письмо опубликовано Р. Лабри (см. R a o u l L a b r y. «Herzen et Proudhon», Paris, 1928, p. 91—92).

Стр. 192. *...отвечал высылкою 24000 фр. и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым...* — Герцен имеет в виду свое письмо от 27 августа 1849 г., которое цитирует далее в своем переводе с французского.

Стр. 193. *...15 сентября писал мне из Консьержери...* — Французский

текст и перевод цитируемого далее письма Прудона см. в ЛН, т. 62, стр. 497—500.

*Туаз* — старинная французская мера длины, равная приблизительно но двум метрам.

*Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром.* — Прудон руководил газетой «La Voix du Peuple», находясь в тюрьме, где он отбывал трехгодичное тюремное заключение по приговору от 28 марта 1849 г. Почти все это время (с 28 сентября 1849 г. до 20 апреля 1850 г.) Прудон содержался в тюрьме Сен-Пелажи в Париже. Он имел возможность принимать у себя в камере посетителей, читать газеты, писать и т. д. По его указаниям газету редактировали Даримон, Ш. Эдмон, Дюшен, Фор, Лагран и другие прудонисты.

Стр. 194. *Мой ответ на речь Донозо Кортеса...* — Герцен имеет в виду свою статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас», опубликованную в газете «La Voix du Peuple» 18 марта 1850 г. (см. т. VI наст. изд., стр. 351—359). Статья Герцена была ответом на речь испанского политического деятеля в Законодательном собрании в Мадриде 30 января 1850 г., в которой он представлял католицизм как единственное спасение от социализма и подвергал специальной критике учение Прудона, видя в нем крайнее воплощение всех отрицательных черт современной цивилизации.

*Раз я застал у него в С.-Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов.* — Поскольку данное свидание запечатлелось в памяти Герцена по критическим замечаниям, которые высказал в его присутствии д'Альтон-Ше в адрес «La Voix du Peuple», и по реакции Прудона на эту критику в виде решения написать статью, «чтоб загладить дурное действие» слабых последних номеров газеты, — встреча эта могла происходить либо в конце января, либо в самом начале февраля 1850 г., так как указанная статья Прудона «Vive L'Empereur!» была опубликована в «La Voix du Peuple» 5 февраля 1850 г.

Стр. 195. *...его «Vive L'Empereur!» был дифирамб иронии со страшной.* — Рассматривая в этой статье призывы ряда реакционных газет к государственному перевороту во имя стабильной диктаторской власти, Прудон иронически приглашал бонапартистов совершить такой переворот, заявляя, что он ничего не имеет против переворота, поскольку пролетариату от него нечего терять, а почти разоренная буржуазия не надеется сохранить даже то, что у нее осталось. Но — язвительно предупреждал Прудон бонапартистов — как только переворот свершится, народ потребует от Луи Наполеона отмены налогов, ликвидации долгов и ростовщичества, уничтожения засилья попов и иезуитов, революционной войны против европейских тиранов и т. д. Восприятие Герценом этой статьи только как «дифирамба иронии» было односторонним. В данном случае, как и в других, сказалось то, что Герцен не увидел в рассуждениях Прудона о последствиях бонапартистского переворота тех опасных иллюзий, какие в дальнейшем привели Прудона к заигрыванию с бонапартистами. Впечатление Герцена, что появление статьи Прудона связано с критикой газеты «La Voix du Peuple» со стороны д'Альтон-Ше, было обманчивым. Мысли этой статьи и даже ее формулировки Прудон вынашивал задолго до описываемого разговора. Уже 15 января 1850 г. он писал Даримону: «Ваша вчерашняя передовая хороша, только вместо того, чтобы страшиться государственного переворота, надо провоцировать его. <...> хотя кавардака, ну что ж: преобразование общества происходит либо нормальным путем, либо посредством хаоса — вам это безразлично. Пролетариату терять нечего, он может лишь все выиграть; буржуазия находит, что она недостаточно разорена, — вперед же, делайте государственный переворот» (P.-J. Proudhon. Correspondance, t. III, p. 86).

*Сверж нового процесса, правительство отомстило по-своему Прудону.* — Память Герцена не совсем точно сохранила относящиеся к этому эпизоду



факты. По поводу статьи «Да здравствует император!» власти действительно начали следствие и подвергли Прудона строгому режиму заключения. Но до нового судебного процесса над Прудонам дело не дошло, поскольку Прудон дал указание вести газету «шапо» и выступать против империи под лозунгом «ни красной, ни белой реакции». Кроме того, он обратился к парижскому префекту Карлье с просьбой не предпринимать против него нового судебного процесса, обещая впредь воздержаться от всякой критики правительства и посвятить себя всецело «научным проблемам». Но 19 апреля 1850 г., в разгар избирательной кампании по дополнительным выборам в Законодательное собрание, Прудон опубликовал в «La Voix du Peuple» статью под заглавием: «Выборы 28 апреля. К парижской буржуазии», в которой призвал парижскую буржуазию голосовать на предстоящих выборах за кандидата демократическо-социалистического блока, писателя Э.Сю. Прудон доказывал, что, голосуя за кандидатов реакции, буржуазия подорвет сотрудничество классов и вызовет опасность гражданской войны в стране, как в июньские дни 1848 г., но с той разницей, что на этот раз ее никто не поддержит. Власти использовали то, что в своей статье Прудон, между прочим, возложил на правительство ответственность за несчастный случай, произошедший накануне с одним пехотным батальоном, солдаты которого погибли во время перехода через реку Мэн в департаменте Анжер. Номер газеты со статьей Прудона был конфискован, против него были выдвинуты новые обвинения. На следующий день, 20 апреля, Прудон был переведен из Парижа в крепостную тюрьму Дулланс, в департаменте Соммы. Судебный процесс Прудона в связи со статьей «Выборы 28 апреля» состоялся 13 июня 1850 г., уже после закрытия властями газеты «La Voix du Peuple». Присяжные вынесли ему оправдательный приговор.

*Гонимый Прудон сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен.*— Речь идет о газете «Le Peuple de 1850», которую Прудон и его единомышленники издавали после закрытия газеты «La Voix du Peuple». Издание «Le Peuple de 1850» продолжалось недолго. № 1 газеты вышел 15 июня 1850 г., а 13 октября того же года газета прекратила существование.

*Последний раз я виделся с Прудонам в С.-Пелажи; меня высылали из Франции с два года тюрьмы.*— Описываемая Герценом встреча с Прудонам могла произойти лишь в июне 1850 г., точнее— в течение первых двух декад июня. До конца мая 1850 г. Прудон еще содержался в провинциальной тюрьме Дулланс и был отправлен оттуда в Париж не ранее 27 мая. Герцен, получивший 24 апреля 1850 г. распоряжение полиции о высылке из Франции, выехал около 20 июня из Парижа в Ниццу. В июне 1850 г. Прудону оставалось как раз 2 года из срока его заключения. Место данной встречи Герцен явно запамätовал и, вероятно, смешал с местом предшествующей своей встречи с Прудонам. Переписка Прудона дает возможность твердо установить, что с 20 апреля 1850 г. Прудон не находился в Сен-Пелажи; из Дулланс он был доставлен в тюрьму Консержерии, где содержался до 18 сентября 1851 г. (см. P.-J. Proudhon. Correspondance, t. III, p.p. 276, 277, 375, и t. IV, p.p. 55, 66, 77 и след.).

*...Кромвеля, смеющегося над Крупионом.*— Имеется в виду отношение Кромвеля к Долгому парламенту, созванному королем Карлом I Стюартом в начале буржуазной революции XVII в. и ставшему затем ее законодательным органом. После казни короля и провозглашения республики остатки Долгого парламента, прозванного в народе «огузком» (по фр. seigneur), утратили всякое политическое значение и были с позором разогнаны в 1653 г. Кромвелем.

Стр. 193. ...о несчастии, постигшем мою мать и Колю...— См, об этом в настоящем томе, стр. 272—278.

*...«Неужели судьба с многие считают каменною».*—

Герцен цитирует письмо П.-Ж. Прудона от 27 ноября 1851 г., полный текст которого в переводе Герцена был опубликован в *ПЗ*, 1859, кн. V, стр. 222—224 (см. также *Л* VI, 536—538).

...в 1851 году он был отослан в какую-то центральную тюрьму. — Здесь воспоминания Герцена делаются совсем неточными. В 1851 г. Герцен был в Париже в период с 8 по 25 июня. Прудон в это время попрежнему содержался в Консьержери и никуда оттуда не переводился до 18 сентября 1851 г., когда, по его просьбе, он снова был водворен в Сен-Пелажи (см. *P o u d h o n*. Correspondance, t. IV, p. 101). Режим заключения Прудона в Консьержери был тогда довольно либеральным: как и ряд других заключенных по делам печати, он пользовался правом свиданий с посетителями, и даже имел возможность выходить 2 раза в месяц в город «по домашним делам». Но во второй половине июня последняя льгота была временно отменена не только для Прудона, но и для других заключенных той же категории, и запрет этот оставался в силе до конца июля 1851 г. (см. Correspondance, т. IV, р. р. 77—78, письмо Прудона к министру внутренних дел Л. Фоше от 25 июля 1851 г. с просьбой возобновить разрешение на выход в город). Возможно, это обстоятельство и помешало новой встрече Герцена с Прудоном, поскольку добиваться свидания с ним в тюрьме Герцен тогда не мог.

*Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.* — Герцен был в Париже проездом, направляясь в Англию, и его пребывание во французской столице ограничилось 5 днями — с 20 по 25 августа 1852 г. Прудон, незадолго до того освобожденный из тюрьмы (5 июня 1852) после отбытия срока заключения, находился с семьей на родине, где отдыхал и лечился. О том, что Герцен должен был проехать через Париж, Прудон знал и имел свои виды на встречу с Герценом. В этот период Прудон настойчиво уговаривал Герцена вернуться во Францию, поселиться в Париже и участвовать в литературных предприятиях, которые Прудон затевал после своего освобождения, в том числе в журнале философско-экономического характера, который он намеревался издавать. Прудон видел тогда в бонапартистском перевороте осуществление «социальной революции» и, используя связи с бонапартистской верхушкой, брался добиться негласным образом для Герцена (и Ш. Эдмона) разрешения возвратиться во Францию. Еще не зная о твердом решении Герцена поселиться в Англии и рассчитывая, что вскоре он вернется оттуда обратно на континент и проедет через Париж, Прудон давал поручение своему наперснику Даримону повидаться с Герценом и постараться убедить его согласиться на предложение Прудона. «Если Герцен снова проедет через Париж по возвращении из Англии, — писал он Даримону в письме от 19 августа 1852 г., — постарайтесь удержать его там, убедив его в возможности отмены «высылки»» (*P.-J. P o u d h o n*. Correspondance, t. IV, p. 320). Повиданию, поручение Прудона пришлось с запозданием, и разговор Даримона с Герценом не состоялся.

*Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение «О справедливости в церкви и революции».* — Это надо понимать в том смысле, что предыдущие строки «Былого и дум» о Прудоне писались Герценом года за полтора до появления книги Прудона «О справедливости и т. д.», т. е. в конце 1856 или в начале 1857 г.

...одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы... — Книга Прудона «О справедливости в революции и в церкви» была по выходе в свет в 1858 г. конфискована, а он был привлечен к ответственности за «оскорбление духовенства и осквернение религии». Суд приговорил Прудона к 3 годам тюремного заключения. Прудон эмигрировал в Бельгию, где проживал до 1862 г.

Стр. 197. ...in medias res действительности... — Г о р а ц и й. «Ars poetica» (стих 149).

*Это будут новые каудинские фурукулы...* — В Кавдинском ущелье в 321 г. до н. э. римские войска были окружены самнитами и капитулировали.

Стр. 199. *...после короля-мещанина и мещанской республики...* — Подразумевается буржуазная монархия во Франции 1830—1848 гг. (Июльская монархия во главе с Луи Филиппом Орлеанским) и буржуазная республика 1848—1851 гг.

Стр. 200. *«Голландия не погибнет, — сказал Вильгельм Оранский — спустим плотину».* — Эпизод из истории нидерландской буржуазной революции XVI в., когда Нидерланды вели освободительную борьбу против испанского владычества.

Стр. 201. *...какую-то мандаринскую иерархию...* — Огюст Конт создал в 1848 г. «общество позитивистов», основавшее «позитивистскую церковь», проповедовавшую социально-политическую «реорганизацию человечества». Создание новой «позитивистской религии» обставлено было введением нового катехизиса, духовенства и церковной иерархии, подчинявшейся «первосвященнику» — О. Контю.

### Раздумье по поводу затронутых вопросов

Впервые опубликовано в Бид IV (стр. 287—300).

---

Стр. 202. *«Былое и думы», т. III. «По поводу одной драмы».* — Герцен ссылается на изд. «А. И. Герцен. „Былое и думы“, том третий, Лондон, 1862» (см. текстологический комментарий, т. VIII, стр. 439). «По поводу одной драмы» было впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1843, № 8 (см. т. II наст. изд., стр. 49—72).

Стр. 207 — 208. *...Наполеон ∞ уговаривал Камбасереса прибавить ∞ фразу, моральную ∞ слушаться его.* — Герцен имеет в виду известные статьи о семье и браке в Гражданском кодексе Наполеона (1804); в разработке этого кодекса принимал участие Камбасерес, руководствовавшийся во многих случаях указаниями Наполеона.

Стр. 209. *...чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы...* — Согласно мифу, Геркулес в наказание за убийство Имфита, сына царя о-ва Эвбеи, по повелению богов был продан в рабство царице Лидии Омфале. Очарованный ею, он позабыл о своей воинственности и сложил у ног царицы свою боевую палицу.

*...и звать от десятка Леон-Леони...* — Герой романа Жорж Санд «Leone Leoni».

### Глава XII

Впервые опубликована в Бид IV (стр. 301—310).

---

Стр. 213. *(«Письма из Франции и Италии», письмо XIV, 31 дек. 1851)* — См. т. V наст. изд., стр. 210.

Стр. 218. *...восстание в Вар было очень сильное...* — После государственного переворота Луи-Наполеона, совершенного 2 декабря 1851 г., вспыхнули вооруженные восстания в ряде департаментов Южной и Центральной Франции, в том числе и в департаменте Вар. Их основными участниками были ремесленники и рабочие городов и местечек, крестьяне. Восстание было быстро подавлено из-за отсутствия общего руководства.

Впервые опубликована полностью в Л XIII (стр. 482—499) как глава XLIII. Два отрывка из этой главы впервые напечатаны в ПЗ на 1856 г. как главы III и IV «Западных арабесок»: «III. Приметы.» — стр. 178—184, «IV. Тифоидная горячка» — стр. 185—187. Перепечатаны в БиД IV: «Приметы» как глава IV (стр. 47—55), «Тифоидная горячка» как глава V (стр. 55—58), с небольшими текстовыми изменениями. Последние страницы главы (от слов: «...В первые времена моей юности» до слов «разных возрастов и воспитаний» — стр. 238, строка 4 — стр. 239, строка 24) впервые опубликованы (как цитата из рукописи) в л. 148 «Колокола» (от 22 октября 1862 г.) в пятом «письме» «Концов и начал» с подстрочным примечанием: «Из ненапечатанной части „Былого и дум“».

В списке А, по которому глава I воспроизводится в настоящем издании, в конце главы пометка: «Писано в 1857 году».

Текст «Примет» и «Тифоидной горячки» расположен в списке А следующим образом. После цитаты из письма Н. А. Герцена (стр. 225, строка 22) идут параллельно два текста, разделенные горизонтальной волнистой чертой. Над чертой идет дальнейший текст (до стр. 228, строка 32). Под чертой после ссылки на «Западные арабески» идет текст «Примет» и «Тифоидной горячки», публиковавшийся в ПЗ и в БиД IV: «Реакция торжествовала ∞ нашла, наконец, своего барина!» (стр. 228, строка 34 — стр. 235, строка 14). В настоящем издании принято не параллельное, а последовательное расположение этих двух отрывков. Основанием для этого служит композиция главы I «Рассказа о семейной драме» в издании М. К. Лемке, опиравшегося на записку Герцена Огареву от 1869 г., с подробным перечнем частей и глав и с указаниями на источник текста; позднейших свидетельств самого Герцена, опровергающих эту композицию, нет. Законно такой композиции главы I подтверждается и списком В, в котором тексты «Примет» и «Тифоидной горячки» отсутствуют, но ссылка на них дана именно там, где начинается в Л XIII текст «Примет».

В тексте «Примет», идущем под волнистой чертой в списке А, в настоящем издании опущен начальный абзац перед словами «Реакция торжествовала...» (стр. 228, строка 34), повторяющий абзац в тексте над чертой со следующим отличием. После слов: «отголосок всего пережитого» (стр. 225, строка 23) в абзаце под чертой идет: «последний след потерянных верований, замененных страшными воспоминаниями». Разночтения между текстом «Примет» и «Тифоидной горячки» в списке А и текстами в ПЗ и в БиД IV приводятся в разделе «Варианты».

Стр. 221. «Так много понимать ∞ развей эту способность». — Герцен цитирует неточно письмо Натальи Александровны к Н. П. Огареву от 24 декабря 1846 года. Курсив принадлежит Герцену. Письмо хранится в ЛБ. Полностью письмо было опубликовано в сб. «Русские прописи», т. I, М., 1915, стр. 239—240 и в Л IV, стр. 440—441.

...остатки журнала ∞ приложенного в другом месте... — Герцен не указал то место, где он предполагал поместить дневник Натальи Александровны. Дневник был опубликован в указанном выше сб. «Русские прописи», стр. 233—238, а также в Л IV, стр. 435—440 и хранится в ЛБ. Дневник относится к концу 1846—началу 1847 гг. (дата первой записи — 25 октября 1846 г., последней — 10 января 1847 г.).

Женщина ∞ ушла далее других. — Имеется в виду Е. Б. Грановская.

Стр. 222. «Трех полных месяцев ∞ на усмирение». — Неточная цитата из письма девятого из «Писем из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 132).

Повторю несколько строк, писанных мною через месяц.— Герцен цитирует далее, с небольшими изменениями, главу «После грозы» из книги «С того берега» (см. т. VI наст. изд., стр. 40—44).

Стр. 226—227. ...«Мне надоели китайские тени ∞ и я воскресаю во всей силе...» (21 ноября 1848) ∞ а остальное все пустяки...— Герцен приводит отрывки из письма Н. А. Герцена к Н. А. Тучковой. На автографе письма рукою А. И. Герцена поставлена дата «21 декабря 1848 г.», когда письмо было отправлено. Письмо опубликовано в сб. «Русские прописки», т. I, М., 1915, стр. 254—257. Цитируемые далее Герценом письма к Н. А. Тучковой см. там же, стр. 261—262. Письма хранятся в ЛБ.

Стр. 227. Отчего ж на свет...— «Дума сокола» А. В. Кольцова. У Кольцова: «Для чего ж на свет...»

Стр. 229. М<ария> Ф<едоровна>— Корш.

...лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.— Имеется в виду картина художника Т. Кутюра «Romains de la décadence» («Римляне времен упадка»).

Стр. 232. ...nel mezzo del cammino di nostra vita...— Первый стих «Божественной комедии» Данте («Ад»).

Стр. 233. Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen...— Строки из стихотворения Шиллера «Resignation» («Отречение»).

Стр. 236. ...с лишком пять миллионов голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона.— 10 декабря 1848 г. на президентских выборах Луи Бонапарт, племянник Наполеона I, получил подавляющее большинство голосов (свыше 5,5 миллионов из 7,7).

Стр. 237. ...на своем историческом театре ∞ Дюма.— В феврале 1847 г. А. Дюма (отец) основал Исторический театр («Théâtre Historique»).

...А. Дюма уже выводил Июньские дни ∞ на сцену.— Драма А. Дюма и А. Маке «Катилина» была поставлена на сцене Théâtre Historique 14 октября 1848 г. Латиклава—туника, которую носили римские сенаторы.

Стр. 238. ...В первые времена моей юности...— Это вступление было впоследствии процитировано Герценом, со многими стилистическими изменениями, в «Концах и началах» (письмо пятое, датированное 15 октября 1862 г.).

...ряд исторических сцен в том же роде ∞ разбирал обер-полицеймейстер Цынский.— На допросе следственной комиссии 24 июля 1834 г. Герцен, наряду с другими своими сочинениями, назвал и начатые им «сцены из развития христианской религии». Это сочинение Герцена до настоящего времени остается неизвестным (см. т. I наст. изд., стр. 536).

## II

Впервые опубликована в Л XIII (стр. 500—511) как глава XLIV.

Стр. 240. За несколько дней до 23 июня 1848 ...— 23 июня 1848 г. в Париже началось рабочее восстание, жестоко подавленное генералом Л.-Э. Кавеньяком.

...баденский поход...— В ночь с 23 на 24 апреля 1848 г. восемьсот революционных эмигрантов, образовавших так называемый «немецкий демократический легион», возглавленный Гервегом, перешли через Рейн, намереваясь оказать военную помощь баденскому восстанию. Этот поход,

против которого открыто выступал Маркс (см. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения, т. VI, ч. 1, 1930, стр. 489), закончился полным провалом. 27 апреля эмигрантский батальон вступил в бой с превосходящими силами вюртембергских правительственных войск и после непродолжительного, но ожесточенного сражения вынужден был отступить. Почти половина всего легиона была захвачена в плен. Неудача похода роковым образом сказалась на репутации Гервега, которого немецкая эмиграция в Париже, повидимому без достаточных оснований, обвиняла в трусливом поведении на поле боя, а также в различных злоупотреблениях. Сообщаемые далее Герценом подробности о баденском походе почерпнуты им из того же недостоверного источника.

...Огарев дал мне письмо к Г<ервегу>. — Это письмо остается неизвестным.

Осенью 1847 я уехал в Италию. — Герцен покинул Париж 21 октября 1847 г. (ЛВ, стр. 173) и возвратился 5 мая 1848 г. (см. т. V наст. изд., стр. 133).

Стр. 241. ...своих «Амуров и Купидонов» — не крепостных, а бронзовых. — Герцен шуточно намекает на стихи из монолога Чацкого (А. С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума», действие II, явление 5), в котором описывается разорение владельца крепостного театра и распродажа его актеров:

«Амуры и Зефиры все  
Распроданы поодиночке!!!»

Стр. 243. ...политические песни Г<ервега>. — Первая и вторая книги стихотворений Гервега «Gedichte eines Lebendigen», вышедшие в Цюрихе в 1841—1843 гг.

...«Vive la République!» — В книге «Gedichte eines Lebendigen» Гервега есть стихотворение с французским названием «Vive la République», каждая строфа которого заканчивается этим же восклицанием на французском языке.

...жил банкир. — Зигмунт, будущий тесть Гервега.

Стр. 244. Clos de Vougeot — марка французского виноградного вина.

Жить у Фолена — сказать спасибо. — Подружившись с поэтом Августом Фолленом, Гервег продолжительное время прожил в его доме в Цюрихе. Семья Фолленов оказывала Гервегу значительную материальную и моральную поддержку и помогла ему выпустить в свет его первую книгу стихов. Отец А. Фоллена приходился К. Фогту, о котором упоминает здесь Герцен, дедом по матери.

Стр. 246. Armée du Rhin — французская революционная армия, которая была расположена в 1790-х годах в Страсбурге.

...на боевом коне, о котором он мечтал в своих стихах... — Герцен, вероятно, имеет в виду следующие строки из стихотворения Гервега «Der Freiheit eine Gasse!» (книга «Gedichte eines Lebendigen»):

«O wär ich solch ein Ritter,  
Auf stolzem Roß von schnellem Huf,  
In schimmernden Kürasse,  
Zu sterben mit dem Donneruff!  
Der Freiheit eine Gasse!»

Unter den Linden — главная улица в Берлине.

Стр. 247. ...баденский герцог или вюртембергский король... — Великий герцог баденский — Леопольд; вюртембергский король — Вильгельм I.

...храбрые люди, как Геккер, как Виллих ∞ не побежали с поля сражения... — Видные деятели германской революции Фридрих Геккер и Август Виллих руководили военными действиями революционных баденских войск. Им также пришлось отступить под напором превосходящих сил противника.

Стр. 248. *Шпандау и Раштадт* — крепости, служившие местом заключения для многих революционеров. Первая из них находилась вблизи Берлина, вторая — в Великом герцогстве Баденском.

...скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. — По мнению биографов Гервега, это утверждение не соответствует действительности.

...напечатала в защиту мужу брошюру... — Изданная Эммой Гервег брошюра (под псевдонимом «Государственная преступница»): «Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris», Grünberg, 1849.

Стр. 249. «...Я знаю жалкую слабость моего характера ∞ к ближнему моему сердцу». — Цитируемое письмо Гервега к Герцену остается неизвестным.

### III. Круги сердца

Впервые опубликована в ЛХIII (стр. 512—517) как глава XLV.

Стр. 252. «Провансальские братья» — дорогой парижский ресторан.

Стр. 253. ...я поехал из Цюриха в Париж ∞ остановленных русским правительством. — См. примечание к стр. 117.

Стр. 254. *Письмо мое...* — Это письмо Герцена от 9 января 1850 г., как и ряд других писем Герцена к жене, упоминаемых и цитируемых им далее, неизвестно, что ниже особо не оговаривается.

Стр. 255. *Встреча наша в Париже...* — Эта встреча состоялась 26 или 27 января 1850 г. (см. письмо Герцена к Гервегу от 27 января 1850 г.).

Стр. 256. *Письма его ко мне, сохранившиеся у меня...* — Двадцать писем Гервега к Герцену за период с декабря 1849 по июль 1850 г. напечатаны во французском подлиннике и в русском переводе в Л XIV, стр. 34—89.

«Оставь нас, гордый человек ∞ свободы!» — Неточная цитата из пушкинских «Цыган». У Пушкина:

Оставь нас гордый человек!

Ты для себя лишь хочешь воли...

Эти строки Герцен напомнил Гервегу в своем письме от 31 декабря 1849 г.

Стр. 257. ...Меня выслали из Парижа... — Об обстоятельствах этой высылки Герцена из Парижа см. подробно в главе XXXIX.

...один русский лекарь, бывший проездом в Ницце... — О ком здесь идет речь, установить не удалось.

...рождение Ольги. — О. А. Герцен родилась 20 ноября 1850 г.

### IV. Еще год

Впервые опубликована в Л XIII (стр. 518—526) как глава XLVI.

Стр. 258. ...акварель, который она заказывала живописцу Guuot. — См. воспроизведение этой акварели в ЛН, т. 61, стр. 323. Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно. Фамилия художника Жака Гио (Guiaud) приведена Герценом в искаженном виде.

Стр. 260. ...читал ли он «Ораса» Ж. Санд.— Как явствует из письма Гервега к Ж. Санд, роман «Орас» был ему известен «до последней строчки» еще в 1842 г. (см. V. Fleury. Le poète Georges Herwegh, P., 1911, p. 74). В герое романа, самовлюбленном, бездушном буржуа, Герцен находил большое сходство с Гервегом (см. «Première lettre» и «Оба лучше» в т. XII наст. изд.).

Стр. 261. *Частью из письма Гаугу, писанного в марте 1852.* — Речь идет об ответе Герцена (без даты) на письмо Э. Гауга от 10 марта 1852 г.

Стр. 265. «*Lieber H(erzen) ∞ на несколько дней*». — Это письмо Эммы Гервег к Герцену неизвестно.

Стр. 266. ...*Сатурновой косы.* — Т. е. смерти.

## V

Впервые опубликована в LXIII (стр. 527—530) как глава XLVII.

Стр. 269. ...*поехал в Париж...* — Герцен выехал из Ниццы в Париж 3—4 июня 1851 г. В Париж он прибыл 8 июня и оставался там до 25 (см. письма его к жене от 5 и 9 июня и к сыну Александру от 25 июня 1851 г.).

...*я встретил в Женеве Сафонова.* — 28 июня 1851 г. — Герцен в тот же день сообщил об этом жене.

Стр. 270. ...*в этом дурном письме.* — Письмо к жене от 28 июня 1851 г.

## VI. Осеано пох. (1851)

Первый раздел главы впервые опубликован в БИД IV (стр. 311—319); второй — в ПЗ на 1859 г. (стр. 152—159), перепечатан в БИД IV (стр. 320—328). Примечание, относящееся в ПЗ ко второму разделу, в БИД IV отнесено к началу главы. В списке А текст гл. VI отсутствует, но в конце гл. V имеется пометка: «VI. Осеано пох и Турин напечатано в IV „Былого и дум“». На основании этой пометки текст гл. VI воспроизводится в настоящем издании по БИД IV.

Имеется черновой автограф первого раздела главы (см. раздел «Варианты»). Две части этого автографа хранятся порознь в ЦГАЛИ («празжская коллекция»). Текст первого отрывка начинается с заглавия «I. Летом. [Пролог. (1851)]» (стр. 271, строка 3) и кончается словами: «и я старался разогнать ∞ больно и тяжело...» (стр. 275, строка 10; см. также «Варианты», стр. 427, строка 26). Во втором отрывке автографа текст начинается словами «— Святое время примиренья...» (стр. 275, строка 11) и кончается словами «и снова разбил все надежды» (стр. 275, строка 38; см. также «Варианты», стр. 427, строка 49). Перед текстом «— Святое время примиренья...» в левом верхнем углу листа пометка Герцена: «большая аlinea». Таким образом, текст одного отрывка автографа является непосредственным продолжением другого. Это подтверждается и авторской нумерацией и совершенно одинаковыми карандашными пометками (технического характера) на обеих частях автографа, уточняющими написание слов.

Сохранилась также корректура второго раздела главы VI («празжская коллекция», ЦГАЛИ). На полях первой страницы корректуры рукою Герцена написано начало: «II. Осенью. ∞ бури были назади» (стр. 276, строки 1—7). В корректуре есть несколько случаев корректорской правки и пометки издательского характера.

В ЦГАЛИ также хранится черновой автограф «подстрочного замечания», не включенного автором в печатный текст главы VI (см. раздел «Другие редакции»).



Стр. 271. *«Осеано пох»* — заглавие стихотворения В. Гюго из его книги *«Les Rayons et les Ombres»*. Гюго заимствовал для этого названия окончание одного стиха из *«Энеиды»* Вергилия.

*Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 — в «Записках» Орсини...* — Герцен говорит о следующих строках из «Воспоминаний» Феличе Орсини о гибели матери и сына Герцена, утонувших 16 ноября 1851 г.: «Горе не миновало и семьи Герцена, потерявшего свою мать и восьмилетнего сына вместе с его воспитателем, которые погибли на борту парохода, пошедшего ко дну моря вблизи Ниццы. В течение нескольких дней Герцен не мог прийти в себя. Это — высококультурный и образованный русский эмигрант с чрезвычайно либеральными взглядами, с глубокими познаниями в социальных науках, прекрасный писатель и чрезвычайно щедрый человек» (Феличе Орсини. Воспоминания, стр. 162).

Стр. 272. *Я приехал в этот же день утром из Парижа...* — Ошибка: из Женевы.

Стр. 273. *«В Турине ∞ страшных событий...»* — Герцен неточно цитирует (в русском переводе) свое письмо к Э. Гаугу от марта 1852 г.

Стр. 274. *«...После страданий ∞ как теперь», — писала она ∞ в Россию.* — Из письма Н. А. Герцен к Н. А. Тучковой от 2—22 марта 1852 г., писанного рукой Герцена (см. Л XIV, стр. 90—91).

*Не надобно быть Макбетом, чтоб встретить с тенью Банко...* — Герою трагедии Шекспира, королю Макбету, по приказу которого был убит Банко, последний явился в виде привидения (акт III, сцена 1).

Стр. 275. *...одно длинное письмо и одна страничка уцелели.* — Герцен, вероятно, имеет в виду одно из писем Н. А. Герцен к М. К. Рейхель и план автобиографии Натальи Александровны (см. ЛН, т. 63).

Стр. 276. *Dans une ter...* — Из стихотворения В. Гюго *«Осеано пох»*. М. К. — Мария Каспаровна Рейхель.

*...письмо от моей матери ∞ потом другое из Марселя...* — Эти письма неизвестны.

Стр. 277. *Племянница моей матери* — Луиза Цабель.

*...горничная, ходившая за Колей.* — Адельгейда Меасгалер.

Стр. 279. *Тогда я писал...* — Далее следует неточная цитата из пятого письма «Писем из Франции и Италии» (см. т. V наст. изд., стр. 73—74).

Стр. 281. *Nul ne sait...* — Цитируется *«Осеано пох»* В. Гюго. Последняя строка у Гюго:

Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus...

## VII. 1852

Впервые опубликована в LXIII (стр. 542—552) как глава XLIX.

Стр. 283. *Парижское в т о р о е д е к а б р я ...* — См. примечание к стр. 148.

Стр. 284. *...я как-то утром...* — 28 января 1852 г. (см. Л XIV, стр. 91).

Стр. 285. *...он жил на содержании ∞ разгульной женщины...* — В письме к М. К. Рейхель от 30 июня 1852 г. Герцен назвал фамилию этой женщины, сообщая, что Гервег «живет на хлебах у г-жи Кох, вроде наемного фаворита».

Стр. 286. *...я писал Сазонову ∞ помочь.* — Письмо от 15 февраля 1852 г.

*Феодалный поединок стоит твердо...* — Высказываемые далее аналогичные мысли о дуэли см. в дневнике Герцена (запись от 22 сентября 1843 г.) и в его статье «Несколько замечаний об историческом развитии «честь» (см. т. II наст. изд., стр. 307 и 151—176).

Стр. 288 ...я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г<ерве-гу> ∞ Козену.— Текст письма, датированного «Генуя, 23 июля 1852 г.», таков (в переводе с итальянского): «Мы, нижеподписавшиеся, будучи приглашены г. Герценом (дружбою которого мы гордимся, вследствие его выдающихся достоинств) высказать свое мнение относительно столкновения его с г. Гервегом, сим заявляем, что, отвергнув при данных обстоятельствах дуэль с г. Гервегом, Герцен поступил согласно нашим убеждениям». Письмо подписано Энрико Козенцем, Карлом Пизакане, Дж. Медичи, Луиджи Меццокаппо, Агостино Бертани и Камилло Больдони (см. Л VII, 81—82). К этому заявлению вскоре присоединились Феличе Орсини и Антонио Мордини (там же, стр. 82—84).

...и начал письмо к Маццини.— Это письмо неизвестно.

...е м и ч е с к и й с у д...— Тайное уголовное судилище в средневековой Германии.

Маццини тотчас отвечал.— Упоминаемое письмо Маццини неизвестно.

Стр. 289. Гауг ∞ дрался под Римом.— Гауг участвовал в боях с французскими интервентами, захватившими в 1849 г. Рим,— в составе итальянских революционных войск, под командованием Гарибальди.

«Вы покинули родину ∞ русский революционер не падет!»— Герцен цитирует в очень неточном переводе с немецкого письмо Э. Гауга от 10 марта 1852 г. См. полную перепечатку этого письма в Л VII, стр. 41—44.

Русский поэт — А.С. Пушкин.

В ответ я написал Гаугу длинное письмо.— Письмо без даты от середины марта 1852 г.

Стр. 290. ...в письме М<ариу> К<аспаровны>...— Это письмо М.К. Рейхель неизвестно.

Я отогнул в письме то место и показал ей...— Английский перевод этого письма Гервега, частично сохранившегося в черновом виде в его записной книжке, воспроизведен Карром в его работе «Романтические изгнанники» (см. Е. Сагг. The romantic exiles. London, 1933, p. 108—109).

## VIII

Впервые опубликована в ЛХIII (стр. 553—561) как глава L под названием «Смерть», отсутствующим в списке А и в двух остальных.

Сохранился черновой автограф (ЛБ), озаглавленный «3 мая 1855» и представляющий собою раннюю редакцию главы VIII, а также авторизованная копия (ЛБ), снятая с этого автографа Н. А. Тучковой-Огаревой, с правкой Герцена (см. раздел «Другие редакции» и варианты к нему).

Стр. 298. Младенец родился к утру.— 30 апреля 1852 г.

И пусть у гробового входа...— Из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

Стр. 299. ...до приезда моей Natalie...— Н. А. Герцен с нетерпением ожидала приезда своей горячо любимой подруги — Натальи Алексеевны Тучковой, которой в случае смерти хотела поручить воспитание детей.

Стр. 301. ...она упала, как вещь.— См. примечание к стр. 123.

## П Р И В А В Л Е Н И Е

### Г а у г

Впервые опубликовано в ЛХIII (стр. 562—571). В списке А перед названием «Гауг» стоит: I.

Стр. 305. *Гауг и Тесье явились одним утром...*—1 июля 1852 г. (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 8 июля 1852 г.).

Стр. 307. *Я тогда был в Лугано.*— Герцен находился в Лугано с конца июня по 13 июля 1852 г. (см. письма Герцена к М. К. Рейхель от 26 июня и 11—13 июля 1852 г.).

*...в и к а р и й империи.*— См. примечания к стр. 165 и 171.

Стр. 309. *В самый день моего приезда...*— 14 июля 1852 г. (см. письмо Герцена к М. К. Рейхель от 11—13 июля 1852 г.).

*...решился к нему написать длинное послание...*— Это письмо Герцена к Гаугу остается неизвестным.

Стр. 310. *...в «Цюрихской газете» появилась статья Гервега с его подписью.*— Герцен излагает содержание не первого письма Гервега в редакцию газеты «Neue Zürcher Zeitung» от 18 июля 1852 г. (Л XIV, стр. 112—113), а второго письма от 6 августа, явившегося ответом на письмо в редакцию Тесье дю Моте (см. следующее примечание). Перепечатку этого письма Гервега см. в LVII, стр. 112—115.

*Гауг и Тесье тотчас поместили ∞ рассказ дела.*— Письмо Тесье дю Моте появилось в «Neue Zürcher Zeitung» 27 июля 1852 г.— см. в Л XIV, стр. 117—119.

*К их объяснению ∞ значительную сумму.*— Письмо Герцена в редакцию от 25 июля 1852 г. см. в т. VII наст. изд., стр. 380.

Стр. 311. *На это Г<ервег> возразил ∞ ни копейки...*— В упомянутом выше письме, напечатанном в «Neue Zürcher Zeitung» 6 августа 1852 г., Гервег писал, что ему у Герцена «было бы морально-невозможно сделать заем», когда он «имел все, в чем нуждался» (LVII, 118).

*...какой-то доктор из Цюриха...*— Франсуа Вилле. Письмо его к Герцену от 7 июля 1852 г. см. в Л XIV, стр. 119—122.

*Я отвечал через Гауга...*— Отказ Герцена драться на дуэли с Гервегом был сообщен доктору Вилле группой эмигрантов в письме из Люцерна от 18 июля 1852 г. (см. Л VII, стр. 79—80).

*Что касается до Р. Вагнера...*— Герцен излагает содержание письма к нему Рихарда Вагнера от 30 июня 1852 г. (см. Л XIV, стр. 121—124).

*Письмо Вагнера в приложении.*— Герцен намеревался дать в приложении письма свидетелей его «семейной драмы».

Стр. 312. *...смотрели на лондонский туман...*— Герцен с сыном прибыл в Лондон 24 августа 1852 г. (см. его письмо к М. К. Рейхель, написанное в этот же день).

*Голова Орсини, окровавленная, скатилась с эшафота...*— См. примечание к стр. 67.

*...библиотекарем в Люксембургском дворце.*— В старинном Люксембургском дворце в Париже помещается французский сенат.

## РУССКИЕ ТЕНИ

И. Н. И. Сазонов

Впервые опубликовано в БИД IV (стр. 329—358).

Стр. 315. *Этот очерк принадлежит к XXXIV главе, стр. 12.*— Герцен ссылается на том IV «Былого и дум» (Женева, 1867).

*...его речи в Праге, его начальство в Дрездене ∞ равелина...*— На Славянском конгрессе в Праге, состоявшемся 3—12 июня 1848 г., Бакунин выступал с призывом к освобождению Польши, уничтожению Австрийской империи и объединению славянских народов во всеславянскую федерацию. В мае 1849 г. Бакунин участвовал в саксонском демократическом

народном восстании и руководил баррикадной борьбой в Дрездене. При подавлении этого восстания Бакунина был схвачен, приговорен к смертной казни, затем передан австрийским властям, которые, в свою очередь приговорив Бакунина к смерти за участие в пражском восстании 12—17 июня 1848 г., выдали его царскому правительству.

Ст р. 316. *Но здесь, под знаменем власти царской...*—Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К портрету Чаадаева».

*...послужив 8 года два в московском гегелизме...*— Герцен шутиливо называет так годы жизни Бакунина в Москве (1835—1840), когда он страстно увлеклся гегелевской философией и рьяно проповедовал ее в кружке Станкевича.

Ст р. 317. *...еще одного студента.*— Н. М. Сатина.

Ст р. 321. *Потомок Карла Великого — Сен-Симон...*— Сен-Симон происходил из старинного аристократического рода герцогов Сен-Симон, считавших себя потомками Карла Великого.

*...Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию.*— После ареста Герцена и Огарева в 1834 г. мать Сазонова, опасаясь, что и он может подвергнуться репрессиям, добилась для него разрешения уехать за границу. Путешествие Сазонова по Германии, Швейцарии и Италии продолжалось в течение 1835—1836 гг. Осенью 1836 г. Сазонов вернулся в Россию.

Ст р. 322. *...уехал в Париж без определенного плана.*— Сазонов уехал из России в конце 1830-х гг., наезжал на родину в 1842—1843 гг. и после этого в Россию не возвращался.

*Café Anglais* — известное парижское кафе.

Ст р. 323. *...как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации...*— О встречах с деятелями польской централизации после своего приезда из России и о разногласиях с ними Герцен рассказывает в главе «Польские выходцы» (часть VI «Былого и дум», см. т. XI наст. изд.).

Ст р. 324. *...переговорить с Служальским или Хоткевичем о границах Польши и России...*— Имеются в виду споры, которые возбуждало требование части польских деятелей, преимущественно из аристократического и шляхетского лагеря, о восстановлении польского государства в границах 1772 г., т. е. с возвращением под власть Польши украинских и белорусских земель, отошедших к России по первому разделу Польши.

*...перед гиперборейскими Анахарсисами.*— В греческой мифологии гиперборейцами называлось сказочное племя, живущее на краю света. Анахарсис — скиф, побывавший в Афинах во времена Солона и приобретший там репутацию одного из величайших мудрецов.

*...лаццарони литературной Киаи...*— Киаия — набережная в Неаполе, служившая обычным местом скопления лаццарони.

Ст р. 325. *...из товыяницяны...*— См. примечание к стр. 41.

*Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution...*— Имеются в виду войска союзников по войне против наполеоновской империи в 1814—1815 гг.—России, Англии, Австрии, Пруссии и др., победоносно вступившие в Париж.

*...Беранжеросы песни с припевом: «Vive la réforme», невзначай переменившимися в «Vive la République'»*—Популярность во французском народе известных социально-политических песен Беранже, обличавших феодально-католическую и денежную аристократию, выражала к концу Июльской монархии назревание революционного кризиса в стране. Лозунг буржуазной оппозиции об избирательной и парламентской реформе на первых порах использовался в качестве боевого клича движения и демократическими силами; в февральские дни 1848 г. по мере развития восстания этот лозунг сменялся лозунгом республики.

Ст р. 326. *...перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма.*— Герцен отмечает полную неспособность этих гегель-

янцеv выйти за рамки реакционной системы гегелевской философии. Особенно характерна оценка младогегельянца А. Руге, являвшегося после революции 1848 г. одним из столпов немецкой буржуазно-демократической эмиграции. Руге стал ярким противником К. Маркса, с которым в 1844 г. он издавал «Немецко-французский ежегодник». Разрыв Маркса с Руге произошел из-за проявленного Руге враждебного отношения к немецкому рабочему движению.

...поговорить в кафе с истариком «Десяти лет»... — Подразумевается Луи Блан, автор работы по истории первых десяти лет существования Июльской монархии (1830—1840) — «История десяти лет».

Стр. 327. ...заявлял о в единую и нераздельную республику. — Герцен, повидимому, хотел сказать, что Сазонов уверял его в том, что созданная во Франции в результате февральской революции республика в своем развитии и размахе не уступит якобинской республике 1792 — 1794 гг. Официальное название последней было: «Французская республика — единая и нераздельная».

Бакунина не было: он уже уехал п о д н и м а т ь западных славян. — Вскоре после февральской революции 1848 г. Бакунин уехал из Франции в Германию, где занялся пропагандой идеи освобождения западных славянских народов от прусского и австрийского гнета и их объединения в «славянскую федерацию».

Стр. 328. В их числе был австрийский лейтенант при Месенгаузере. — Э. Гауг, бывший во время венского восстания в октябре 1848 г. начальником штаба вооруженных сил, оборонявших под командованием Месенгаузера Вену от войск австрийского императора.

Стр. 329. ...не сделала никакого впечатления. — Данная статья Н. И. Сазонова не найдена и остается неизвестной.

...летом 1848 заявил Сазонов международный клуб. — Герцен, как видно, имеет в виду клуб «Fraternité des Peuples», созданный представителями демократической эмиграции разных стран в Париже. Сазонов играл весьма активную роль в этом клубе, но он не был его главой. В произведении «О развитии революционных идей в России» Герцен сам называет председателем этого клуба Головина (см. т. VII наст. изд., стр. 406). По другим данным, председателем клуба «Fraternité des Peuples» был Ребсток (Rebstock). (См. Rapport de la Commission d'enquête sur l'insurrection qui a éclaté dans la journée du 23 juin, etc., P., 1848, t. II, p. 102, а также A. Lucas. Les clubs et les clubistes, P., 1851, p. 154).

...называл исполнительную власть potence exécutive... — Искажение словосочетания «pouvoir exécutif» — исполнительная власть.

Стр. 330. ...Сазонов пристроился в воскрешенной тогда маццинистами «Реформе». — Газета «La Réforme», закрытая после событий 13 июня 1849 г., возобновила свой выход в 1850 г., благодаря внесенному за нее эмигрантами — маццинистами залого в 25 тысяч франков. Сазонов редактировал в этой газете иностранный отдел.

Ламенне, вспомнив привычки клерикальной юности своей... — Ламенне был до 1834 г. духовным лицом — аббатом. В период реставрации Бурбонов он принадлежал к числу клерикальных публицистов ультрамонтанского направления.

## II. Энгельсоны

Впервые опубликовано в БИД IV (стр. 359—412).

Сохранился автограф (см. «Варианты»), разные части которого находятся в ЛБ, ЦГАЛИ («празжская коллекция») и в архиве редакции ЛН («софийская коллекция»). Автограф ЛБ содержит текст «Времяшло на ее лице...» (стр. 350, строка 1 — стр. 363, строка 9). В автографе ЦГАЛИ текст продолжается с того же самого места, на котором он прерывается

в автографе ЛБ: «наш малютка ∞ не идет» (стр. 363, строки 9—30). Автограф из «софийской коллекции» содержит текст «ему оставалось ∞ от m-те Энгельсон. (1865)» (стр. 364, строка 14 — стр. 370, строка 8).

В автографе ЛБ на л. 8 об. имеется пометка Герцена: «Сюда письмо В. В.». Текст самого письма (стр. 354, строка 27 — стр. 356, строка 26) в автографе отсутствует. Подлинник письма Энгельсона хранится также в ЛБ. В тексте БИД IV письмо Энгельсона напечатано с купюрами и с некоторыми изменениями сравнительно с подлинником. Основные купюры: 1) после текста «...что вы не помните этих слов» (стр. 355, строка 28) в письме Энгельсона — «что, должно быть, в немецком тексте ваша мысль искажена переводчиком. Нет, перевод верен: я сличил оба текста.»; 2) после слов «un bout de chemin» (стр. 356, строка 23) — «в цюрихском деле»; 3) после слов «но не делом» (стр. 356, строка 26) — «тем более, что, по моему убеждению, всякое дальнейшее дело для вас и для детей ваших было бы пагубно. А потому, если вам нужно помощников, то, рассчитывая на меня напрасно, не давайте отпусков людям, более меня готовым принимать дальнейшее участие в цюрихском деле. Мне больно это вам написать, но нужно — для моей чести». На л. 16 под текстом помета: «По печат<ному?> Справа по Альманаху <?> Осн. рук. <?>».

Стр. 335. ...лицеист... — Энгельсон учился в Царскосельском лицее, который покинул в 1839 г., не окончив его. Герцен далее ошибочно указывает, что Энгельсон был исключен из лицея. Никаких данных, подтверждающих это, у нас нет.

... был замешан в деле Петрашевского... — В середине 1840-х годов Энгельсон начал посещать собрания кружка Петрашевского. 4 августа 1849 г. Энгельсон был арестован по делу этого общества, но за недостатком улик был вскоре выпущен как «неприкосновенный к делу». Впоследствии он дал описание деятельности кружка в статье «Петрашевский» (1851). Впервые напечатана в «La Revue Bleue», 1908, № 13—14. На русском языке — ЛВИ, стр. 502—519 (см. комментарий в т. VII наст. изд., стр. 411).

... гнушаясь службой... — С 1844 до 1848 г. Энгельсон служил в министерстве иностранных дел.

... вял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы». — Статья «По поводу одной драмы» была опубликована в № 8 «Отечественных записок» за 1843 г. (см. т. II наст. изд., стр. 49—72). Герцен, повидимому, ошибся в названии статьи: речь идет о статье «Дилетантизм в науке». Обращаясь к Герцену, Энгельсон вспоминал: «... в тяжелую минуту жизни, попалась мне на глаза одна из ваших, дышавших силою статей, «О дилетантизме в науке», напечатанная в журнале, который редактировал наш незабвенный Белинский. Я читал эту статью с юношески бьющимся сердцем, затаив дыхание, потому что здесь для меня была новая жизнь; затем я отыскал ваши предыдущие статьи, начал сам размышлять о затронутых в них вопросах — и забыл о моем плане самоубийства».

Стр. 343. Я не скрывал моего мнения от Энгельсона... — Герцен писал М. К. Рейхель 24 мая 1852 г. о жене Энгельсона: «А тут эта пошлая дура кокетничает, тянется, дуется и здоровеет <...> во-первых, она мне мешаает жить, во-вторых, она в моих глазах топит человека, которого я много и сильно люблю». В письме к Н. А. Герцен от 21 июня 1851 г. он дал следующую характеристику Энгельсону: «... он страданием чувствует, мыслит, для него жизнь не пир, не праздник, а болезнь; он слаб телом, он не верит в себя, он мучает ее <жену>, потому что он сам мучается».

Стр. 344. Петрашевцы ∞ удивили всю Россию «Словарем иностранных слов». — Имеется в виду «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», издававшийся Н. Кириловым (первый выпуск, включающий слова от А до «Мариоттова трубка», вышел в апреле

1845 г. Второй выпуск — от «Мариоттова трубка» до «Орден Мальтийский» — в апреле 1846 г.). Редактировался и писался словарь в основном В. Майковым и М. Петрашевским. В этой книжке Петрашевский сумел, по словам Энгельсона, «под разными заголовками изложить основания социалистических учений<...>сделать ядовитую критику современного состояния России...» (см. статью «Петрашевский», Л VI, стр. 508). Передовые круги русского общества высоко оценили словарь. В. Г. Белинский отметил словарь в числе «хороших книг серьезного содержания» (Полн. собр. соч., М., 1955, т. IX, стр. 401). Герцен, отправляясь в 1847 г. в Париж, захватил словарь с собою. Бакунин впоследствии напоминал Огареву: «Помнишь ты, нам привозил его <словарь> в Париж Герцен» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», СПб., 1906, стр. 157).

*На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим.*— Между Герценом и Энгельсоном установились крайне сложные, трудные и противоречивые отношения. Известную роль в их спорах и столкновениях сыграла критика Энгельсоном некоторых сторон дворянской революционности Герцена с позиций поколения, в котором разночинцы уже играли значительную роль. В письмах от 10 июля и 25 сентября 1854 г. Энгельсон отмечал: «Я явился к Вам — и остаюсь — „представителем“ друга моего Петрашевского. Мысли партии Петрашевского я останусь верен...». «Петрашевочно-спешневской» называл он свою точку зрения в другом письме. Вместе с тем в его статьях сказалась крайняя противоречивость и незрелость мысли, склонность к воззрениям анархического склада. С т р. 344—345. *Кто не знает знаменитую инструкцию учителям кадетских корпусов?* — Имеется в виду составленное начальником штаба великого князя Михаила Павловича, тогда полковником Я. И. Ростовцевым, «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений». Наставление было введено в действие в 1845 г., но дух его определял всю систему воспитания. В его основу была положена идея полного подчинения личности авторитету самодержавной власти и военно-бюрократического аппарата.

С т р. 345. *В лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него.*—После суда над петрашевцами Николай I рассматривал лицей как один из очагов волюномыслия.

С т р. 346. *... «к вам на лечение» — писал он мне из Генуи.*— Это письмо Энгельсона до нас не дошло.

С т р. 348. *... жили вместе в С.-Елен.*— С.-Елен — предместье Ниццы, где в доме Дуйса Герцен жил с октября 1851 г. до отъезда из Ниццы в июне 1852 г. (см. об этом в главе «Осеано пох», настоящий том, стр. 276).

С т р. 350. *... выпрямилась как Сикст V...*— Папа Сикст V, сын бедного садовника, мелкий монастырский служка, 15-летним притворством, лестью, интригами проложил себе путь к папскому престолу. До выборов разыгрывал дряхлого старика.

С т р. 351. *Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь.* — 30 июня 1852 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «Что я испытал, боже мой, что я испытал в первые дни! <...> Первый человек, подошедший с пониманием, был Энгельсон». Уже после разрыва Герцен писал: «Встреча с ним оставила очень большое место в моей душе, я ни с кем не сближался так скоро <...> Он мне помог в самую страшную эпоху моей жизни, — этого я не забуду ему <...>» (письмо к М. К. Рейхель от 2 июля 1853 г.).

*Несколько недель после похорон...*— Похороны Н. А. Герцен состоялись 3 мая 1852 г.

*А потом уехал я из Ниццы.*— Герцен уехал из Ниццы 8 июня 1852 г. В письме к М. К. Рейхель от 7 июня 1852 г. он пишет: «Завтра утром мы выезжаем...».

Стр. 352. *Я уехал в Лондон...*— Герцен уехал в Лондон в августе 1852 г., Энгельсон оставался в Генуе, а затем жил в Женеве. 30 октября 1852 г. он переехал в Париж. «На ваш вопрос,— замечает Энгельсон в письме к Герцену от 1 октября 1852 г.,— зачем я собираюсь в Париж, я затрудняюсь ответить вам — так это просто. Да отчего же мне не жить в Париже, если и пока мне это можно будет?»

Стр. 353. *У одного из наших близких знакомых была дочь...*— Внебрачная дочка Ш. Э. Хоецкого — Мария была похищена. После долгих усилий она была найдена, но Хоецкий не имел возможности приехать за нею. Временно она была помещена у Энгельсонов.

Стр. 354. *... пришло из Парижа письмо Тесье...*— Это письмо неизвестно.

*Энгельсон в письме своем ∞ и я написал Энгельсону...*— Письмо Энгельсона от 19 января 1853 г., а также ответное письмо Герцена, вызвавшее письмо Энгельсона от 2 февраля 1853 г., не сохранились.

*... предлагавший мне кровь свою и свою жизнь, не на словах, а в самом деле...*— Энгельсон был первым человеком, которому Герцен рассказал о своей семейной драме. Эпизод, на который намекает здесь Герцен, описан в главе VII «1852» («Рассказа о семейной драме») (см. настоящий том, стр. 292—293).

*... генерал...*— Гауг.

Стр. 355. *... до вашего приезда...*— Герцен собирался в это время съездить в Париж.

*«Человек любит эффект ∞ утешает».*— Энгельсон неполно цитирует несколько строк из главы «Перед грозой» книги «С того берега» (см. т. VI наст. изд., стр. 20).

*... большая часть des «Réflexions» de la Rochefoucauld...*— «Размышления или сентенции и максимы о морали» Ларошфуко.

*... сделанная Белинским характеристика талантливых людей нашего времени...*— Речь, очевидно, идет о характеристике, данной Белинским так называемым «романтикам» типа Адуева-младшего в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». «Это порода людей,— писал Белинский,— которых природа с избытком наделяет первическою чувствительностью, часто доходящею до болезненной раздражительности<...> Вообще они богато одарены от природы душевными способностями, но деятельность их способностей чисто страдательная<...>» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. X, 1956, стр. 332).

*... Х. в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле...*— Энгельсон намекает здесь на отношение Хоецкого к той роли, которую сыграл Гауг в конфликте между Герценом и Гервегом.

Стр. 356. *... отправив генерала в Австралию...*— Гауг уехал в Австралию через год.

Стр. 357. *Больно мне было это письмо, очень больно.*— Герцен писал М. К. Рейхель 8 февраля 1853 г.: «<...> меня глубоко огорчил Эн(гельсон) грубым и нелепым письмом в ответ на дружеское замечание,— таким письмом, после которого, я полагаю, что наше знакомство прервано».

*Я тотчас напечатал ее.*— Речь идет о прокламации Энгельсона «Первое видение св. отца Кондратия». Напечатана в Вольной русской типографии в 1854 г.

*Потом пришло от него письмо...*— Письмо до нас не дошло.

*... соединиться на общее дело.*— Организация Вольной русской типографии не могла не привлечь внимания Энгельсона. С другой стороны, Герцену нужен был помощник в его издательской деятельности. Инициатором примирения стал Герцен. 25 августа 1853 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «<...> он большой грех принял на душу, порвав такую связь<...> Энгельс<он> мне был бы бесконечно полезен по типографии<...> Жаль, очень жаль». Герцен просил М. К. Рейхель переговорить с



Энгельсоном о возобновлении отношений. Следствием этого и явилась присылка Энгельсоном прокламаций.

...он явился сам в Лондон...— Энгельсон переехал в Лондон в середине 1854 г.

Стр. 358. Он выдумал воздушную батарею ∞ помогать Наполеону и Англии? — Энгельсон дошел до нелепых выводов об активном содействии победе союзнических войск в войне против России. Это вызвало резкое возражение Герцена, напоминавшего Энгельсону о том, что его имя «замешано в русское революционное движение». На это предостережение Энгельсон ответил озлобленным письмом от 10 июля 1854 г. Ср. также М. Мейзенбург. Воспоминания идеалистки. М.—Л., 1933, стр. 326—328.

Стр. 359. ... с одним французом...— Доманже.

Стр. 360. Это было письмо к французскому министру военных дел.— С письмом к Герцену от 8 июля 1854 г. Энгельсон прислал проект письма к французскому, морскому министру. Этот проект сохранился в бумагах Энгельсона (ЛБ).

Энгельсон отвечал дерзкой запиской...— В письме от 10 июля 1854 г. Энгельсон писал Герцену: «Эге, батюшка, я подобных нахлобучек не привык спускать даром...».

Я напечатал рукопись...— Речь идет о прокламации «Второе видение св. отца Кондратия».

Стр. 362. Я тотчас написал напечатанное потом «Письмо к императору Александру»... — Герцен имеет в виду свое «Письмо к императору Александру Второму» (дата — 10 марта 1855), которое было впервые опубликовано в ПЗ, 1855, кн. I, стр. 11—14.

«Давдравствуем разум!» ∞ сделали для нас пятью распятиями.— Герцен приводит здесь первые строки объявления об издании ПЗ, датированного 25 марта/6 апреля 1855 г. и напечатанного вначале отдельным листком. В несколько измененном виде эта программа была опубликована в виде предисловия в кн. I ПЗ, 1855 г. Слова из «Вакхической песни» Пушкина стали затем эпиграфом к ПЗ.

...за свою статью о социализме...— Имеется в виду статья Энгельсона «Что такое государство?», напечатанная в ПЗ, 1855, кн. I. В предисловии к ПЗ Герцен писал: «Первый том наш богат. Писатель необыкновенного таланта и редкой диалектики прислал нам<...> превосходную статью под заглавием „Что такое государство?“ Мы перечитывали ее десять раз, удивляясь смелости и глубине революционной логики автора» (ПЗ, 1855, кн. I, стр. IX).

...новая ссора ∞ почти окончательно прервала все сношения между нами.— Герцен очевидно спутал здесь две ссоры, первая из которых имела место в марте 1855 г., вторая — в мае, когда действительно произошла окончательная ссора с Энгельсонами.

Стр. 365. Пришедши домой, я написал Энгельсону письмо...— Энгельсон ответил Герцену 10 февраля 1854 г.

К концу обеда пришел Энгельсон.— Обед происходил 6 мая 1855 г.

Стр. 366. ...попросить вас отдать Герцену это письмо.— Эпизод этот описан в воспоминаниях М. Мейзенбург (см. «Воспоминания идеалистки», стр. 329—331).

... просит посылать детей к нему.— 22 мая 1855 г. Энгельсон писал Герцену: «У меня открылось кровотечение... я весьма был бы в состоянии дать урок, если бы не Саша, то, по крайней мере, Мейзенбург и Тата пожаловали ко мне».

Стр. 367. Мы видели это в улице Лепелетье.— См. об этом в примечаниях к стр. 67 и 73.

Когда Орсини удивительным образом спасся из Мантуи...— См. примечание к стр. 74.

Стр. 369. ... на помосте гильотины.— См. примечание к стр. 67.

## ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

### 〈РАССКАЗ О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ〉

〈Осеепо пох〉 Подстрочное замеч(ание)»

Печатается по черновому автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано в сб. «Звенья», кн. VIII, стр. 24—25. На л. 2 автографа сверху слева пометка рукой Герцена: «к нач. 3-го л.». На л. 2 об. рукою Герцена написано и перечеркнуто: «Это было бы поздно и недобросовестно. Сказанного достаточно, чтобы предположить совершившуюся драму. Драма эта, глубоко трагическая и окончившаяся смертью, имеет в себе столько человеческого и великого, что темная сторона ее распуска(ется) и бледнеет в общем колорите. Потому много нельзя рассказать, что еще живому можно как-нибудь помочь...».

### 〈VIII.〉 3 мая 1855

Печатается по черновому автографу (ЛБ). На лл. 4 об. и 5 об. — рисунки двух профилей, сделанные чернилами; на л. 5 об. — незачеркнутый конец фразы, не относящейся к тексту этой главы: «охотники до зодчества хвалить ненужную прочность и лишние размеры». Текст автографа впервые был опубликован Е. Некрасовой в сборнике «Памяти В. Г. Белинского» (М. 1899). Имеется также авторизованная копия (ЛБ), снятая с этого черного автографа Н. А. Тучковой-Огаревой (правку Герцена см. в разделе «Варианты»). На л. 2 копии пометка А. А. Герцена: «Смерть мамыши, из V-й части „Былого и дум“». Переписано рукою Нат. Ал. Тучк(овой)-Огар(евой)».

### 〈РУССКИЕ ТЕНИ〉

Печатается по зачеркнутому отрывку автографа (ЛБ), представляющему собою, очевидно, конец первоначального наброска «Русских теней». Лист с этим отрывком по ошибке вклеен в тетрадь с автографом главы «Н. Х. Кетчер». Подпись: *Искандер*. Дата: 10 октяб. 1865. Женева. La Boissière.

## АВТОРСКИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ И ПЕРЕВОДЫ

### 〈Предисловие к публикации глав из пятой части в «Kolokol»〉

Печатается по тексту газеты «Kolokol», № 12 от 15 сентября 1868 г., где было опубликовано впервые под заглавием «Feuilleton. Cogitata et visa. Fragments des mémoires d'Iskander». В «пражской коллекции» (ЦГАЛИ) хранится автограф этого предисловия, под заглавием, относящимся к опубликованным ниже текстам: «Cogitata et visa. Fragments du IV<sup>e</sup> volume des *Faits et pensées* par Iskander, 1848—1853». Эта рукопись служила наборным оригиналом при публикации предисловия в «Kolokol». На ней имеется, помимо исправлений рукой самого Герцена (см. «Варианты»), мелкая правка орфографического характера, сделанная, evidentemente, сыном Герцена — Александром.

Вслед за предисловием, под заглавием «Quatrième volume 〈Четвертый том〉 (1848—1853)», был напечатан французский перевод предисловия к русскому изданию «Былого и дум» от 29 июля 1866 г., а также главы

«Le voyage» («Путь») и «La lune de miel de la République» («Медовый месяц Республики»). В следующем, 13 номере «Kolokol» от 15 октября 1868 г. были напечатаны главы «Dans l'orage» («В грозу»), «Après l'orage» («После грозы» — из «С того берега») и «Les pronostics» («Предзнаменования») — сокращенный вариант главы «1848». В № 14-15 «Kolokol» от 1 декабря 1868 г. — глава «La Tribune des Peuples». — Mickiewicz et Ramon de la Sagra. — Choristes et statistes de la révolution. — 13 juin 1849». («Трибуна народов». — Мицкевич и Рамон де-ла-Сагра. — Хористы и статисты революции. — 13 июня 1849 года). Эти тексты, как указал Герцен, были переведены на французский язык его сыном Александром, но просмотрены самим автором. Перевод этот, в общем, довольно близок к подлиннику, однако в нем имеются и некоторые отклонения от русского оригинала и сокращения, вызванные тем, что публикация предназначалась для западноевропейского читателя. Не перечисляя этих изменений, — так как нет полной уверенности, что их сделал сам Герцен, — отметим только, что в начале главы «La Tribune des Peuples...» к тексту, в котором дана характеристика взаимоотношений русских, приезжавших в Париж, и французов, в «Kolokol» сделано следующее подстрочное примечание: «Nous prions de ne pas oublier que tout cela a été écrit en 1855 et 56. Tant de choses ont changé depuis, que les meilleurs portraits ne sont plus ressemblants» <«Мы просим не забывать, что все это было написано в 1855 и 56 годах. С того времени произошло столько перемен, что наилучшие портреты уже не имеют сходства»>.

В «Supplément du Kolokol (La Cloche)», датированном 15 февраля 1869 г., Герцен продолжил публикацию отрывков из V части «Былого и дум», напечатав — в собственном переводе — главу «Les montagnes et les montagnards — Wiatka et Monte-Rosa — 1849» («Горы и герцы — Вятка и Монтероза — 1849»). См. этот текст в настоящем томе, стр. 384—389.

Стр. 381—382. Лет десять тому назад г. Делаво опубликовал очень хороший перевод с русского первых томов моего «Былое и думы» ∞ «Русский мир и революция». — Герцен имеет здесь в виду издание: «La Monde russe et la Révolution. Mémoires de A. Herzen. 1812—1835, Paris, 1860». Этот перевод был сделан Делаво (см. т. IX наст. изд., стр. 45).

## < Г л а в а XXXVII >

Печатается по черновой рукописи «пражской коллекции» (ЦГАЛИ). Без подписи. Дата перевода не установлена.

В переводе встречаются отклонения от русского оригинала; главные из них следующие:

Стр. 76

<sup>10</sup> После: переднюю // — он принес мне газету

<sup>20</sup> Вместо: Пианори с своим револьвером? Пизакане // Маццини с своим упорством, Пианори с своим револьвером, Пизакане с своим знаменем...

Стр. 82—85

<sup>25-3</sup> Вместо: Немец теоретически ∞ «Der Bürgergeneral» // Вернемся теперь еще раз к нашему bravому бюргеру Струве — диктатору-прокурору, Кромвелю и Иоанну Лейденскому великого герцогства Баденского — и к его коллегам.

Но прежде чем говорить о нем, я хочу прибавить еще несколько общих соображений насчет немецких *Umwälzunge Männer*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> мужей переворота (нем.). — Ред.

Необходимо признать как общий тезис, что немецкие изгнанники были в научном отношении более развиты, чем изгнанники другой национальности, — но от этого им немного было проку.

Их язык пахивал академическим «чесноком» и первыми трагедиями Шиллера, они отличались поразительной неуклюжестью во всем, что относилось к практике, и раздраженным патриотизмом, весьма шовинистическим на свой лад и выступавшим под знаменем космополитизма.

После крестьянских восстаний и Тридцатилетней войны немцы не могут прийти к себе — и чувствуют это<sup>1</sup>. Наполеон сделал все возможное, чтобы разбудить их, — это не удалось — он не успел еще переехать океан, как старые магнетизеры — короли, профессора, теологи, идеалисты и поэты усыпили уже всю Германию.

Немцы изучили весьма <...><sup>2</sup> классы, они имели всегда <...><sup>2</sup>, как жизнь коротка и наука длинна, — они умирают еще до того, как заканчивают свое ученье. Реальная жизнь немца — в теории, практическая жизнь для него не более, чем атрибут, переплет для скрепления листов — и именно в этом следует искать причину того, что немцы, самые радикальные люди в своих сочинениях, — остаются очень часто «филистерами» в частной жизни. По мере освобождения от всего — они освобождаются от практических следствий применения своих учений. Германский ум в революциях — как во всем — схватывает общую идею в ее абсолютном значении, никогда не пытаясь реализовать ее.

Англичане, французы имеют предрассудки, которые редко встречаются у немца — и они добросовестно последовательны и простодушны. Если они и подчиняются обветшалым понятиям, потерявшим всякий смысл, — то это потому, что признают их истинными и неизменными. Немец не признает ничего, кроме разума, — и покоряется всему — то есть он раболепствует, в зависимости от обстоятельств, перед самыми грубыми предрассудками.

Он очень привык к маленькому comfort, «an Wohlbehagen» — и, переходя из своего кабинета в свою гостиную, в Prunkzimmer или спальню, он жертвует свободной мыслью своей — порядку и кухне. Немец, в сущности, большой сибарит; этого не замечают, потому что его скромные средства и его незаметная жизнь не производят впечатления — но эскимос, который пожертвовал бы всем для того, чтоб получить вволю рыбьего жира, такой же эпикурец, как Лукулл. К тому же лимфатический немец скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни. Все, что может нарушить его привычки, ужасает его и выводит из себя <...>

### <Г л а в а XXXVIII >

Печатается по тексту «Supplément du Kolokol (La Cloche)» от 15 февраля 1869 г., где было опубликовано впервые за подписью «I—r». В «праздской коллекции» (ЦГАЛИ) сохранился автограф этого отрывка с многочисленными исправлениями. Он служил наборным оригиналом при публикации в «Supplément...». Начало французского перевода «Cogitata et visa», выполненного сыном Герцена Александром, появилось в №№ 12—15 «Kolokol» от 15 сентября — 1 декабря 1868 г. На первом листе автографа

<sup>1</sup> Писано в 1855—56 гг.

<sup>2</sup> Рукопись повреждена. — Ред.

имеются следующие надписи, сделанные рукой Герцена: «Продолжение для „Колокола“ 1 декаб<ря>», «Продолжение», «Если не достанет для 4 листов, набирайте. — Если не нужно — возвратите». Под заголовком, там же, надпись: «Большая alinéa»<sup>1</sup>. Рукопись подписана: *Isc<ander>*. На ней имеется несколько карандашных поправок орфографического характера, сделанных, повидимому, Огаревым.

На обороте последнего листа надпись Герцена: «Отошли в типографию — поправив грамматику — это для скуплемента — как букет».

Далее запись рукой Огарева:

«Чернецкий, что Герцен вам говорил о bon à tirer? Ждать его из Цюриха или, хорошенько поправивши, печатайте.

Сколько еще места в „Колоколе“? Этот отрывок из „Былое и думы“ был назначен в этот №, если нужно еще рукописи; а если нет, то набирайте его в „Supplément“».

К рукописи приложено 5 наклеенных на бумагу печатных колонок из «Supplément» с тем же текстом.

Выполненный Герценом французский перевод имеет ряд значительных отклонений от русского оригинала. Главнейшие из них следующие: Стр. 110—111

<sup>1-5</sup> *Вместо:* Я с радостию покидал Париж ∞ сухой // Я поспешно покидал Париж; я испытывал потребность отвернуться от зрелища, которое мне раздирало сердце, — я искал спокойного уголка, я не находил его в Женеве. То была та же среда, сведенная к малым пропорциям. Нет ничего более однообразного и тягостного, чем политические кружки после полного поражения, — бесплодные укоруы, неизбежный застой, неподвижность, как дело чести, привязанность к выцветшим краскам, к явным ошибкам из чувства долга и благочестия. Победенная партия всегда обращается к прошедшему, продвигается только вспять, превращается в памятник, статую, как жена Лота, — но без соли...

Я вырывался иногда из этой душлимой атмосферы... в горы.

Там, под суровой линией снегов, живет еще племя крестьян, сильное, почти дикое... и это в нескольких верстах от цивилизации, которая сползает с костей, как мякоть сильно протухшей рыбы. Этих горцев-крестьян не следует смешивать с крестьянами-буржуа из крупных швейцарских центров, этих караван-сараев, где живет алчное и скаредное население за счет бродячего туристского люда, увеличивающегося в числе с каждым годом.

... Однажды я отправился в Церматт. Уже в С.-Никола мы оставили за собой цивилизацию. Старик-кюре, который предоставлял у себя пристанище путешественникам, спросил у меня (это было в сентябре 1849 г.), что нового слышно о революции в Вене и как идет война в Венгрии. Там-то мы сели верхом на лошадей. Утомленные медленным подниманием, продолжавшимся почти несколько часов, мы зашли в маленький постоялый двор, чтоб отдохнуть и дать немного отдыху лошадям. Крестьянка, женщина лет сорока, худая, костлявая, но высокого роста и хорошо сохранившаяся, принесла нам все, что у нее было в доме. Немного же там было. Сухой

Стр. 111

<sup>20</sup> *Вместо:* Когда меня везли из Перми в Вятку//... В 1835 году я проезжал на почтовых через леса Пермской губернии, в сопровождении жандарма и направляясь в ссылку.

Стр. 111—112

<sup>35-10</sup> *Текст:* Другой ∞ совёстно — *отсутствуют*.

<sup>1</sup> абзац (франц.). — *Ред.*

<sup>2</sup> указании печатать (франц.). — *Ред.*

<sup>25-12</sup> *Вместо:* но, видно, никто не крадет ∞ этого пути // — И никогда не крадут? — сказал я своему проводнику.  
— Нет, Herr! <sup>1</sup>  
Нет, это еще не люди!»

Покинув старушку, которая совестились взять пять франков за корм четырех человек и двух лошадей, включая целую бутылку кирша,—мы продолжали наш путь по более крутому подъему. Дорога — тонкая нарезка в скале — была временами не шире метра и извивалась под скалами, нависшими над нашей головой, касаясь края обрыва, становившегося все более глубоким... Внизу несясь, с шумом и бешенством, Весп, зажатый в тесное русло; он явно спешил выйти на открытый простор. В таких подъемах слишком много от Сальватора Розы. Это треплет нервы, утомляет их, угнетает... Часы и часы проходят, а зрелище не меняется. Другие скалы хмурят брови и готовы толкнуть вас в бездну; Весп рычит, местами видный и покрытый белой пеной, местами теряясь позади гор, сосновых лесов; подковы лошади стучат о камень, проводники повторяют все те же две ноты: «О! — Э! — И! — Ве!» Очертания стираются, туманные испарения поднимаются из глубины... Весп рычит, слышен конский топот. — «О! — Э! — И! — Ве!» Это волнует нервы, раздражает их.

Цермат окружен горами, он почти примыкает к Мон-Роз; за этой колоссальной ширмой уже наступила ночь. Когда мы вошли в маленькую гостиницу, единственную в этих местах в 1849 году,—мы нашли там еще одного путешественника,—то был шотландский геолог,—и хозяйку дома. Мы сидели вокруг стола в ожидании ужина,—когда геолог нам сказал: «Господа, это звук колокольчиков на лошадях или мулах!» — «Да, да», — сказала хозяйка, внимательно прислушиваясь.

<sup>37-7</sup> *Вместо:* Через два часа ∞ чисто и ясно // Два часа спустя, англичанка села на лошадь, сын ее весело взобрался на свою, и я открыл окно, чтоб услышать *diminuendo* <sup>2</sup> удаляющихся колокольчиков.

Что за женщина! Что за племя!

На следующий день, до восхода солнца, мы взяли третьего проводника, который хорошо знал тропинки и навистывал еще лучшие швейцарские песенки. У нас было намерение подняться до того места, куда еще можно добраться на лошади.

Я боялся, что день будет неудачным, беловатый туман покрывал все, и так тщательно, что не видна была даже гора Сервин. Хозяин гостиницы внес еще больше беспокойства в мою душу, сказав: «Ia, ia, der Wetterhorn s'isch ein grosser Herr lässt sich nik immer sehe lasse fur Jederman» <sup>3</sup>. К счастью, «великий властитель Сервин» оказался в хорошем настроении и вскоре явился во всем своем великолепии.

Туман заменился мелким и холодным дождем, и вскоре и дождь, и туман оказались под нами, словно дымный океан, расплавленная земля. Над нами же было синее и чистое небо.

<sup>9</sup> *Вместо:* его гора // гора, с высоты которой он услышал столько прекрасных вещей

<sup>1</sup> господин (нем.). — *Ред.*

<sup>2</sup> постепенно уменьшающийся звук (итал.). — *Ред.*

<sup>3</sup> Да, да, Веттергорн — великий властитель, он не позволяет на себя смотреть каждому (нем. диал.). — *Ред.*

<sup>11-19</sup> *Вместо:* кроме легкого ∞ на камнях // Это жизнь кипит, волнуется, кричит и шумит; здесь она уже пройдена; она осталась там, под туманом. Даже растения, эти глухонемые природы, исчезают и представлены только высохшим, посеревшим, полузамерзшим мохом.

<sup>20</sup> *Вместо:* тут рубеж // Это *рубеж* планеты. Дальше нет ничего, кроме льда и скал. *Туда* ничто не проникает, за исключением нескольких механических звуков, трещин, обвалов

Стр. 115

<sup>7-8</sup> *Вместо:* серьезен и полон какого-то благочестия! // строг и серьезен, как саван, покрывающий этот труп суровой и мертвой природы!

<sup>10-16</sup> *Текст:* Каким ∞ натянутые — *отсутствует*.

### ⟨Раздумье по поводу затронутых вопросов⟩

Печатается по черновой рукописи «пражской коллекции» (ЦГАЛИ). Без подписи. Дата перевода не установлена. В текст рукописи внесены следующие исправления (по контексту):

Стр. 390, строки 11—12: l'indépendance du passé admise et partant <независимость от прошлого, признанная и исходящая> *вместо:* l'indépendance du passé admise la résiliation et partant <независимость от прошлого, уничтожение акта, признанная и исходящая> (слово la résiliation ошибочно не зачеркнуто Герценом).

Стр. 397, строка 41: Elle fuit ces rapports <она бежит от этих отношений> *вместо:* fuit ces rapports <бежит от этих отношений> (слово Elle ошибочно зачеркнуто Герценом).

Ниже приводится перечень наиболее значительных смысловых отличий французского текста от русской основной редакции.

Стр. 202

<sup>8-12</sup> *Вместо:* С одной стороны ∞ измену // с одной стороны безвозвратно спаянная, заклепанная, навеки запертая семья, — такая, о которой мечтал Прудон, нерасторжимый церковный брак, неограниченная власть римского pater familias<sup>1</sup>... всепоглощающая семья, в которой лица — кроме одного — являются жертвами во имя общей цели; брак, освящающий неизменяемость чувств, вечную нерушимость обета... с другой — новые учения, в которых узы брака и семьи развязаны, неотразимая власть страстей признана правомочной, независимость былого допущена и исходит из необязательности договоров.

С одной стороны женщина, влачимая к позорному столбу, чуть не побиваемая камнями за то, что называют изменой, не разобравшись в сущности дела,

<sup>17</sup> *После:* противоречий // и еще в 1843 году я впервые пытался ориентироваться в этом мраке

Стр. 203

<sup>14</sup> *После:* а не догматы // можно строго наказывать их, но не искоренять

<sup>15-18</sup> *Вместо:* Сама по себе ∞ подстрекаема // Вместо узды и сопротивления — она встречала только поощрения и сочувствие. Своей собственной силой — бурная, пламенная страсть — вместо укрощения была подстрекаема общим хором

<sup>28</sup> *После:* «ирредуктибельное» // непобедимое

<sup>29-30</sup> *Вместо:* фуркулы ∞ история // фуркулы антиномий

Стр. 204

<sup>1-32</sup> *Вместо:* Гегель снимал ∞ общих интересов // Гегель растворял эти антиномии в абсолютном духе... Прудон — в идее справедливости.

<sup>1</sup> главы семейства (лат.). — *Ред.*

Абсолют — это философский догмат, справедливость может поступать строго, подвергать осуждению — но она не имеет никакой власти над страстями. Страсть по природе своей несправедлива, пристрастна. Справедливость отвлекается от личностей, она безлична — страсть же по преимуществу лична, пристрастна.

Стр. 205

<sup>15</sup> *Вместо:* к освобождению от внешней цепи // к освобождению от бесконечного долга, к освобождению от цепи, быть может добровольно принимаемой, но все же остающейся цепью

<sup>16</sup> *Вместо:* Люди постоянно протестовали // Жизнь постоянно протестовала

Стр. 206

<sup>4-8</sup> *Слова:* Проект ∞ пренебрежения — *отсутствуют.*

<sup>9-11</sup> *Вместо:* Здоровая жизнь ∞ страстей // Здоровый человек равно бежит от монастыря и конского завода, от бесплодного воздержания монаха и бесплодной любви куртизанок

<sup>12</sup> *После:* для христианства // исполненного противоречия между учением и практикой

<sup>15</sup> *Вместо:* Монах и католический поп // Священник

<sup>16</sup> *Слово:* глупую — *отсутствует.*

<sup>21</sup> *Вместо:* любовь ∞ пожертвована // из злобного чувства, любовь (ненавидимая церковью) наказана в ней, она жертвована из принципа

<sup>25</sup> *Слово:* Оскорбленная — *отсутствует.*

<sup>31</sup> *Перед:* Грозный муж // Помните ли вы мрачное существование в поэтизируемые времена рыцарства?

<sup>35</sup> *Вместо:* в башне ∞ женщина // в замковой башне или башенке, в подвале или подземной темнице, молодая женщина в слезах, с отчаяньем в сердце

Стр. 207

<sup>23-27</sup> *Вместо:* Между тем ∞ полицию // Вскоре мир, начинающий секуляризоваться, поддерживающий брак, — уступает. Брак частично теряет свой религиозный характер и приобретает новую полицейскую и административную силу

Стр. 208

<sup>21-22</sup> *Вместо:* на пожизненную любовь ∞ не передается // вечно любить человека, которого она едва знала — более того, ее выдают ее врагу, ее собственнику, как дезертира в его кровавый непотребный дом — полк; он же, он сумеет, со своей стороны, наказать ее за то, что она забыла, что брак, так же, как и season tickets, не подлежит передаче в чужие руки.

Стр. 209

<sup>9-10</sup> *Вместо:* власть ∞ увлечением // и неограниченную власть, я протестую против вечного оправдания всех поступков — увлечением, превышающим силы человеческие

<sup>15</sup> *После:* Далилы // потеряв всю приобретенную силу...

<sup>28-30</sup> *Вместо:* Разве кто-нибудь ∞ а жизнь // Вообще женщина далеко не виновата в своих предрассудках и своих преувеличениях — разве кто-нибудь серьезно думал о том, чтоб уничтожить, искоренить в самом женском воспитании злополучные предрассудки, которые передаются из поколения в поколение. Их иногда разбивает жизнь, встречи, — но чаще всего разбивается не предрассудок, а сердце — иногда и то и другое одновременно.

<sup>34-35</sup> *Слова:* и остаются ∞ Серьезного — *отсутствуют.*



Стр. 210

<sup>10-11</sup> *Вместо:* свободным ∞ сознательно // пусть скажет это, высоко подняв голову, пусть не является он беглецом, боящимся преследования, а человеком свободным — с громкой речью

<sup>23</sup> *После:* целью ее жизни // восходящим солнцем, на которое все указывают пальцем, — отец, мать, семья, служанка

<sup>24</sup> *Вместо:* дают жестяную саблю // спешат дать перевязь и деревянную саблю... Иди же, малыш, и играй в воображаемое убийство, наноси раны своим игрушкам... в ожидании, когда ты нанесешь их себе подобным — с шести лет он тоже мечтает только о том, как станет солдатом, убийцей в маскарадном костюме. Но девочку убаюкивают грезы, совершенно противоположные убийству

<sup>32</sup> *После:* A quinze ans faut te marier // И даже еще до пятнадцати лет она уже выдает замуж свою куклу и покупает ей маленькое приданое. У куклы также будет фарфоровый ребеночек с куколкой в руках...

Стр. 211

<sup>8</sup> *После:* невестой // promessa sposa, Braut <sup>1</sup>

<sup>36</sup> *После:* обиды // под скромным покровом прощения и самоотвержения

<sup>37</sup> *После:* хаоса // измышлений и призраков, смешанных с действительностью

Стр. 212

<sup>5</sup> *После:* к противоречию // не предаваясь излишним размышлениям и не вырываясь, пока ужасный... гибельный удар грома не падет на нашу голову. Аминь

<sup>6-9</sup> *Текст:* Какую ширину ∞ победу... — отсутствует.

---

<sup>1</sup> невестой (итал. и нем.). — *Ред.*



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авивдор Юлий (ум. 1856), банкир, игравший некоторую роль в политической жизни Ниццы — 162, 176, 479
- Агриппина Младшая (16—59), жена римского императора Клавдия — 116, 473
- Адам (библ.) — 60, 121, 142
- Азелио (Azeglio) Массимо (1798—1866), глава правительства и министр иностранных дел Пьемонта в 1849—1852 гг., писатель — 176, 422, 478, 479
- «Барлетский турнир» («La Disfida di Barletta») — 176, 478
- Аларих (ок. 370—410), вестготский король — 137
- Алеко, действ. лицо в поэме «Цыганы» А. С. Пушкина (см.)
- Александр II (1818—1881), император — 175, 436, 478
- Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1507—1582) — 183
- Альтон-Ше (Althon Shée) Эдмонд д', граф (1810—1874), франц. роялист, примкнувший к революционному движению в феврале 1848 г., был близок к Прудону — 194, 484
- Анита (ум. в 1849 г.), жена Дж. Гарибальди — 73, 467
- Анненков Павел Васильевич (1812—1887), русский критик и мемуарист — 29, 229, 231, 248, 461
- Араго Этьен (1803—1892), франц. полит. деятель, республиканец, один из основателей газеты «La Réforme», участник революции 1848 г. — 51, 52
- Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — 320
- Аргу (Argout) д', Антуан Морис, граф (1782—1858), министр при Луи Филиппе, директор французского банка — 21
- Ардашев — чиновник в канцелярии Вятского губернатора — 142
- Армеллини Карло (1777—1863), итал. полит. деятель, в 1849 г. глава первого республиканского правительства в Риме — 78, 461, 469
- «Арминий», франц. роман, автора которого установить не удалось — 238, 253
- Арним Беттина (Элизабет), фон (1785—1859), нем. писательница — 242
- Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — 328
- Аугсбургская газета — см. «Всеобщая газета»
- Бабеф Гракх; настоящее имя Франсуа Ноэль (1760—1797) — 67, 316, 462
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 37, 79, 118, 121—123, 225, 455, 474
- «Абидосская невеста» («The Bride from Abydoss») — «Дон Жуан»; Дон Жуан — 122
- «Каин» — 122; Каин — 122; Люцифер — 122
- «Манфред»; Манфред — 122
- «Сон» («The Dream») — 28, 121, 122, 455, 473
- «Тьма» («The Darkness») — 122

- «Паломничество Чайльд Гарольда» («Childe Harold's Pilgrimage»); Чайльд Гарольд — 121, 415, 474
- Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 17, 85, 86, 91, 169, 190, 191, 240, 315, 318, 323, 326, 327, 403, 470, 495—497, 499
- Бандьера (Бандиера), братья, Аттилио (1810—1844) и Эмилио (1819—1844), итал. революционеры, члены «Молодой Италии», казнены неаполитанским правительством за попытку поднять восстание — 67, 462
- Банко, действ. лицо в трагедии «Макбет» В. Шекспира (см.)
- Барбес Арман (1809—1870), франц. революционер, участник революции 1848—1849 гг. — 39, 469
- Барбье Анри Огюст (1805—1882), франц. поэт — 79
- «Ямбы» — 79
- Барле — комиссар парижской полиции в 1848 г. — 32, 34, 35
- Барош Пьер Жюль (1802—1870), франц. полит. деятель, министр внутренних дел в 1850—1851 гг. — 141
- Барро Одилон (1791—1873), франц. полит. деятель, глава министерства при Луи Бонапарте — 192, 459, 460
- Бастид Жюль (1800—1879), франц. полит. деятель, министр иностранных дел в кабинете Кавеньяка — 51
- Бедо (Bédeau) Мари Альфонс (1804—1863), франц. генерал, командовавший правительственными войсками в Париже в июне 1848 г. — 224
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 318, 323, 324, 326, 343, 355, 435, 498—500
- Бельжуйозо (Belgioioso) Тривульцио Христина (1808—1871), итал. писательница, участница национально-освободительного движения — 71
- Бенаи Джузеппе (род в 1817 г.), итал. народный поэт, друг Чичероваккио — 27, 455
- Бентам Иеремия (1748—1832), англ. юрист и философ, проповедник буржуазного утилитаризма — 126
- Беранже Пьер Жан (1780 — 1857) — 243, 322, 325, 496
- Бертани Агостино (1812—1886), деятель итал. национально-освободительного движения, сподвижник Гарибальди — 288, 494
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — 190
- Бийо (Бильо, BiHaut) Огюст (1805—1863), франц. полит. деятель, во время Июльской монархии примыкал к оппозиции; министр в правительстве Наполеона III — 150
- «Биржевое руководство» — см. Прудон
- Блан Луи (1811—1882) — 137, 190, 214, 326, 497
- «История десяти лет» («Histoire de dix ans») — 326, 497
- «История французской революции» («Histoire de la Révolution française») — 190
- Бленкер Людвиг (1812—1863), участник революционного движения в Гессене в 1848 г. — 106, 107, 413
- Блинд Карл (1826—1907), участник революции 1848 г. в Германии, находился в Париже в качестве представителя револ. правительства Бадена — Пфальца, публицист — 54, 407
- «Божественная комедия», поэма Данте (см.)
- Бомарше Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) — 142
- Бонапарт Жером (1784—1860), брат Наполеона I, король созданного для него королевства Вестфалии в 1807—1813 гг. — 83
- Бонфис, врач в Ницце — 283, 298, 300, 301, 375, 376, 440
- Борромео Арезе (1792—1874), член Временного правительства Ломбардии, образованного в марте 1848 г. — 71
- Ботар Александр Кентен (1809—1887), франц. монархист, докладчик следственной комиссии по делу об Июльском восстании 1848 г. — 59, 460
- Браницкий Ксаверий Владиславович, граф (1812—1879), один из руководителей польской аристократической эмиграции, финансировал газету А. Мицкевича

- «Трибуна народов» — 37, 405, 457
- Бриарей (миф.) — 96, 471
- «Брожу ли я вдоль улиц шумных», стих. А. С. Пушкина (см.)
- Брунетти Анджело, Чичероваккио (1800—1849), итал. революционер, участник защиты Римской республики; — 27, 28, 47, 48, 404, 455, 458, 467
- Брут Луций Юний (ум. 509 до н. э.), первый консул римской республики; в борьбе с тиранией не останавливался перед самыми жестокими мерами — 158
- Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), римский политический деятель, республиканец, один из инициаторов заговора против Цезаря — 126, 149
- Буллей Эмилий (Емилий), комиссар парижской полиции — 142, 143
- Буонарроти Филипп (1761—1837), революционер, сподвижник Бабефа, пропагандист его идей — 67, 462
- Буэ, франц. поэт — 324
- Вагнер Рихард (1813—1883), нем. композитор — 311, 495
- Вагнер Рудольф (1805—1864), нем. физиолог, виталист и спиритуалист — 174
- «Вакхическая песнь», стихотворение А. С. Пушкина (см.)
- Валерио Лоренцо (1810—1865), член парламента в Турине в 1851 г. — 177, 479
- Вальдегамас Хуан Франциско Донозо-Кортес, маркиз (1809—1853), испан. полит. деятель, публицист, крайний реакционер и проповедник католицизма — 194, 484
- Василий Великий (ок. 329—378), архиепископ кесарийский, богослов — 117
- Вашингтон Джордж (1732—1799) — 63
- Вейтберг — см. Энгельсон В. А.
- Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), нем. революционер, коммунист-утопист, по профессии портной — 95, 315
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — 317
- Вепрев, чиновник в канцелярии Вятского губернатора — 142
- Вергилий (70—19 до н. э.) — 467, 493
- «Энеида» — 73, 467, 493
- Вердер Карл (1806—1893), нем. философ-гегелианец — 326, 496
- Вертер, герой романа «Страдания молодого Вертера» Гёте (см.)
- Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), нем. писатель эпохи Просвещения — 242
- Вилле Франсуа, цюрихский врач — 311, 495
- Виллих Август (1810—1878), нем. революционер, участник Пфальцско-Баденского восстания в 1849 г. — 247, 491
- Вильгельм, принц прусский (1797—1888), брат Фридриха Вильгельма IV, король прусский с 1861 г., германский император с 1871 г., в 1849 г. главнокомандующий армией, которая действовала в Бадене, — 59, 460
- Вильгельм I (1781—1864), король вюртембергский с 1816 г. — 247, 490
- Вильгельм Оранский, граф Нассауский (1533—1584), правитель Голландии, деятель нидерландской буржуазной революции XVI в. — 200, 487
- Вильгельм Телль, действ. лицо в одноименной опере Россини (см.)
- Вильгельм Телль — герой швейцарской народной легенды, предводитель народного восстания — 180, 422
- Висконти Веноста Эмилио, маркиз (1829—1914), итал. полит. деятель, участник национально-освободительного движения в Ломбардии в 1847—1848 гг. — 71
- Висконти, книгопродавец в Ницце — 260
- Вишну (миф.) — 42
- Вогз (Vogué) Леонс, маркиз (1805—1877), франц. полит. деятель, легитимист — 302
- «Волк и овца», басня Лафонтена (см.)
- Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари (1694—1778) — 37, 95, 118, 130, 142, 185, 243, 473

- Ворцель Станислав Габриэль, граф (1799—1857), польский революционер, эмигрант. — 38, 329, 358, 437, 456, 475
- Бронский (Гёне-Бронский) Юзеф (1778—1853), польский математик и философ, автор книги о мессианской роли славянства — 41, 457
- Бронченко Федор Павлович (1780—1852), министр финансов в 1844—1852 гг. — 137
- «Всеобщая газета» («Аугсбургская газета») («Allgemeine Zeitung»), ежедневная газета, выходившая с 1798 г.; в 1810—1882 гг. издавалась в Аугсбурге — 37
- Высоцкий Юзеф (1809—1873), деятель польского национально-освободительного движения, эмигрант, участник венгерской революции 1848 г. — 323, 496
- Гааг Луиза Ивановна (1795—1851), мать А. И. Герцена — 12, 43, 44, 54, 108, 117, 136—139, 157, 160—163, 196, 253, 254, 257—259, 276—278, 280—282, 314, 373, 402, 427, 437, 458, 459, 485
- Гайди Иосиф (1732—1809) — 167, 477, 493
- Галилей Галилео (1564—1642) — 195
- Галль Франц Иосиф (1758—1828), австрийский врач, основатель псевдонауки — френологии — 62
- Гальваньо, министр внутренних дел в Пьемонте в 1851 г. — 173, 479
- Гано (Ganneau) (ум. в 1852 г.), франц. скульптор, основал в 1840-х гг. религиозно-мистическую секту, приняв имя «Мапа» — 325
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 58, 65, 69, 72, 73, 76, 163, 289, 302, 382, 409, 420, 447, 451, 461, 465—467, 494
- Гассер Карл, банкир в Петербурге — 136, 138, 139
- Гауг (Naug) Эрнст, участник революции в Вене в 1848 г., защитник Римской республики в 1849 г. — 72, 261, 289, 292, 293, 298, 303, 305—313, 328, 354—356, 467, 492—495, 497, 500
- Гвиччардини Франческо (Guicciardini) (1483—1540), итал. полит. деятель и историк — 71, 466
- Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831) — 184, 185, 190, 198, 201, 204, 315, 316, 326, 342, 391, 423, 496, 507
- Гейне Генрих (1797—1856) — 241—243
- Гейнцен Карл Петер (1809—1880), нем. республиканец, публицист, участник баденского восстания — 59—61, 64, 90, 102, 103, 106, 451, 461, 470
- Геккер Фридрих (1811—1881), нем. демократ, один из руководителей восстания в Бадене в 1848 г. — 247, 491
- «Гекуба» (миф.) — 348
- Генрих V — см. Шамбор
- Гервер Адда (1849—1921) дочь Г. Гервера — 268
- Гервер Георг (Г. Г.) (1817—1875), нем. поэт и политический деятель — 109, 111, 115, 239—241, 243—260, 262—265, 267—270, 284—288, 290—295, 303, 305—307, 310—312, 413, 429, 431, 452, 473, 481, 489—492, 494, 495, 500
- «Стихи живого человека» («Gedichte eines Lebendigen») — 243, 246, 490
- Гервер Горас (1843—1904), сын Г. Гервера — 265, 266, 268
- Гервер Эмма (1817—1901), жена Г. Гервера — 240, 241, 243—257, 260—266, 268, 269, 285, 287, 288, 293—295, 297, 303, 311, 312, 430, 491, 492
- «Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris» — 248, 491
- Геркулес (миф.) — 209, 395, 487
- «Герман и Доротея» — см. Гёте
- Герцен Александр Александрович (Сама) (1839—1906), сын А. И. Герцена — 226, 227, 255, 268, 276, 298—300, 302, 303, 351, 365, 374, 375, 382, 433, 440, 449, 468, 492, 501, 502, 504
- Герцен Александр Иванович (Искандер) (1812—1870)
- «Долг прежде всего» — 109, 473
- «Кто виноват?» — 259; Бель-

- тов — 259; Круциферский — 259; Любонька — 259
- «Письма из Франции и Италии» — 9, 13, 17, 151, 213, 222, 280, 447, 450, 452—454, 475, 487, 488, 493
- «Письмо к императору Александру Второму» — 362, 501
- «Поврежденный» — 109, 473
- «С того берега» — 86, 109, 117, 161, 167, 193, 233, 234, 253, 335, 355, 446, 447, 450, 451, 454, 473, 477, 489, 500, 503
- Герцен Владимир (р. и ум. в 1852 г.), сын А. И. Герцена — 298, 301
- Герцен Наталья Александровна (Natalie) (1817—1852), жена А. И. Герцена — 28, 32, 33, 44, 79, 123, 133, 221, 225, 226, 230, 231, 234, 235, 253—265, 267—275, 277, 278, 282—285, 289—292, 295—303, 305, 309, 314, 350, 370, 374—376, 425, 439—441, 447, 449, 452, 455, 459, 464, 469, 474, 488, 489, 491—494, 499
- Герцен Наталья Александровна (Тата) (1844—1936), старшая дочь А. И. Герцена — 226, 227, 234, 235, 258, 277, 298, 299, 301, 303, 366, 374, 376, 426, 427, 432, 441, 448, 501
- Герцен Николай Александрович (Коля) (1843—1851) — сын А. И. Герцена — 160—163, 196, 228, 259, 276—278, 280—282, 314, 350, 373, 427, 477, 485, 493, 498
- Герцен Ольга Александровна (1850—1953), дочь А. И. Герцена — 257, 277, 295, 299, 303, 375, 491
- Гёргей Артур (1818—1916), главнокомандующий венгерской революционной армии; изменнически капитулировал в августе 1849 г. — 59, 475
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 83, 85, 122, 130, 168, 201, 241—243, 342, 411, 456, 470, 474, 483
- «Генерал гражданской гвардии» («Der Bürgergeneral») — 85
- «Герман и Доротея» — 167
- «Певец» («Der Sänger») — 191, 483
- «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers»); Вертер — 257
- «Фауст» — 168, 474; Фауст — 243, Мефистофель — 122
- Гизо Франсуа Пьер (1787—1874), франц. историк и полит. деятель, сторонник конституционной монархии — 192
- Гинар (Guinard) Огюст Жозеф (1799—1874), франц. полит. деятель, начальник штаба Национальной гвардии в 1848 г. — 53, 407
- Гюо (Guiaud) Жак (1810—1876), итал. художник — 258, 491
- Гоббс Томас (1588—1679), англ. философ-материалист — 118
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 458
- «Мертвые души» — 323, 458; Петрушка — 48, 458; Собакевич — 60; Чичиков — 48, 458
- Головин Иван Гаврилович (1816—1890), русский эмигрант, публицист — 287, 432, 497
- Гольинский Александр Викентьевич (р. 1816), поляк, примыкавший к демократическому крылу польской эмиграции — 329
- Гомер — 472
- «Одиссея»; Пенелопа — 45
- «Илиада» — 472; Стентор — 105, 472
- Гораций Флакк (65—8 до н. э.), римский поэт — 486
- «Искусство поэзии» («Ars poetica») — 197, 486
- Горбунов Иван Федорович (1831—1895), автор и исполнитель рассказов и сцен из народного быта — 339
- «Горе от ума» — см. Грибоедов А. С.
- Гранвиль Жан (псевдоним Жана Жерара) (1803—1847), франц. график-карикатурист и иллюстратор — 58, 459
- Грановская Елизавета Богдановна (рожд. Мюльгаузен) (1824—1857), жена Т. Н. Грановского — 221, 488
- Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — 39, 109, 130, 221, 318, 323, 406, 416, 454, 456, 468, 475
- Грассо Поль Луи (1800—1860), франц. комический актер и автор комических сцен — 339

- «Граф Нулин», поэма А. С. Пушкина (см.)
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 455, 456, 481, 490
- «Горе от ума» — 187, 455, 481, 490; Загорецкий — 37, 455; Платон Михайлович — 187, 481; Скалозуб — 37, 455; Репетилов — 37, 455; Чацкий — 37, 490
- Григорий XVI (у Герцена ошибочно Григорий XIV) (1765—1846), римский папа с 1831 г. — 75
- Григорий Назианзин или Богослов (ок. 329 — ок. 389), патриарх Константинопольский — 117
- Гримм, действ. лицо в драме «Разбойники» Ф. Шиллера (см.)
- Гумбольдт Александр (1769—1859) — 242, 310
- Густав II Адольф (1594—1632), шведский король в 1611—1632 гг. — 60
- Гуттен Ульрих фон (1488—1523), нем. гуманист, деятель Реформации, писатель-сатирик — 129
- Гэ (Gay) Дельфина (1804—1855), франц. писательница — 218
- Гюго Виктор Мари (1802—1885) — 114, 142, 276, 384, 473, 493, 506
- «Осеано пох» — 276, 281, 480, 493
- «Что слышится на горе» («Ce qu'on entend sur la montagne») — 114, 388, 473, 506
- Давид д'Анже (David d'Angers) Пьер (1788—1856), франц. скульптор и мастер портретов-медальонов — 38, 456
- Далила (библ.) — 209, 395, 508
- Даль-Верме (Дель-Верме, Dal Verme) Мария, участница национально-освободительного движения в Италии — 71
- Данте Алигьери (1265—1321) — 75, 79, 136, 169, 474, 477, 489
- «Божественная комедия» 474, 477, 489; «Ад» — 136, 238, 474, 489; «Чистилище» — 169, 477; Франческа да Римини — 332
- Дантес Жорж Шарль, барон Геккерн (1812—1895), франц. эмигрант, убийца А. С. Пушкина — 289
- Дантон Жорж Жак (1759—1794) — 85
- Дезирабод, модный в 1840-х гг. парижский зубной врач — 325
- Делаво Ипполит, франц. литератор, переводчик «Былого и дум» — 381, 503
- Делессер Габриель Абрагам (1786—1858), префект парижской полиции в 1836—1848 гг. — 46, 47, 406
- Дель Балцо — 329
- Дель-Верме — см. Даль-Верме
- Демосфен (384—322 до н. э.) — 159
- Демулен Камилль (1760—1794) — 17
- Джюльетта, героиня трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (см.)
- Дидро Дени (1713—1784) — 118, 185
- Диффенбах Иоганн (1792—1847), нем. хирург — 14—16
- Довиат (Dowiat), нем. полит. деятель и революционер — 236, 237
- Доманже Жозеф, франц. эмигрант в Лондоне, учитель сына А. И. Герцена — 359, 501
- Домажиров, ординарец генерала-фельдмаршала Прозоровского — 316, 406
- «Дон Жуан» — см. Байрон
- «Дон Жуан» — см. Моцарт
- Дон Карлос, персонаж одноименной трагедии Ф. Шиллера (см.)
- Дон Кихот, герой одноименного романа М. Сервантеса (см.)
- Донозо Кортес — см. Вальдегамас
- Друэ (Drouet) Анри (1799—1855), министр юстиции и полиции федерального совета Швейцарии — 104
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1865), жандармский генерал, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделением — 13, 32, 146, 157, 177, 404, 419, 476
- Дуйс — владетель дома в Ницце, в котором умерла Н. А. Герцен — 314, 499
- Дульцинея, действ. лицо в романе «Дон Кихот» М. Сервантеса (см.)
- «Дума сокола», стихотворение А. В. Кольцова (см.)

- Дюку (Disoux) Франсуа Жозеф (1808—1872), префект парижской полиции после подавления Июньского восстания — 34
- Дюма Александр (отец) (1803—1870) — 237, 489
- «Катилина» — 237, 489; Катиллина — 237; Марк Туллий — 237
- Дюшен (Duchêne) Жорж (1824—1876), франц. журналист, один из редакторов прудоновской газеты «Le Peuple», а затем «La Voix du Peuple» — 184, 484
- Ева (библ.) — 142
- «Евгений Онегин» — см. Пушкин А. С.
- Елагина Авдотья Петровна, рожд. Юшкова, по первому браку Киреевская (1789—1877), мать И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка известного литературного московского салона 1830—1840-х годов — 190
- Епифанов Василий, земский в имении И. А. Яковлева — 142
- Жаннега, горничная Эммы Гервег — 266
- Жирарден Эмиль де (1806—1881), франц. буржуазный публицист, издатель газеты «La Presse» — 184, 190, 479, 480
- Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876) — 142, 260, 285, 326, 338, 341, 466, 467, 487, 492
- «Леон-Леони» — 487; Леон-Леони — 209, 395, 487
- «Орас» — 260, 285, 492
- «Теверино»; Теверино — 74, 467
- Жюльвекур, франц. журналист — 324, 325
- Загорецкий, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
- Занд Карл Людвиг (1795—1820), нем. студент, убивший писателя Коцебу, агента русского правительства — 165
- «Записки», соч. Ф. Орсини (см.)
- Зигмунт, отец Эммы Гервег, богатый торговец шелком — 243, 250, 252, 430, 431, 490
- Зуров Елпидифор Антиохович (1798—1871), новгородский военный губернатор в 1839—1846 гг. — 65, 460
- Излер Иван Иванович (1811—1874), владелец ресторана в Петербурге — 335
- Иоанн Лейденский — Иоанн Боккользон (1510—1536), вождь плебейской секты анабаптистов, глава Мюнстерской коммуны — 383, 503
- Иоанн Предтеча (Креститель) (библ.) — 75, 463
- Иоанн Прочида — см. Прочида Джованни
- Иоганн Баптист Иосиф, австр. эрцгерцог (1782—1859), сын Леопольда II, избранный в 1848 г. франкфуртским парламентом «блестителем империи», затем встал на сторону контрреволюции — 171, 478
- Ионатан (библ.) — 121, 473
- Ир (библ.) — 244
- Иродиада, жена галилейского царя Ирода, убившего Иоанна Крестителя — 75, 468
- Искандер — см. Герцен А. И.
- «Искусство поэзии» — см. Гораций Флакк
- «Исповедь революционера» — см. Прудон
- «Истинная республика» («La Vraie République»), газета, издававшаяся Торе — 49
- «История десяти лет» соч. Л. Блана (см.)
- «История Франции», соч. Ж. Мишле (см.)
- Кабе Этьен (1788—1856) — 42, 480
- «Путешествие в Икарию» («Voyage en Icarie») — 184, 480
- Кавеньяк (Каваньяк, Cavaignac), Луи Годфруа (1801—1845), франц. полит. деятель, республиканец, участник революции 1830 г. — 99, 101, 471
- Кавеньяк (Каваньяк) Луи Эжен (1802—1857), франц. генерал, буржуазный республиканец, военный диктатор в Июньские дни, глава правительства в июне — декабре 1848 г., брат Годфруа Кавеньяка — 34, 183, 224, 489



- Каин (библ.) — 199
- Кальвин Жан (1509—1564), основатель кальвинистского вероучения — 95, 100, 103
- Кальпурний Люций Бестия, римский консул; прозвище *Bestia* (лат. — зверь) получил, повидимому, за свою жестокость — 158
- Камбасерес (*Cambacérés*) Жан Жак (1753—1824), франц. полит. деятель, автор проекта гражданского кодекса в период якобинской диктатуры, редактор «Кодекса Наполеона» — 207, 394, 487
- Кант Иммануил (1724—1804) — 201
- Капп Фридрих (1824—1884), нем. полит. деятель и литератор, участник революции 1848 г. — 59, 86, 87
- Капулетти — см. «Ромео и Джульетта» В. Шекспира
- Карель Арман (1810—1836), франц. публицист, республиканец, один из основателей газеты «*Le National*» — 101
- Карл Альберт (1798—1849), король Сардинии (Пьемонта) — 27, 176 454, 455, 478
- Карл Великий (ок. 742—814), франкский король, затем римский император с 800 г. — 321, 496
- Карл Смелый (1433—1477), последний бургундский герцог с 1467 г., убит в бою с швейцарцами — 175, 180, 421, 422, 478
- Карлье Пьер (1799—1858), префект парижской полиции в период Второй республики — 141—144, 146, 147, 231, 485
- Карно Лазар Никола́ (1753—1823), деятель французской революции конца XVIII в. — 85
- Катялина, герой одноименной пьесы А. Дюма (см.)
- Катилина Луций Сергей (108—62 до н. э.), полит. деятель Древнего Рима, глава неудавшегося заговора против республики — 189, 482, 483
- Кент, действ. лицо в трагедии «Король Лир» В. Шекспира (см.)
- Кернер Карл Теодор (1791—1813), нем. поэт и драматург, автор патриотических песен, погиб в войне с Наполеоном — 83, 470 — «Лира и меч» («*Leier und Schwert*») — 83, 470
- Керсози Иоахим Рене Теофиль (1798—1874), франц. революционный деятель — 51, 52
- Кетчер Николай Христофорович (1806—1886), врач, поэт-переводчик, друг юности А. И. Герцена, участник его кружков в 1830—1840 гг. — 271, 321, 456, 502
- Кинкель Готфрид (1815—1882), нем. поэт и историк искусств, участник революции 1848 г. — 363
- Киселев Николай Дмитриевич (1800—1869), русский посланник в Париже в 1844—1854 гг. — 137, 138, 145, 474
- Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), госуд. деятель, член секретных комитетов по крестьянскому делу с 1830-х гг. — 137
- Клебер Жан Батист (1753—1800), архитектор, в период французской революции конца XVIII в. стал крупным полководцем — 81, 410, 469
- Клеопатра (69—30 до н. э.), египетская царица — 102
- Клоутс (Клоц) Анахарсис (настоящее имя Жан Батист) (1755—1794), оратор, деятель французской революции конца XVIII в., пропагандист идеи всемирной республики, атеист — 174, 316
- Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803), нем. писатель — 168
- Козенц (*Cosenz*) Энрико (1820—1898), итал. революционер, участник боев в Неаполе и Венеции против австрийцев, в 1859 г. вступил в армию Гарибальди — 72, 77, 288, 351, 465, 494
- Кокошкин Сергей Александрович (1785—1861), петербургский обер-полицмейстер в 1840 г. — 13
- Коло д'Эрбуа (*Collot d'Herbois*) Жан Мари (1750—1796), член Комитета общественного спасения в 1793 г. — 85
- «Колокол», газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым с 1857 г. — 381, 382, 437, 445, 446, 488, 502—505

- Колумб Христофор (1446—1506) — 63, 75, 128, 316
- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — 482
- «Дума сокола» — 227, 489
- Коменский Ян Амос (1592—1670), чешский педагог, гуманист — 474
- «Мир в картинках» («Orbis sensualium pictus») — 124, 474
- Конарский Шимон (1808—1839), польский революционер, участник восстания в 1830—1831 гг., глава подпольной организации «Содружество польской нации», арестован и казнен царским правительством — 150, 474
- Кондорсе Жан Антуан де, маркиз (1743—1794), франц. ученый и философ-просветитель, в Конвенте примыкал к жирондистам — 149
- Консидеран Виктор (1808—1893), франц. социалист-утопист, ученик Фурье — 185, 480
- Конт Огюст (1798—1857), франц. философ и социолог, основатель позитивизма — 201, 344, 487
- Коперник Николай (1473—1543) — 128
- Корнелий Непот (ок. 100 — ок. 27 до н. э.), древнеримский историк и писатель — 72
- «Король Лир», трагедия В. Шекспира (см.)
- Корш Мария Федоровна (1808—1883), близкий друг семьи А. И. Герцена — 12, 28, 229, 230, 455, 489
- Коссидьер Марк (1809—1861), участник революции 1848 г. во Франции, префект парижской полиции в феврале — мае 1848 г. — 150, 246, 315
- Кох, любовница Луи-Наполеона — 285, 493
- Копут Лайош (1802—1894), вожь венгерского национально-освободительного движения, стоял во главе революции 1848—1849 гг. в Венгрии — 91, 152, 475
- «К портрету Чаадаева», стихотворение А. С. Пушкина (см.)
- Кромвель Оливер (1599—1658) — 195, 383, 485, 503
- Кудлих Ганс (1823—1917), участник венской революции и баденского восстания — 168, 420
- Кузен, хозяйка отеля Мирабо — 143, 417
- Купер Фенимор (1789—1851) — 322
- Кутюр (Couture) Тома (1815—1879), франц. живописец — 489
- «Римляне времен упадка» («Romains de la décadence») — 229, 489
- Кьярамонти — см. Пий VII
- Кювье Жорж (1769—1832), франц. естествоиспытатель — 186
- Лавирон Габриэль Ипполит, франц. революционер, участник революции 1848 г., погиб в июле 1849 г. при защите Римской республики от французов — 77, 80, 82, 447, 469, 469
- Лазарь (библ.) — 121
- Лакруа, франц. министр при Луи-Наполеоне — 50, 51
- Ламартин Альфонс (1700—1869) — 23, 129, 148, 237, 247
- Ламенне Фелисите Робер (1782—1854), франц. полит. деятель и публицист, представитель «христианского социализма» — 183, 330, 479, 497
- Ламорисьер Луи Кристоф (1806—1865), военный министр в кабинете Кавеньяка — 34, 405
- Ларошжаклен (Ларошжакелин, La Rochejaqueлин) Огюст, маркиз (1805—1867), франц. полит. деятель, сторонник Бурбонов, в феврале 1848 г. признал республику, позже примкнул к бонапартистам — 150
- Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа де, герцог (1613—1680) — 355, 500
- «Размышления или сентенции и максимы о морали» («Réflexions ou sentences et maximes morales») — 355, 500
- Лафайет Жозеф Поль, маркиз (1757—1834), участник франц. революций конца XVIII в. и 1830 г., либерал-монархист — 63, 99
- Лафонтен Жан де (1621—1695) — 472
- «Волк и овца» — 105, 472

- Лаффит Жак (1767—1844), франц. полит. деятель, банкир, сторонник Луи Филиппа Орлеанского — 99
- Левассор Пьер (1808—1870), франц. комический актер — 339
- Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст (1808—1874) — 53, 56, 61, 150, 152, 183, 214, 237, 458, 475
- Ленорман Мария (1772—1843), известная в свое время парижская гадалщица на картах — 143
- «Леон-Леони», роман Ж. Санд (см.)
- Ленский — см. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
- Леонард — 329
- Леопарди Джакомо (1798—1837), итал. писатель — 79, 80, 131, 469
- «Рюйш и его мумии» («Ruysch e le sue mummie») — 131
- Леопольд, герцог Баденский в 1830—1852 гг. — 247, 490
- Лепе (L'Épée) Шарль Мишель (1712—1789), франц. изобретатель системы обучения глухонемых с помощью жестов — 160, 476
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 79, 410
- Леру (Leroux) Пьер (1797—1871), франц. социалист-утопист — 32, 42, 185, 326, 334, 363, 480
- Лессинг Готгольд Эфраим (1729—1781) — 195
- Лешевалье Жюль (1806—1862), редактор газ. «La Tribune des Peuples» — 38, 456
- Либих Юстус (1803—1873), нем. химик — 170
- Линтон Вильям (1812—1897), англ. гравер, поэт и публицист, основатель журнала «The English Republic» (1851—1855) — 365
- Лир, герой трагедии «Король Лир» В. Шекспира (см.)
- Лист Ференц (Франц) (1811—1886) — 242
- Литта Помпео (1781—1852), итал. историк, военный министр миланского Временного правительства во время революции 1848 г. — 71
- Лло (Лов) Гудсон (Lowe Hudson) (1769—1844), англ. генерал, губернатор о-ва св. Елены в годы пребывания там Наполеона I — 283, 432
- Лойола Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов — 161
- Лот (библ.) — 60
- Лота жена (библ.) — 385, 505
- Луиза — см. Цабель Луиза
- Луиза (Элиза), горничная, служившая у А. И. Герцена — 235, 279, 428
- Луи Филипп (Людвиг Филипп) (1773—1850), франц. король в 1830—1848 гг. — 46, 98, 99, 149, 150, 181, 183, 199, 200, 471, 487
- Лукулл Луций Лициний (106—56 до н. э.), римский полит. деятель, известный своими огромными богатствами и роскошью — 84, 384, 504
- Людвиг XVI (1754—1793), франц. король в 1774—1792 гг. — 264
- Лютер Мартин (1483—1546) — 63, 161, 165, 195
- Макбет, герой одноименной трагедии В. Шекспира (см.)
- Макиавелли Николо ди Бернардо (1469—1527) — 75
- Манин Даниеле (1804—1857), итал. полит. деятель, отошедший от республиканской программы Мадзини — 69, 465
- «Мапа» — см. Гано
- Марат (Мара, Marat) Жан Поль (1743—1793) — 61
- Марий Гай (156—86 до н. э.), римский полководец и полит. деятель — 28
- Мария Дева (библ.) — 198
- Мария Магдалина (библ.) — 345
- Марк Туллий — см. Цицерон
- Марк Туллий, действ. лицо в пьесе «Катилина» А. Дюма (см.)
- Маркс Карл (1818—1883) — 90, 463, 470, 481, 482, 489, 497
- Марраст Арман (1801—1852), франц. полит. деятель, республиканец, редактор газеты «National», член Временного правительства в 1848 г., один из руководителей контрреволюции, автор буржуазной конституции 1848 г. — 99, 101, 150, 188, 325, 471, 482
- «Марсельеза» — 42, 51, 119, 223, 226, 243
- Марфа (библ.) — 198
- Мастаи Ферретти — см. Пий IX

- Матье, участник революции 1848 г. во Франции, эмигрант, живший в Ницце и Женеве — 214—218
- Маццини Джузеппе (1805—1872)— 58, 64—67, 69, 71, 73, 75, 76 78—80, 91, 99, 102, 152, 154—156, 174, 183, 288, 289, 330, 358, 382, 419, 438, 451, 460—470, 472, 475, 476, 478, 494, 503
- Меассалер Адельгейда, горничная Л. И. Тааг, ходившая за сыном А. И. Герцена Колей — 277, 280, 493
- Медичи Джакомо (1819—1882), деятель итал. национально-освободительного движения — 65, 76—78, 80, 288, 351, 410, 447, 451, 459, 461, 465, 468, 494
- Медичи Козимо (1519—1574), великий герцог Тосканы, добившийся власти жестоким террором — 75
- Мейзенбург Мальвида Амалия фон (1816—1903), нем. писательница, порвавшая в период революции 1848 г. с семьей; эмигрировала в Англию, была воспитательницей дочерей А. И. Герцена — 365, 366, 437, 501
- Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), русский литератор — 290
- Менотти Чиро (1798—1831), итал. революционер, карбонарий, глава заговора в Модене в 1831 г., казнен — 67, 462
- Меркантини Луиджи (1821—1872), итал. поэт, участник движения за объединение Италии, гарибальдиец — 68, 464
- «Жница из Сапри» («La Spigolatrice di Sapri») — 68, 464
- «Мертвые души» — см. Гоголь Н. В.
- Мессенгаузер Венцель (1813—1848), командир Национальной гвардии в Вене во время революции 1848 г., расстрелян после взятия Вены — 328
- Меттерних Клеменс, князь (1773—1859) — 63, 171
- Мефистофель — см. «Фауст» В. Гёте.
- Меццакапо братья: Карло (1817—1905) и Луиджи (1814—1886), участники защиты в 1849 г. Венеции от австрийцев и Рима от французов — 72, 288, 494
- Миллер Федор Иванович, московский полицмейстер — 32, 114, 404
- Милль Джон Стюарт (1806—1873)— 187, 482
- «О свободе» («On liberty») — 187, 482
- Мильнер-Гибсон (Кульм Сюзанна) (1814—1885), жена Мильнера-Гибсона — 367, 368, 438
- Мильнер-Гибсон Томас (Gibson Thomas Milner) (1806—1884), англ. министр — 367, 368
- Мирабо Оноре Габриель (1749—1791) — 139
- Мицкевич Адам (1798—1855)—36, 38—42, 329, 405, 450, 451, 455—458
- «Ad Napoleonem III Caesarem Augustum ode in Bomersundum captum» — 42, 458, 470
- Мицкевичова Целина, урожд. Шимановская (1815?—1855), жена А. Мицкевича — 42
- Мишле Жюль (1798—1874) — 57, 196, 459
- «История Франции» («Histoire de France») — 57, 459
- Молох (миф.) — 209, 395
- «Монитор» («Moniteur»), франц. правительственная газета, выходившая до 1869 г.— 37, 188, 455
- Монтеки — см. Шекспир, «Ромео и Джульетта»
- Монтень Мишель де (1533—1592), франц. философ и писатель эпохи Возрождения — 185, 190
- Мордини Антонио (1819—1902), участник революционного движения в Италии в 1848—1849 гг.— 77, 268, 288, 295, 351, 494
- Мопарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 80, 168, 449
- «Дон Жуан» («Don Giovanni») — 168
- «Свадьба Фигаро» («Nozze di Figaro») — 168
- Муратори Лодовико Антонио (1672—1750), итал. историк — 71, 466
- Мурчисон Родерик Импи (1792—1871), англ. геолог — 310
- Муций Сцевола Гай, легендарный выходец из низов, своим подвигом спасший Рим — 149

Мюллер-Стрюбинг Герман (1810—1893), участник революционных событий в Берлине в 1848 г., эмигрировал в Париж — 52  
Мюрат Наполеон Люсьен (1803—1878), сын маршала Франции, претендент на неаполитанский престол — 76, 465, 468

Нани — 71

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 42, 50, 75, 76, 82, 121, 149, 207, 339, 382, 383, 394, 457, 468, 470, 477, 487, 489

Наполеон III Луи (Людовик) (1808—1873), император Франции с 1852 г.—28—30, 39—42, 59, 69, 75, 76, 98, 108, 129, 148, 150, 175, 186, 193—195, 213, 236, 285, 358, 437, 450, 451, 455—459, 463, 465, 467, 468, 471, 474, 476, 478—480, 487, 489

Наполеон принц (1822—1891), сын Жерома Бонапарта — 312

Нарбонн Лара Луи, граф (1755—1813), франц. дипломат, адъютант Наполеона I в 1812 г.— 42  
«Националь» («Le National»), франц. газета, выходила в Париже в 1830—1851 гг., после февральской революции 1848 г. стала реакционной — 101, 161, 191, 224, 471, 477

Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), министр иностранных дел России в 1816—1856 гг.— 136, 138, 139, 156, 417, 474

Николай I (1796—1855), император — 11, 13, 14, 39, 42, 45, 48, 63, 100, 108, 132, 137, 140, 146, 151, 156, 157, 159, 163, 175, 176, 179, 180, 316, 323, 334, 339, 340, 344, 345, 357, 361, 362, 406, 417, 422, 435, 473, 475, 476, 478, 499

Николай Хлыновский, православный святой — 112

Ноайль де (Ноаль), герцог — 18—22, 403, 453

«Новая Элоиза», роман Руссо (см.)  
Ной (библ.) — 60, 335

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 25, 130, 221, 240, 313, 367, 437, 438, 447, 449, 454, 458, 461, 464, 488, 490, 496, 499, 505

«Одиссея» — см. Гомер  
О'Коннель Даниель (1775—1847), деятель ирландского освободительного движения, известный оратор — 176

Оливье Эмиль (у Герцена ошибочно Демостен Оливье) (1825—1913), буржуазный республиканец, комиссар Временного правительства в департаментах Устья Роны и Вар во время франц. революции 1848 г.— 22

Ольшевский Юзеф, эмиссар польской демократической эмиграции, распространял издания польских революционеров и А. И. Герцена на территории Польши. В 1858 г. сослан в Якутию — 436

Омфала (миф.) — 209, 395, 487  
Онегин — см. Пушкин, «Евгений Онегин»

«Орас», роман Ж. Санд (см.)  
Орлеанский герцог, см. Луи Филипп

Орлов Алексей Федорович, князь (1786—1861), шеф жандармов с 1844 г.— 151, 156—159

Орсини Феличе (1819—1858) — 58, 67, 72—77, 79, 152, 154, 214, 215, 268, 271, 278, 285, 288, 289, 292, 293, 295, 297, 307, 312, 366—368, 369, 382, 410, 433, 437—439, 447, 451, 462—464, 466—469, 476, 493—495

— «Воспоминания и приключения Орсини, написанные им самим» («Записки») («Memoirs and adventures of Orsini, written by himself») — 77, 271, 433, 468, 493  
«Освобожденный Иерусалим», соч. Торквато Тассо (см.)  
«О собственности» — см. Прудон

«О справедливости в революции и в церкви», соч. Прудона (см.)  
Остерман-Толстой Александр Иванович, граф (1770—1857), генерал, отличившийся в боях под Бородиным и под Кульмом, с 1837 г. жил в Женеве — 100, 101, 412

«Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1839—1884 гг., в 1840-х годах — центр передовой литературы — 318, 335

«Отречение», стихотворение Ф. Шиллера (см.)  
Оуэн Роберт (1771—1858) — 321

Пакье Этьен Дени (1767—1862) орлеанист, председатель палаты пэров во Франции до 1848 г. — 194

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865), англ. министр иностранных дел и премьер-министр в 1855—1865 гг. — 121, 415

Пальме, парижский врач — 147, 418

Панин Виктор Никитич (1801—1874), министр юстиции в 1841—1861 гг. — 21, 176, 422

Паскаль Блез (1623—1662), франц. математик и философ — 185

Паскевич Эриванский Иван Федорович, граф (1782—1856), ген.-фельдмаршал, командовал в 1849 г. русской армией, подавившей революцию в Венгрии — 59, 323, 408

Пачелли, муж и жена, итальянцы, жители Ниццы — 295, 296, 429

Пенелопа, действ. лицо в «Одиссее» Гомера (см.)

Перикл (ок. 490—429 до н. э.), афинский полит. деятель, вождь рабовладельческой демократии — 23

Перовский Лев Александрович, граф (1792—1856), министр внутренних дел в 1841—1852 гг. — 11, 12

«Перчатка», баллада Ф. Шиллера (см.)

Перье Казимир Пьер (1777—1832), франц. полит. деятель, банкир, сторонник Луи Филиппа Орлеанского — 99

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — 153

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866) — 335, 343, 344, 452, 498, 499

Петрушка, действ. лицо в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (см.)

Пианори Джiovanni (1827—1855), участник революции 1848 г. в Италии, эмигрировавший после падения Рима; казнен за покушение на жизнь Луи-Наполеона — 67, 72, 76, 382, 503

Пианчани (Пьянчани, Piansciani) Луиджи (1810—1890), итал. полит. деятель, участник национально-освободительного движения — 367, 465, 466

Пиа Феликс (1810—1889), франц. полит. деятель и драматург — 56

Пизакане Карло (1818—1857), итал. революционер, начальник штаба войск Римской республики в 1849 г. — 67, 68, 72, 76, 77, 288, 351, 382, 451, 463, 464, 494, 503

Пий VII (Кьярамонти) (1742—1823), римский папа с 1800 г. — 76, 382, 468

Пий IX (Мастаи Ферретти), граф (1792—1878), римский папа с 1846 г. — 26, 75, 76, 174, 454, 478

Пилад (миф.) — 106

Пиле Леон (1803—1868), франц. консул в Ницце в 1849 г. — 278

«Пионер», журнал, издававшийся в Америке К. Гейнценом — 106, 470

«Письмо» — «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (см.)

Платон (429—347 до н. э.) — 123, 198

Платон Михайлович, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)

«Полярная звезда», альманах, издававшийся А. И. Герценом в 1855—1869 гг., с 1856 г. совместно с Н. П. Огаревым — 9, 130, 271, 333, 362, 407, 408, 428, 430, 436, 446, 470, 474, 476, 501

Понца (Понс) де ла Мартино, граф (1810—1876), чиновник министерства внутренних дел Пьемонта в 1851 г. — 177, 178, 479  
«Послание Дельвигу» — см. Пушкин А. С.

«Пресса» («La Presse»), парижская газета, основанная Э. Жирарденом, выходила с 1836 по 1866 г. — 190, 373, 480

Прозоровский Александр Александрович, князь (1732—1809), генерал-фельдмаршал — 316

«Противоречия» — см. Прудон

Прочида Джованни (ок. 1225 — ум. после 1299), один из организаторов освобождения Сицилии от власти французов — 75, 468

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — 136, 183—191, 193—201, 204

- 321, 326, 330, 354, 362, 390, 391, 422—424, 450, 451, 470, 479—486, 507
- «Исповедь революционера» («Исповедь», «Les confessions d'un révolutionnaire, pour servir à l'Histoire de la révolution de Février») — 187, 188, 193, 482
  - «О пользе празднования воскресенья» («De l'utilité de la célébration du dimanche») — 187, 482
  - «О справедливости в революции и в церкви» («De la justice dans la révolution et dans l'Eglise») — 196, 451, 486
  - «Руководство биржевого игрока» («Биржевое руководство», «Manuel du spéculateur à la bourse») — 187, 481, 482
  - Система экономических противоречий, или Философия нищеты» («Противоречия», «Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère») — 184, 187, 480, 482
  - «Что такое собственность?» — («О собственности», «Qu'est-ce que la propriété?») — 187, 481
  - «Путешествие в Икарию», соч. Кабэ (см.)
  - Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 38, 130, 259, 289, 374, 439, 453, 456, 473, 474, 478, 491, 494, 496
  - «Брожу ли я вдоль улиц шумных» — 298, 374, 494
  - «Вакхическая песнь» — 362, 501
  - «Граф Нулин» — 176, 478
  - «Евгений Онегин» — 16, 453; Онегин — 259; Ленский — 317
  - «К портрету Чаадаева» — 316, 496
  - «Послание Дельвигу» — 130, 474
  - «Цыганы» — 256, 491; Алеко — 256
  - Пьянчани — см. Пианчани
  - Р., женевский врач — 60, 61
  - Рабле Франсуа (1494—1553) — 185
  - Радецкий Иосиф Венцель, князь (1766—1858), австр. фельдмаршал, возглавлял борьбу с национально-освободительным движением в Италии — 84, 102, 384, 472
  - Радовиц Иосиф (1797—1853), прусский полит. деятель, реакционер и крайний клерикал — 174
  - «Разбойники», драма Ф. Шиллера (см.)
  - Райе (Rayer) Пьер Франсуа (1793—1867), франц. врач — 43, 234, 425
  - Рассель (Россель, Russel) Джон (1792—1878), англ. полит. деятель, премьер-министр в 1846—1852 гг. — 121, 415
  - Рашель Элиза (1821—1858), франц. драматическая актриса — 226
  - Ребилю, префект парижской полиции с октября 1848 г. по 10 декабря 1849 г. — 135, 231
  - Рейр Клемен, секретарь парижской префектуры в 1850 г. — 141
  - Рейхель Адольф (1817—1897), нем. музыкант, один из ближайших друзей А. И. Герцена, в 1850 г. женился на М. К. Эрн — 190, 458
  - Рейхель Иетта, первая жена Адольфа Рейхеля — 43, 458
  - Рейхель Мария Каспаровна, урожд. Эрн (1823—1916), близкий друг семьи А. И. Герцена — 12, 276, 285, 290, 298, 303, 351, 354, 357, 428, 433, 435, 451, 458, 459, 461, 466, 468, 470, 493—495, 498—501
  - Рекамье Жюли (1777—1849), жена банкира, ее салон во времена империи Наполеона I и Реставрации был политическим и литературным центром реакционеров — 105
  - Рембрандт (1606—1669) — 53, 165
  - Репетилов, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
  - «Реформа» («La Réforme»), парижская газета, орган левых республиканцев, выходила с 1843 по 1850 г. — 183, 191, 330, 497
  - Рибейроль Шарль (Ribeyrolles) (1812—1861), редактор «La Réforme» в 1848 г. в Париже, редактор «L'Homme», газеты французских эмигрантов в Англии в 1851 г. — 325
  - Риенци (Риензи) Кола ди (1313—1354), полит. деятель средневекового Рима, вел борьбу с феодалами за объединение Италии — 74, 315, 467
  - «Римская оргия времени упадка», картина Т. Кутюра (см.)

- Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794) — 85, 174
- Роза Сальватор (1615—1673), итал. живописец — 53, 386, 442, 506
- Рокка Паскале, повар, служивший у А. И. Герцена в Ницце в 1851—1852 гг. — 2, 13, 214, 216, 264, 267, 278, 431
- Ромео, герой трагедии «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (см.)
- Ромео Джиганнандреа (1786—1862), участник карбонарского движения, один из руководителей Калябрийского восстания в 1847 г. — 71, 466
- Россель — см. Рассель
- Россини Джоакимо Антонио (1792—1868) — 175, 478
- «Вильгельм Телль»; Вильгельм Телль — 175, 478
- Ротшильд Джеймс (1792—1868), банкир — 132—140, 145, 146, 417, 418, 474
- Руге Арнольд (1802—1880), нем. радикал, младогегельянец, находившийся в Париже в качестве представителя револ. правительства Бадена — 54, 90, 152, 154, 236, 326, 407, 470, 475, 496, 497
- Руссо Жан Жак (1712—1778) — 95, 118, 126, 130
- «Новая Элоиза» («Julie ou la Nouvelle Héloïse») — 167; Элоиза — 342
- «Общественный договор» («Contrat Social») — 189
- Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 153, 456
- Савич Иван Иванович (1808—1892), русский эмигрант, давал уроки русского языка детям А. И. Герцена в Лондоне — 364, 365, 436
- Сагра Рамон де ля (1798—1871), испанский полит. деятель, живший в Париже с 1848 г. — 36, 40, 41, 470
- Сагтынский (Сахтынский) Адам Александрович, чиновник III отделения, ближайший помощник Дубельта — 13, 146
- Сазонов Николай Иванович (1815—1862), участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии эмигрант-публицист — 17, 44, 49, 50, 109, 147, 156, 182, 184, 190, 240, 269, 285, 286, 315—317, 321—324, 326—333, 377, 403, 406, 407, 413, 418, 419, 422, 423, 459, 479, 480, 492, 493, 495—497
- «О месте России на всемирной выставке» — 333
- Санчо-Панса, действ. лицо в романе «Дон Кихот» М. Сервантеса (см.)
- Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт и переводчик, участник московского кружка Герцена — Огарева — 317, 496
- Сатурн (Крон) (миф.) — 266, 319, 352, 492
- Сафо (конец VII в. — первая половина VI в. до н. э.), древнегреческая поэтесса; по преданию, отвергнутая любимым, бросилась в море — 23, 350
- Саффи Аурелио (Марк Аврелий) (1819—1890), итал. революционер — 66, 76, 78—80, 366—369, 408, 410, 438, 448, 451, 459, 461, 469
- Сахтынский — см. Сагтынский
- Свентославский Зенон (р. 1811), участник польского национального движения, эмигрировавший в Англию — 365, 437
- Селадон, имя героя франц. пасторального романа, ставшее нарицательным для обозначения томящегося влюбленного — 216
- Сенар Антуан Мари (1800—1885), председатель Учредительного собрания во Франции в 1848 г., один из руководителей подавления Июньского восстания — 32
- Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794), якобинец, член Комитета общественного спасения; казнен после термидорианского переворота — 85, 100, 118
- Сен-Симон Анри Клод (1760—1825) — 318, 321, 496
- Сервантес Мигель де Сааведра (1547—1616)
- «Хитроумный гidalго Дон Кихот Ламанчский»; Дон Кихот — 190; Дульцинея — 217; Санчо-Панса — 126
- Сибур Луи (1807—1860), священник, член Учредительного собрания во Франции в 1848 г. — 18, 23, 24



- Сибур Мари Доминик (1792—1857), парижский архиепископ с 1848 г.— 24
- Сийес (Sieyès) Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат, деятель французской революции конца XVIII в.— 119, 473
- «Что такое третье сословие?» («Qu'est-ce que c'est le tiers état?») — 119, 473
- Сикст V (1521—1590), римский папа с 1585 г.— 350, 499
- Симон Людвиг (1810—1872), нем. полит. деятель, буржуазный демократ, эмигрант — 253
- Синяя борода Рауль, герой франц. сказки, умертвивший шесть своих жен — 201, 206, 208, 262, 393, 394
- Сиртори Джузеппе (ум. в 1874 г.), участник итал. национально-освободительного движения — 71, 465, 466
- Скалозуб, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)
- Служальский, польский эмигрант в Париже — 324, 496
- Собакевич, действ. лицо в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (см.)
- Сократ (469—399 до н. э.) — 195, 350
- Спини Леопольд, участник итал. национально-освободительного движения, эмигрант — 65, 460, 461
- Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — 195
- Сталь (Стааль) Луиза Жермен (1786—1817), франц. писательница — 105
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), руководитель московского философско-литературного кружка 1830-х годов — 319
- Стентор, действ. лицо в «Илиаде» Гомера (см.)
- Струве Амалия, жена Густава Струве — 60, 62, 63, 408
- Струве Густав (1805—1870), нем. республиканец, один из руководителей восстания в Бадене — 59—64, 86, 87, 102—105, 383, 412, 460, 461, 472, 475, 503
- Струве Густав Андреевич (1801—1866), русский министр-резидент в Гамбурге — 105
- Сю, владелец дома в Ницце, в котором жил Герцен — 314, 485
- «Таймс» («Теймс», «Times»), англ. газета, основана в 1785 г.— 37, 90, 361, 405
- Тальма Франсуа (1763—1826), франц. актер — 81, 469
- Тардиф де Мело, второстепенный франц. литератор — 324, 329
- Тассо Торквато (1544—1595), итал. поэт эпохи Возрождения — «Освобожденный Иерусалим» — 167
- Татьяна, кормилица дочери А. И. Герцена Таты — 13, 453
- Теверино, герой одноименного романа Ж. Санд (см.)
- Телль, герой драмы «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера (см.)
- Теренций Публий (ок. 185—159 до н. э.), римский комедиограф — 473
- «Andria» — 119, 473
- Тесье дю Моте (Tessier du Motay) Мари Эдмонд, франц. химик, участник революции 1848 г., в 1852 г. учитель сына А. И. Герцена — 91, 278, 292, 303, 305—307, 309, 310, 312, 354, 356, 468, 470, 495, 500
- Тесье дю Моте, жена М. Э. Тесье дю Моте — 354, 356
- Тимолеон (411—после 377 до н. э.), коринфянин, не пощадивший в борьбе с тиранией даже своего брата, стремившегося захватить власть — 149
- Титан (миф.) — 121
- Товянский Андрей (1799—1878), польский мистик, глава религиозной секты — 41, 42, 325, 457, 496
- Токвиль (Tocqueville) Алексис (1805—1859), франц. буржуазный историк, член Учредительного собрания в 1848 г., министр иностранных дел в кабинете Одилона Барро в 1849 г.— 30, 455
- Торе Теофиль (1807—1869), франц. левый республиканец, участник революции 1848 г., издатель газеты «Истинная республика» — 49, 50, 407, 459
- Трюбнер Николай (1817—1884), англ. издатель произведений А. И. Герцена — 363

- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883)—43, 44, 229, 235, 245, 452, 458
- Тучков Алексей Алексеевич (1799—1878), отец Н. А. и Е. А. Тучковых — 229, 230, 452
- Тучкова Елена Алексеевна (1827—1871), жена Н. М. Сатина — 28, 229, 230, 452, 455
- Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913)—28, 229—231, 274, 427, 452, 455, 489, 493, 494, 502
- Тьер Луи Адольф (1797—1877)—188, 189, 423, 468, 482
- Тюфяев Кирилл Яковлевич (1775—после 1840), губернатор в Вятке в 1834—1837 гг.—142
- Удино (Oudinot) Никола́ Шарль, герцог (1791—1863), генерал, командовавший в 1849 г. франц. войсками, посланными для подавления республики в Риме; 2 декабря 1851 г. был назначен командующим парижскими войсками для борьбы с Луи-Наполеоном, но был тут же арестован Барле — 32, 460
- Фази Джемс (1797—1878), швейцарский политический деятель — 94, 97—108, 164, 166, 412, 413, 451, 471, 472
- Фаллу Альфред Пьер, граф (1811—1886), легитимист и вождь клерикальной партии во франц. Учредительном собрании 1848 г.—150
- «Фауст»—см. В. Гёте
- Фейербах Людвиг (1804—1872)—342
- «Сущность христианства» («Das Wesen des Christentums») — 342
- Фемида (миф.)—142
- Фердинанд II (Неаполитанский) (1810—1859), король обеих Сицилий, известный своим деспотизмом — 26, 76, 454, 464, 465
- Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867), московский митрополит с 1826 г.—323
- Филипон Шарль (1802—1862), франц. карикатурист и журналист, издатель «Шаривари» — 21, 322
- Флокон Фердинанд (1800—1866), франц. журналист и полит. деятель; в качестве члена Временного правительства в 1848 г. содействовал баденскому походу Гервега — 246, 248
- Фогт Адольф (1823—1907), врач, брат Карла Фогта — 234
- Фогт Густав (1829—1901), брат Карла Фогта, редактор «Новой юрихской газеты» — 166, 167, 420
- Фогт Карл (1817—1895), нем. естествоиспытатель, участник революции 1848 г., эмигрировал в Швейцарию — 164—167, 169—174, 182, 190, 214, 216, 217, 244, 258, 266, 268, 278, 283—287, 292, 294, 295, 297—300, 302, 307—309, 312, 335, 354, 374, 375, 420, 421, 440, 451, 477, 478, 490, 495
- Фогт Луиза, дочь Вильгельма Фогта — 168, 169
- Фогт Луиза, урожд. Фоллен (1799—после 1864), мать Адольфа, Густава и Карла Фогтов — 165, 166, 240
- Фогт Филипп Вильгельм (1789—1861), профессор медицины, отец Адольфа, Густава и Карла Фогтов — 165—170, 477
- Фоллен Август (1794—1855), нем. поэт и публицист, участник студенческого движения в Германии 1815—1820 гг.—165, 244, 477, 490
- Фома Кемпийский (1379—1471), монах, средневековый богослов — 126
- Форестье Генри Жозеф (1787—1882), начальник легиона парижской Национальной гвардии во время демонстрации 13 июня 1849 г.—53
- Фосколо Уго (1778—1827), итал. поэт — 303
- «Гробница» («I Sepolcri») — 303
- Фоме Леон (1804—1854), франц. экономист, министр внутренних дел при Луи-Наполеоне — 196, 486
- Франклин Вениамин (1706—1790)—118, 473
- Франсуа, итальянец, повар в семье А. И. Герцена — 276, 277, 302
- Франческа да Римини, действ. лицо в «Божественной комедии» Данте (см.)

Фраполли Людовико (1815—1879), посол в Париже от Ломбардии, затем от Тосканы и Римской республики во время революции в Италии — 183

Фридрих II (1712—1786), прусский король с 1740 г. — 80

Фридрих Вильгельм IV (1795—1861), прусский король с 1840 г. — 171, 243, 460, 477

Фурер Ионас (1805—1861), президент Швейцарского Союза — 104

Фурье Шарль (1772—1837) — 344

Фуше Жозеф (1759—1820), член французского Конвента, затем министр полиции при Наполеоне I — 149

Х., чиновник парижской префектуры — 147

Хоецкий Карл Эдмунд (литерат. псевдоним Charles Edmond, Шарль Эдмонд) (1822—1899), литератор и публицист; принимал участие в издании газет Прудона, был близок к А. И. Герцену — 38—40, 190, 214, 216—218, 268, 278, 285, 294, 301, 303, 307, 312, 330, 353, 355, 405, 423, 428, 434, 479, 484, 486, 500

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт-славянофил — 39, 190, 406

Хоткевич, граф, польский эмигрант — 324, 332, 496

Христос Иисус (библ.) — 42, 53, 63, 74, 242, 468

Цабель (Суццер) Луиза, племянница Л. И. Гааг — 277, 280, 281, 493

Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 266

Цицерон Марк Туллий (100—43 до н. э.) — 23

«Цыганы», поэма А. С. Пушкина (см.)

Цынский Лев Михайлович, генерал-майор, в 1834—1845 гг. оберполицмейстер Москвы — 238, 450, 489

«Цюрихская газета» — см. «Neue Zürcher Zeitung»

Чаадаев Петр Яковлевич (р. между 1793 и 1796—1856) — 190, 328

— «Философическое письмо» («Письмо») — 328

Чацкий, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.)

Челлини (Cellini) Бенвенуто (1500—1571), итал. ювелир, медальер и скульптор — 16

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 343, 464

Чингис-хан Темучин (ок. 1155—1227) — 137

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), государствовед, профессор Московского университета — 146

Чичероваккио — см. Брунетти Анджело

Чичиков, действ. лицо в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя (см.)

«Что такое государство?», соч. В. А. Энгельсона (см.)

«Что такое третье сословие?», соч. Сийеса (см.)

Шаллер (Schaller) Юлиан (1817—1871), швейцарский политический деятель, глава правительства Фрейбургского кантона — 164, 166, 174, 175, 180

Шамбор, граф (герцог Бордосский) (1820—1883), внук Карла X, претендент на франц. престол под именем Генриха V — 21

Шангарнье (Champfagnier) Никола (1793—1877), франц. генерал, начальник парижской Написальной гвардии с июня 1848 по январь 1851 г. — 51, 52, 456

«Шаривари» («Charivari»), франц. сатирический журнал, выходивший в 1832—1866 гг. — 21

Шарль Эдмонд — см. Хоецкий

Шверин, начальник одной из почтовых станций между Кенигсбергом и Берлином — 16

Шеве, содержатель ресторана в Париже — 248

Шекспир Вильям (1564—1616) — 118, 201, 266, 493

— «Гамлет»; Гамлет — 439

— «Король Лир»; король Лир — 197; Кент — 197

— «Макбет» — 455; Макбет — 28, 274, 455, 493; Банко — 274, 493; Дункан — 28, 455

— «Ромео и Джульетта»; Ромео — 199; Джульетта — 199; Монтеки — 199; Капулетти — 199  
 Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854)— 62  
 Шенлейн Иоганн (1793—1864), нем. врач, лейб-медик прусского короля — 243  
 Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805)— 65, 90, 98, 122, 130, 242, 285, 322, 379, 383, 411, 460, 489, 504  
 — «Вильгельм Телль»; Телль — 98  
 — «Дон Карлос»; Дон Карлос — 309  
 — «Разбойники» («Die Räuber») — 65; Гримм (ошибочно назван Герценом Шуфтерле) — 65, 460  
 — «Отречение» («Resignation») — 229, 489  
 — «Перчатка» («Der Handschuh») — 61, 460  
 Шомбург, служащий в банке Ротшильда — 140, 474  
 Шопен Фредерик (1809—1849)— 167, 457  
 Шопенгауэр Артур (1788—1860)— 359, 362  
 Шпильман Иоганн (ум. в 1851 г.), педагог, учитель сына А. И. Герцена — 161, 276, 280, 281, 373  
 Штин, чиновник в канцелярии вятского губернатора — 142  
 Шультес, цюрихский банкир — 162, 163

«Andria», комедия Публия Теренция (см.)  
 «Der Bürgergeneral», комедия Gёte (см.)  
 Charles Edmond — см. Хоецкий  
 «Contrat Social» — соч. Руссо (см.)  
 «The Darkness», соч. Байрона (см.)  
 «La Disfida di Barletta», роман Азелио (см.)  
 «Don Giovanni», опера Моцарта (см.)  
 «The Dream», соч. Байрона (см.)  
 «Gazette de France», франц. реакционная газета — 190  
 Guyot (Guiaud)— см. Гио

Эдип, легендарный древнегреческий царь — 113, 473  
 Элоиза, действ. лицо в романе «Новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо (см.)  
 Энгельсон Александра Христиановна, жена В. А. Энгельсона — 283, 295, 298, 303, 334, 336—343, 346—353, 358—360, 362—365, 370, 433—435, 497, 498, 501  
 Энгельсон (Вейтберг) Владимир Аристович (1821—1857), русский эмигрант — 267, 269, 277, 283—287, 292, 293, 295, 297, 303, 305—309, 312, 334—354, 357—369, 377, 428, 433—439, 497—501  
 — «Что такое государство?» — 362  
 «Энеида», поэма Вергилия (см.)  
 Эрн Мария Каспаровна — см. Рейхель М. К.  
 Эскирос Анри Альфонс, (1814—1876), франц. литератор и политический деятель, эмигрировавший в Англию после поражения революции и изгнания его из Франции в 1851 г. — 363  
 Юм Давид (1711—1776)— 118  
 Юман, модный портной в Париже — 246  
 Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846), отец А. И. Герцена — 138  
 «Ямбы», сборник стихов Барбье (см.)

«Histoire de la Révolution Française», соч. Луи Блана (см.)  
 «L'Italia del Popolo», итальянская газета, издававшаяся Мадзини с 1848 г., сначала в Милане, а затем в Генуе — 65, 461, 465, 466, 476  
 «Journal des Débats», французская консервативная газета орлеанистского направления — 37, 405  
 Lafitte et Caillard, содержатели дилижансов — 54  
 Lenormand — см. Ленорман Мария  
 Maria — см. М. К. Рейхель  
 Maria K. — см. М. Ф. Корш

«National»— см. «Националь»  
 «Neue Zürcher Zeitung» («Цюрихская газета») — 310, 495  
 «Le Nouveau Monde», франц. газета, издававшаяся Луи Бланом с июля 1849 г. до марта 1851 г. — 155  
 «Nozze di Figaro», опера Моцарта (см.)  
 «Oceano pox», стих. Гюго (см.)  
 «On liberty», соч. Милля (см.)  
 «Orbis sensualium pictus», соч. Амоса Коменского (см.)  
 «Le Peuple», газета Прудона, выходила в Париже с 2 сентября 1848 г. до 13 июня 1849 г. — 183, 190, 479, 481, 482  
 «Le Peuple de 1850», газета Прудона, выходила с 15 июня по 15 октября 1850 г. — 424, 482, 485  
 «Le Proscrit» — франц. газета, выходившая в 1850 и 1851 гг. под ред. Э. Араго, Делеклюза, Маццини, Рибейроля и др. — 154, 475

«Réflexions» — см. Ларошфуко  
 «Le Représentant du Peuple», газета Прудона, выходила с апреля по август 1848 г. — 183, 482  
 «Ruysch e le sue mummie», сочинение Леопарди (см.)  
 «Der Sängер», баллада Гёте (см.)  
 «I Sepolcri», поэма Уго Фосколо (см.)  
 «La Spigolatrice di Sapri», баллада Меркантини (см.)  
 «La Tribune des Peuples» («Трибуна народов», «Народная трибуна»), франц. газета, выходила под ред. А. Мицкевича — 36, 37, 41, 329, 450, 455—457, 470  
 «La Voix du Peuple» («Голос народа»), франц. газета, выходила с 1 октября 1849 по 14 мая 1850 г. под ред. Прудона — 183, 184, 191, 194, 195, 330, 424, 450, 470, 477, 479, 482, 483—485  
 «Das Wesen des Christentums», соч. Фейербаха (см.)



## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

|  |     |
|--|-----|
| А. И. Герцен. С фотографии 1861 г. Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград . . .   | 4   |
| «Былое и думы». Титульный лист первого отдельного издания, т. IV, 1867. . . . .  | 16  |
| «Былое и думы», часть V, глава XXXIX. Страницы рукописи (автограф Герцена) с текстом, опущенным в прижизненной публикации. Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва. . . . .                              | 144 |
| «Былое и думы», часть V. <«Рассказ о семейной драме»>, глава «Осеано пох». Страница корректуры «Полярной звезды» на 1859 г. (кн. V) с правкой Герцена. Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва . . . . . | 280 |
| «Былое и думы», часть V. <«Рассказ о семейной драме»>, глава VIII. Страница рукописи первоначальной редакции (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина . . . . .  | 296 |
| «Былое и думы», часть V. «Русские тени», глава «Энгельсоны». Страница рукописи (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина . . . . .  | 352 |

## ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

| Страница | Строка    | Напечатано        | Следует читать     |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 46       | 1 сл.     | la fromage        | le fromage         |
| 61       | 25 св.    | дверь отворилась, | дверь отворилась и |
| 102      | 24 св.    | зудов             | зубов              |
| 310      | 28—29 св. | военачальника     | военноначальника   |
| 347      | 27 св.    | Respektabilität   | Respektabilität    |

# СОДЕРЖАНИЕ

## БЫЛОЕ И ДУМЫ

### Часть пятая

#### Париж—Италия—Париж (1847—1852)

|  | Текст | Варианты | Комментарии |
|--|-------|----------|-------------|
| <Предисловие>. . . . .   | 9     |          | 452         |
| Перед революцией<br>и после нее  |       |          |             |
| <i>Глава XXXIV.</i> Путь. Потерянный пасс.—<br>Кенигсберг.— Собственноручный нос.—<br>Приехали!— И уезжаем. . . . .  | 11    | 402      | 452         |
| <i>Глава XXXV.</i> Медовый месяц респуб-<br>лики. Англичанин в меховой куртке.—<br>Герцог де Ноаль.— Свобода и ее бюст в Мар-<br>сели.— Аббат Сибур и Всемирная респуб-<br>лика в Авиньоне. . . . .  | 18    | 403      | 453         |
| <i>Западные арабески.</i> Тетрадь первая . . .   | 25    | 404      | 454         |
| I. Сон . . . . .   | 25    |          |             |
| II. В грозу . . . . .  | 28    |          |             |
| <i>Глава XXXVI.</i> «La Tribune des Peuples». —<br>Мицкевич и Рамон де-ла-Сагра.— Хори-<br>сты революции 13 июня 1849.— Холера<br>в Париже.— Отъезд. . . . .   | 36    | 405      | 455         |
| <i>Глава XXXVII.</i> Вавилонское столпотворение.<br>— Немецкие Umwälzungsmänner'ы.— Фран-<br>цузские красные горцы.— Итальянские<br>fuorusciti в Женеве.— Маццини, Гари-<br>бальди, Орсини...— Романская и герман-<br>ская традиция.— Прогулка на «Князе<br>Радецком». . . . . | 58    | 408      | 459         |
| <i>Глава XXXVIII.</i> Швейцария.— Джемс Фази<br>и рефюжье.— Monte-Rosa. . . . .  | 94    | 412      | 470         |
| <i>Западные арабески.</i> Тетрадь вторая . . .   | 116   | 414      | 473         |
| I. Il pianto. . . . .  | 116   |          |             |
| II. Post scriptum. . . . .   | 124   |          |             |
| <i>Глава XXXIX.</i> Деньги и полиция.— Импера-<br>тор Джемс Ротшильд и банкир Николай<br>Романов.— Полиция и деньги. . . . .   | 132   | 416      | 474         |

|  | Текст | Варианты | Комментарии |
|--|-------|----------|-------------|
| <i>Глава XL. Европейский комитет. — Русский генеральный консул в Ницце. — Письмо к А. Ф. Орлову. — Преследование ребенка. — Фогты. — Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне. — Прием в Шателе. (1850—1851).</i> | 151   | 418      | 475         |
| <i>Глава XLI. П. Ж. Прудон. — Издание «La Voix du Peuple». — Переписка. — Значение Прудона. — Прибавление.</i>   | 183   | 422      | 479         |
| <i>Раздумье по поводу затронутых вопросов.</i>   | 202   |          | 487         |
| <i>Глава XLII. Coup d'Etat. — Прокурор покойной республики. — Глас коровий в пустыне. — Высылка прокурора. — Порядок и цивилизация торжествуют.</i>  | 213   |          | 487         |
| <br>〈Р а с с к а з о с е м е й н о й д р а м е〉  |       | 424      |             |
| I. 1848.   | 221   |          | 488         |
| Приметы.   | 228   |          |             |
| Тифоидная горячка.   | 234   |          |             |
| II.  | 240   |          | 489         |
| III. К р у ж е н и е с е р д ц а.  | 252   |          | 491         |
| IV. Е щ е г о д . (1851).  | 258   |          | 491         |
| V.   | 267   |          | 492         |
| VI. О с е а н о п о х (1851).  | 271   |          | 492         |
| VII. 1852.   | 283   |          | 493         |
| VIII.  | 295   |          | 494         |
| <i>Прибавление.</i>  |       |          |             |
| Гауг.  | 305   |          | 494         |
| Теддингтон. Перед отъездом.  | 313   |          |             |
| После приезда.   | 314   |          |             |
| <br>Р у с с к и е т е н и  |       |          |             |
| I. Н. И. С а з о н о в .   | 315   |          | 495         |
| II. Э н г е л ь с о н ы .  | 334   | 433      | 497         |
| <br>Д Р У Г И Е Р Е Д А К Ц И И  |       |          |             |
| 〈Р а с с к а з о с е м е й н о й д р а м е〉  |       |          | 502         |
| 〈VI. Осеано пох. Подстрочное〉 заме-<br>ч(ание).  | 373   |          | 502         |
| 〈VIII〉. 3 мая 1855.  | 374   | 439      | 502         |
| 〈Р у с с к и е т е н и〉.   | 377   |          | 502         |
| <br>А В Т О Р С К И Е П Р Е Д И С Л О В И Я<br>И П Е Р Е В О Д Ы   |       |          |             |
| 〈Предисловие к публикации глав из пятой части<br>в «Kolokol»〉.   | 381   | 441      | 502         |
| 〈Глава XXXVII〉.  | 382   |          | 503         |
| 〈Глава XXXVIII〉.   | 384   | 442      | 504         |
| 〈Раздумье по поводу затронутых вопро-<br>сов〉.   | 390   |          | 507         |



|   | Текст Вари-<br>анты | Коммен-<br>тарии |
|---|---------------------|------------------|
| В а р и а н т ы . . . . .                     | 400—442             |                  |
| П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я . . . . . | 401                 |                  |
| К о м м е н т а р и и . . . . .               | 443—509             |                  |
| У к а з а т е л ь и м е н . . . . .           | 510                 |                  |
| С п и с о к и л л ю с т р а ц и й . . . . .   | 531                 |                  |





РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, В. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, Ю. Г. ОКСМАН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, Е. В. ТАРЛЕ,  
Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

Текст и текстологические примечания подготовил С. С. Борщевский при участии Л. М. Долотовой. Раздел «Авторские предисловия и переводы» подготовил Л. Р. Ланский. Комментарии составили: И. М. Белянская, Н. Е. Застенкер, Л. Р. Ланский, А. М. Малахова, Г. И. Мясцева, М. Я. Поляков, И. Г. Птушкина, З. М. Цыпкина. Переводы иноязычных текстов редактировали: по разделу «Авторские предисловия и переводы» — М. Н. Черневич; подстрочные переводы — Е. А. Густ (франц.), Н. Г. Елина (итал.), Б. И. Колесников (англ.), О. Н. Михеева (нем.), Ф. А. Петровский (лат.); лингвистическая редакция французских текстов — З. Н. Липовецкой. Указатель имен составила М. Я. Бессмертная.

\*

Редактор тома — Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

\*

Редактор издательства А. И. Корчагин  
Переплет и титул художника А. П. Радищева  
Технический редактор Е. В. Зеленкова  
Корректор В. К. Гарди

\*

РИСО АН СССР № 8-100В. Сдано в набор 24/VII 1956 г.

Надписано к печати 13/X 1956 г. Формат бум. 60×92 1/16.

Печ. л. 33,5 + 6 вкл. Уч.-изд. 31,6 (31,2+0,4 вкл.)

Тираж 23 000. Изд. № 1793. Тип. зак. 669.

Цена ~~16 руб.~~ 4-00

Издательство Академии наук СССР  
Москва, Б-64, Подсосенский пер., д. 21

---

2-я типография Издательства АН СССР  
Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10

